

10

НОВЫЙ МИР

1937

НОВЫЙ
МИР

10

1937

Н О В Ы Й

М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

И

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

К Н И Г А

Д Е С Я Т А Я

О К Т Я Б Р Ъ

М О С К В А

1 . 9 . 3 . 7

Статформат Б/5 176 × 250.

Уполн. Главлита Б—30159. Объем 17 печ. лист. по 64.000 знак. Техн. ред. С. Гуревич.

Сдано в набор 20/IX—37 г. Подписано к печати 9/X—37 г. Тир. 70.000. Зак. 2407.

Тип. им. тов. И. И. Скворцова-Остепанова «Известия ЦИК СССР и ВЦИК», Москва.

СОДЕРЖАНИЕ

РОМАНЫ, РАССКАЗЫ, СТИХИ

	Стр.
1. АЛ. МАЛЫШКИН. — Люди из захолустья, роман	5
2. А. СОФРОНОВ. — Казачьи песни	55
3. ЭЖЕН ПОТЬЕ. — Стихотворения. (Предисловие и перевод А. Гатова)	57
4. ФЕДОР ГЛАДКОВ. — Энергия, роман, продолжение	60
5. С. ГУРЕВИЧ. — Николаю Островскому, стихотворение	78
6. ФЕДОР БЕЛКИН. — Стихотворения	79
7. МИХ. ЗОЩЕНКО. — Возмездие	81
8. А. ГОЛЬДБЕРГ. — Ленин, стихотворение	117
9. С. КУПЕР. — Перед закатом, роман, продолжение	118

ЛЮДИ И ФАКТЫ

10. ИВ. РАХИЛЛО. — Валерий Чкалов	182
11. И. ГЕХТМАН. — Рассказы о золоте	192

НАУКА И ТЕХНИКА

12. Проф. Ю. П. ФРОЛОВ. — Музей-лаборатория акад. Павлова	218
---	-----

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

13. В. БОЙЧЕВСКИЙ. — А. Новиков-Прибой	227
14. С. ВОСТОКОВА. — Антифашистская германская литература	238
15. С. ЕВГЕНЬЕВ. — Народный эпос	245
16. Л. ВАРШАВСКИЙ. — Искусство и война	248

БИБЛИОГРАФИЯ

17. С. В—Н. — С. Голубов, «Иван Ползунов»	265
18. Е. СИЛИН. — Константин Иванов, «Нарспи»	266
19. Е. Г. — Мих. Слонимский, «Прощание»	267
20. Е. ГАРНЕВСКАЯ. — И. Уткин, «Стихи»	268
21. Г. Т. — Сергей Васильев, «Вторая книга стихов»	269
22. С. Л—Н. — И. Мятлев, «Стихотворения»	271

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ журнала „**НОВЫЙ МИР**“

IV книга романа
МИХ. ШОЛОХОВА

„ТИХИЙ ДОН“

НАЧНЕТСЯ ПЕЧАТАНИЕМ
В 11-й (НОЯБРЬСКОЙ) КНИГЕ
журнала „**НОВЫЙ МИР**“

Люди из захолустья

Роман

АЛ. МАЛЫШКИН

Разлука

Прости, прощай, Мшанск!
Мимо всегдашней росстани, мимо старинного кирпичного флигеля (где за железными створнями зарезали когда-то бакалейщика с большими деньгами) сани свернули в гумна, в сугробную ночь. Во флигеле жгли поздний огонь, наверно, играли свадьбу; проходивший народ валялся к окнам, глазел на тошное веселье. На задах, по берегу Миши, погибали в метелице окраинные бани и ветлы.

В розвальнях сидели двое. У крайнего омета оторвался от темноты еще один человек, выбрал им навстречу. Был он сгорблен от котомки за спиной, опасливо озирался.

— Петяша? — негромко и уважительно окликнул извозчик. — Это мы, мы... Садись, замерз, ждамши-то!..

Седок с готовностью подался в саних, подвигая для нового ворох соломы погуще. «Эх, Петра, по правилам бы винца сейчас по хорошему стакану да на гармонь расстанную...». Но осекся: человек, завалившись в сани, тотчас схватил себя обеими руками за малахай и задергался непереносно, навзрыд. И седок не выдержал, тоже длинно вздохнул.

Извозчик сокрушенно сказал:

— Это в сам-деле тоже какво? Из собственного, из своего угла, да еще ночью, потихоньку, чисто ты вор какой!..

И с яростью огрел лошадь по хребту.

Скоком прошли мимо заколоченных магазеев, выбросились за порубежный овражек, в котором с восемнадцатого года закопаны расстрелянные за контрреволюцию два офицера и четыре торговца. От овражка начинался тракт — на полустанок и дальше, на Пензу, обступали снеговые пади, обступала волчья глубь, дорожное забытье. Искорчато-синя сверкала метелица, и сразу начало мерещиться за ней большое, ужасающее человечье скопище, все в огнях. Налетала дикая сила ветра, шумя в ушах, на обочинах ныли по-нищему телеграфные столбы. Эх, бывало, и гикнет же тут ямщик!.. Стало пробираться холодом, требовалось завалиться спиной к ветру. Петр, просморкавшись, немножко ожил, полез в нутрянной карман за махоркой.

— Ну, ничего... — сказал, будто посулил кому.

— А брательник-то все в Москве? — чтобы приутешить, спросил извозчик.

— В Москве...

— Маленьки были, какую, бывало, мы с ним дружбу колотили! Сейчас, чай, все позабыл.

— Он сейчас в Москве высоко, — вязался другой седок, — он с самим Калининским работает, по газете.

— А вот чего же за брата не вступится, не расскажет, как брата здесь мытарят? Ему бы только одно слово...

В санях угрюмо молчало, и извозчик из сочувствия тоже посердилел.

— Нынче, видать, братья своей крови не признают.

Петра едко продувало сквозь заплатанный пиджачишко. Хорошо, что хоть сосед сбоку пригревал немного (то был двоюродный брат, гробовщик Иван Журкин). Левый глаз наскла пурга, он совсем смерз от слезы, закрылся. А правый видел только беспощадное мерцанье метели да понизу дикие, текучие гребни снега, — только это одно и оставалось сейчас в жизни. И начинала заплетаться под ветер всякая паутина — дремь, не дремь, сон, не сон, а так — дорожная дурнота. К ней привычен был Петр, двадцать лет ежизнал по этой дороге. И вот — нет уже беды над головой, знакомые пригорки и пади одеты в тепло и в зеленый овес, и благополучный стародавний закат над ними, и едут с поезда седоки в плетеных таратайках, тянутся возы с товаром, а в Мшанске барышни идут ко всенощной, а бабка затевает к утру пироги с мясом. Эх, гикали же тогда ямщики, взвивались бубенчики!.. У Вязового оврага и вправду вымахнуло сзади колокольцем, и кто-то гаркнул, нагоняя. Петр ссутулился, глубже улез головой в передок.

— Кого это, Васяня, посмотри, не сабашника ли нашего несет? — сказал извозчику.

Прогнало недуром, прямо по сугробам, пару лошадей со звоном. Разве распознаешь, кто там за непогодью уютился в угол всзка, обернув кругом себя тулуп трубкой? Петру стало совестно за свое малодушие.

— Я говорю, Васяня, хоть бы кого порядочного, а то мальчишку поставили к власти!

Гробовщик, которого одолевала то-скливая дума, заворошился.

— У них и в пословице так сказанс: кто был ничем, тот, слышь, станет всем.

— А что пословица! — негодовал сзади из пурги извозчик. Он потрусил было в гору пешком, но увяз и на брюхе карабкался опять в сани. — Вот приходит ко мне вчерась Кузьма Федорыч, бедняк: «Позволь, — говорит, — с тебя семь с полтиной». — «За что?» — «За

лишение голоса». Это как же? Значит, известно, что я погорел, одну узду из пожара вынес: шеметнулся я тогда в избу, в огонь, как полоумный, ищу, чем бы мне лошадь вывести, узду и ухватил, а лошадь-то уж выведена была. Значит, надо мне построиться; стал я овец покупать и на базаре продавать, с рукой-то не пойдешь, теперь погорельцу хрен подадут; ну, на избу кое-как сколотил, на овцах-то, а теперь они за это то приостановят, то опять лишат, то опять приостановят.

— Да, да,—болел за него гробовщик (он про Васяню и темное кое-что знал, кроме овец), поддакивал, чтоб свое заглушить, незаглушимое, от которого в горле ело слезой.

Петр заворочался, закидался в санях чуть не со скрежетом.

— Эх, выпить, что ль... ай погодить?

Не понимали люди, что мучают его разговором и что слова их кружат, как воронье. Сызнова представлялось от этих слов разоренье: мшанский базар, бесхозяйный, запорошенный по снегу соломой и лошадиным дерьмом, оголенный насквозь — до самсго собора, после того, как снесли последние ларьки. По площади только собаки нюхаются; да парни и девки с курсов,—будто не свои, не деревенские, на беду нарощенные парни и девки озоруют около тракторов...

Пробовал, натянув покрепче малахаишко, пальцем насильно придавливать глаза, — нет, никак не засыпалось. Часа два волоклись по сыпучему сугробному морю. Извозчик выпрашивал гробовщика:

— Значит, ты, Лексев, говоришь — хороших делов искать поехал?

— Да уж больно мы тут набедовались, Васяня. Чтобы гроб кто заказал, я и забыл, когда это было. Теперь каждый себе самодельный норовит. По столярному делу когда-когда рамы сколотить позовут. Да кто теперь строится-то? Засев был у нас, опять же теперь в колхоз отбирают. А у меня их шесть ртов, да мы с женой: по куску — так восемь кусков подай, по два — шестнадцать...

— Нанетисто,—соглашался Васяня.— А никак ты и гармонию прихватил?

— Да на всякую крайность, не знай, как еще на чужой стороне бедовать придется.

— Теперь большие тыщи народу на стройку тянут. Позавчерась тоже четверых из Блудовки отвез. Рассказывают, шибко заработать можно, однако, не знай...

И опять просветило Журкину за метелью невиданное становище стройки: горят бездомные костры, люди ворочают что-то постылое, приплясывая от стужи...

— А тебе, Петяша, вот что скажу,— обернулся извозчик,— ты, Петяша, выходи смелее делай! Ты головы не прячь. С выходкой у тебя без всяких подозрений будет. Документ-то есть какой?

— У него пачпорт старый, не испачканный еще,— сказал гробовщик.

Петр обидчиво поднялся, сел.

— Я-то сумею, не беспокойся, мы народ-волга. Там-то... людей, как песку, попробуй, достань меня! Мне вот только с полустанка сняться благополучно. Я говорю, мож-быть, в обход с Симанщины забрести надо было?

— Ничего, и тут посадим. Выходку только смелее делай!

К полночи на положенном месте качнулся огонек, прочернул вязами станционный палисадник. Вон и товарный состав невидимо пробежал, подсвистнув ободрающе, рокоча колесами,— в степь, в путевые будки, в разлитое светом гуляние больших городов. А степь, когда заехали под деревья, забушевала сзади еще пуще, еще ненавистнее, не на что было оглянуться в последний раз... Петр из опаски остался вместе с извозчиком в станционном дворе, а Журкин побежал в очередь за билетами. Билеты надо было доставать дальние, на Урал.

Одного больше всего боялся Журкин, так и вышло: знающие люди сказали, что на «Максиме» местов будет мало. А «Максим» ходил один раз в сутки. Двери в полутемном зале хлопыстались со стекольным дребезгом, гуляли сквозняки, разлучная тоска. Ведливо лез

глаза глянцевито-разноцветный плакат, повешенный как-раз возле лампы, хоть никуда больше не гляди. А тут еще какая-то дура баба в необъятном тулупе стала перевертывать около Журкина, на холоду, на буфете грудного ребенка, и ребенок пищал и закатывался, как его младшая Санька... И нар-сд в очереди подобрался Журкину не по плечу, все больше деловой, районный, в обтяжку одетый в короткие полушубки и малахайчики; такие для себя билет хоть у кого из глотки вырвут! А на Журкине, как изба, стояло ватное, на солидность сшитое когда-то пальто, даже с вихорками былого каракуля на воротнике; под пальто жалостливая баба накрутила ему еще пуховой платок, а на ногах, обутых в трое чулок, коробились валенки выше колен, добротнo подшитые по низам кожей: всю экипировку сделали из последней копейки. И явственно путлялись в этом барахле слезные проводы, ребячье вытье, осиротевшие верстаки. Колокол ударил, поезд выходил, вышел уже — чугунный, метельный, неостановимый, как смерть... Гробовщик глянул опять на плакат, на эту красивую, веселого вида, пассажирку, которая облокотилась на автомобиль, в играющей по ветру вуалетке; на белые дворцы за ней, на синее, как жар-птица, море. И страшно ему стало, что есть где-нибудь на свете такая легкая жизнь.

Петра от колокола тоже залихорадило. Он вынул посудину из котомки, стукнул ладонью по доньшкy, отглотнул и передал остатки извозчику: «Ну, Васяня, двигаем...». Сторонкой, мимо отхожих, потажили поклажу на платформу. У отхожих пришлось переждать, потому что над линией, над всей снеговой открытостью ее у вокзала горели фонари и было очень ясно. Ветер отстал за кустами и за строениями, только метелица сеяла мелкой пылью, но у Петра тряско постукивали зубы... Опять ударил колокол. Вокзальные двери захлопали, выбегали пассажиры; Журкин все не показывался. Вот уже «Максим» кинулся огнями из темноты, за водокачкой. Вот свистнуло, и паровоз оглушительно повалился на народ, как кузница с адским пламенем, за ним галдели и

галдели товарные без конца, потом пошел четвертый класс и вдруг остановился темным тыном. И сейчас же ринулось на вагоны скопище со страшными сундуками. Журкин пробивался, расстегнутый, потный, в сбитой назад шапке; он отчаянно махал стиснутыми в кулаке деньгами: «Слышь-ка, Петра, пропали, нету билетов-то!..». Петр злобно моргал ему, пихал к вагону: «Не ори ты, чу... и так доедем, ты посадку-то, посадку не прохлопай!..». «Да, ведь, заберут за это», — простонал гробовщик.

А сам, без памяти продираясь впереди всех, ловил ногой ступеньку. Перед ним как-раз затерлась баба в необъятном тулупе, с ребенком в одной руке, с непосильным мешком в другой, затерлась так неудобно, что ни сама не пролезала, ни задних не пропускала никого. У гробовщика чуть-чуть выиграло даже, — может, все останемся через нее, дуру... Но Вася ухитрился, отшиб бабу плечом от вагона. Петр ястребом первый влетел на площадку, яростно выдергивая из народа котомку и сундучки свои, — конечно: за ним подняло и Журкина. Последней оглядкой успел ухватить сугробную крышу какую-то, палисадничные вязы, за которыми недалеко совсем — всего двадцать километров! — сокрылась родная уездная глухота... Хотел на прощанье крикнуть что-то Васяне, но тот, уже для забавы, продолжал спиной отшибать бабу от вагона; баба вопила и била его локтем, а Вася орал: «Ах, и народ, ну, и зверь-народ!..».

В тусклой банной духоте вагона сверху донизу торчали ноги, свисали одурелые от сна головы, взвывали тяжелые храпы.

— Налаживай, где потемнее, — суровым полушопотом подгонял Петр.

И по голосу чуялось — другой подымался, настоящий Петр... Он тут же, как бывалый, нырнул на пол между лавок; пооглядевшись, пнул какого-то тощенького паренька, который спал сидя, широко раскидав ноги в лаптях. «Подбери двигалы-то, не в гостях, едрена, развалился...». Паренек спросонок испуганно поджался, а Петр приспособился боком на котомке.

— Лезь, тут места много, — позвал он Журкина.

Колокол рыднул за мерзлым окном.

В Москве

Соустин, он же Николай Раздол, сотрудник «Производственной газеты», поспешно избегал по редакционной лестнице. Он спешил потому, что надвинулся канун праздника, суматошный и ответственный день, и еще потому, что тянуло в эти утренние часы, до прихода заведующего Калабуха, поодиночествовать в пустом отделе, около телефона. Конечно, после того, что произошло в Крыму, он не должен был звонить, и Соустин напрягался, не звонил три месяца, но телефон манил, как легкая, незапертая дверь туда. И сама Ольга, с ее судорожным характером, могла в любое утро появиться в редакционной комнате...

В отделе его ждал сегодняшний номер «Производственной газеты», еще клейкий, пахнувший нашатырем. Как и всегда, пальцы раскрыли прежде всего вторую полосу, важнейшую в газете полосу «промышленного отдела», которую именно он, Соустин, делал с начала до конца.

По верху ее тянулся лозунг из огромных букв: «За новые социалистические методы труда!». Это новшество, вводимое усердно товарищем Зыбиным, замещающим временно ответственного секретаря, подбор материала «букетом» (пять-шесть статей на одну тему), казалось Соустину мало удачным, обедняющим газету. (Вероятно, так думал и заводделом, Калабух, он — умница.) Речь шла о начинании рабочих «Динамо», о котором пресса шумела по всей стране, о вызовах на соревнование в работе, о каких-то разламывающих налаженный ход вещей ударных бригадах...

И в заголовках чувствовалась та же иссушающая рука Зыбина: они теряли свой перец, свою игру, незаметным образом искоренялись из них всяческая хлесткая завлекательность, какой славились особенно заголовки Соустина; последний умел тут щегольнуть, любую, даже канцелярски-скупную, материю

преподнести под распалляющим воображением соусом! Взять хотя бы такие: «*Пицца гигантов*» (об утильсырье), «*История башмаков товарища Синицына*», «*Разбой на Трехгорке*» (о путанице с переадресованием грузов), «*О чем мечтали трубы*», «*Баллада рабочего дворца*» и т. п. А при Зыбине пошли вместо заголовков огромные шапки (Зыбин в основном заведывал партотделом), иногда строчки в две-три, похожие скорее на выдержки из резолюций, чем на заголовки, с обилем всяких «должны», «поддержим», «выполним», «создадим». Да, в газете сказывалась та же прихмуренность, что и на улице...

Поблескивала лакированная коробочка телефона. За нею в трех шагах, в море проплыла Ольга, запрокинув счастливое, терзающее лицо.

В коридоре гулко стучали, устраивали сцену к завтрашнему торжественному вечеру. Близость праздника чувствовалась и в обилии итоговых и юбилейных статей, присланных на правку из секретариата (а сколько еще их было выправлено вчера и позавчера, хватит на неделю!), и во внезапном раскачивании толстого каната за окном: сегодня на фронтоном «Производственной газеты» будут поднимать огромное, усаженное цветными лампочками «ХИ».

Любопытно, кого Зыбин пошлет давать отчет о параде? Неужели на этот раз, из личной неприязни к Калабуху, нарочно назначит кого-нибудь из другого отдела? Кого же? Пашку Горюнова, только потому, что он комсомолец, или Мильмана, или Тимкина, которые обязательно нахалтурят так: «*Серенькое, но бодрое утро... Из конца в конец Красной площади четко застыли стройные квадратики воинских частей...*» и так далее.

Он хотел было отбросить газету, но где-то среди петита почудилась тревожно-знакомая фамилия. Да, да, на первой странице в телеграмме из-за границы о съезде химиков упоминался среди прочих научных представителей СССР и Бохон. Несомненно, не могло быть другого химика с такой фамилией, кроме того самого Бохона, с которым разгуливали вместе когда-то по университетскому

коридору, сиживали голова к голове в одной аудитории. Соустин кончил только два курса, а маленький, старательный Бохончик довел свое дело до конца, вероятно, доцентствует, смотри-те — даже представляет за границей от СССР!

То была не зависть, скорее — тщательное подавляемое далекое беспокойство. Ну, ничего... Соустин (это само собой, бессознательно в нем делалось) рванул из-за пояса гранату, конечно, мысленную гранату, дернул запал, швырнул ее... На месте Бохона все дымилось теперь к чорту, зияло черное пятно.

Это в мыслях... а на деле он просто взял телефонную трубку в горсточку, отвернулся с нею в угол, как с ребенком.

Где-то возник очень толенький, почти девочкин голосок, он пропел: «Да-а!».

Может быть, кончить самотерзание, заговорить сейчас, выдохнуть себя всего?

Позади ненавистно хлопыстнула дверь. Пашка Горюнов, что-то вроде репортера, ботал на весь отдел болотными сапгами, выворачивая на-ходу из нутряного кармана всякую бумажную дрянь, книжонки, сломанные папироски.

— Понимаешь, Соустин, написал статейку-то!

Соустин замахал на него, ужасаясь. В телефоне спросили нетерпеливо:

— Кто это дышит в трубку?

Зацепенел, будто над пропастью. В пропасти бессердечно пиликала по радио заблудшая скрипчонка. А тут еще назойливо выжидали пашкины болотные сапоги, ватное его пальто с какими-то идиотски большими пуговицами, пашкины прямо в рот глядящие, верящие глаза...

Легкий стук, трубку положили.

День глядел через окно морозновато-желтый, дымный. Из этих городских дымов пришел и Пашка, год назад шлифовавший циркули на «Авиаприборе»; у него своя жизнь, сейчас вот бьется над трудной газетной мудростью, мечтает о литфаке. В редакции пока болтаются неприкаянно как-то.

Надо было пересилить себя.

— Ну, как дела, Паша?

— Да вот, снимаешь, статейка эта насчет картин... — Пашка извлек, наконец, из карманной рухляди своей несколько листочков, исписанных чернильным карандашом. — Ты, друг, почитай, главное — насчет образов выскажись. Я, понимаешь, для первого раза образов в нее насобачил, жуткое дело!

Соустин потрогал листочки, мельком проглотил глазами две-три фразы. Этого уже было достаточно, чтобы понять все...

— Ты, Паша, отдай на машинку, а то трудно разобрать. Потом прочитаю и Калабуху доложу.

Кое-что подсказывало ему — не ввязываться особенно в пашкино дело... Речь шла об очередной выставке АСХ (Ассоциация советских художников), на примере каковой «Производственная газета» (вообще уделявшая искусству четверостепенное место) решила, по инициативе Зыбина, отметить и поощрить несомненный поворот художников в сторону чисто производственной тематики. Статейку об этом Зыбин неожиданно поручил Пашке, до сих пор прозябавшему разборщиком рукописей в секретариате. Внимательность к выдвиженцу была проявлена новым секретарем резко, почти ожесточенно, как будто кому-то нало... Статейка предполагалась для оживления отдела товарища Калабуха. В том-то и была суть, что Калабух, обычно разъярившийся от одной видимости покушения на его полссу, на сей раз загадочно смолчал, и в молчании этом Соустин не мог не чувствовать некоего давольнодного злорадства.

— Ты, друг, хорошенько и насчет разных этих... просмотри! Я больше ведь на чутье брал, Зыбин так и сказал: бери на чутье! Ну, я на завод насчет праздничной хроники пошел.

Пашка, получавший теперь поручение за поручением, самоуслажденно предавался деловой своей горячке. Пашку уже обуревали дерзостные мечты — двинуть, например, от газеты на строительство... Бедняга и не чуял, что попал между двумя жерновами... Соустин проводил слухом варварское громохание его бахил, тоже, казалось, преисполненное самых

доверчивых и гордых надежд, и ему вчуже стало жаль парня. Пора было браться за работу. Толстая стопка рукописей, главным образом праздничных и итоговых отчетов по разным промышленным предприятиям, сплошного, без абзацев, буквенного текста, разбитого притом на параграфы: 1, 2, 3... То были дебри, из которых, Соустин знал по опыту, предстояло выйти только к вечеру, уже при желтых, похоронивших день, лампочках, с натруженным, полуоцумелым мозгом. Первая статья, выдернутая наугад, содержала в себе что-то итоговое и перспективное о деревне, — совсем не по специальности отдела! В предпраздничные дни подсовывалось для правки все подряд... Ну, деревню-то Соустин знал, она с детства выросла в него ветляной, пыльной улицей, дедушкиной избой. Сколько, лет одиннадцать-двенадцать, не бывал он в Мшанске? Брови его сдвинулись, надо было работать, довольно о Мшанске... «Посевная площадь колхозов увеличивается с 4,3 млн. га до 15 млн. га». Сестра о том же писала, и, как всегда, жалобно было ее писание, что в Мшанске все по-новому и тоже тянут мужиков в колхоз. Пора бы денег ей послать... «Приведенные цифры показывают, что наша отсталая деревня уже вошла в эпоху величайшей социальной технической революции». Он и сам знал: было чушью все то, что он берег в себе: обрыдлые крыши, ласточки, колокольни, теплая пыль, где бегало когда-то крошечное его тельце. Мшанск на самом деле подымался где-то другой, не нуждающийся в Соустине...

За дверью по коридору хлынули скопом смех, голоса, топоты. Настал час полуденного перерыва; служащие, приходившие в редакцию к 9 часам, спешили впереводку к буфету за завтраком. Технические секретари брали холодные котлетки с черным хлебом и простоквашу; курьеры — селедку со свекольным гарниром и чай; машинистки ели котлетки, простоквашу, селедку и, как женщины, зарабатывающие на свои прихоти самостоятельно, помимо мужей, позво-

ляли себе с утра полакомиться пирожным. Люба Зайцева принесла Соустину в отдел домашний завтрак, довольно об'емистый, завернутый во вчерашнюю газету — от жены (с женой, вследствие неопределенных квартирных обстоятельств, они жили пока раздельно). Эту Любу, сестру жены, Соустин устроил машинисткой в «Производственной газете». Люба спросила, придет ли он погостить на праздники.

— Не знаю, у меня, вероятно, будет отчет о праздничной Москве и о параде, придется везде ходить, потом работать.

— Значит, не придешь, — сказала Люба. — А Катя пельмени хотела для тебя сделать.

Она привыкла, отдав завтрак, полуприлечь на несколько минут около него на стол, думая о чем-то, подложив под локоть сумочку. Совсем рядом виделись ее брови, разлетающиеся углом; глаза, потускневшие от оконного света, в который они засмотрелись безвольно; иногда, за неосторожно открывшейся блузкой, маленькая, вялая грудь. Ну, что ж, Люба была своя, Соустин любил нянчить ее Дюньку, как родного! Он погладил ей руку; но Люба вдруг мучительно расплалась.

— Что с тобой? — подивился он.

Люба вильнула своей пышной юбкой, — сама она была тоненькая, но юбки раздувались пышно на ней, как кринолины, — и расхохоталась, так расхохоталась закатисто и неудержимо, почти до страдания, избегая глядеть Соустину в глаза, что ей пришлось выбежать. Соустин не удивился: несмотря на семь лет родства, Люба всегда проходила мимо него каким-то диковатым ветрсм.

... Подступали самые горячие, крутые часы работы.

Чаще хлопают двери отделов и поспешнее пересекающиеся шаги в коридоре. Приходят заведующие отделами; грохнув застегнутый на ремни, чемоданистый портфель на край стола, тотчас смотрят на руку с часами, ибо большинство из них начальствует еще в наркоматах или ведет партийную работу высокой трудности.

Обычай такого совместительства остался от недавнего прошлого, когда

«Производственная газета» выходила не более чем в 40 000 экземпляров. Но годы запахла по-другому — цементом, известью, железом; горизонты зазубрились силуэтами строительных вышек. Сквозь все закоулки жизни разветвлялась огромина пятилетнего плана, концы его уходили в мечту. Участок, который занимала хиреющая газета, оказался одним из самых боевых. Перед ней открывалась непочатая жила вопросов, полных злободневности и пафоса, ее голос начинал достигать до всех новостроек. За одну трехмесячную кампанию тираж «Производственной газеты» вырос до 75 000. Понадобилось увеличить число сотрудников; прибавился новый отдел — кадров. Прежний промышленный отдел, ведомый Калабухом, предполагалось ввиду обилия и несродности тем разбить на два: социалистического строительства и эксплуатируемых предприятий.

В два пришел Калабух. Его всегда задерживали или райкомовские дела, или что-нибудь вроде семинара в Институте красной профессуры. Да, сегодня он и имел право опоздать: ночью выпадала его очередь нести обязанности дежурного редактора в типографии (как заведующий важнейшим отделом, он выпускал ответственный номер газеты). Он сбросил шинель по-походному (после недавних маневров Калабух носил только военное), сбросил ее прямо на стул, у него в портфеле было что-то чрезвычайно спешное.

— Вот тут моя подпередовая статья на завтра. Будьте-ка добры, прочитайте ее до машинки. Может быть, если нужно, э-э... кое-где слегка подчистите слог.

Соустин с готовностью принял рукопись. Доверие Калабуха к его стилистической опытности, даже признание некоторого превосходства Соустина в этом отношении — льстили...

Подпередовая для праздничного номера, — она будет пущена под решеткой из строительных вышек и заводских труб, прорезающих рассветный горизонт, — называлась: «XII годовщина Октября и итоги первого года пятилетки». Тут само собой напрашивалось что-нибудь более сжатое, с мечтательным многоточием на конце, вроде: «На

пороге тринадцатого...», или «На рубеже тринадцатого...», или даже «На грани тринадцатого...». Заведующий, одобрительно хмыкнув, выбрал «На пороге тринадцатого...».

В первой половине статьи Калабух поставил своей целью — энергично и с большим подъемом живописать размах советского строительства за истекший год. В Ростове на Сельмашстрое пущен первый цех. На Турксибе уложено 940 км. рельсов, что составляет более 60 проц. всей магистрали. На Уралмашинстрое закончена постройка цехов металлоконструкций и ремонтно-строительного. В Сталинграде близки к завершению самые грандиозные цеха тракторного завода — механический и сборочный. Огни строек озаряют Свердловск, Нижний, Мариуполь, Челябинск, Магнитогорск, Днепр... Ряд районов страны переходит на сплошную коллективизацию. *«Этот год, — говорилось дальше в статье, — шел под знаком решительного наступления на капиталистические элементы города и деревни. («И здесь та же незаглаголющая гроза...».) Наша партия сильна своим предвидением и умением сочетать революционную теорию с революционной практикой. Мы будем и дальше продолжать это наступление, конечно, не подрывая при этом производственных возможностей деревни (в особенности при наших колоссальных контрольных цифрах в индустрии)...».*

«Конечно, не подрывая...». Оговорку эту Соустин нашел весьма уместной, она несла в себе нечто успокоительное, напоминала о государственном чувстве меры... Он только обратил внимание Калабуха:

— У вас тут два раза «при». Фразу в скобках я изменил бы так: «в особенности, если учесть колоссальные контрольные цифры нашей индустрии».

Калабух размышлял.

— Вычеркните это место совсем. — Подошел, наклонился сзади. — Да почернее, почернее! Дайте, я сам... — в нетерпении выхватив у Соустина перо, он не зачеркнул, а залил строчку чернилами.

Соустин попутно заметил:

— Я получаю письма из провинции, из деревни. Там все опять разворочено, как в восемнадцатом. Очевидно, революция, товарищ Калабух, не терпит длительных спокойных передышек?

Калабух, прошагав грузно, по-военному, остановился у окна. То была поза мыслителя: руки назад, взгляд рассеянно прищурен, он созерцал не вовне, а внутри себя.

— Еще старик Фихте сказал... — Он произнес это не без поощрительной иронии, как бы многое по-свойски прощая добряку Фихте. — Еще старик Фихте сказал: мы, человечество, ставим себе задачи и разрешаем, чтобы в их разрешении найти еще более высшие задачи!

Соустин слушал с подчеркнутой внимательностью. Нет, тут было не унаследованное от Мшанска, дедовское, мужицкое низкопоклонство; Калабух обаял его чем-то... Бывший наборщик, бритоголовый, курносый и по-бычьему насупленный, в обвислых защитного цвета шароварах и гимнастерке, — как мало согласовались с такою внешностью и биографией его неожиданная ученость, культурная широта обобщений, почти профессорская изысканность цитат!

Но Калабуха прервал курьер, принесший пашкину, перепечатанную на машинке, рукопись. Соустин вышел из-за стола, чтобы напомнить, в чем дело. Завотделом не читал, а скорее, дергал, сморщившись, страницу за страницей. Он равнодушно бросил рукопись, замирающего в надежде Пашку, вместе с его бахилами, бросил на стол.

— Отдайте тому, кто заказывал.

— Но товарищ Зыбин сказал...

— Пусть товарищ Зыбин и печатает, где хочет.

Равнодушие было напускное; за ним пряталось явное удовлетворение, псжалуй, даже предвкушаемое торжество... Соустин на ходу перелистал рукопись. Конечно, задание дали Пашке не по силам. А он еще, по своей пылкости, перестарался в иных местах, подпустив такой лирики, что за него морозным стыдом подирало по спине. Соустин жалел парня, хотя и знал, что Пашку

взлелеивали как будущего его соперника.

Зыбин, очень занятый своими делами, взял статью, не глядя. Хорошо, он сейчас сам поговорит с Калабухом. Он вообще мало или как-то черство замечал Соустина. Может быть, даже считал, что для редакции больше не нужен такой?

Дело было не в Зыбине. Из-за него глядел завтрашний день, готовящийся как будто заново, безжалостно пересмотреть людей и их дела, день, в котором Соустину могло не найтись места.

Впрочем, мысли об этом жили пока туманно. Соустин опять пал грудью на свои рукописи. Он кушал уже эту пищу без аппетита, но статья о хлебозаводе его все-таки заинтересовала.

Хлеб, хлеб, вот он теперь как делается!

Огромные чаны, в которых пухнет опара, мощные лопасти месилок, а тесто режет механическая делительная машина на равные, одинакового веса и величины куски... Конвейер подает их в печь, эти пузатые, пахнущие Мшанском, юностью круглыши. Только в Мшанске калачная помещалась в полуподвале, где густая железная муха гудела и осыпала стены черной листвой, и тело взлипало от ядучей огненной духоты, так что подпекарь Колька Соустин работал в одних подштаниках. И пот его капал прямо на жирные пудовые тестяные оплывы, которые он кулачил и с крехотом ворочал с боку на бок своими наболелыми, малосильными еще кулаками. Прилипшие к рукам ошурки скабливались потом опять в корыто с тестом, чтобы не пропало добро. И пылающие глянцево-желтые, розоватые караваи с писком остывали на верстаках, на полатах, на кочкастом от грязи полу. «Почему они пищат?» — спросил он как-то, еще дитенком. «Дак они с котятками» — пошутил хмуристый деловой дед.

Неожиданный голос Зыбина сказал:

— А статейку-то, Калабух, придется все-таки напечатать.

Зыбин вошел неслышно, во время грез, казалось, проплыл сквозь стены.

От человека отлагалась в памяти его высокость, неторопливая, слегка пригорбленная, его волосы, вставшие на голове желтым кудлатым хохлом, — такую прическу носят студенты-физкультурники, она дрожит на-бегу и раздувается на висках, как рога.

Калабух стучал пальцами по газетному листу.

— Что у нас, товарищ Зыбин, большая, серьезная политическая газета или место для упражнения малограмотных? Ты даешь заметку по искусству, по одному из важнейших отделов культуры! И ты хочешь сунуть читателю позорную, смешную мазню, дребедень?

— погоди, погоди, Калабух. В условиях пятилетки газете нужны новые кадры, с нашим, рабочим нюхом...

— Нет, ты почитай! — Калабух, выдернув у него рукопись, кинул глазом на Соустина, как бы приглашая его поторжествовать вместе. — «На картине нарисован сильный, мускулистый (ну да, обязательно мускулистый!) рабочий, который могучим ударом выбивает из болванки искры, словно волшебные бриллиантовые цветы». Дальше! «К сожалению, нарисовано все очень мрачной краской, не давая понятия поэзии пролетарского труда...».

— Ну, подправить, подсократить, заметочку сделать, подбодрить парня. Парень способный, он, понимаешь, во время борьбы с троцкизмом мобилизовал у себя на заводе стенгазету — во! Парень читает, стремится...

— Так, Зыбин, не подбадривают. Ты знаешь, что такое культура? Ее кустарщиной, наскоком не возьмешь... как вообще и многое прочее...

— А что еще прочее наскоком не возьмешь? — тихонько полюбопытствовал Зыбин.

— Я говорю, Зыбин, что ты делаешь вредное дело.

— Я делаю вредное дело?

— Да, ты делаешь вредное дело. Статью я не напечатаяю.

— Пойдем к редактору.

— Пойдем к редактору.

Зыбин, вспомнив, обернулся от порога.

— Кстати, товарищ Соустин, завтра пойдете на парад для отчета.

Соустин кивнул, приятно вспыхнув. Ага, значит, он еще нужен! Привстал, чтобы удержать Зыбина, расспросить подробнее о задании, но того в самых дверях задержала женщина, она ворвалась в шубе нараспашку, морозно-свежая, смеющаяся, неуместная, — его жена, Ольга Львовна.

— Тоня, — она повела смеющимися дремотными глазами и на Калабуха, и на Соустина, — мне, конечно, нужно денег!

— Ну, матушка, с домашними делами потом... иди, подожди в секретариате.

Оба они с Калабухом, должно быть, ушли: Соустин, не поднимая головы, слышал, как хлопнула дверь. Но женщина, он чувствовал, осталась в комнате. Вот она тихо подошла к его столу; она наклонилась над его головой. Ее телесное тепло, смешанное с духами, с фиалкой, жалело и баюкало его.

— Здравствуйте, Коля, — сказала она.

Соустин не мог ничего выговорить, в глазах все ломалось и плыло, как тогда в Мисхоре.

— Зачем все так случилось? — спросил он.

Женщина стояла над ним, поддаваясь ему, улыбаясь закрытым ртом, прежняя неутоляющая Ольга, и те же под глазами припухлости, от которых глаза какие-то дремотные, воспаленно-сонные... именно их сонность очаровывала, преследовала потом.

— Ты вправду пришла за деньгами?

— Ну, конечно, нет. — Ольга утешала, гладила его по голове.

Соустин взял ее руку и ладонью закрыл себе глаза. Вот и опять он с любимой, с любимой... Была темнота и бесконечный благодатный отдых... Она легонько отнимала руку.

— Коля, осторожнее... Когда мы увидимся?

Завтра — вечеринка в редакции, послезавтра он освободится... Ну, к семи. В переулке, да?

Ольга, лукавая, допрашивала его, она же знала заранее ответ:

— В каком переулке, ну, скажи!

— В счастливом переулке.

Она вскользь оглянулась на дверь и наскоро подставила ему теплые, чуть обветренные губы. В распахнутой ее шубке все было уступчивое, изласканное. Он потом сидел несколько минут, сладко ломая себе руки.

Вошел Калабух, неся рукопись обратно, лицо его пятнисто горело.

— Сколько здесь: строк полтора, двести? Сделайте заметку строк на срок.

— Неужели все-таки печатать? — из сочувствия подивился Соустин.

— Да, надо печатать, — резко оборвал Калабух.

Соустин примолк. Очевидно, редакционный спор перерос уже в иную сферу, где не место было беспартийным замечаниям, где стиралось беспрекословно даже самолюбие Калабуха. С Соустинным разговаривал член партии.

Впрочем Калабух не мог подавить какой-то хандры, тотчас начал одеваться, набивать портфель, как попало. Он сказал, что сходит пока к Китайгородской стене, на книжный развал, посмотреть что-нибудь из книжонок, а потом пойдет часа через два — подписать полосу. Соустин вздохнул освобожденно: ему тоже необходимо было хоть раз пробежать с расплавленной головой по морозному ветру, вокруг ГУМ'а.



Калабух нес добычу с книжного развала: полного Гейне без переплета и несколько философских сборников предвоенного времени. Этот вид азарта овладел им лишь за последние два года, когда Калабух обосновался, наконец, по-семейному. Может быть, он заразился им с тех пор, как побывал в профессорских квартирах, где самый воздух от изобилия волюмов подернут благоговейным библиотечным полусумраком; может быть, того требовало, по его мнению, то дело, которым он горел сейчас с мальчишеской страстью, — освоение высшей культуры: ему тоже очень хотелось видеть все четыре стены своей квартиры на Остоженке до

потолка замурованными в книги, хотелось того же солидного полусумрака. Пока за два года он заполнил лишь две стены. Тут были, конечно, классики марксизма, были кое-какие классики философии в переводах, целая полка пестро-красочной «Академии», а среди прочего, составлявшего 60 процентов рыхло-беспереплетного, ощерившегося драными корешками и почему-то особенно милого сердцу хозяина барахла (пристрастие к случайным, дешевым находкам!), можно было найти и том Ницше, и собрание сочинений Горбунова в приложении к «Ниве», и «Университет на дому», и книгу Леонтьева, и библию без двух первых страниц, и старый альманах «Шиповник».

Удачная покупка несколько загладила даже дневную неприятность. Гейне стоил всего три рубля, — Калабух похвалился перед Соустиным, — полный Гейне! А философские сборники обещали немало вкуснейших минут: в подлиннике познакомиться с представителями рафинированной идеалистической мысли предреволюционных лет (тут институтская публика обычно многим пренебрегала, довольствовалась передачей из вторых рук, или даже сносками, помещавшимися внизу страницы под звездочкой), самому критически проследить, из какого угла завивается здесь ядовитая метафизическая паутина; полезно было бы даже, для иллюстрации в этих целях, цитнуть при случае на семинаре подлинного Лосского, Франка, Бердяева... А «Творческая эволюция» Бергсона уже сегодня могла скрасить докучные часы дежурства.

Потеплевший от хорошего настроения, Калабух предложил своему сотруднику поехать домой вместе на машине; хотя Калабух и не был уже членом бюро райкома, райкомовская машина еще предоставлялась ему как бы по инерции. Портфели по отделам застегивались; рабочий день временно затухал в редакционных клетушках, чтобы вспыхнуть тысячесвечевым светом в ночной типографии.

Сегодня там набирался ответственный номер газеты.

У под'езда в сумерках порхал шерстяной нетающий снег, первый снег за осень, белым налетом набивался в расщелины булыжной мостовой. Хлопья его сияли насквозь в цветных, леденцовых огоньках иллюминации. Что-то из прошлого поднимала мрачно-красноватая озаренность камней.

Когда машина тронулась, Соустин сказал:

— Мне подумалось: вот мы два дня кипим, суедемся, нервничаем, готовим праздничный номер; телефонные звонки, спешка, головы трещат, и так везде и всюду. А ведь не каждый вспомнит, переживет по-настоящему, от сердца: что вот ровно-ровно двенадцать лет назад был такой же вечер, в сумерках так же падал снег и какие-то солдаты сходились к Зимнему дворцу.

До Калабуха дошло, он насупленно, с достоинством кивнул.

— Да, да, вспомнить есть что, товарищ Соустин.

Машина замедленно шла центральными площадями. В колоннах Большого театра пылали знамена, как бы над уходящей вглубь толпой. Закончивший свою работу народ кружил в разноцветном снегу, скапливался у трамвайных и автобусных остановок, рвался ехать и жить. Для иных после службы начинается другая жизнь. В семью, где такой уютный, почти солнечный круг падает из-под абажура на обеденный стол! Пусть хоть на вечер немного присомкнутся глаза, и вот ты на глухом милом острове, ты ерошишь головки своим ребятишкам, тебе несут чай, захочешь — развернешь «Анну Каренину». Над сутолокой, над огнями вечерних улиц летел курносый, насупленно-деловой профиль Калабуха. Калабух продолжал мыслить вслух. Да, ровно двенадцать лет назад — то был настоящий, народной глубиной рожденный напор! Но от восстания революция переходит в глубокие органические процессы, в новые скачки... Наше дело — подталкивать и верно направлять эти неизбежные процессы, товарищ Соустин, а отнюдь не пресекать и не насиловать их, — вот в чем правильное руководство.

Может быть, огни и воспоминания слишком возбудили Калабуха, развязали его? Но, ведь, он был из тех немногих ценных, которым позволялось чуть-чуть больше, чем прочим.

Вот он, Калабух, полулежал, покачиваясь. Конечно, и его тело, тело сурового партийца, тоже было человеческое, любило побаловаться, покачаться на мягкой машине. Соустин прощал, потому что понимал. И можно было чувствовать себя успокоенно под крылом этого большого, прочного человека. За ним — мерная государственная жизнь, без ломки, без будоражных бросков, а значит, без тех пересмотров и неизвестностей, которые могут свалиться на голову завтра же (Зыбин!) и еще дальше отбросить Соустина от вождя, пока не дающей ему цели, без которой не жить... Да, органические победоносные силы возьмут свое!

Вспомнил:

— Кстати, товарищ Калабух, я без вас сдал подпередовую в набор. Там одно выражение вычеркнуто.

Калабух обернулся, мрачней.

— Как вычеркнуто?

— То место, где говорится, чтобы... наступать на кулака, не подрывая производственных возможностей деревни. Вот именно это «не подрывая» вычеркнуто. Судя по зеленому карандашу — товарищем Зыбиным.

Калабух помолчал, потом фыркнул:

— Т-тупи-ца!

Машина подплывала к Остоженке, к истокам бульваров. Послеслужебный народ доезжал здесь уже до домов, распложаясь с трамваев по улицам; мимо фонарей хлопчатый севом шел снег. Машина взлетала горбом Остоженки к переулку, где жил Калабух. Но он раздумал ехать домой и хмуро спросил Соустина, подвезти ли его на Арбат, к квартире?

Соустин решил сойти здесь, ему нужно еще потолкаться по улицам — для праздничного отчета. Он понимал, что теперь не до него.

Машина, рыча, заворачивала: шоферу было приказано — немедленно в типографию. Калабух, едва кивнув, сидел громовержцем.

Пусть... В лицо Соустину пахнуло снегом, свободой. Ольга обитала неподалеку; и этот поворот улицы, и монастырек на углу, и разбег трамвая сжались с торопливым, поздним ее шагом, с торопливым прикосновеньем щеки на прощанье. Не потому ли и сошел здесь, чтобы опять коснуться этой возвращенной ему земли?

А земля голубела, багровела от разрастающихся, вскинутых ввысь огней.



...Народ двигал свою большую тесноту медленно, величаво. Те же, что и в будни, каракулевые воротники, те же модницы, у которых юбки расхлестывались на-ходу, обнажая крутые, телесного цвета колени, парнишки в ядовитоклетчатых кепках, пожилые, выбравшиеся на улицу полностью с семейными гнездами, — но все это гуляло сегодня иначе, освещаемое непрерывным заревом сверху, гуляло население фантастической и вместе с тем реальной, противопоставленной всему миру страны.

Соустин оглядывал текущие мимо него радостно глазающие лица. Вспомнил один недавний разговор с Калабухом... Как-то ночью Соустин показал ему с типографского балкона на путаную огнистую Москву (подумалось тогда: «как евангельский дьявол-искуситель поставил его на краю скалы!») и спросил: «Скажите, товарищ Калабух, только поймите, хочется настоящей, нештампованной правды: не кажется ли вам, что, несмотря на месткомы, на общественность, на клубы, это пока город очень одиноких внутренне людей?». Ожидая ответа, почти уже раскаивался... Но Калабух замешкался лишь потому, что тоже хотел быть глубоким, нештампованным, и он ответил: «Ну, как вам сказать... В какой-то степени...» — и дальше начал что-то про переходную эпоху. Но, ведь, Калабух и не сказал, не сказал все-таки прямо «нет!».

Мысли Соустина вдруг пресекались. Он понял, что сам же, одновременно с этими мыслями, внимательно и как будто со стороны слушает себя. И не только слушает, но и безжалостно оценивает, ка-

кие и откуда идут эти мысли и действительно ли самая последняя и самая глубокая та правда, о которой умничал с Калабухом... То был смутный в нем и непостоянный судья... «Но если я точно же отмечаю в себе все враждебное, значит, я внутренне знаю, где верное-то, настоящее, значит, я не враг...».

Это утешило его; мало того, позволило осмотреться кругом с некоторым превосходством. У него были и другие основания, чтобы смотреть с превосходством: вот все эти люди праздно и бесполезно гуляли, а он, гуляя, выполнял работу, притом, как он считал, особого, благородного сорта работу, не какую-нибудь чиновно-канцелярскую. И уже первая фраза слагалась: «Чем ближе к центру, тем ярче на улицах многоцветные сияния, тем гуще и оживленнее потоки трудящихся. Всюду видны...».

В самом деле, становилось все теснее; на площади, против Дома Союзов, народ уже не гулял, а стоял плечом к плечу, и иллюминированные фасады опускались в него, как в воду. Поднимали над головами детей. И дети, родившиеся уже советскими, растущие для нового, невиданного века, глазели на огни, и их малахайчики, их грубошерстную,образную эпохе одежду обливало, как бы из будущего, голубое и красное зарево...

Соустин вынул записную книжку.

«Пять в четыре — вот что главенствовало, сверкало из каждого угла.

И он записал про огненную пятерку, которая через каждые три секунды перечеркивалась победно вспыхивающей четверкой. Он списал также лозунги, развернутые в белом пожаре лампочек на колоннах Дома союзов; в нынешнем году были не лозунги, а целые статьи с цифрами и процентами, даже какие-то диаграммные кривые... Так же, как и в заголовках Зыбина, и здесь все упрямовало об одном... Он писал так долго, что прохожие начали медлить около него и заглядывать через плечо.

Потом через Красную площадь шел к Москва-реке. С того берега ударило в глаза солнечное пылание Могэса. Прилечь на парапет и смотреть в пламенно

расцветенную воду, как в сон... Прошедшие, оставшиеся сзади улицы смешались в памяти в один чудовищный вихрь огней и народа. А за ними еще какая нескончаемая, светящаяся глуть Москвы! Над туманным Замоскворечьем плавали там и сям многоцветные башни... Ясно, что Соустину никогда было не охватить этого, — не огней, а того, что подымало их в эту ночь, что разумелось за ними. Строчки, заранее придуманные им, были пустячные, паразитные... Да и вообще газета только случайно спасла его от безработицы, и никогда у него не лежало сердце к этому ремеслу, в том-то и заключалось главное! Разве он не понимал, что скоро уже не нужно будет его умело сделанное словесное плетенье, его хваленый язык, сложно-придуманный, полный отглагольных существительных, под Анри де-Ренье, каким он обыкновенно писал свои отчеты о парадах на Красной площади и о пленумах Моссовета... а больше тут он ничего не умел, — и другие обгонят его, те же Пашки, которые хотя и все видят, везде ездить, по каждому поводу горячиться, во все вмешиваться... Но, ведь, он тоже мог бы сделать кое-что, если бы ему дали ту, настоящую, его работу, мыслями о которой трепетал он с юности, о которой даже создавал себе разные сказки... тот же Бохон учился, ведь, хуже его! Но нужное для этого напряжение все откладывалось и откладывалось; каждую ночь, засыпая, обещая себе обязательно завтра же или послезавтра выцарапать для себя, чего бы это ни стоило, возможность доучиться; пойти даже на отчаянность, для начала хоть уборщиком внедриться куда-нибудь в химическую лабораторию... Но проходили дни, и как-то не мог все собраться; проходили месяцы; и, засыпая, уже перестал себе обещать; и все тоскливее становились эти засыпанья, с падающим сердцем, с безнадежно ломаемыми под одеялом руками: ведь, ему, считавшему себя все еще неустроенным юношей, пошел 35-й год!

Семь лет назад Соустин, демобилизованный командир, шел утром вот по

этому самому Каменному мосту. Перед ним, вся в солнце, поднималась впервые увиденная Москва, которую еще нужно было завоевать. И в то утро верилось, что завоеует, что непременно добьется своего, потому что и Соустин был участником добычи, он участвовал своим телом, жизнью. В то утро все начиналось заново. Отвалилась навсегда скаредная дедова кабала, не нужно было тягостные рубли тянуть с брата Петра на свое образование. Имущества — только на плечах трофейная английская шинель!

Впрочем, имелись еще золотые часы, награда от реввоенсовета армии. Соустин любил иногда вспомнить, что завоевал для советской власти три села; Соустин со своим батальоном взял их в 1919 году. Дальше предстояло взять даже небольшой заштатный городок, но тут комбата, к его досаде, подкосил сыпной тиф. Буйствующего, его связали и отвезли в тыл, в Верхнеуральск. Командование батальоном принял Миша Зайцев, командир роты.

Для больного комбата разыскали самую чистую избу — не то у попа, не то у лесовода. Дочь хозяина звали Таней, петербургская медичка, не кончившая курса. Наперекор шипящим родственникам Таня приютила командира на своей постели, три недели спала подле него на полу, ходила за ним, обтирала теплой водой. Однажды в синий морозный вечер к станции подошел санитарный обоз. Командир почти выздоравливал. Таня пожалела и себя, и его и полежала с ним в этот последний вечер, просто полежала рядом, потому что он был еще, как дитя. Потом, в поезде, качаясь на подвесной койке, в тепле, командир читал Анатоля Франса; он едва лишь выходил из своих бредов, глаза сами закрывались от чересчур резкого дневного света,—и Таня, и Таис у Франса были одно и то же...

С Мишей Зайцевым он встретился, когда Колчака гнали уже под Омск; Миша застрял поближе, служил в армейском снабжении; он и друга построил около себя, в окружном военкомате. «Знаешь, Колька, я, ведь, между

прочим, женился» — удивил он Соустина. Вечером пили чай у семейного Миши, который был дельным, хозяйственным, хотя и не очень далеким парнем (коммерческого училища так и не кончил). Когда Соустин в первый раз увидел жену его, Любу, от неожиданности показавшуюся ему невыразимо прелестной (не поверилось, что такая согласилась на близость с Мишкой), больно стало, как будто его обокрали... Но Катюша, сестра ее, тоже ему понравилась, — только на год постарше Любы и спокойнее. Обе — сироты, учительницы. С Катюшей сидели подолгу, от холода прикрывшись одной шинелью, и Соустин рассказывал ей про себя, про Мшанск, про непутевого отца, которого за озорство и драки звали Собачкой; один раз просидели так до утра. Тогда в последний раз — туманно, непоправимо, нездешне—прошел перед ним образ Таис. Это случилось, когда Миша с Любой уехали в Москву. Они ухитрились в Москве заполучить квартиру и небольшую комнатку в ней уступили на время Соустиним.

В первый же вечер приезда Соустин повел Катюшу на Моховую, показал ей через ограду университет. Но прежде, чем думать об университете, надо было найти службу. Миша уже работал, заведывал магазином скобяных товаров на Таганке, за большим он и не гнался. И Соустину, как демобилизованному командиру, дали место в первую очередь, правда, довольно захолустное: одним из секретарей в коллегии по делам пленных и беженцев (сокращенно: Пленбеж). За этими хлопотами пропала осень; университет пришлось отложить до будущего года; Соустину шел двадцать восьмой... Ждать, добиваться своего становилось все интересней. В магазинах, на улицах все больше прибавлялось благ, которых можно было бы пожелать. Впрочем Соустин оставался к ним равнодушным. Для счастья вполне было довольно, когда вчетвером они устраивали вкусную и уютную пирושку на три червонных рубля. Сюда входило: полбутылки горькой, фунт ветчины, огурцы, полбутылки портвейна

для Катюши с Любой. Соустин, прибавив от себя немного денег, приносил жем еще плитку шоколада. Когда шоколад обнаружился в конце вечера, Люба хохотала и кричала «здравствуйте!», а Катюша улыбалась до слез. От вина разгорячались, из будущего обещалось что-то еще более вкусное, неиспытанное, просторное... Люба давала Соустину гладить свои пальчики под столом, и все вместе мечтали вслух, как они подкопят денег к лету и закатятся на юг, будут валяться голышом у моря, которое они видели только на открытках.

Через восемь месяцев коллегия Пленбеж ликвидировала свои дела и закрылась. Во второй раз биржа не устраивала командиров вне очереди... В полуподвальной квартире из двух комнатшек стало тише; Люба забеременела, Миша ходил торжественный и озабоченный. Катюша тоже записалась на биржу, а пока, взяв у соседей на подержание швейную машину, шила на заказ кое-какие платяшки. Месяца через два Соустину опять дали работу, но пустяковую: вместе с мальчишками-студентами переписывать население. И хватило этой работы лишь на неделю. У Миши дела обстояли лучше. За зиму он сделал Любе шубку вишневого цвета с японской лисой и черное шерстяное платье, модное, отделанное цветной аппликацией. Катюша ходила в вывезенной из Сибири английской шинели. И у самого Соустина набивалась в худые сапоги и неприятно хлюпала в чулках ледяная грязь. Он исчезал с раннего утра, никто не знал бесконечных его хождений и околичиваний по Москве; возвращался к поздней ночи и ложился на краешек постели, чтобы не потревожить Катюшу. Однажды она все-таки дождалась его: сидела и шила. Он увидел ее наклоненный над работой, старательный, освещенный близкой лампочкой лоб, — что-то праздничное, бальное было в таком освещении, в светящихся насквозь молодых волосах; но у них с Катюшей в прошлом никогда не было ни вечеров с танцами и влюблением, ни радостной, праздничной свадьбы, и Катю-

ша не пеняла на это, — вообще, она не жаловалась никогда и ни на что. У него сердце сжалось. «Катюша, — сказал он, — ты записывай, если чем пользуешься от Зайцевых, все записывай; я, наверное, устроюсь скоро, и мы им отдадим. Но ты у меня молодчина все-таки, никогда духом не падаешь!». Должно быть, не следовало так душевно говорить; Катюша очень низко, чересчур низко и старательно наклонила голову к шитью, но Соустин все равно не мог не видеть, как посыпались слезы, частые-частые, молчаливые. его самого хватающие за горло. Он утешал ее, — ведь, у него уже придумано много кое-чего верного и выгодного, что даст им возможность продержаться. Катюша, ведь, знает, какой он здоровый, ловкий, способный ко всему!

На следующий день Соустин попробовал, подошел на бульваре к бродячему фотографу. Пронзительно среди снегов голубела декорация с замками и озерами, какие могут привидеться только в тифу. Соустин вежливо спросил, где бы можно купить или заказать такой аппарат. Фотограф тяжело, с ненавистью оглядел его, помедлил и сказал: «Проходи». То не первая осклаивалась в явь волчья морда... Соустин отвернулся и побрел на Арбат, где еще раньше заметил один ювелирный магазинчик. Хозяин долго рассматривал и взвешивал часы. «Ценность их немного уменьшается, гражданин, мы должны соскоблить надпись». «Соскабливай, соскабливай, сукин сын» — подумал про себя Соустин: прощально пронеслись перед ним сугробистые увалы и три села — Лещиновка, Биялык, Маймашево, которые, наверно, давно забыли о нем и существовали сами по себе; вообще, новая жизнь отлично управлялась и без него... За часы дали двенадцать червонцев. И хотя Катюша сумела истратить их очень выгодно, — перекрасила свою английскую шинель и сделала из нее приличную шубку с котиковым из кролика мехом, затем купила себе осеннее клетчатое пальто, какого не было и у Любы, а Соустину новые сапоги, — все-таки вот тут-то, после продажи часов,

совсем беззащитно, зябко сжались оба перед будущим.

У Зайцевых родился Дюнька. Соустин стал возвращаться еще позже, на цыпочках прокрадываясь тотчас к постели; в сущности, это было варварство по отношению к ребенку — четверо взрослых теснились и дышали вместе с ним в двух крошечных комнатках. Но где же тут было думать о комнате? А Миша преуспевал; к магазину ему прибавили еще склад и увеличили жалование до 96 рублей в месяц. Добряк страдал перед Соустинными за свое благополучие, всячески старался помогать им и подстраивал что-то у себя в магазине, чтобы освободить для Коли хоть место продавца.

И все перевернулось от одной случайности... Началось с того вечера, когда Миша решил по-богатому sprysнуть свою прибавку и полугодие дюнькиной жизни. Соустин вернулся из своих скитаний пораньше, в сумерках, и почему-то подошел сначала к окошкам. Окошки не поднимались высоко над землей, и поверх занавесок можно было увидеть раздвинутый белый стол, Любу в праздничном платье, с ребенком на руках, Катюшу и Мишу, приодетого и особенно статного, которые хлопотали над убранством стола. Там переживались сейчас самые взволнованные, самые уютные минуты перед прибытием гостей... Соустин потихоньку отошел от окна, выбрался опять на улицу; через полчаса он покупал себе билет в арбатском кино. Впереди него к зеркалу порхнула женщина; пленительное манто ее шумело и благоухало и заставляло сторониться, и, хотя она оскалила рот, чтобы удобнее было покрасить губы, все-таки лицо ее оставалось тонко-медальным, уводящим. В дверях стоял зритель, комсомолец; у вешалок — капельдинер; оба многозначительно переглянулись с Соустинным насчет этой дамы.

О, благ становилось кругом так много, так до сказочности много, что в человеке, пожалуй, нехватало бы сил пережить всего!

Ночью он доехал на трамвае до вок-

зала. На мосту просветил и прогрохотал поезд. Гудок летел откуда-то из лесов, из деревень, из осени... Нет, возвращение на старое пепелище, к брату Петру, было невозможно. У Петра нищая мелочная лавчонка, торгует он конфетами, тесемками, мылом, жалуется, что самого теснят, и все не то, что раньше. Ехать туда было и бессмысленно, и, после всех надежд, позорно... Все-таки взял тогда билет, доехал до Малаховки, но в лесу было по-осеннему грязно, разметать свое отчаяние, хотя бы в ходьбе, было негде; и гудки проходящих поездов щемили, приносились из седого, из родины, из детства и гасли там же, в сказочной глухоте.. Всю ночь промерз в какой-то будке, нарочно опоздав к последнему поезду. Утром Соустина шатало, и болели глаза от бессонницы, когда вышел на вокзальную площадь; хотел опять вернуться на вокзал — поспать, и вот здесь встретил у трамвая пожилого, очкастого человека, с большим сальным добрым носом. Никто иной не мог обладать таким носом, кроме вечного студента, Григория Иваныча, его первого учителя, отбывавшего когда-то высылку в Мшанске.

Этот Григорий Иванович, хотя и беспартийный, проснулся после революции человеком с высокими знакомствами. Без всякой просьбы со стороны Соустина тотчас написана была влиятельная записка редактору только-что нарождающейся «Производственной газеты». Помимо того, Григорий Иваныч, безнадешный холостяк, пригласил Соустина ночевать у него хоть неделями. Вероятно, какая-то радуга падала от Соустина в его, Григорья Иванычеву, мшанскую молодость!

В один из вечеров Соустин, уже секретарь редакционного отдела, отягощенный всякими покупками, возвращался в прежнюю квартиру. Катюше в тот день было оставлено 30 рублей, чтобы отпраздновать поступление на работу действительно по-особенному. Чего-чего только, самого дорогого, красивого, вкусного, не нагромоздилось в тот вечер на столе! Опять жаркие от молодости щеки у счастливой, тихой Катюши, и си-

яющий за всех семейственный Миша, и Люба, стеснительно и непонятно вспыхивающая, но все-таки позволяющая потихоньку, по-свойски прижаться к ней бедром... По сибирскому обычаю наделали, конечно, и пельменей, на всех гостей что-то около двух тысяч штук, полный бельевой бак, и хранили их на холоду в дровянике. Среди пира Соустин вызвался сам сходить за пельменями. Над темным замоскворецким двориком шумели огромные, во все небо, вязы; слезились в ветвях городские звезды, подувал мокрый холодный ветерок. Соустин замедлил шаги, держа за ушки бак, полный пельменей. Какая-то содрогаящая тоска охватила его, пригвоздила к месту: должно быть, никогда до конца не бывает счастлив человек! Вот сейчас же бросить все, не жалея, бежать, раствориться в каком-то большом, мужественном, огненном деле, похожем на войну... Все-таки, конечно, подцепил он пельмени и отправился пьянствовать и наслаждаться.

И миновала третья осень.



Редакционная лестница казалась неузнаваемой сегодня: она была празднично-полутемная, даже мечтательная, насколько это позволительно для служебной лестницы. За дверями бурно и глухо работала музыка. Соустин толкнул дверь, и сразу обрушилось из-за нее многолюдье, гром, свет.

Подбежали репортер Володька Мильман и другие и тотчас же потащили Соустина за собою. Гремел краковяк, под него еще давно-давно в Мшанске скакал Соустин с модистками. В буфете горланили добродушно. Хотя Соустин огляделся только мельком, по каким-то неуловимым признакам узналось бесповоротно, что Ольги здесь нет. Еще ночь и еще день — целая бездна отделяла от нее...

Друзья столпились в том же производственном отделе, теперь полутемном, превращенном в раздевалку. Замечательные же, ей-богу, все были ребята, жаркие, ласковые! Вот Володь-

ка: вьюн, пройдоха, танцор, а он брал московский почтамт в Октябре. Или долговязый, печальный курносый Яша; на нем и сейчас балахонится шинель девятнадцатого года. Родная шинель! Соустин рванулся было рассказать ребятам, как и он взял три села в девятнадцатом. Нет, вот если бы Зыбин слышал...

Володька шумел:

— Как же это, Соустин, вы сегодня с полосой-то отличились?

Было что-то разухабисто-ехидное в его голосе, от чего заныло сердце. Соустин еще не читал газеты, он не получал на дом...

— А что там за мура вышла?

— Вот так мура, ха-ха! Теперь припаяют кое-кому... главное, твоему Калабуху!

Соустин начинал неприятно и смутно догадываться. Не даром, когда проходил только-что мимо Зыбина, который сидел за шахматами, тот посмотрел на него широкими проснувшимися глазами, хотел привстать... Да, скандал гнезвился в подпередовой, где проскочила одна недвусмысленная фраза, Соустин уже знал, какая... Это в праздничном-то номере! Ясно, что тут не без фракционной подкладки.

— Это ты про кого, про Калабуха? — Над такой чепухой только посмеялся Соустин.

Но насильно посмеялся. Дело касалось и его, он же внутренне одобрил эту фразу, порадовался ей. Что ж из того, что он только беспартийный сотрудник? Но в зале начинался вальс, серьезный и баюкающий, далекий от всех этих мучительных передрыг. Соустин вышел на народ, совсем блаженный.

Народ танцевал, народ веселился во-всю, и лампы покровительственно сияли, и играла подходящая музыка. Люба тоже крутилась с кем-то, на-ходу заблистала, закивала Соустину.

Вообще, он был еще молод, что значили какие-то 34 года, когда силы выпирали из него до слез. И силы эти полностью некуда было ему деть, в том-то и беда! Он гулял, перешучивался с дев-

чонками, целовал им руки. Пробравшись к буфету, выпил еще пива.

И опять увидел Любу, одну, обрадовался, подхватил ее под мягкий шелковистый локоток.

— Ну, давай походим, — сказал он. — Как вы там живете?

Конечно, все обижены, что Коля не пришел, и даже праздничные пельмени отменили из-за него. Дюнька, и тот удивляется, где дядя Толя. (Он так и не научился еще выговаривать звук «ка»). Катюша ушла с горя на вечеринку на свои нотариальные курсы. Вот возьмет и заведет там себе ухажора!

Ну, этого-то Соустин не боялся, чтобы его святая Катюша...

— Правда, наверно, она с Мишей спит давно, — простодушно подтвердила Люба.

Соустин притворно ужаснулся.

— Ка-ак?

Люба не сразу поняла, ее исчерна-серые глаза светились на него по-детски. Вдруг она наклонилась, и хохот высыпался из нее, такой сотрясающий, такой ослепительный до слез, что Соустин едва удержал ее на своей руке. «А ты не смейся, не знаешь?». Но ему нравилось, что она такая, какие-то бушевавшие, удивительные для нее самой порывы пронеслись через нее. И к Любе шло ее серебристо-серое платье, задуманное под цвет глаз.

Они зашли посидеть в отдел информации. Никого не было, комнату промывало через форточку душисто-морозным ветром, внизу пролетали ночные праздничные автомобили; и глухо, будто уже отжитая, вчерашняя, доносилась музыка из секретариата. Соустин притянул Любу к себе.

— Ну, давай уж поцелуемся для праздника, я очень по вас всех соскучился.

Кажется, он, целуя, сжал ее крепче, чем позволялось, но Люба все прощала сегодня.

— А ты опять выпил? Вот на это находишь время...

Тягостно было хитрить перед ней. Но ведь Катюша, соскучившись, могла

не вытерпеть и завтра вечером залететь к нему сама. А Ольга, пряча в мех губы, будет одна ходить в счастливом переулке... Соустин сел на краешек стола, поместил послушную Любу между своих колен, как ребенка, и начал жаловаться, что с утра опять дел по горло: надо непременно написать художественный отчет, а весь вечер до позднего уйдет на торжественное заседание в одном из районов. Лгал торопливо, с отвращением.

— Ты там скажи, пожалуйста, все Катюше, чтобы она не сердилась. Как освобожусь, — наверно, послезавтра, — сейчас же приду.

— Ну, приходи, Коля, хоть послезавтра.

Какие они были все нехитрые и слабые, обитатели полуподвальной замоскворецкой квартирки! Даже на раскаяние перед ними Соустин не имел права: слишком далеко ушел в своих изменах и метаньях. Под музыку гладил плечи Любы. Все равно, все равно... Обтянутые шелковым, ноги ее ощущались, как голые; они прижимались к нему слишком по-близкому, но Люба и не замечала этого, очарованно задумавшись под музыку. И музыка играла в каких-то чудесных пловучих дворцах... Нет, уж это было бы совсем кощунственно — воровать у женщины такое, пользуясь ее сестринской доверчивостью. Легонько оттолкнул Любу от себя.

А она вздумала его удивить.

— Знаешь, Коля, я в кружке текущей политики заниматься начала!

Все случилось во-время, потому что в отдел вдруг вошел Зыбин. Он, видимо, искал Соустина, но, увидев его с женщиной, заколебался.

— Я вас, собственно, на одну минуту...

Люба, покраснев, покорилась и степенно вышла. Зыбин откашлялся; из-за кашля проглянуло отрезвело-серое утро и те же опостылевшие, не дающие жить тревоги.

— Скажите, вы отправляли подпредовую в набор? Вы знаете, почему я вас спрашиваю?

— Да, знаю.

— Скажите, когда вы посылали, там была вычеркнута фраза?

— Была. Я даже указал на это товарищу Калабуху.

— А, вы ему даже указали?

Соустин почувствовал, что зря это выскочило.

— Я вообще ему сказал...

— Так.

Соустин посмотрел вопрошателя в глаза. Тот совсем не походил на карающего судью; скорее Зыбин имел вид товарищески опечаленный. И русский хол его напоминал о простоватых славных ребятах, физкультурниках.

Может быть, именно эта простоватость вызывала желание возражать, противоречить?

— Но, ведь, товарищ Калабух достаточно... (Соустин не договорил, авторитет Калабуха, вескость его имени должны были разуместься сами собой!). И если товарищ Калабух оставил фразу, значит, целиком брал ответственность на себя.

Зыбин нисколько не раздражился.

— Видите ли, эта фраза, как бы сказать... (Он, должно быть, собрался разъяснить, но Соустин, предупреждая его, кивнул в знак понимания). Вот. Прикиньте теперь наш тираж: до скольких читателей она дойдет и как она их мобилизует? Надо подумать, в праве ли мы позволять товарищу Калабуху брать на себя такую ответственность.

Он говорил, несомненно, мягче, терпеливее, чем было нужно: играла музыка, и разговор вдобавок происходил с беспартийным. Беспартийные же, как казалось Соустину, в какой-то степени всегда подразумевались в стороне от самого главного, действенно-решающего (закрытые партсобрания!). Тягостно порой ощущалось это терпеливое снисхождение!

У Соустина вырвалось неожиданно:

— Мне бы хотелось поговорить с вами, товарищ Зыбин, и серьезно.

В нем поднялись все смятения этого возбужденно-торжественного и противоречивого вечера. Под музыку они были непереносимы, они требовали немедлен-

ных поступков. Бурная решимость охватила его.

— Ну, ну, — подбодрил Зыбин.

(Но лживая косинка почувдовалась в его глазах, почти страх. Может быть, он знает давно и все знает об Ольге и сейчас ждет отвратительного признания?)

Соустин зашепшил:

— Дело в том, что и к газете, и к каждому из нас, товарищ Зыбин, жизнь предъявляет новые требования. Трудно и невозможно работать по-старому. Звучание наших слов...

Нет, под Анри де-Ренье сейчас не подходило. А Зыбин наклонился очень внимательно, хотя говорились пока общеизвестные вещи... Дело в том, что нельзя работать теперь, не окунувшись в самую глубину, в правду происходящего. Страна — на историческом повороте. Сам он, Соустин, родом из глухого, далекого от центров села, то-есть раньше это был уездный город, а теперь он реорганизован в село, в район; сейчас там строится колхоз. Он, Соустин, из крестьян, крестьянина хорошо знает, и есть там сверстники... конечно, оторвался за последнее время. И вот: если бы ему разрешили поехать на время в это село от газеты, давать оттуда корреспонденции, материалы... и помогли бы ему осознать по-настоящему те процессы...

Зыбин не поднимал головы, но охотно поддерживал его.

— Отлично. Мы сейчас прорабатываем как-раз годовой план нашей газеты. Задачи ее, несомненно, расширятся... и мы ставим вопрос о сети разездных корреспондентов. Что же, если вы выражаете пожелание, попробуем...

Но получилось вообще не захватывающе, не так, как пропылало в самом Соустине. И Зыбин, показалось, поддакивая ему, скучливо смотрел в пол... «Тебя занимает другое, по-твоему, более важное? — колюче подумалось Соустину. — Или, может быть, думаешь, что я подхалимствую?». От одной мысли об этом невыдохнувшийся еще алкоголь разъярился в нем. Может быть, тут спутались в один клубок — и горечь его беспартийного воображаемого отще-

пенчества, и Ольга, как бы прислушивавшаяся к этому разговору-поединку, и частые беспощадные порки в детстве... Налетело надрывное что-то, бесшабашное. В такие минуты пекарь Собачка, отец его, выбегал на середину улицы с окровавленным хайлом, раздирал на себе красную рубашку, хватал и руками, и всю грудью кирпич, и тогда бежали дерущиеся пекаря, бежали дети, бежала вся улица... Соустин сказал с бесноватым спокойствием:

— Очень важно еще, чтобы мы, беспартийные, не стояли вообще где-то в стороне. И о партии мы должны знать больше... Вот, говорят, например...

И он выложил перед Зыбиным, думая, что это получается у него смело, уязвляюще (а в самом деле получилось путанно и не так уж уверенно), выложил часть вчерашнего разговора с Калабухом: об «органических силах», о «рецептуре», о «командовании»... И сам тотчас же протрезвел неприятно. Не надолго же хватало в нем Собачки, ушкуйника, голоштанной вольницы! Страшнее всего, если бы Зыбин сейчас повернулся и ушел. Но он не ушел, а спросил раздумчиво:

— Откуда вы утверждаете... про командование?

Соустин, нахмурившись, замялся.

— Мы беседем иногда... хотя бы с товарищем Калабухом.

— Так.

Зыбин принял это вполне спокойно. И сейчас же, оживившись, даже разгорячась, начал растолковывать Соустину — деловито, без всякого учительского тона... Упомянул про последний апрельский пленум ЦК, про участвовавшие фракционные выступления. Соустин знал, конечно, обо всем этом — и о трудностях, и о панических, демобилизационных настроениях, и о том, где главная опасность на данном этапе. Он слушал подавленно, в какой-то скверной смуте... А за дверью все танцевали, галдя под музыку, вились цветные платья; правда, народ уже поредел, в комнатах перед концом повис чад; и Любы, когда Соустин вышел вслед за Зыбиным (поодаль, как чужой), нигде не было.



«Красная площадь в тумане..»

Но это бодрящий утренний туман. На всем просторе площади и в переулках, к ней прилегающих, слышно шелестение многотысячных человеческих массивов. Красная армия вышла на двенадцатый Октябрьский парад. Она стоит могучей стеной. Чуть колеблется море многоцветных фуражек: части особого назначения, пограничники, войска ОГПУ.

Вот — звучное цоканье копыт по мостовой...».

Нет, ему не нравилось здесь ни одной строчки. Вот эта, может быть, чуть-чуть: «слышно шелестение многотысячных человеческих массивов...». Да и то опять выхоленная томная литературщина: ше-ле-сте-ние!.. А ведь туманное-то утро переживалось серьезно, даже мучительно-важно чем-то. Армия глядела из тумана, как из прошлого. Площадь была пустынна, холодна и седа. Скат за Василием Блаженным стал похож на кусок дикого, легендарного уральского былого... Лохмотья, морозные щеки, молодость! Он, тоже сделавший кое-что в прошлом, стоял сейчас с блокнотиком в руках, и гордость, и похожий на рыданье восторг, и чувство собственной малости, смешиваясь, потрясали его, и серые ряды готовились под музыку политься, как буря. О, как могуче выросло время, — приветствую тебя, время, — я, пригибаемый к земле твоими вихрями, приветствую тебя!

Но, конечно, так написать было бы и стыдно, и неуместно для газеты. Не правда, неправда! Если бы журналистика являлась его настоящим делом, его горением, он захотел бы и сумел мобилизовать всю остроту, все истончение своей нервной системы, он придумал бы, например, какой-нибудь боковой ход в своем изложении, чтобы все-таки передать чувства, потрясшие его: может быть, единственно-ценное, из-за чего стоило писать. Но нервная система каменно спокойствовалась, ни одной искры из нее не выжигалось. Будь перед ним другое, вот та химическая «формула

смерти», работу над которой, вместе с надеждами, откладывал он на будущее!

... Редкий юноша такого типа, как Соустин, не вскрывал себя в восемнадцатилетнем возрасте о каком-то «вдруг», которое мстительно вознесет его над всеми, как в случае с Золушкой. И Соустин когда-то, бродя под всеобщий звон по заречным мшанским лугам, замарал от страшного открытия, что вот именно он-то и есть тот человек в истории, который разгадает тайну сотворения жизни химическим путем: тайну белка.

Поостыв от годов и от первого знакомства с наукой, он все же не перестал верить, что всемогущий разгадчик тот придет, а он, Соустин, мог быть хотя в числе немногих, которые облегчат и подготовят его приход...

Соустин бросил карандаш и подошел к небольшому шкафику, стоящему в углу. Собственный его заветный шкафик, под светлый дуб и с полочками из зеркала, словно вздувшиеся капли, прозрачнели там реторты и еще какие-то кривогорлые сосуды, изгибались стеклянные трубочки разных калибров, даже блистала латунь; проступало целое воинство пузырьков, притертых баночек, темных бутылей. И все это излучалось благородно, превращая арбатскую комнатенку в жилище молодого, еще не известного Фауста. Шкафику положено было основание в первый период обогащения, то-есть устройства в «Производственной газете», когда Соустин с пылом принялся скупать на толкучках и в аптеках химические приборы и препараты; потом поохладел. Да и сожитель, Григорий Иванович, хоть и мягок, но искоса отнесся к домашним опытам: «Ну тебя к чорту, взорвешь мне еще жилплощадь!». И шкафик остался не у дел; просто стал мебелью. Минуты, конечно, бывали, вот как сейчас: Соустин раскрывал дверцы, касался пальцами того, другого, вдыхал знакомые мучающие запахи — гари и чего-то металлически-кисловатого; запахи утерянного или теряемого уже будущего.

Опять начиналось то же самое...

Захлопнул дверцы жестко, почти со злобой. Это значило, что он твердо решил сесть за работу. И дело, вправду, пошло как будто ничего, начиная со звучного цоканья копыт и дальше; во всяком случае не хуже, чем обычно писал Н. Раздол. Теперь уже не химия, а Ольга не переставала просвечивать во вторых дальних мыслях: потому что близился вечер. Порой она безжалостно настигала среди работы, обрушивалась на голову жгучим, одуряющим прибоем...

Часам к четырем кончил про парад, всего строк триста; в общем встал из-за стола довольный. Теперь он с чистой совестью мог одеться во все лучшее, пойти пообедать, а потом... Соустин был широкоплечим, довольно рослым и красивым парнем; оставалось, пожалуй, у него в лице что-то мальчишеское, неувядшее. Вот только галстука никогда не мог завязать как следует: то затягивался под горлом в крошечный узелок-пупырышек, то все сползал вниз, хоть каждую секунду подтыкай пальцем. Да и носить-то галстук стал совсем недавно, года четыре. «Я, ведь, мужик, Ольга!» — разговаривал вслух, в радостной суеде перед зеркалом.



Раза четыре прошелся по спуску от Остоженки к Крымскому мосту, из сводчатого коридора которого, из надречной тьмы скатывались то-и-дело огненные комнаты трамваев. Их любви с Ольгой шел третий год... Однажды в той же «Производственной газете» был юбилейный вечер с пивом и танцами. После контрабандного полстакана водки Соустин, сгоряча выскочив в музыку, в духоту гостей, подсел к Зыбиной, жене завпартотделом, и наговорил ей чего-то бессвязного и в высшей степени головокружительного. Она не возражала, когда во время вальса он поцеловал ей руку, а потом даже погладил плечо сквозь черный скользкий шелк; только дремотно и непонятно улыбалась. Соустин осмелел и, когда тесная волна танцующих оттолкнула их в проулок между

сценой и стеной, крепко притиснул Ольгу к себе. Женщина попрежнему кружилась около него, как спящая, улыбалась, как спящая, ему стало даже жутко от такой покорности... Через два дня они встретились на Сretenском бульваре, и Ольга первое время даже не позволяла брать себя под руку; так продолжалось полгода.

Странно, что при Зыбине Соустин не ощущал ни неловкости, ни угрызений никаких, точно то был совсем посторонний, нисколько не замешанный сюда человек. Возможно, Зыбин ничего и не знал, потому что Соустин ни разу не бывал у них, хотя в комнате у Ольги постоянно толкался, чайпил и ужинал разный народ: художники малоизвестные, но уже превознесенные в своей среде и столь ядовито-скромные от гордости, как будто вот-вот сделают такое, от чего весь мир ахнет; невыявившиеся еще поэты, из молодых, которые несли в себе чорт знает какую творческую бурю, а пока стреляли за трешками по редакциям; композиторы, имеющие вид одержимых и исполняющие свои опусы как бы в припадке падучей... Самой Ольге искусство не удалось (она училась одно время у знаменитой певицы); одна отравная мечта осталась, вернее — воспоминание о мечте, о несбывшемся шуме больших зал, полных обожания и славы... Может быть, отсюда и пошло все. Ей стала близкой та, отзывающаяся цыганщиной, истерическая, чуть-чуть трупная струна, которая слышалась кое-где в искусстве; со стола ее посмертно улыбался Есенин; она могла прочитать наизусть те стихи, в которых Гумилев якобы дважды предсказал свой конец. Художники расписывали ей комнату орнаментами из анемичных, истомно изогнутых растений и медальонами с головкой самой Ольги, в которых она получалась одутлая и тонкошея, вроде болотного цветка; поэты за чаем вырывали отрывки из вынашиваемых поэм; были среди них свои божки и баловни, но ревновать тут Соустину, собственно, было не к кому: Ольга лишь опекала этих блаженненьких, бегала хлопотать за них по издательствам и музеям. Сам

Зыбин почти не заглядывал в эту компанию, а если и заглядывал, то очень хмуровато; все собирался побеседовать с Ольгой, да никак пока не собрался. Она и жила нетронуто в своей комнате, в своем душевном захоластии, как жила до Зыбина, — брак их вырос из квартирного соседства. Однажды, еще до Соустина, она потихоньку, едва пересиливая отвращение, обратилась к специалисту-врачу с женским своим недоумением, — отчего ей безрадостно, когда к ней подходит молодой, здоровый муж. «Полюбите его» — сказал врач.

В то лето, после вечеринки, она прожила с Соустиним вдвоем полтора месяца в одной комнате, в Крыму. То был райский уголок, деревушка Партепит, где впервые пришла к Ольге настоящая любовная, почти дикарская радость.

В этом августе она опять дожидалась его в Мисхоре. О, как трудно была пережита мокрая, желтая зима, урывочные встречи и такие же ласки где-нибудь на бульваре или в нелюдимом переулке, с оглядкой, с оскорбительно-вороватым утолением. А в первый вечер своего приезда на юг Соустин сразу увидел фантастически-красные от заката деревья над синим морем, и сердце зануло гибельно от этого невероятия, от неохватимости мира, от близости невидимой Ольги... Он нашел ее у дачи «Рабис» (опять искусство!), среди красных деревьев. Ольга прогуливалась по гравию с высоким, прищуренным, в вышитой рубашке, — как узналось потом, известным певцом из Харькова. И тут же почуялось, что этот далеко не из блаженненьких; поэтому Ольгу отвел от него неловко, почти отдернул, показывая всю власть над ней, и губы жалко, нехорошо свело. Вышитый, наверно, потом смеялся, и Ольга самолюбиво помрачнела.

...Он, наконец, увидел ее вдали, в промельке прохожих. Бегущая походка запоздавшей, озирающееся по сторонам, ищущее лицо. Ага, теперь она опять ищет! А тогда на юге, где все давалось для счастья, выстраданного одиннадцатью месяцами ожидания, — тогда о чем

она думала? Как он уговаривал ее тогда утром—плюнуть на всех певцов на свете, не причинять обоим боли, не уходить никуда,—она непременно хотела еще раз побывать на даче «Рабис» на прощанье... «Коля, это же культурная компания, я только из вежливости; поверь, что все они мне безразличны!». Как он уговаривал, напоминал о зиме, о проклятых бульварах, и Ольга все-таки из самолюбия настояла на своем, ушла. Без нее собрал свой чемодан и почти бегом, не желая этого, с отчаянием насилуя себя, спустился к катеру, который уходил на Ялту, — хорошо же, тогда гибни, гибни все!

Ему и сейчас захотелось повернуться и уйти, до того вскипела опять неотменная горечь, даже дыхание пресеклось. А она, как нарочно, беззаботно облизывалась, наверно, только-что напилась чаю со сладким. Он сдвинул ей пальцы.

— Ты сам же во всем виноват, сумасшедший!

Ну, как и куда мог он от нее уйти? Смотрел на это лицо, которым воспаленно изболелись мысли; на легкое мельканье шелково-светлых, всегда послушных ему ног, смотрел, напивался глазами, цепенел блаженно. Что бы там сейчас ни происходило в мире... И она была страшна ему, он знал теперь, какой, несмотря на покорное прижиманье, может таиться удар за ней.

Они свернули к реке; с полуосвященной набережной виднее стало, как праздник огромно и багрово отсвечивает в высоту.

Ольга сказала:

— Конечно, конечно, во всем виновато твое упрямство, и я дура, что пришла к тебе первая. Но больше я не в силах была, Коля... И когда Тоня подходит ко мне, знаешь, я не могу, я начинаю смеяться, смеяться... что это такое?

Ему становилось легче от ее распахнутой, бесстыжей простоты, от доверчивости. Вот если бы всегда она была такая! Он спросил:

— Скажи, за что ты меня любишь,

Ольга, я недоучка, не знаменитость, не певец...

— За то, что ты Коля, — дурачилась она.

Впрочем, он сознался, что немножко кривил душой: для него еще не пропала надежда сделать кое-что в жизни. Осенью он совсем было начал хлопотать о приеме в университет, на один из последних курсов; правда, это очень трудно, но через Калабуха, благодаря его весу и связям, он уверен, можно было добиться. Что же, Соустину сейчас 34 года, к 36 он кончил бы; его, несомненно, оставили бы для научной работы, он это чувствует по внутренней своей зарядке. Химия! Соустина охватил припадок говорливости, хотелось говорить, говорить... Вот у него есть товарищ, по фамилии Бохон, они учились вместе, Соустин иногда даже помогал ему кое в чем. А теперь про Бохона пишут в специальных журналах; ему, например, удалось то, что никому и никогда не удавалось, — получить метил в свободном состоянии, то-есть цеаш-три. И разве в подобных же условиях не добился бы того же Соустин? Он думал работать именно над углеводородами.

— Но ты сделала так, что у меня руки опустились. Серьезно, никакой энергии не стало: ни устраиваться, ни хлопотать. Упустил и время, и возможность. Эх, Ольга!

Такая горечь переломила голос, что женщина даже не возразила ничего, только прижалась виновато. Под берегом осенняя вода поблескивала, отражая фонари. «Смотри, похоже на море?» — усмехнулась Ольга; прохожие, неотстанно любопытствуя, оглядывались на прислонившуюся к перилам бесприютную парочку. Вот как досталось им опять увидеться, вместе...

— Ну, скажи, скажи правду хоть сейчас, что у тебя с ним было?

— Повторяю тебе, ни с кем и ничего. Я ждала твоего приезда, скучала, нужно же было с кем-то убить время.

Она говорила очень твердо и сухо, такому голосу нельзя было не поверить.

Да, вероятно, он сам больше навоображал тогда.

— Но чего мне это стоило, Ольга!..

Он волновался, потому что пришло, наконец, время рассказать ей все, начиная с того момента, как сбежал тогда и сел на катер. Казнить ее этим рассказом.. Сначала была Ялта, где он один ходил пять дней в раскаленном бреду. Голые тела валялись всюду на солнце, роскошные ночи опускались потом на парки и на берег, он в мыслях видел Ольгу, ее забвенье с кем-нибудь на таком берегу, и оставалось только стонать. Тогда Соустин решил бежать с Южного берега. Он выбрал Евпаторию. Была на пути еще ночь в Севастополе, обрывки опереточной музыки на бульваре. С какой-то девушкой разговаривал над морем, потом — музыка еще продолжала играть, а он корчился один на постели в гостинице. Евпатория предстала утром своими трамваями, городскими вывесками, выжженной беззутешной равнинностью, и сердце заколотилось оттого, что в такую безрасудную даль заехал от Ольги, от праздничных гор...

— Сумасшедший, — сказала она и подставила ему рот. Они уже завернули в темень счастливого своего переуллка, где только фабричные заборы тянулись да безмолвствовала за оградой выморочная церковка. Не помнили, сколько шагов прошли, не отрываясь друг от друга.

— ...И в тот вечер выехал из Евпатории поездом обратно в Симферополь. Одну половину той ужасной ночи он, и так весь изломанный, протомился в вагонной давке, другую — провалился на земле, под вокзальным крыльцом, как бывало в девятнадцатом году; потому что только на рассвете пришли машины на Ялту. И вот катером он снова плыл мимо Мисхора, где неделю назад встречали его красные озаренные счастьем деревья. Понимает ли она, какая это была Голгофа?

— И напрасно ты не вернулся, тот уже уехал, он вскоре, через два дня, уехал.

— И ты после не писала ему, не видалась?

Он ясно видел, что она замешкалась. Чернота еще не известной ему пропасти открывалась в ней... Да, певец встретил ее в Харькове, когда стоял поезд; он попросил, ну, и что же, она протелеграфировала ему о выезде.

— Говори, говори, говори...

Ольга поникла, раздавленная его глазами.

— Когда поезд трогался, я не успела... он поцеловал меня.

Соустин с дрожью перевел дыхание и толкнул ее к забору.

— Тварь! — сказал он.

К чему же была Голгофа, метанья? Ему терпко комкало скулы. И она плакала. Он распахнул ее шубу, вцепился в платье; нет, этого было мало, еще — прижать ее к себе бездыханно, чтоб уж не могла оторваться никуда... Ольга повернула к нему мокрое лицо, восторженно улыбалась.



Утро после праздников глянуло хмурое, невыспавшееся. С редакционных стен свешивались неубранные еще полотнища с лозунгами, гирлянды хвои, в плохо проветренных отделах мечтательно пахло духами... Калабух в редакцию не явился. Вероятно, задержали опять учебные дела, да и надобности приходить особенной не было: номер целиком составлялся из запасов праздничного материала.

Соустин, оставшись без начальства, должен был сам нести свой отчет на просмотр Зыбину. Навязчиво-мрачно чудилась впереди какая-то дурная неожиданность. Должно быть, от позавчерашней вечеринки застряло похмельное угрызенье... В зыбинском кабинете бесстрастно взяли рукопись, пригласили сесть. За окном не на чем было забыть-ся глазам, одна затхлая лабазная крыша, и снег на ней дотаивал, тоже вчерашний, послепраздничный. Зыбин, насмешливо хмыкнув, ткнул в рукопись карандашиком; Соустин вспыхнул и, словно перед ударом, притаялся. Нет,

это секретарь только пояснее поставил точку... Хмыкал он, должно быть, от насморка, карандашик его постукивал, хохолок качался. Ольга утром видела эти волосы, на них как бы и сюда до-неслись, протеплели ее глаза...

Зыбин кончил, расчеркнулся в углу рукописи.

— Ну что ж, хорошо, все в порядке. Дайте срочно... на вторую полосу корпусом.

Соустин, сразу выздоровев, вскочил. Опять деятельные наступали будни; теперь — кипеть, делать больше, больше и обязательно хорошо делать, чтобы всегда вот так одобряли. И еще — сказать сейчас Зыбину что-нибудь честное, сильное, как клятву.

Но Зыбин сам заговорил:

— Это вы, ведь, заметку Горюнова о выставке правили? Скажите откровенно... пожалуй, в самом деле, рановато, не по силам мы ему дали задачу?

— Да, я думаю, товарищ Зыбин, что не по силам.

Соустин был строг, серьезен, а Зыбин совестливо, благодушно ухмылялся.

— Ничего, парень скоро отполируется. Вы, как старший товарищ, помогайте ему. А потом думаем, как и вас, отправить его в странствие!

— Это хорошо. — Соустин обрадовался за Пашку, он вообще всему радовался сейчас. — Кстати обо мне, товарищ Зыбин. Я обязательно поеду, как просил... но в основном хотел бы все-таки остаться в своем отделе...

— Это мы устроим, — согласливо кивнул Зыбин.

Нет, что бы там ни думалось Соустину в иные минуты, а, конечно, он был счастливым! Ого, сколько в нем еще уездной, коренастой, нерастраченной силы! От радостного возбуждения потянуло — обязательно заглянуть вечером к подвальным приятелям, к жене Катюше. Но вечером опять был занят: ночное дежурство в типографии. Хорошо, он заедет к Катюше завтра и непременно купит ей что-нибудь неожиданное, радостное!

На ночные дежурства всегда ходил с охотой: было нечто возбуждающее в бессонной этой работе, обливаемой бодрствующим, ослепительным светом ламп, в ночных телеграммах, приходящих со всего мира, даже в зубоскальстве метранпажей, с которыми, как и с большинством сталкивавшихся с ним мужчин, Соустин дружил, сочувственно вникая в их житейские делишки. А сегодня, тем более, он мог просмотреть первый оттиск своего отчета, оценить, как он выглядит печатно, подправить кое-что.

И вот — вечер; его творение оттиснуто для него друзьями вне очереди, и он несет гранки с собою в пустую редакторскую, чтобы полакомиться с собою наедине. И, правда, то было самолюбивое очень и лакомое волнение — хватать глазами печатные строчки, в которых и неузнаваемые, и наизусть знаемые, свои же слова... По типографии неприятный Пашка бродил, и Соустин боялся, как бы он не вломился следом, не помешал удовольствию. Пока читал, позвонили по телефону. То Ольга разыскала его, добилась наконец; «Тоска, Коля» — простонало из трубки, чувствовалось, что человек там изматался, что глаза его смотрят пусто. Такие припадки случались не раз и рождали у Соустина тревожно-ревнивое беспокойство. Боялся тогда, что Ольга ускользает, и неведомые смятения захватывают ее необузданнее, глубже, чем чувство к нему. Он вспомнил певца, поцелуй... «Любимая, я же с тобой всегда, — посылал он в трубку содрогающийся шопот, — и мне тоже тяжело, но завтра мы свидимся обязательно, обязательно, правда?» Но там уже разедились, по проводам шумела пустота. И так всегда поступала эта женщина, порывистая и темная, владевшая им почти как болезнь, впору было сейчас бросить все и бежать к ней. Конечно, Соустин не побежал, остался, но работа была отравлена. И в отчете у него описывалась жидкими словами какая-то долженствующая, а вовсе не настоящая, не наболевшая жизнь.

Пашка все-таки пронюхал, заглянул

в корректорскую. Здраволся как-то кривобоко, горько.

— Что же ты, Соустин, статейку-то мою измарал? Хоть бы один образ какой для смеха оставил...

— Да, ведь, необходимость, Паша: Калабух велел подсократить.

— Ну, да, подсократить... Чегой-то горчит от меня вашему Калабуху.

Пашка, если и сердился, то очень смирно:

— Вот поеду скоро с бригадой, буду раз'ездные корреспонденции писать. Самому Зыбину посылать их буду, так он мне и сказал.

Пашка молча, смирно поторжествовал.

— А с Калабухом нынче крепко поговорили кое-где насчет статьи-то. И в редакцию не пришел!

— Не поэтому же, — встрепенулся Соустин.

— А почему? Бывший член бюро райкома, а какие он идейки протаскивает? Прямо дяттересно. Вот завтра у нас на бюро ячейки с ним еще поговорят.

— Опять о подпередовой?

— Нет, только ты, друг, не болтай никому. Он одному беспартийному такую, понимаешь, штуку про партию ляпнул, что у нас вроде в организации зажим и всякое такое. Словом, зарвался что-то большой товарищ...

— Беспартийному?.. — Беда смутная и неостановимая несласть на Соустина. — Какому беспартийному?

Пашка не мог сказать, какому; сам слышал с пятого на десятое... Но Соустин уже без него знал все; разговор с Зыбиным до последнего слова обнажился в памяти. «Дурак!» — ахнул он, от стыда рванул гранату из-за пояса, мысленную гранату, шваркнул ее, что есть силы, себе под ноги, — а-а-а! — чтобы все вместе с ним самим снесло к чорту. Не помогло... Сделать такую неприятность, напакостить ни за что — и кому? Человеку, который относился к нему сердечнее всех. И мало того, дело перешло в грозную область, которая называлась партией, неизвестно, как там еще посмотрят на беспартийного, вы-

балтывающего на вечеринке политически скверные вещи...

Пашка, высказавшись, ушел довольный: у Соустина от новости стали дикие глаза. Да, скверно получилось, ах, скверно! Соустин сидел пришибленно над забытой гранкой. Поверил давеча в благодушный зыбинский хохолок... Подумалось, как же явится завтра в редакцию, в свой отдел, взглянет в глаза Калабуху, — от одной мысли обжег какой-то низменный стыд. А завтра — не миновать... Выскочил из корректорской, плутал неприкаянно по типографии, он стал просто Колькой, жалко попавшимся в беду Колькой.

И вспомнил о Катюше. Она всегда вспоминалась, когда приходило несчастье, она одна, Катюша, умела укрыть и успокоить, теплая, родная жена... Конечно, только ее и любил по-настоящему, любил свою душевную глубиной...

Кое-как дождался, когда сверстали последнюю полосу. Третий час ночи... Извозчик вез его в Замоскворечье через мосты, которые уже ничего не напоминали, через косою и мокрый снег. Да, на город наступала зима... Открыла дверь сама Катюша, в калошах на босую ногу, в рубашке. Она была простая, Катюша, и не бесновалась от счастья, а спросила, как может спросить только родная: не поставит ли ему чай? Нет, не хотел он чаю. Ну, пирожков? И пирожков не нужно, он страшно соскучился и устал, ему надо скорее уснуть.

Катюша улыбнулась, отводя глаза, и погасила свет. Сквозь двойные окна и сквозь сон доходили откуда-то гудки, еле уловимые, как дым; это ночью, пед косым и мокрым снегом, шли поезда по огромной родине. Он уже давно не знал ее, он, и сейчас еще сильный, способный ко всему, пропадал ни за что в своей дрянной, сладенькой жизни, жизненке. А где-то за гудками потерялась Таня, Таис, единственная, в самом деле единственная, которую еще не отыскал, только обещал себе, как обещал многое, а годы шли за годами, и вот — опять засыпанье. Ему было тошно и от мыслей, и от того, что ждало завтра. Зубья его скрипели.

Едут...

Вагон сильно качало. Журкин стоял, стоял, да и подкосился на сундучок с гармоньей. Скудный огарышек над дверью расплылся лужицей, вспыхнул и погас. Во мраке гулче заработали колеса, невыносимые храпы и сопения словно полезли в гору, наперегонки друг с другом. Петр, должно быть, тоже уснул. Одному тошно стало, некуда было деться от самого себя, и, как нарочно, о доме вспоминалось только надрывающее: как вчера, ни за что маленьким каким-то словом обидел жену Полю, а она, труженица, сколько ребят выносила и все годы билась наравне с ним, прочернела вся, ей бы ласковое сказать на прощанье, один раз в жизни... И ребятишки представились где-то далеко-далеко за темнотой, спящие в горнице без отца, бесталанные, незащитные. Журкин зарылся в пальто бородой, простонал легонько, так простонал, будто весь белый свет закатывался перед ним навсегда. За морозным окном замаячили зеленые огни, надвигалась огромная станция, Пенза. Журкин нащупал под лавкой Петра, тормозил.

— Да Петя же, ступай, доставай билеты, а то слезу, ей-богу, сейчас слезу!

На верхних полках пробуждались, в потемках по-чумному брякались наниз, прямо на мягкость, на людей, туда же сволакивали с грохотом свои сундуки. По полу, как ножом, ударило холодом. Петр вскочил, чесался; рядом освобождалась нижняя лавка, и сейчас же нырнули на нее со всем скарбом — Петр в середину, Журкин с краешку; в уголке дрыхнул давешний парнишка в лаптях.

Петру за билетами итти явно было не в охоту. Почему бы и дальше не попробовать, не проехать на дармовщинку? Все равно, впереди ничего не виделось, кроме бездомной волчьей жизни; ну, с поезда ссадят, можно сесть на другой, ну, в шею накостыляют — пускай... Но Журкин, который в дорогу обряжался строго, как на войну, ни за что на это не соглашался. Петр пропал на целых

полчаса и билеты все-таки достал. Сердцем сунул их Ване.

— Ишь, чорт, — злился он будто на поезд, — стоит и стоит, чорт!

Поезд в самом деле пристыл надолго, может быть, часа на два. Вокзальный фонарь назойливо, искристо распался в мерзлом окне. Журкин и не вспомнил, что в этом городе бегало когда-то его, ванино, детство, со сдобной плюшкой в зубах; подымались тогда по горам, среди садов, высокие белые дома; потом отец поставил его за верстак с гробами, потом купили ему гармонию, стали отпускать на вечеринки и дома, за обедом, поддразнивали: «Ну, как энта, черненькая-то?». Он не вспоминал сейчас, а только прислушивался, как по другую темную сторону вагона скрипит все снег под чьими-то ногами, должно быть, смазчика. И казалось ему: темнота оттуда одною цельной глубиной, прямо через пути и поляны падает вплоть до Планской улицы, далеко-далеко, где остался дом с ребятишками; это уже на Планской, где никаких поездов нет, скрипят по-деревенски поздние шаги, а баба, должно быть, мается, все не спит... Наконец, поезд дернулся, фонарями назад пошла последняя родня, Пенза; Петр, покурив, втиснулся на свое место, в серединку, и тут же примостился головой на паренька.

За Пензой начинались чужедальние мраки...

К утру засветилось обледенелое окошко, с перекладиной крестом, как в избе. Где-то под Сызранью ехали. Сопрел густо человеческий угар за ночь, мутил. Журкин отколупнул пальцем ледок в уголке окошка: просияло там с чужого поля таким ослепительным, таким утренним снегом, будто сегодня праздник.

Паренек в углу проснулся, придавленный совсем Петром, бояливо скислил губы.

— Дяденька, а, дяденька...

Петр недовольно выпрямился, сорвал с себя спросонок малахаишко, скребся.

— Чего «дяденька», ну чего «дяденька»?

Потом тоже глянул на поле сквозь ледок. Напротив сидя спали двое в зипунах, один — с бородой, другой — мальчонка лет пятнадцати. С краю дремала широкая, во многих одеждах, старуха.

— Как есть наша Аграфена Ивановна, — шепнул Петр. — Канем к ней в гости, вот перепугу-то будет!

— Какой же перепуг, чай — свои, — строго возразил Журкин.

Но и самому мало верилось, что приголубит их, бродяг, жох-баба Аграфена Ивановна. После Мшанска скрывалась она уже в третьем месте, на Урале, в заштатной слободе. Адрес ее насилу вымолили у родни, да и то неизвестно, правильный ли. Кроме — никакого пристанища не ожидалось на чужой стороне.

Сверху свесились ноги в богатых, каких Журкин не видал давно, штиблетах и брюках; потом степенно спустился на пол и весь, по виду не простой, а состоятельный, среди полурванного вагонного мурья знающий себе цену гражданин. Он вынул зеркальце и щеточкой стал прочесывать черные с сединой волосы; обе вещички были дорогие, из белой кости. Потом гражданин влез в жилетку, потом надел однобортный, ловкий в перехвате, пиджак, — все это, равно и брюки, пошито было из заграничного клетчатого материала. Дальше последовала каракулевая шапка лодочкой и с каракулем же, — но с каким каракулем! — с курчавым, лаково-лоснящимся — толстое пальто, с которого гражданин легкими щелчками сбил кое-какие пылинки. Даже Петр проникся уважением и, приосанившись, горловым голосом, каким он разговаривал, бывало, с именитыми покупателями, спросил:

— А вы, извиняюсь, как нам по дороге, далеко едете?

— М-мм? — не разжимая губ, спросил гражданин. И, кому-то там верхнею рукой показав на свою полку, — покараульте, дескать, — вышел без слова.

— Х-ха, причудливый, видать! — Петр язвительно постукал себя пальцем по голове.

Напротив, со второй полки, высунулся по грудь мутно-заспанный человек в подтяжках, радовался.

— Подожди, он еще вас паразит!

Человек изогнул голову под свою полку и, увидав там спящего мужика в зипуне, начал его ворошить за плечо.

— Деда, а, деда! Ты чего спишь-то, деда?

Мужик нехотя, как кот, приоткрыл дремлющие, равнодушные глаза, а верхний, не зная покоя, суетился над ним:

— Дедка, хочешь яблочка, а? Возьми яблочко!

Мужик, шмурыгнув носом, взял яблочко, вяло перекрестился. Теперь человек в подтяжках начал без жалости тормошить мальчонку, для тепла улезшего в шапку по самый нос.

— Эй, малой, хочешь яблочка, малой? На яблочко!

Мальчонка одурело оглядывался, хлопая белыми овечьими ресницами. Он не узнавал вагона. «Стекла...» — бормотал он. Яблоко так и держал перед собой в протянутой руке, не понимая, откуда и для кого оно... Человек на полке весь издрыгался от удовольствия, видать, хотелось ему хороших компанейских людей, шуму побольше; поймав на себе глаза Журкина, он уже не отпускал их, вцепился и все изъяснялся про себя. Зовут его Юрий Николаевич, по фамилии Фиалектов, и едет он в долговременную командировку на новые места, на Урал, старшим бухгалтером.

— Все словчились, отказались, саботеры! А сам я, понимаешь, социального происхождения от крестьян, меня мамка в жнитво, на полосе родила, ей-богу, деда! Фамилия моя — самая крестьянская: Блинков, а зовут Кузьма...

«Вот скаун!» — неприязненно подумал про него Журкин и решил больше на бухгалтера не смотреть, не связываться: он боялся греха от таких дрыгающих беззаботных человечков, — сейчас веселится, а потом завопит вдруг, что у него деньги вынули... И про две фамилии путалось, не поймешь, с дурью брякнуто или со смыслом. Качалось и дребезжало временное дощатое

жилье, на каждом полустанке набивались в проход деревенские и уездные люди, порой заунывно плакался где-то над снегами, над необыкновенным полем паровоз... Бухгалтер заметил парнишку в углу, рядом с Петром, к нему прицепился.

— А ты куда едешь, малой, на работу, что ль?

— На работу. — Парнишка стеснительно, зверковато ежился.

— Зовут как?

— Тишкой.

— На вот, Тишка, яблочко. Дома-то мамка, что ль, осталась?

— Маманька...

Бухгалтер заглянул еще в окно и, сказав: «Ни черта природы не видеть!» — вдруг как-то появя, доотвала, видно, надрыгавшись, повернулся к стене и захрапел.

Между лавок опять появился богатынький в каракулях, он утирался белым с бахромой полотенцем. Утершись, каракулевый где-то там у себя наверху неожиданно заговорил:

— А через час Сызрань.

— Уже Сызрань? — превеличенно подивился Петр, который за каждым движением каракулевого следил обожающими и завистливыми глазами.

Но каракулевый опять ничего не ответил. Крепко сжав губы, сел напротив, между старушкой и зипунами, вынул записную книжку в лакированном переплетике и начал что-то, хмурясь, исчислять в ней, — наверно, денежное и важное. Петр, кашлянув, с достоинством сказал:

— Раз Сызрань скоро, давай, Ваня, чайник, по чаям ударим.

Журкин послушно полез в торбу. Сызрань, наболелая Сызрань! Двадцать пять лет назад вот так же развертывалась рельсами и грохотала она на встречу. Из Пензы семейство Журкиных направилось в Сызрань в поисках лучшей жизни. Тогда еще тепло и надежно жилось Ване за отцовской спиной, за отцовскими мыслями. И, правда, не обманула Сызрань. За один год

разжились так, как в Пензе не разжились бы за десять; все было — и собственная мастерская на углу с богатой гробовой выставкой и венками, и катафалк, и пара серых величавых лошадей, и у Вани, для гулянок с барышнями, сорочка, вышитая в крестик, под однобортной, со стоячим воротником, тужуркой. Тут, в Сызрани, у Вани выросли черные усы; тут он записался, как и многие другие молодые форсуны, в охотники пожарного общества, чтобы мимо барышень провихряться иногда в золотой каске... Однажды в сухой июньский день полыхнула Сызрань сразу с двух концов. От черного дыма, всклокотавшего над нагорьями, померкло солнце. По всему городу гудел и кидался бурей красный языкастый огонь, который пожирал и жилища, и людей, и скотину, — и от журкиной мастерской, от катафалка, от склада осталось к утру одно горькое от гары пепелище. Папашу схоронили через три дня после пожара, — от огня, от всесветной гибели зашло сердце. Ваня сам сколотил ему из досок простой, некрашенный гроб, а после похорон поехали с матерью и гармоньей, куда глаза глядят.

Пронестись бы без остановки, не видеть ее, замогильную, роскошную когда-то зарю-Сызрань... Теперь Журкину шел пятый десяток, старше отца стал, и борода выросла гуще отцовской, а так и не добился в жизни спокойного и сладкого куска. И вот на пятом десятке — никак не думал — опять пускаться в скитанья... Сызрань близилась, в вагоне увязывали узлы, застегивались, гремели чайниками.

Паренек в углу, который назвался Тишкой, все время маялся. Засел он в свой угол еще накануне с вечера и из боязни потерять место никуда не сходил; в поезде Тишка ехал в первый раз. Живот у него пучило и ломило. Самым добрым из всех пассажиров казался Тишке мужик в зипуне. Он шопотом порасспросил у него, где нужное место, показал на свою суму, чтобы тот покараулил. Пошел по проходу, качаясь на тонких, щедушных ногах. Но, только-

что, в чайни отрады, притворил за собой дверцу, в нее долбанули ногой, в уборную влез Петр и, увидев полурастегнутого Тишку, рассмеялся:

— Ишь, мокрый чорт, куда забрался, пошел!

И выпихнул путающегося в штанах парня на площадку. Тишка не обиделся, — пассажир был постарше его, побывалее, а впереди не к тому предстояло привыкать. Поджался, притопывая ногами.

Когда Тишка вернулся в вагон, Петр сидел на его месте в углу, вытряхивая что-то из чайника, а тишкина сума лежала под столом. И тут Тишка ничего не сказал. Он остался без работы, когда увели хозяина, Игната Коновалова, у которого он батрачил пять лет. И мать, провожая Тишку в неизвестную дорогу, со слезой просила, чтобы как можно смирнее обходился на чужих людях, — робкого скорее за Христа-ради пожалеют. Тишка поднял из-под стола суму, — такой и стоял он, в дерюжном свесем армячке, мамкин, тонконогий, кадыкастый, с пленкой грязной на губах, с синевцой под запальными глазами: бей, кто хочет. Примостился на краешке, около Журкина.

Петр, нахмурившись, спросил его:

— Тебя, говоришь, Тишкой звать?

— Тишкой...

— На, держи чайник. Сейчас в Сызрани за кипятком слетаешь.

Тишка растерянно взял всунутую ему в пальцы жестяную ручку. Петр страшил его, сковывал, но выйти из вагона, в путаницу неведомо какого места, и, может быть, потеряться там от поезда было еще страшнее.

— Дяденька, да я не знаю, куда, я заплутаюсь.

— Ну-ну, заплутаюсь! Тебе сколько годов-то?

Тишке оказалось восемнадцать. Петр со строгой снисходительностью, как хозяин, расспросил, кто он такой, куда едет. Тишка, оробело держа чайник, ответил, что сами-то они с матерью из Лунинского района, а жил он в пасту-

хах, а потом в работниках в селе Засечном у мужика Игната Коновалова. «Лунинский район — это от нашего, Мшанского, района недалеко, значит — земляки». А теперь, как у дяди Игната отобрали все и самого угнали неизвестно куда, люди посоветовали ехать на стройку. Вот он и поехал.

— На какую стройку-то? — спросил Журкин.

Тишка назвал: на Красногорскую. Это была та же, на которую налаживали и Журкин с Петром, самая большая стройка на Урале, о ней гремели все газеты. От общего сочувствия Тишка разгорячился и сам уже осмелился спросить у Петра, правда ли все, что про эту стройку люди говорят?

— Раз едем вместе, ты за нас держись, — важно ответил Петр и тут же общинчески подмигнул зачем-то бесчувственному гражданину в каракулях. — За нами, оголец, не пропадешь.

Тишке и самому хотелось уцепиться в дороге за кого-нибудь поопытнее, постарше; тревожно ехалось одному, а что-то будет еще дальше, за тысячи мерзлых верст? И Тишке поверилось, что — правда, за таким, как Петр, не пропадешь, знающий и пройдохный человек, нахальный к чужим, а своего не выдаст, выручит. Надо было ему угодить... Вагон, разболтавшись, стрелял с пути на путь, Приволжье обступало кругом — горизонтами, сугробами, домами; дальше — Самара, а еще дальше — невиданные лютые горы Урал. Тишка для верности надел на себя суму, в которую мать положила ему для смены белую, в черный горошек, рубаху и нанковый пиджак, — все это он заслужил у Игната Коновалова, — положила еще пару новых лаптей и полкраюхи хлеба; за народом, который гуськом проваливался в дверь, выпрыгнул на снеговое, исполосованное рельсами поле.

Петр и Журкин доставали пищу из мешков, рассаживались для чая поудобнее, — вагон на большой станции опустел, стало посвежее, попросторнее. Тишка, благополучно вернувшийся с кипятком, смиренно присел рядом.

Поезд и здесь стоял часа два. Сызрань обволакивала Журкина давними голосами, давним светом... Вспомнились щербнистая улица и лето, и солнечный, режущий по сердцу вечер. На луга за Воложкой наваливалась тень. В розовых кофточках хорошенькие барышни хихикали и страдали у калиток, теперь они состарились и исчахли, а иные, может быть, умерли. А ведь кто-нибудь и сейчас, как тот, давний Журкин, проходит мимо калиток — молодой, погубительный, в золотой каске?.. Еда была незавидная — у Петра только черный хлеб да с горстку окаменелых пряников (от торговли еще сбереглись). У Журкина домашние ржаные лепешки, но зато имелся сахарок. Чаю вот — ни крошки.

Тут выручил молчаливый гражданин. Раскрыв на коленях аккуратный коричневый чемоданчик, он повелительно постучал пальцем по крышке петрова чайника. Петр понял, услужливо приоткрыл ее, и гражданин с неким величием высыпал туда щепотку самого настоящего, китайского. При этом все увидели, как блистает у него в чемодане разная никелевая и серебряная роскошь.

Петр ему первому на-весу преподнес чайник.

— Пожалуйте вам?

— Угу, — не разжимая губ, кивнул гражданин и подставил стакан в резном серебряном подстаканнике.

Потом он начал разворачивать на крышке чемоданчика всякие яства. Тут был и каравашек белого, крупчатого хлеба; яички всмятку, обернутые каждое в бумажечку; конфеты; баночка с маслом; кусок мяса; толстая, в полметра длины, копченая селедка. Никто из соседей не глядел, а вместе с тем каждый, хоть одной косинкой глаза, а успел облизнуть эти грешные, раздражающие душу сокровища... Гражданин разрезал селедку на ломти и два из них, самых толстых, с вываливающейся из них икрой, протянул Петру и Журкину.

Они оба чересчур были заняты своими лепешками.

— Да ну... зачем...

— Прошу, — вдруг промолвил гражданин и ухмыльнулся и с ухмыляющимся, настежь открытым ртом плавно повернулся перед всеми сидящими. Рот у него оказался неожиданный: нечеловечий рот, весь тесно набитый золотом.

Петр и Журкин, ошарашенные, покорно взяли по куску. Гражданин все вращался, показывая себя, исходя довольным горловым хохотком.

И толсто обверченная одеждой старуха, и оба зипуна, и Тишка не отрывали глаз от его рта. Тишке стало мутно. От невиданного желтого сияния во рту человека все спуталось, как не в жизни. Вагон срыву дернуло, потащило. Баба закатилась визгом под окном. Беда, что ли?.. Гражданин похохатывал.

— Как? — вопрошал он Петра.

— Да... — Петр делал остолбенелое лицо.

— Вот так же, одним словом, приходит ко мне заказчик. У меня в Моршанске собственное дело: статский и военный, а также дамский портной, работаю культурно, по журналу. Приходит, одним словом, заказчик, я молчу. Он мне то и се: желаю, дескать, пошить такой-то костюм, чтобы изящного фасона, по журналу. Я молчу, открываю журнал, он, одним словом, выбирает. Я показываю: дескать, позвольте промерить. Начинаю я с него снимать мерку и вдруг, одним словом, — вдруг эдак неожиданно улыбаюсь. Улыбаюсь и всего его... поражаю! Во! — Портной провел ногтем по зубам, как по струнам. — Специально выломал, такие все, черти, здоровые были. Ну, и стоит он, понимаешь, пораженный и себе, одним словом, не верит. А?

— Да-а, — сказал Петр; он радостно искивался весь, держа около губ надорванный жирный кусок селедки.

— Как говорится: не обманешь, не продашь, — уныло вставил для чего-то и гробовщик.

— По яичку еще позвольте, — предложил торжествующий портной. И Петр,

и гробовщик яростно замотали головами, но тотчас же взяли и по яичку.

Пили чай, покусывали куски, пожевывали. Мужик и мальчонка в зипунах не выдержали голодной слюны, ушли на площадку; и Тиша оттого же убрел за ними.

Ныла внизу в колесах одна и та же жалобная песня. Ехали неведомо где, может быть, и земля-то кончилась, один кругом белый снеговой свет. Тишка отыскал в двери трещинку, приложился к ней, и—правда: летел кругом один белый снеговой свет, и глаз от него сразу заморозило. Мужик поставил перед собой мальчонку в зипуне и приказал: «Ну!». Мальчонка напыжился и вдруг крикнул что-то так зычно, что у Тишки защекотало в ушах. «А ну!»—поощрительно и нетерпеливо приказывал мужик. Мальчишка опять ушел в плечи, сбывился, наливаясь весь кровью, и так зыкнул, что где-то жестянка задребезжала... На Тишку ослабление нашло от всей этой непонятности, лечь бы... Но лечь было негде, поплелся в вагон.

Петр, держа кружку в руках, беседовал с портным о теперешних невзгодах; оба почуяли родню друг в друге.

— И никакого закона уж нет: ты им налог заплатишь, а они опять накладывают.

— А они опять накладывают, — горестно соглашался портной, надкалывая ложечкой еще одно яичко.

— У них цель теперь такая: задушить.

— Одним словом, задушить, — сказал портной. — Значит, шестьсот вторично наложено было; заплатил. Ну, думаю, вздохну: теперь все. Опять же приносят на тысячу. Ну, прямо нахально как-то поступают. Распустил я тут к шутам мастеров, — валяй, говорю, голубчики, в профсоюз, поглядим, как он вас прокормит, продал, одним словом, последний скарбишко, думаю: один я на весь город вас, чертей, культурно обшивал, да и ну вас, думаю...

— А теперь далеко ли?

— Пока думаю в Самару, там у дворянского брательника свое дело. Главное, город большой, ни у кого ты не на глазах. По своему стажу я могу еще кадило раздуть.

Петр про себя пожалел хоть и богатенького, но несмышленного портного: по Мшанску судил, что насквозь всю страну прочесывают железной гребенкой, где уж там раздуть... Через два-три месяца растрясет каракулевый последнее.

— Обидно все ж таки.

— Обидно! Я бы им еще пять раз по столько заплатил, — что, силов нехватило бы? Одним словом, обидно.

А Журкин опять позавидовал: вот тоже вышибли человека из гнезда, а у него все пальцы в кольцах, и капитал в запасе с собой везет, и в чемоданчике, наверно, самых дорогих отрезков доверху напихано. Такому и в беде — ветер взад.

— А вы по каким делам? — спросил портной, складывая свои роскоши обратно в чемоданчик.

— Мы по рабочим, — скупое ответил Петр и, чтобы портной понял, не обиделся на недоверие, черкнул глазом на Тишку.

И портной оглянулся на него, тревожно кашлянул.

— Ты гляди, какая сирота сидит, моргает, — сурово ополчился вдруг на Тишку Петр. — А погоди, годика через два... Этакие-то вот злее всего на шею садятся, моргуны! Как же! В комсомол запишется, чтобы власть ему, мокрому чорту, дали!

Тишка покорно цепенел, согнув толстую невытую шею. Все та же, маманькина, защитная хитрость. И ответ сумел найти смиренный, какой нужно.

— Эти комсомольцы, как дядю Игната угнали, они нас с маманькой без куска оставили.

— Ты совесть завсегда имей, — смягчаясь, поучительно сказал Петр. Он налил полную кружку чаю, потом у

Журкина взял с мешка лепешку и кусок сахара и сунул все Тишке.

— На, пей.

Журкин даже побагровел от такого самоуправства. Лепешек было счетом шесть штук; четыре они с'ели с Петром, а две гробовщик нарочно не трогал, берег к завтраму. И сахар тоже.. Поля ребятишкам не давала, все на дорогу собирала, а тут целый кусок какому-то швивому отвалил. Лучше бы свои сиротки погрызли...

И с ненавистью слушал хруст в тишином рту.

Петр, как ни в чем не бывало, свернул дыгарку, гордо закурил. Увидел у портного в кармане газету.

— Какая у вас газетка, «Известия»? А я думал — эта, в которой брательник мой пишет. Я брательнику своему высшее образование дал, сейчас он по газете в Москве работает.

Сказал пренебрежительно, как нечто несостоящее. Вообще, Петр уже высокомерничал перед портным: портной опростился, весь вылез наружу, а Петр приберегал за собой недосказанность некую, тайну: гадай вот теперь, кто он такой?.. С площадки вернулись и без слова укрылись в свой угол двое деревенских. Старуха попросила себе в кружку чайку. От нечего делать, позевывая, и старуху попытали: кто, куда едет. У нее дочь в Самаре, восемь лет назад ушла в прислуги, а теперь вот написала, чтобы мать приезжала к ней на жительство. Правда, туговато в деревне приходится, на деньги — и то хлеба не укупишь.

— Везде одно, — сказал Петр из-за газеты. — Посадят тебя в Самаре на голодную карточку, и попадешь ты, мамаша, из куллка в рогожку. Что такое нынче прислуга? И какие нынче господа?

— Какие нынче господа! — с горечью подхватил портной.

Старуха хотела что-то сказать, но ей не дали. Выспрашивали теперь мужика в зипуне. Мужик из опасливости лопотал ни то, ни се; начал даже хлеб жевать, чтоб поменьше говорить. Выходи-

ло, что едет он на заработки. покамест по стекольному делу... Петр прикинул на него из-за газеты пронизывающим глазом.

— От колхоза, что ль, ушел, отец?

Мужик в замешательстве зажевал еще усерднее.

— Люди от порядка отстали... что же нам колхоз, пушай, кто как хочет, так и живет. А парнишку вот делу надо обучить: бо-знать, какое время еще будет. Ну? — вдруг мотнул мужик головой на парнишку.

— Стеклы вставляй! — гаркнул тот. У Петра газета выпала на колени.

Мужик пояснил, что будут первое время в Челябине по дворам ходить, насчет стекол. И нужно про работу кричать как можно слышнее, чтоб в ушах язвило, а у парнишки никак не выходит. Тут мужик отложил корку, погладил себя по груди и, сказав: «Вот как» понатужился и рявкнул:

— Сы-тттёкклы всттта-влять!

У Тишки развалился рот. Сверху выставилось одурелое лицо бухгалтера, галстух и волосы у которого взлетели дыбом. Портной вздохнул, — «Это да-а!» — слазил тотчас в чемоданчик и сердобольно протянул обоим стекольщикам по куску селедки. Из соседних купе подкрадывался разный народ...

— Вся Россия с корнями пошла, — нашел что вымолвить Петр, — а, спрашивается, куда? — С газетой в руках, умеющий всякое дело рассудить, он в своем купе чуялся теперь как главный. Неведомо было только, не возвысится ли над ним нераскрытый пока бухгалтер, который, поморгав, опять укатился и захрапел.

— Вроде ненормального какой-то, — кивнул на него Петр.

— Вроде, — согласился портной. — Водки нажрался вчера и спит. Через газету фамилию променял, теперь как артист себя воображает.

Стекольщикам дали чайник с остатками чая, и они вхлебывали в себя жидкость со свистом, с чавканьем. Петр занялся газетой.

Портной спросил, нет ли чего в «Известиях» про войну. Петр сам искал про войну, но в газете описывались только подробности победоносной операции Красной армии на китайской территории и сколько взято пленных и трофеев. Скучая, отложил газету.

Ехали и ехали. Люди уже прижились, забыли, что они в поезде; будто качало так безначально, всю жизнь. Нежное посветление пробивалось в окно — перед сумерками. И люди, утихнув, смотрели туда, словно заснув с открытыми глазами. Смотрел бесчувственно Петр; смотрел, не мигая, Журкин, обездоленно сгорбившись, задумавшись неведомо над чем; зверенышем прижавшись к отцу, убаюканно вперилась туда мальчишка-стеколыщик. И портной, распявшись посреди купе, локтями на полках, забылся, как дитё, — заглядывая на свет.

А наружи — над поездом, над седобородым приволжским лесом — вместо неба туманилось ничто. Только на западе различимо было яркое клубление туч, сияющих слишком поздним светом, заимствованным как бы из завтра. Во всех вагонах сотни человеческих лиц повернулись к окошкам. Всякий ехал народ, и старый, и молодой, и семейный, и бездомный, — что-то сотрясло его, сдвинуло из исконных, отцами еще обогретых мест, — куда? Ехали не падающие духом искатели, ехали во множестве безыменные, помалкивающие. Вагоны обволакивало туманными видениями строек, обильных заработками городов, надеждами, безвестьем. Сзади Москва стояла костром, это не от паровоза, а от нее летели искры, летели и зовуще кружились над соломой сел и районов... Завтрашнее гляделось из позднего окна.

Так как в Самаре многие сходили, остающиеся захватывали места поудобнее, чтоб поспать. Петр взял себе лучшее, портново, на второй полке; Журкин — против него, на третьей, под самым потолком. Для Тишки предназначили тоже третью — над Петром. И Тишка порадовался, что вот попут-

чики радеют о нем, значит, считают его совсем своим.

Из сумерек выполыхивала Самара окраинными огоньками, гремели мосты.

Портной вздыхал, утирал пот, — не смотря на благородные с зеркальными застежками чемоданчики, несмотря на достатки и солидность свою, и он робел, видать, перед этой ночной, необъятной чужбиной, где — заново жить. Старуха, ворча добродушно, пыхтела над нескладным своим узлом, из которого, как крошечные, выпадали все валенки.

— Вот мамаше фарт, сейчас на кухню приедет, в самбе тепло, — от безделья словоохотился Петр. — Значит, хозяева-то сочувствуют дочке, если и тебя жить пускают?

— Да она не у хозяев, сынок, она... Хозяева-то партийные, учиться ее потом определили. Должность-то ее я не говорю, вот тут записано... — По записке должность значилась — «аспирантка», тут уж старуха могла объяснить Петру, что это — вроде профессора.

— Кто-о?

Портной почтительно удивился:

— Ого, на профессора вышла?

И Журкин тоже поглядел на старуху, непримечательную до сих пор, с тоскливым вниманием... Петр однако язвительно хмыкнул, — нет, он не мог допустить при себе ничего превосходства.

— В вузе дочь-то училась? — спросил он.

Старуха сердито наклонилась к узлу, будто не слыша.

— Ну да, — сказал Петр, — раньше назывался университет, и в них учились студенты. А теперь вместо них стали вузы, и ученики в них называются курсанты. И профессора эдакие же... Это вроде как советский чайник: называется чайник, а в него один раз кипятку нальешь, глядь, дудочка отвалилась!

— Правильно, — поддержал портной, — продукция кругом ни к чорту стала.

Но Журкин мимо ушей пропустил петровы смешки, не веря уж им. Да, для других, для новых людей время подошло, и они юркают в нем, как рыбы в воде, хватают свое счастье. А тут уж не до счастья — посчитался за ним в жизни довольно; только бы не пропасть, промаяться как-нибудь тяжелые эти годы...

И опять — потемки тухлого вагона. Проводник свечей не зажигал, ясно — экономил себе в карман, народ с багажом галдел в проходе, готовый ринуться. Бухгалтер проснулся, свесил вниз разбухшую в сумерках голову.

— Самара, что ль, отец?

— Самара, — оживляясь, ответил стеклощик.

— Поди-ка сюда.

И принялись бормотать вполголоса. Портной, на-ходу уже, проталкивая вперед себя чемоданы, пояснил Петру:

— Опять за литром налаживает.



Петр, нахлобучив малахай, двинулся за пассажирами к выходу; сказал, что — подышать воздухом. Перекинув суму через плечо, исчез и задумавший кое-что, посмелевший Тишка, попросил Журкина покараулить местечко. Вагон сразу проморозило холодком, слышно стало, как на платформе у ступенек ропщет сбившийся в кучу народ, горбатый от сундучков, сейчас ворвется... Журкин отодвинулся в темный угол, развязал мешок, — давно проголодался, только ждал минуты, когда уйдет Петр. Не делиться же с ним каждый раз! Вынул последнюю лепешку, потом кусок мяса, по-домашнему завернутый заботливой Полей в тряпицу. Мясо следовало бы немного посолить, и соль где-то была положена, но Журкин спешил, — как бы не вернулся Петр; закрывшись мешком, начал рвать зубами несоленое, прикусывал лепешкой, рвал торопливо, жевал, поса-сывал. Гремели и дрались по полкам, точно дьяволы, ворвавшиеся пассажиры.

Тишка сразу закатился вдоль темно-го, исхлестанного пургой поезда к вокзалу. На перроне висела морозная мгла, в которой расплывались огромные блины света; в свету, в мгле шатались человечьи тени. Паровозы стреляли паром по земле, истошно посвистывали в глубях ночи. Тишка шел по аду, по краешку беды. А что, если поезд вдруг дернет, уйдет без него?.. Он метнулся за какой-то тощей тенью, помахивающей чемоданчиком.

— Дядя, на билет нехватает, вот ей-богу, прямо замерзну тут и с утра не емши, дай пяточок!

Голосил жалобно, умиленно, как делала это мать. Тень пошарила на-ходу в кармане, сунула кругляш. Тишка отбежал тотчас. Фонари расплывчато сияли над этой сладкой охотой.

Гонялся за несколькими, но редкий оборачивался. Одна женщина дала гривенник.

Тишка подбодрился, обжадовел еще больше. За каким-то старичком в очках — старичок показался слабым, добреньким — канючил неотстанно до самого вокзала. На свету старичок вдруг обернулся и, сверкнув белыми огненными глазами, обрадованно цапнул Тишку за рукав.

— Пойдем, пойдём, негодяй, в гупуу, теперь пойдём, пойдём, негодяй, — зачастил, обрадовавшись и задыхаясь, старичок.

— Пусти, деда! — взмолился Тишка, рванулся и не смог вырвать рукава из цепких пальцев. Еще двое-трое каких-то остановились. «Пропадаю, а поезд-то, поезд...». Тишка хныкнул, дернулся, как рыба, еще раз, и — вот ушел куда-то сквозь народ, к стенке припал — спрятаться, отдышаться. Нет уж, ну их ко псу и деньги-то... Среди входящих в вокзал спасительно мелькнул Петр. Тишка, озираясь, увязался поодаль за ним.

В коридоре Петр предъявил билет и потонул в одной из дверей, вместе с прочими, льющимися туда пассажирами. Тишка тоже вынул билет. За дверью светило во всю глубину огромнейшее, парадное от ламп и от зеленых кустов помещение буфета. Обдало теплом и за-

пахами всякой жареной еды. За клеенчатыми столами, насевшись рядами вплотную, люди лихорадочно ели, хлебали, натывивали вилками пищу. Петр, загадочно для Тишки, приостановился у одного из столов и, не отрываясь, читал газету.

За стеной тревогой ударил звонок, ражий железнодорожник протяжно орал, торопя засидевшихся на поезд. Тишка трепыхнулся было, но остался: за Петром нечего бояться. Пассажиры вставали, шли к выходу. Петр уже очутился за столом. Тишка увидел перед ним тарелку с недоеденной пассажиром кашей и соусом из-под котлет; и хлеб остался... Все так же, не отрываясь от газеты, Петр вылизывал с тарелки кусочком хлеба теплый соус, потом принялся за кашу. Слева еще полтарелки со щами освободилось; Петр и это подвинул к себе.

«Ага, значит, вот как можно» — сообразил Тишка. Прикинул перед собой глазами. Сидели и уплетали щи несколько красноармейцев, хребты у всех крутые, ясно — от этих нечем было поживиться. Рядом полоскала в тарелке ложечку тшедушная гражданка в шляпе и пенсне. Тишка облюбовал себе гражданку. Глотая слюну, он ждал... Но, ложечка за ложечкой, гражданка аккуратно вычерпала все щи, даже капусту корочкой подобрала, потом принялась за котлеты с кашей, и Тишка только уныло зырил глазами за каждым куском: видно было, что гражданка сама вылизет все до последней капельки. Тут как-раз шумно загремели стульями красноармейцы и — дивно! — на столе после них сиротела тарелка с кашей и с почти целой котлеткой... Тишка, распахивая стулья, вильнул туда, и, забыв обо всем, припал к теплой, балующей рот, давно не пробованной пище.

С одного бока ему сердобольно подсунули еще полтарелки щей; Тишка доел их; напротив оставили хлеб и опять кусок котлеты с кашей: тоже с'ел.

Соус долизывал точь-в-точь, как Петр, куском мякиша, и соус был неизведан-

ного нежного вкуса. Тишка уже приятно, сытно отяжелел; растомило всего, глаза по-пьяному смыкались, а он все подтягивал к себе тарелки; куски хлеба клал в суму. Подавальщики ничего не видели, вились на другом конце: гоняли лохматых оборванных беспризорников. Так вот какой он был, дядя Петр! Тишка благодарно поспеивал за ним по морозу обратно, гадая, сколько еще впереди таких сказочных вокзалов.

Петр, нащупав на полке Журкина, сунул ему в руки теплый газетный комышек:

— Ваня... на-ка котлеточки.

Журкин развернул, попробовал, да так, пробуя, все и с'ел.

— Спасибо, Петяша, — сказал он тихо, пресекившимся голосом: совестно было перед добряком Петром.

Поезд тронулся с хрустом, будто прохожий по сугробу. Из стекольщикова угла тянуло спиртным, там стукали бутылкой. Вертлявым голоском бухгалтер еле вязал про какого-то Николая Семеныча. Петр не прочь был выпить на дармовщинку, прокашлялся, заявляя о себе. Замигавший над дверью туслячок озарил крошечные вагонные дебри. Кудлатое рванье шапок, черные провалыны глаз. Стекольщик незнаваемо-суровым голосом допрашивал:

— Значит, ты с его жаной блуд имел?

— Да нет, мы от Николая Семеныча не скрывались, у Николай Семеныча, понимаешь, у самого-то гайка ослабла, значит, она мне являлась жена, а ему только по загсу. Я, как со службы, так и к ним: сидим вчетвером, дочка еще у нее есть; чаек пьем. Потом иль я у них ночую, иль она ко мне идет...

— Развод бы взяла.

— Из-за дочки не хочет ломать. Опять же он, Николай Семеныч, против наших сношений ничего не имеет. Ему, чорту, за мной хорошо: я каждый день со службы приду, дров им наколю, самовар сам поставлю, а он, чорт, сидит, курит за газеткой. Из-за

него, чорта, эксплуататора, и на строительство уехал, ну вас, думаю, к матери, нашли себе холуя! А сейчас вот опять об ней... ну, до истерики!

Бухгалтер горестным и бесшабашным рывком выхватил бутылку, но она оказалась пустой.

Стекольщик порицающе сказал:

— Не люди мы, выродки стали. Весь мир смотрит на нас с призраком. (Снова какие-то темные соседи прибрели, шевелились в полупотемках; словно по божественной мрачной книге, читал судья-стекольщик.) Такому закону — позор и срамота! Сказано: до тех пор будет царствовать сатана, пока исполнятся слова божии...

Воодушевленный водкой стекольщик сидел выпрямленно, карающе. Угольная чернота провалила ему скулы, глазницы. Мальчонка по-ангельски спал у него на плече.

— Дайте мне ответ: к какой силе вы принадлежите?

Бухгалтер вытащил из ладоней мутную голову.

— Мы?

— Да!

— Мы...

— К дурной силе блуда. Потому что у закона не те люди. Должны подойти к закону специалисты-трудовики. И власть, кабы она хорошая была, пусть издаст декрет: кто желает работать и кто будет работать, тот будет власть.

Темные несвязно что-то пророптали; видать, ехали издалека, осовели от пересадов, от ночевок, где попало... Стекольщик поучал все строже.

— А строительство наше, папаша... как же? — выкрикнул вдруг очнувшийся бухгалтер.

— Что?

— Эге, папаша, разоблачился ты... Из тебя темный враг говорит, а не трудовик. Вас как звать, извиняюсь? — бухгалтер хлопнул Петра по коленке.

— Петром.

— Петя... — бухгалтер стал кротким и грустным. — Петя, можно мне на себе рубашку изорвать?

— Зачем?

— Очень радостно мне, что мы такое сильное строительство раздули... не могу!

Петр заскучал: водкой не угостили, разговор — не разговор, бездельная придурь... Тишка и Журкин, в своих высях, разводили храп во-всю. Побрел перед сном на площадку. От стекольщических церковных слов что-то давнишнее, похоронное вспоминалось и вспомниться не могло. Мрачно благовестят ночные церкви. И кругом вагонов, несмотря на бешеный их скок, гонится та же кладбищенская, давняя, с потухшими окнами-очами ночь, кроет с головой весь поезд.

Петр сумасшедше распахнул дверь. Клубило и свистело перед ним ничто, хлестнула до слез жгучая пыль... Глядя в непроломный мрак, сиротой с'ежился: Что же это ты, Петр? И неужто из последних сил крепился, щеголяя весь день перед Журкиным, перед вагонными? А бывало, куда только ни кидывала судьба жилистое тело и жуликоватую твою хватку, — никто не знает, что за самую китайскую границу заходил... Бывало это ранним молодым утром; не думал, что поздним вечером и сызнова голому придется пускаться в путь... Нет, поддаваться еще было рано. Поддаться — пропасть... Повиснув с площадки на руках, выгнув в метель, в лет грудь колесом, заорал: «Ого-го-о!», — как бывало, чтоб пуще надбавил поезд жару, чтоб ветер еще пьянее жиганул. Но, как назло, реже пошли перестуки, поезд поволокся чуть-чуть, выскочила стрелка с огоньком, протемнел станционный сарай. И нудная, стыдная тягота получилась.



Утром, проехав Уфу, проснулись совсем в чужой местности. Чаще сосна мелькала через протертый в окошечке глазок, круто подымались увалы, каких не видано в мшанской стороне. Сказали, что до места осталось еще полторы

суток. Народ теперь подобрался в вагоне почти весь попутный, на Челябину, на Красногорск. Журкин пытался то у того, то у другого порасспросить, как там насчет работешки, но большинство ехало в первый раз, понадеясь на слухи. После Уфы в вагоне появились двое молодых, деловитых, в гимнастерках и ремнях через плечо, со скрипучими военными сумками на бедрах. Они ходили по вагону раздетые, громко разговаривая, как дома. «Комсомол» — шепнул Петр... Тишку сгоняли с чайником на станцию, однако сахару на этот раз Журкин не вынул, промолчал, и пили кипяток с одним черным хлебом, густо его присаливая. От снега опять просветлело, будто вкатили на высокую-высокую гору, и кругом одно небо. И жутко было прикинуть, сколько от дома проехали; зыбилась сзади неоглядная бездна.

На одном полустанке ввалилась в вагон целая семейная изба, с мешками, кадушками, доверху набитыми всякой-всячиной, с перинами, даже с ухватами. Заплаканная, сердитая баба, хлюпающая носом, прижимала к себе одной рукой ревущую девчонку, а другой вела тоже хлюпающего, из подражания больше, шустроглазого парнишку, повязанного поверх военного картуза платком, по бабьи. Скарб начали пихать Журкину под ноги. Петр затеял руготню: «Куда вас, чертей, дуроломов, прет, и так здесь не продохнуть», а замученный, до одышки забегавшийся хозяин наскоро и виновато увещевал его: «Как-нибудь, как-нибудь...» — и опять бегал, таскал и опять пихал. Только тронулся поезд, баба кинулась к окну, заголосила, отчаянно сдирая лед со стекла ногтями; еще визгливее закатилась девчонка; и мальчишка, искоса любопытствуя на пассажиров, на дурной голос завыл. Хозяин стоял потерянно, утирая пот. И, когда пропал полустанок и все последнее, видимое, баба в крик, припадочно повалилась на узлы.

С полка и из прохода выглядывал народ, — поодаль, осторожно, чтобы не обидеть чужого горя. Раза два подхо-

дили поближе те двое комсомольцев в ремнях. Один, в грохотных болотных бахилах, все заботливо топтался около бабы, хотел, видимо, поговорить.

Начал Петр; он знал, с чего...

— С колхоза, что ль? — участливо спросил он.

— С колхоза, — ответил усатый, все утираясь.

Баба приутихала. На лавках потеснились, из сочувствия дали семейным присесть. Человек рассказал: сам он работает на Челябинге шахтером, а баба с ребятами проживала в деревне, где от дедов еще велось свое хозяйство. Теперь избу заколотил, семейство все забрал с собой в Челябину на шахты; в деревне — насчет товаров недо-стача...

— Опять без керосину — какая жизнь? Рядом совхоз, там в кооперативе керосину полно. Наши бабы молочко на него меняют.

— Фу ты! — негодовал Петр.

Парень в бахилах подошел, прислушался.

— Ты рабочий?

Шахтер нехотя обвел его взглядом.

— Ну, рабочий.

— Чего же ты муру разводишь? Раз ты рабочий, ты должен брать все сознательно, на чутье! Сейчас деревня разворачивает коллективизацию, проводит классовую борьбу с кулаком... — Парень звенел горлом, слова изливались у него без усилия, как бы помимо него самого. И сам он разгорался от них самозабвенно.

— Вот ты был в деревне; ты, рабочий, раз'яснил крестьянам, какие существуют трудности и достижения у нас на данном отрезке? Иль только панику там наводил?

— Слыхали, слыхали, — вяло отзывался шахтер. — Сам кто такой будешь?

— Мы — выездная комсомольская бригада московского органа «Производственная газета».

Петр, услышав знакомое название, сначала от тщеславия чуть не выскочил спросить: не знают ли они там, в газе-

те, его брательника, Соустина Николая? Но во-время спохватился и даже забился за других поглубже, чтобы не особенно кидаться в глаза.

Комсомолец распаялся все больше:

— Скажем, сообщил ты им про свой промфинплан, какая у вас на шахтах выработка, как протекает ударничество, соцсоревнование? Какую продукцию угля даете вы стране? У вас промфинплан до забоя доведен? Ты цифры свои знаешь?

— Слыхали, слыхали, наскакивали такие... Тебе бы вот в деревне пожить.

— Эх, хромает у вас, видно, культработочка в Челябинске! Ты нам дай-ка адресок на всякий случай, мы это дело у вас провентилируем. Вопрос-то какой, — изумленно обратился бахилстый парень к спутнику, — вот где связь индустриального предприятия с процессом коллективизации!

— Ладно, пиши, пиши, не боимся, — пасмурно приговаривал шахтер. Баба смотрела на комсомольцев с тревогой. У Тишки, спрятавшегося на свою полку, замирало сердце за шахтера. Такие же вот, молоденькие, в ремнях, пришли и забрали безо всяких Игната.

Комсомолец сказал:

— Мне твою фамилию не надо, а вот как село-то прозывается? В кооперативе у вас, наверно, компанийка теплая подобралась! Явно держат курс на срыв партийной линии.

Шахтер оживился.

— Насчет компании — верно, я скажу, ты запиши.

— А сам-то... на чутье должен был взять.

— А я бы не взял? Тут колгота, с ребятишками, с барахлом в два дня надо обернуться, работа не ждет...

Петр едко наблюдал. «Подмазывается, когда на бас взяли...». Когда комсомольцы ушли, он послал шахтеру:

— Верно, что в деревню бы их, на наше место. Давеча я проходил, а у них колбаска на столе.

Шахтер смолчал, только окинул Петра, показалось, пытливо-неприятным

взглядом. Петр спохватился — не переложил ли лишков? И, чтобы загладить, посочувствовал, что вот какую муку с ребятами да с багажом приходится принимать, да еще в несусветный эдакий мороз. Тяжело будет с семейством, после своей избы, в бараке-то...

И опять получилось не попад. Баранков там, на Челябинске, мало, живут, особенно семейные, в стандартных, — сказал шахтер, — квартирках; семейству будет итти паек, а ребятишкам в школе — даровой горячий завтрак. Гас-сказал еще про то, сколько можно нагнать при перевыработке, про талоны на мануфактуру. Он бы давно все семейство к себе перетянул, оно и выгоднее, и к себе поближе, и ребята свет увидят... да вот баба за родню все держалась.

На полках и в проходе шелестели, как сказку слушали.

— Рабочему — это да, ему везде способствуют...

— Я одного выучил, дал ему свет, — обиженно буркнул Петр, — чорта я от него увидал.

Журкину не терпелось заполучить шахтера к себе на одно слово, вывести, как там, на стройке, слышно насчет работы. Шахтер подтвердил, что в газетах все правильно пишут: работы много, народу туда плывут каждый день за поездами поезда, а рабочих рук все не хватает. Но и оттуда многие вертаются.

Журкин слушал, жадно наставив ухо, поматывая согласливо косматой головой. Почему-то крепко и уважительно верилось шахтеру. Ну, уж только бы работа была, на пищу и на тяжелину не поглядит, изо всех сил принажмет!

Бухгалтер, на минуту очнувшийся, крикнул от окошка:

— Граждане, гляньте, какая природа оригинальная: горы и горы!

Бросились к глазкам.

И правда — высоко над поездом взобралась в небо тоскливая линия снегов. Редкие перистые сосенки понатыканы

были в белой пустоте. Ниже — в обледененьях, в обрывах, в полыньях крутилась черная речная стремнина. Поезд шел диким ущельем, Уралом.

Словно проснулся Тишка на другой земле. И чем выше, уже нахмуренные густыми разбойными лесами, поднимались и дичали горы, тем сильнее набегали на него давнишние страхи. Тишка безо всякого вкуса, только чтоб забыться, жевал вчерашние ломти.

К сумеркам по вагону стих, укачался, послабел народ. Близилась, близилась неизвестные и жданные места. В сумерках начинали угрызать сомнения; то, что днем было ясным и решенным, чудилось теперь шатким, непрочным. Кто свалился, уснул спозаранок; от плохой пищи густел человеческий смрад; бухгалтер опять раздобыл где-то горькой, ерлашно восхищался и плакался. К ночи пронзительно раскричался ребенок. К ночи еще заунывнее, тошнее думалось об оставленных где-то домашних.

Тишка, пользуясь тихим ходом поезда, открыл дверь с площадки — глянуть в последний раз перед ночью на волю. И в тоске захлопнул тотчас. Черная гора стояла стеною, на ней зубрился в небе черный лес, а самое небо было окинуто небывало-красным пожаром. Он осознал, что заехал туда, куда нельзя заезжать, и что уже не выбраться отсюда, если даже продать новую рубашку и нанковый пиджак и распороть карман, куда маманька зашила последнюю пятишницу. И вот скоро кончится и вагон, выкинут всех в стужу, в чужое поле, — иди ищи приюта.

— Вона и Златоуст, — сказали в вагоне.

Красными звездами в отскобленном окошке проплывали недалекие, у чужих людей теплящиеся, домашние огни. Наверху над ними в темноте попрыхивало зарево. Поезд шел мимо заводских домен. Тишка, с'ежившись, глядел на это попрыхивание, хотел отвернуться от него, спрятаться и не мог: ужасаясь, ждал, что дальше. И вдруг в мутно освещенных внизу пространствах — метелью, бедою вырвался дым, в воздухе

полилось огненное... Захлопали двери, мороз загулял насквозь по вагону, отчаянные комсомольцы загалдели, выходя совсем — в лютую огненную ночь, не боясь: они доехали. Мальчишка-стекольщик дико заорал во сне: «Стте-клы встта-вляты!» Тишка тянул дрожащую руку к Петру: «Дя-денька!...». Петр спал.

За горами, за долами

Гуляет по ночной степи, вместе с метелью, невнятный, еле от ветряного шума отличимый, покойницкий звон. Это, чтобы не сбиться путнику, звонят из Казачьей слободы (она же — Шанхай), со старинной кирпичной колокольни, которая стоит тут темень лет и с которой еще пугачевцы, в оное время, сбросили и расшибли насмерть сколько-то царевых чиновников.

С востока, из Сибири, сыплет и сыплет пурга. Сквозь летучие темноты ее то затухает, то окидывает весь угол неба, за слободой, бирюзово-мутное, дивное для здешних мест зарево: стройка...

На порядке против церкви, среди глухонемых, давно опочивших хатенок, проскакивают огоньки из трех смежных степен: у булочницы Аграфены Ивановны. В горнице за длинным, как в трактире, столом сама Аграфена Ивановна, уронив голову на руку, сидит у самовара. Двое с бородами угождаются, пьют чай, не снимая тулупов: как в трактире.

— К ветрам вашим сибирским никак не привыкну, — горюет Аграфена Ивановна. — А по степи-то, мож-быть, какая сиротская душа плукает.

Звон доносится к ней из глубокой ямы, из незапамятных, хватающих за душу, времен. Будто вечер после субботнего базара. Расторговались. Звонят в Мшанске ко всеобщей; в завешанной тюлями, полутемной горнице горит лампадка, полы чисто вымыты. Где-то под звездами, по морозу, сын Мишенька с калугуром-работником, тоже расторговались, трусят на розвальнях с базара, из Юлова. Приедут — весь вечер выручку считать. Завтра пироги.

... А может быть, и вправду плурует по полю вестник, которому настали сроки заявиться, и бьется, и крутится в пурге, не чуя, что совсем около — родной приют? Не та уж Аграфена Ивановна, выпадали смехастые зубы, неprovорно стало одутлое старушечье тело. Дела ее — мелочишки: торгует на базаре из корзины булочками собственного печения. Но повадка осталась прежняя: захочет — люто может зыкнуть.

— К гадалышке ходила: вышел он в сени с ковшом, сотворил молитву и мне говорит: помолись. Поглядел в книге чего-то. Скоро, говорит, будет тебе от сынка весточка, жди только, не ропщи!

Она озирает людей в тулупах, задумчиво хлебающих чай, и обижается.

— Чего же молчите, как сычи?

— Да, ведь, что сказать-то, Аграфена Ивановна? Все строимся кругом. Вот, говорят, линия километра на три вся забитая. Железа полны составы, эборудованию всякую привезли.

Другой, помоложе:

— Привезти — привезли, а выгрузить—осечка! Пурга-то какая... и жалованья рабочим за полтора месяца не плочено.

Обоим тулупам сродни базары, метели, постоялые дворы. Какие-то особые дела вершит через них Аграфена Ивановна. Постарше — похож на преподобного с иконы: величав, смирен; кроме бороды, все щелясто от морщин; дома у себя такие лютоют втихомолку, а дом — пятиоконный, крытый железом. Другой расчесан в кудрявую жуликоватую скобку, щеки яблочные, певун.

— За мукой-то когда? — спрашивает Аграфена Ивановна.

— Завтра.

— Мешки я в сенях положила.

— Только, хозяйка, боязно что-то стало. Там, из села-то, скажем, ночью можно подгадать. А тут, говорят, по всей стройке патрулей скоро настаивят.

— Нигде покою нет... Жили люди, никого не трогали.

Аграфена Ивановна, подпершись рукой, горюет зловецде.

— С другой стороны, — восторгается кудрявый, — взять, граждане, нашу слободишку. Что раньше был базар — слезы! И что нынче? При таком множестве народа чем-ничем, а промыслить можно.

— Промыслить-то легче, — соглашается старший, загадочно соглашается, — а только до поры, до времени.

— А что? — настоуживается Аграфена Ивановна.

— А ветра! Летом сухмень как понесет, как почнет крыши рвать... Кто наши ветра не видал, тот и горя не знавал. Купец Мальчугин—с умом был хозяин!—надумал тоже заводишко тут поставить, полгода строил и все под своим глазом. От цыгарки, что ль, в минуту все смело!

— Так, так, — поддакивает Аграфена Ивановна. Рука ее задумчиво лезет под платок, скребет там седину. — Толькой не знай, молодцы, доживем ли еще до ветров-то. По деревням-то что дается? До последнего терпения доходит мужик. Башкир, и тот злобует. Страшно, молодцы, что оно будет...

... Ставля воеет от глухого удара, — вероятно, метнуло снегом, но удар повторяется еще два раза: там человечья рука. И вдруг явственнее среди паузы разрастается звон, одевающий всю избу набатным гудением. Проносится что-то неразумное, темное. Так бывает во сне, когда не видится, а только чувствуется вблизи убийца.

Аграфена Ивановна твердо говорит:

— Свои стучат, отоприте кто-нибудь.

Кудрявый выпускает в полутемные сени тучу снега, из которой торчит красноармейский шишак. Отряхнувшись, пролезает в дверь дюжий, толсто укутанный парень, он — трегубый, верхняя губа рассечена надвое. Маленькие мигалки его, разделенные длинным носом, вглядываются во всех с подзором, как бы ища обиды для себя.

— Да это Санечка, — совсем успокаивается Аграфена Ивановна. — Жалованье, что ль, получил?

— Вот, выдали, — грубо и сипло обрывает парень.

— Это его же царствию не будет конца. За тобой там сколько? Касса, что ль, у меня, Санечка?

— Тетя Груня, ты мне на нервах не играй! Знаешь, я простуженный насквозь... я на плотине десять часов по льду елозил!

— Да мне что от вашей плотины прибытку?

Но Санечка — в его грубости осязаются некие тайные права — уже раздраженно уселся за стол, и Аграфена Ивановна садется. «Дуся!» — сокрушенно зовет она. Дуся выглядывает высокомерно из-за внутренней двери, — не здешняя, не избяная, в своей мальчишеской стрижке под фокстрот. Санечка, оборачиваясь, смотрит уныло на эту красу, потом в себя, не разумея, что в нем такое происходит... Аграфена Ивановна сует дочери в руку оскорбительную воблу: «На, подкинь на угольки в голландку...». Оба тулупа, лишние при Санечке, допив чай, встают.

— А к нам на стройку мануфактуры целый эшелон пригнали, — громко, даже лихо заявляет Санечка.

— Какой мануфактуры? — недоверчиво переспрашивает Аграфена Ивановна.

Оба тулупа опять тихонько садятся, любопытствуя.

— Обыкновенно какой, — всякой. На рубашки, на штаны, барышням на кофточки...

— Давать-то кому будут?

— Давать будут рабочим, которые на плотине, вот, как я: по-ударному, в первый черед. Я вот сейчас на бетономешалке, но это что! Скоро на подъемном кране встану. Я паровой мельницей могу управлять!

Санечка не говорит, а сипасто кричит, чтоб слышали и в соседней комнате. В рассечине губы проступает пена, глазки хвастливо безумеют. Ватные рукава вздуты на толстых воловьих мыш-

цах. Аграфена Ивановна хочет еще выведать насчет мануфактуры, но Санечка недоговоренно примолкает, хмурится. Она выносит ему на тарелке раскаленную воблу и боком, из-под платка, сует посудину с водкой.

Услышав бульканье в стакане, оба тулупа окончательно поднимаются.

— Мешки в сених, — повторяет Аграфена Ивановна.

Пошушукавшись еще с обоими у порога и проводив их, Аграфена Ивановна садится просительно против Санечки, нет-нет да поскребывая под платком. За перегородкой Дуся сердитыми щипками пробует гитарные струны. Полесному шумит метель, шумит давно-давно... Дуся суровым голосом заводит цыганскую песню, да и не песня это, а истекает скукой бесноватое жаркое тело, которому деться некуда от метели, сундуков и комодов... Санечка, нажевавший полный рот, при первых же звуках закидывает голову и, не проглатывая пищи, оцепеневает. Какую-то ответную смуту он слышит в себе... Но через минуту, очнувшись, еще яростнее принимается молоть челюстями, до ушей вгрызается в воблу. На устремленных в одну точку глазках от наслаждения едой — слезы. Одна слеза катится по щеке и падает в стакан. Санечка спохватывается и аппетитно, с присосом, опоражнивает его.

— Соображаешь, мамаша? — загадочно спрашивает он Аграфену Ивановну.

— Что?

Но Санечка опять вгрызается в воблу, не отвечая. Аграфена Ивановна до сих пор не может понять: слабоумен он или чересчур хитер?

— Мамаша, — мямлит, наконец, Санечка. — Ты ко мне снисхождение показала, а я тебе, хочешь, за это своей головой помогу. А?

Видно, что на Санечку от выпитого накатила неодолимая доброта.

— Насчет мануфактуры ты так сообщай. На этом участке на вашем... восемь барачков. Тут все без специально-сти, и все они сейчас на разгрузку бро-

шены. С разгрузкой-то зашились, ведь мамаша, все строительство на иголке!

Аграфена Ивановна недоверчиво кивает:

— Так, так...

— Соображай. Денег месяц не платят, по пурге на разгрузку за четыре километра гоняют. Сейчас, скажем, сговорится весь народ и завтра — пожалуйста: на работу не идем, давай деньги, а денег нет, давай мануфактуру. Давай, а то не пойдем. Мамаш? Дадут!

Аграфена Ивановна — равнодушно:

— Мне-то что?

— Тебе-то?

Санечка, ослабившись, подмигивает ей, перекашивая при этом все лицо. Он молчит и вдруг подмигивает опять. Черты его неузнаваемы, словно опрокинутые, они видятся, и какая-то далекая жуть наплывает на Аграфену Ивановну, ей хочется отступить, у нее кружится голова.

В сенях под метельный гул грохает опять дверь, словно это живьем по Аграфене Ивановне грохнуло, так передрнуло ее.

— Кто там еще?

Она рычит в сенную темноту:

— Кто-о?

Колокол, метель, лающие чьи-то голова за дверью.

Аграфену Ивановну некая сила заставляет отпрянуть назад.

— Мшанские? Какие такие мшанские, чего вы...

Дуся выглядывает через дверную щель, голубеет там. Санечка поднимается и со свирепым видом, словно для расправы, идет мимо уstraшенной и растерянной Аграфены Ивановны в сени.



В Челябинске с большими трудами пересели на другой поезд. После гор опять раскатилась во все стороны белая, до темноты в глазах, пустая степь. Снеговые вихорьки по ней завивались.

Утром под'езжали к невеликой станции. Через дырочку в окне привиделся Журкину одинокий ветряк, растопырив-

ший крылья неподалеку за полотном. Фундамент кирпичный осел на один бок; ветряк кривился сиром, покинуто; может быть, лет с десяток уже на нем не мололи. На целый день от этого ветряка придавило уныньем.

Петра, и то разморило от вагонной маяты. Зарос весь сивым коротким волосом; курил кисло, разговаривал срыву.

На станции пускал пар встречный поезд. Журкин сам пошел по морозу за кипятком. Инеем обмохнатило стационные кусты, сквозь них чернело тускло-грозовое небо. Над будкой с кипятком висел слинявший от непогоды плакат:

*Привет передовым пролетариям,
едушим строить
Мировой
Гигант*

и —

Дадим пролетарский отпор дезертирам, подпевалам классового врага!

На крану замок ржавел, и, видать, давно, не один месяц. Кипятку не было.

Во встречном с площадок глазел, покуривая, разный обтрепанный народ. Журкин поспрашивал, не со стройки ли взад едут.

— С нее самой.

— А какая причина?

Мужик с сумою на спине, бывалый, вроде ходока, для смеху подтолкнул другого плечом. Оба с издевкой оскалились.

— Поезжай, узнаешь, какие длинные рубли бывают.

Грбовщик поплелся к вагону, больше уж не спрашивая.

Доедали днем позавчерашние куски, помакивая их в холодную воду и присаливая. На станциях горячего ничего не подавали, да и ветка необжитая еще была, проложили ее всего с полгода. Кое-где выходили, правда, к поезду бабы с едой. Ржаная лепешка стоила у них рубль. Пять штук монпасье — рубль. Кусок баранины в ребячий кулачок — рубль. Из степи,

из чужбины наезжали заметенные башкиры в острых шапках. На них глядеть не хотелось. Журкин завернулся с лицом в воротник и, не раздеваясь, не то во сне, не то в лихоманке провалялся целый день.

Наверху, вместе с торбами, колобком свернулся Тишка.

Ночью поезд встал в поле. Против него светилась одинокая путевая будка. Пассажиры, ругаясь, поперли с сундуками наружу. Высадку сделали за четыре километра от станции: дальше, по случаю забитых составами путей, поезду было не пройти.

Как только спрыгнули со ступенек, свистнула и залепила очи пурга, потопил сыпучий, по колени, снег. Журкин потихоньку перекрестился: «Доехали...».

Слева мутнела котловина, на далеком небесном краешке которой играл гребешок из огней.

Шли рельсами, между составами. Пурга не залетала сюда, билась снаружи о стены товарных, только снизу охлестывая ноги. Народ раструсился понемногу, только трое наших остались вместе. Журкину едва в мочь было поспевать за Петром, который побрасывал да побрасывал ногами. Ломило плечи от сундучка. В шубе сделалось душно до мокрети, а руки и лицо секла кнутами стужа.

— Полегче, Петра... — взмолился он.

Шагали час, может быть, и больше, а составы грудились за составами, тянулись оглохшими бесконечными улицами. Вагоны сменялись порой платформами, тогда в разгороженное врывается сразбегу буря, путники слепли, хохлились, крутились в ней.

Наконец, свернули в степь, в обледенелый ветер. Петр снял торбу с плеч и, не говоря ни слова, сунул ее Тишке. Тот схватил обрадованно: если дядя Петр поручал ему свое имущество, значит, не могли бросить его, Тишку, одного.

Вожаком через пургу шагал Петр.

До первых строений добрались по телеграфным столбам. Строения обозна-

чились сарайные, сплюснутые, крыши чуть ли не лежали на земле. Свет прсбивался едва-едва. То крайними бараками зачиналось великое поместье стройки.

«Эй, эй!» — закричали сзади поямщицки. По колдобинам лошадь с пристуками несла низкие санки. Путники приостановились. Как-раз около них санки подбросило на рытвине и перевернуло. Ямщик запутался около лошади, седок вывалился на дорогу. Дело для него было, очевидно, привычное. — «Бумаги, чорт! — орал он, — бумаги лови!» Грбовщик с Петром бросились помогать, собирали по снегу разлетающиеся, вывалившиеся из утробы седока листки. Тишка положил торбу на дорогу и, пока никто не видел, поплясал и немного поплакал. Буран стервенел, закидывал с головой... Усадив проезжего, Петр спросил про дорогу на Казачью слободу.

Надо было пройти мимо недалеких огоньков, — это управление и гостиница. От них — ложиной между гор, оставив вправо от себя плотину, которую можно отличить по сильному освещению. Дальше все время держаться на церковь, на звон.

Сколько еще времени вязли в снегу и билась с ветром — не вспомнить. И вдруг вошли в большой город. Сияли насквозь огневые стекла многоэтажные корпуса. У под'ездов, светлых, как днем, готовно ждали автомобили. Ходили через площадь под фонарями по своим делам люди. Тянуло отовсюду житейским теплом... Но весь город стоял из двух домов; чуть отойдя от них, сразу провалились опять в дикое поле, в мрак — ни света, ни человека, хуже еще ослепли. Начало доносить глухой звон... Потом Петр крикнул: — «А, ведь, горы-то прошли, держись, ребята!» — Журкин высунулся из воротника и, несмотря на то, что самое страшное, казалось, было перевидано, суеверно обомлел: снег, летучими стенами завивавшийся вокруг, просвечивал насквозь, и небо шаталось мутным заревом. Он подумал, что это уже в последней погибельной одури явилось

ему... Но метель раз'ялась: невдалеке открылось ярко озаренное возвышение, на котором двигались и металась лю-ди, занятые работой. Вот это и бы-ла стройка, ледяная, ералашная, точь-в-точь такая, какая бредилась при вы-езде из Мшанска... Колокол гудел все ближе, Петр впереди поругивался на погоду все сердитее и веселее; ясно, что подходили к месту. Опять промутнели в пурге бараки. Тишки что-то не слышно стало, Журкин то-и-дело оглядывал-ся — не упал ли там. Нет, закрыв ру-ками и петровой торбой голову, брел еще малый.

Пошли улицей. — «У нее халупа в аккурат против церкви», — крикнул Петр. И путники увидали, что стоят пе-ред самой оградой, из которой машина колокольни гремит в темноту. Непода-леку в ставнях щемился свет. — «Не иначе тут», — сказал Петр, и все дви-нулись за ним поперек улицы.



Держа почтительно шапку в руках, Журкин раньше всех бочком влез в гор-ницу и очутился перед Аграфеной Ива-новной.

— Это я, Иван, — лепетал он, — помните, тетенька, вам еще рамы наде-лывал, Иван-то Журкин; ну, Соустина Филата зятя-то сын...

— Личность будто признаю, — ска-зала Аграфена Ивановна, из-под руки, с прищуром, проникая остальных. Петр явно прятался в тень; Тишка трясся на пороге.

— Чего же в эдакую даль прикати-ли, за какими делами?

— Дак за делами и есть, Аграфена Ивановна. Дома их на копейку не ста-ло... Первое дело к вам, как по знаком-ству... уж не оставьте...

— Значит, хотите присмыкнуть к на-шему ударному строительству? — на-смешливо вознесся над ним Санечка.

— Первое дело — обмерзли совсем, прямо погибаем, нам хоть угол какой-никакой на ночь...

— Тогда пожалте в бараки, участок номер шестой, от церкви первый про-улок налево, там уж самовар поставили.

Аграфена Ивановна отмахнулась от санечкиного ржанья.

— А что за товарищи такие с то-бой?

— А это дедушки Филата выкормок, Соустин Петяша, который, чай, по-мните....

Журкин вдруг онемел, увидав, что Петр устрашающе двигает бровями. Аграфена Ивановна раздумчиво, понят-ливо кивнула.

— Во-он что... Ну что ж, обогрей-тесь, коль немного. А тебе, Санечка, на ночевку, пожалуй, пора.

— Ну и пошел, — согласливо отве-тил Санечка, натягивая свой огромный малахай. Больше он ничего не сказал, только, обернувшись в Аграфене Ива-новне, повторил свое таинственное ми-ганье. И в дверь шагнул поверх с'ехав-шего на пол Тишки, как будто тот был ничто.

А Петр первым делом устремился к семейным карточкам, которые в прово-лочных и выпиленных фанерных рамоч-ках, по зажиточному обычаю, выста-влены были на комодке поверх вязаной, из красных и желтых ромашек, скатер-ти. Одна карточка его особенно заин-тересовала, даже в руках ее повертел, несмотря на недовольный взгляд Агра-фены Ивановны.

— Это Миша? Давнишняя карточ-ка у вас. Я поновее покажу.

И из ватных захолустьев своего пид-жака вытащил нечто, завернутое в га-зетную бумагу; оказалось — фотогра-фический снимок. Бережно подул на него, раньше чем передать Аграфене Ивановне.

— Узнаете?

Аграфена Ивановна вперилась дико.

— Смотри-ка... Мишенька... Сыно-чек мой разлушный, солдатик... не ви-дала тебя эдакого. Петруша... как те-бя по батюшке... откуда у тебя?

— Да мы с Мишей дружки, Агра-фена Ивановна, или нет? Это кто с ним рядом стоит, физиономию посмотрите.

Петр, торжествуя, нагнулся к стару-шину уху.

— В Сибири на прощанье снято.

— В Сибири! — Аграфена Иванов-на вместить больше не могла, задыха-

лась... — Из Сибири, как Колчак прошел, ни одной весточки не было. Восемь или десять годов?.. Говори, голубок, что же молчишь-то?

— Повторяю, мамаша, в Сибири снято.

— Говори, батюшка... нет его больше, моего Мишеньки?

Аграфена Ивановна торопливо обтирала фартуком слезинки со скул, приготавливаясь услышать ответ, обмирая заранее. Колокольня гудела, шлепалась об окна пурга, проносясь из Сибири, с колючавских когда-то, тифозных становий... Петр стоял перед старухой, строгий.

— Слышите, мамаша? Сомненья, что ваш сын жив, у вас никогда быть не может, понятно? А разговор будет потом...

Аграфена Ивановна обтерлась ладошками, кофточкой... словно проснулась. «Визгнет сейчас», — загадал Журкин, попрежнему согбенный, с шапкою в руках. И вправду визгнула:

— Дуся, Дуся, погляди-ка, кто приехал! Гадальщик-то не зря сказал, что весточка будет! Вот она, Дуся, от Миши весточка!

Проголубело опять в поддвери; брезговали слово вымолвить гримасные губки...

Журкин отогревался — не только от тепла, но и от радости.

«Вот какой секрет вез... Ну, и голова! Не пропадешь за ним, Иван, ей-богу!»

Аграфена Ивановна суетилась по-матерински хлопотливо.

— Да вы одежду-то скидавайте, обогревайтесь хорошенько! Ко столу подвигайтесь, самовар не остыл еще. Дуся, подкинь угольков! Ты чего же, Петяша, вошел-то уж больно молчком, отвергивался?

— Чужие бревна у вас в дому были. Он не спеша, как дома, разделся, оказавшись в каком-то отрепьи табачного цвета.

— Это Санечка-то? Санечка свой, правильный... на ять!

Судя по подобным словцам, старуха не отстала от молодого века; многому кое-чему сегодняшнему понаторела во

время своих подневольных скитаний... На столе жарко зашумел самовар; вот и целое блюдо булок — с верхом, даже на стол скатываются; раскромсанная на толстые жирные доли копчушка-сеledка. И старуха сама от суетливости позвончала, поядренела; давнишняя, не добитая еще годами Аграфена Ивановна. Причиной всему была, конечно, радостная неясность, принесенная Петром; как в тепле, купалась в ней душа Аграфены Ивановны, и невтерпеж, и боязно было ей разузнать обо всем дальше. И, когда Дуся, присев у краешка торжественного стола, чуть локоток на него положив, с явным пренебрежением спросила Петра, к нему не поворачиваясь:

— Ну, и что же вы скажете о Мише, гражданин, где он теперь?—

Аграфена Ивановна зачуралась:

— Дай людям срок, не видишь — обголодались, обхолодались, какую страсть проехали!

Петр, чтоб показать себя, сел в пол оборота, статуей, устремив взор возвышенный через плечо. Забыл, что небрит, волосат, что краснонос от мороза и что из-под отрепьев вылезает грязный дочерна воротник ситцевой рубахи. Гробовщик умильно поддержал хозяйку.

— Обголодались так, что слов нет. Петра вон, спасибо, по вокзалам шарил, с тарелок долизывал, ну и нам перепало...

От пинка под столом у Журкина прервался голос. — «Дурак я, дурак, что-то никак не потрафлю»... — Дуся унижающе повела на гостей подчеркнутыми, не девичьими глазами. Сама Аграфена Ивановна расположилась перед самоваром, осанисто, как встарь в мшанском послебазарном кругу; первым делом налила обоим гостям по чайному стакану водки и себе в рюмочку, сказав: «со свиданьицем». Осведомившись о Тишке (Петр пояснил, что взял его с собой заместо подручного — пока багаж таскать, сбегать туда-сюда, а там посмотрим, как все разовьется), и Тишке налила Аграфена Ивановна кружку чаю и пожаловала булочку; Тишка при этом не сразу отошел от нее, подождал, не навалит ли еще поверх булки сеled-

ки и сахарку, но Петр сделал бровями: — на место, живо! — Дуся нацедила себе половину чашечки, на которой среди розовения красовались китайские храмы, — это Петр, указав мизинцем, угадал, что китайские: он, ведь, и в Китае не раз бывал. Аграфена Ивановна опять заволновалась, захотелось ей спросить... Но пока сказала:

— Уж я рада, так я рада своих земляков повидать, ну! — и рюмочку вознесла.

Гости выпили, и жгучая, будто на хозяйском счастье настоенная, водка хорошо пропала до костей. Журкин, сладко подзакусывая, загорался опять рассказать, какая нужда настала кругом и захиренье; и чтобы все его слушали, как родные, и сочувствовали, рассказал, как артель отбила последнюю работешку, как в семействе у него, если всем по куску, так надо восемь кусков, а если по два — шестнадцать...

— По гробам я ударился... Но фансонные-то, херувимские, спрошу я вас, кому их надо? Беднота!.. Опять же гармоньи стал починять. Так заместо гармоний зачали все радиву себе ставить: она хоть и хрипит, зато дешевше.

И лохматую голову для жалости понуривал.

— А кто виноват? — корила Аграфена Ивановна. — Сам, ведь, политической баловался, в остроге сидел: вот и радуйся — ваша власть.

— Да, мож-быть, она где и власть, а у нас одна бражка собралась, Аграфена Ивановна, всем правит мальчишка нахальный.

Аграфена Ивановна все мрачнела.

— Домишко-то цел мой?

— Как не цел, — ладил ей старательно Журкин, — весной железом перекрыли, всю колхозную правлению в него перевели.

Аграфена Ивановна приложила концы платочка к глазам, взныла тоненьким голосочком:

— Не видать мне роди-и-мого гнездышка-а... — Потом, сердито утершись: — Мужики-то, дураки, чегосмотрят? Собрались бы вместе, всем миром...

Журкин про себя бормотнул:

— Нам бунты эти ни к чему, надоело уж. Нам бы кусок спокойный.

— То-то вот... он и здесь был спокойный. А теперь гляди — народу всякого тыщи нагнали, железный содом день и ночь строят... кому это надо?

— По газетам называется: мировой гигант, — веско вставил Петр.

— Я дура, я про этот гигант ваш не понимаю, а вот про ветра знаю, и все умные люди говорят, что строиться на этом месте нельзя. У нас такие ветра, каких нигде на земле нет. Тут до большевиков, думаете, не пробовали, не строились? А как до лета, до ветров дойдет, от одного уголька или от папироски... самому хозяину только впору ноги унести!

Аграфена Ивановна взбудоражилась, сразмаху, от доброго сердца нахлестала гостям еще по стакану, себе в рюмочку.

— Да, оно пущай погорит, — согласился Журкин, — нам бы только до лета на кусок заработать да ребят окопировать. Набедовались мы больно... — И всхлипнул от пьяной ласковости. — Тетя Груня!

Пришло время сказать и Петру. Он деловито ощерился, он послал перед собой пронзительный, соображающий взгляд: все для нее, для Дуси.

— Нам от этих сумбурных обстоятельств, скажу, даже гораздо легче. Вот вы, Аграфена Ивановна, сами загодя от беды ускреблись. — Петр пустил долгий загадочный молчок, настукивая пальцем по столу; от этого молчка и хозяйка, и гробовщик с'еженно притихли. — А есть тоже которые вашего класса, но жили по сие время открыто, имея надежду... Теперь их с ненавистью преследуют, изгоняют из родных мест, притом с волчьим билетом. Им в сумбуре можно сызнова себе фамилию заработать. А которые, может быть, имеют и свои особые точки... Эх, Аграфена Ивановна! И в тайгу, и в тундру нас с Мишей кидало, нигде не сгибли. Мы жить хотим, Аграфена Ивановна, и жить будем!

Аграфена Ивановна опять, по простоте, обирала с себя слезинки. Но душины губки, припавшие к китайской чашечке, играли презрительно.

Гробовщик, распотевший, раскосматившийся, истерзавшийся во время речи Петра, от сочувствия шумел:

— Правильно, вот правильно, тетенька Грунюшка, хорошая, будем жить!

И не сегодня, а где-то в завтрашних временах плыл семейный этот, радостный стол, раскинувшись он богато на дому у самого Журкина, и собраны за столом, для задушевного сиденья, лучшие гости. Эх, будет она, будет такая жизнь, сколько бы ни пришлось для нее горб поломать!

От порога, с пустой, вылизанной чашкой на коленях, зарился на стол голодный, забытый Тишка.

Гробовщик подумал, что теперь самый подходящий момент расспросить насчет работы.

— Работы?

Аграфена Ивановна, после рюмочек и сердечного разговора, по-шаловому глядела. Думала.

— Работа, скажу, есть, но такая, что от нее народ в большинстве назад избегает. Сами, поди, видали, как составами все пути забиты. Не стало к строительству ни подойти, ни подехать. Ну, и давай весь народ из баряков на разгрузку гонять.

— Дак который, тетя Груня, из-за куска бьется, за этим не постоит...

— А где кусок-то? Жалованья второй месяц не платят, а рабочий задаром, за счет Пушкина, по морозу казись! Им, главкам-то, хорошо: они и сыты, и в тепле...

Гробовщик омрачился.

— Не пла-атят?

И Аграфена Ивановна тоже из сочувствия омрачилась, помолчала. У порога горящий Тишка напрягал слух...

Петр, забеспокоившись, спросил:

— Но, Аграфена Ивановна, то-есть вывод какой?

— Вывод вам будет, когда за дело с умом возьметесь. Они сюда вон целый

эшелон мануфактуры пригнали. Так пускай ее заместо жалованья выдают, коль денег нет, ее у рабочего всякий за деньги купит.

— Ага... — про себя замысловато развязывал что-то Петр. — Вижу, около большой воды здесь живете, мамаша!

— Дали бы возможность, с умом везде большая вода будет...

— Правильно.

Журкин тоже согласливо закивал; какие-то утешительные и плодоносящие догадки почуялись ему у Петра. — «Верно, за ним, как за стеной. Первое время починкой гармоний перебежусь... а там, ведь, и выдадут когда-нибудь жалованье-то!»

А Петр раздумчиво свертывал цыгарку. Несмотря на напущенный на себя всезнающий вид, он еще смутно уяснял, как и чем орудует Аграфена Ивановна у большой воды... Смотрел исподтишка на Дусю, перетирающую чашки; она, балованная королевская дочь, лишь по принуждению сидела сейчас около них, зачумленных и нищих. Ну, подождем! Водка мечтательно окрыляла его, и уже по-другому, заманчиво мерещились только-что пройденные, осыпаемые бурным стогна строительства, словно сквозь Дусю теперь сладко видимые, утепленные ее женской теплотой... Несомненно, крылась тут непочатая почти нажива... подождем! Петр очень изящно, невиданно для здешней горницы, изогнулся перед Дусей с цыгаркой. — «Разрешите?» — Но та лишь пренебрежительно тряхнула стриженной волнистой головкой, — «мне-то что!» Для Дуси он не существовал.

Аграфена Ивановна, боязливо дивовавшаяся на эти его выверты, вдруг вымолвила:

— Родимый, ты скажи правду, можешь — жулик ты?

Петр, скорбно вздохнув, слазил в карман за карточкой.

— Я в свою очередь спрошу вас: что говорит вам этот предмет?

Старуха, не отрывая глаз от изображения, убито мигала.

— И хотя это самая дорогая мне память, дарю вам за вашу ласку!

— Коль ты вправду ему дружок, скажи, где сыночек мой?

— Мамаша! — Петр в расстройстве нагнулся к старухине уху. — Хотите, чтоб сгибли все? Вы, извиняюсь, женщина... хотя и мать. Как же я вам могу доверить? Вот Ваня — брательник мне близкий, а сказал я ему когда-нибудь одно слово?

Аграфена Ивановна, сама продувная, базарная, колебалась.

— Я, родимый, понимаю... Вот когда мы еще в Самаре-то скрывались, один заведующий там с Дусей гулял, все утешал меня: ваш сын, говорит, может быть, заехал в такое место, что ему и писать оттуда нельзя, чтобы вас через это не подвести...

— А я что говорю?

— Он мне не только, что брательник, — разливался охмелевший гробовщик, — он, тетя Груня, друг мне, он — стена!

Дуся, позевывая, собирала перемытые чашки. Порой мимо Петра тянулась через стол, будоража его близкой теплотой груди. Таких чистотелых, красиво одетых барышень давно не видел рядом с собой. Не сводил с нее лъстивых глаз.

— Как вы замечательно похожи на брата вашего Мишу! Вы в Мшанске меня не помните? Рысак у меня еще был, под голубой сеткой. Как, бывало, прокачу по Пензенской, так все кругом: браво, бис!

— Нет, не помню.

— Ну да, девочкой еще были.

— Разборчива девка не по временам, — вступилась Аграфена Ивановна. — Какие кавалеристые сватались, заведующие даже, не хочет.

— Подумаешь, кепочки всякие...

Аграфена Ивановна вздохнула, добавив не без тайной гордости:

— Только, слышь, с инженером распишусь, больше ни с кем, вот у нас как!

«С инженером»... Петр словно озяб, услышав это. О, какая натуга еще предстояла впереди, труды, темнота...

— Значит, мамаша... если какие дела в общем интересе обрисуются, то помочь я всегда...

— Эти уж мне дела! — Аграфена Ивановна, скучая, отмахивалась, она еще не давалась в руки совсем. — Чегой-то у вас тут в ящике-то?

— Гармонья, — ответил гробовщик.

Старуха ожила.

— Гармонья? Ну да, помню, помню. Сыграл бы нам маленько, Иван!

— Очень замечательный музыкант, прямо артист, — нахваливал Петр гробовщика, обращаясь попрежнему к безучастной Дусе. — Он одну пьесу играет из жизни. «Истерзанный, измученный наш брат мастеровой»... Наплачешься. За ним однажды две деревни мужиков без ума ушли, за гармоньей, все бросили. Ваня, сыграй, когда дамы просят!

— Дак у меня, вроде сказать, зарок.

— Ну, какой еще зарок, — недовольно сказала Аграфена Ивановна.

Гробовщик совестился.

— Дак... я так порешил: когда мы с Петяшей свое счастье здесь найдем, подразживемся маленько, вот тогда и выну и гряну, эх! А пока пускай в сундучке полежит.

— Ну, ты зарок-то себе оставь, а нам сыграй, разок сыграй. Не ломайся, тебя чествой накормили, напоили.

Но гробовщик мучительно отнекивался. Аграфена Ивановна пьяно раскосматилась от гнева, обернулась ерлашной косогубой бабой, крикнула:

— Тебе говорят, будешь играть?

— Зарок даден, — умоляюще противился гробовщик, — тетя Грунь...

Аграфена Ивановна разгульно поднялась со стула.

— Так? Ну... вот тебе бог, а вот порог... проваливай отсюда!

— Войдите в понятие, тетя Груня!

— Проваливай, и никаких! Всегда непочетный был... за хлеб-соль трудно уважить? Не зря, видно, в острог-то сажали... шут, тебя знает за что...

Гробовщик с убитым видом увязывался, валил на себя шубу. Тишка подошел к столу на дыпочках, поставил пустую чашку на краешек и так же на дыпочках убрался к порогу. Шея за

ночь еще тощее, еще длиннее стала, ножа просила своею безропотностью.

Петр тоже встал, посумрачнев. Неладно получилось. Аграфена Ивановна подшлепала к нему в упор.

— А ты останься, тебе угол найдем.

Петр мешкал.

— Вы бы извинили, Аграфена Ивановна...

Гробовщик уже взвалил на плечи свою поклажу. Тишка с'ежился у двери, не зная, брать петрову торбу, или нет. Петр искоса, просительно поглядел на Дусю. Если б она хоть взглядом чуть показала, чтоб остался...

Нет, Дуся, с баловаными своими губками, не видела никого.

Петр шагнул к порогу.

— Никак не могу я брательника бросить, Аграфена Ивановна, кровь-то, ведь, своя. Благодарствуйте за все.

И пропал в морозном пару.

— Ты погоди, погоди-ка, быстрый... — кликала растерянно Аграфена Ивановна.

— Не беспокойтесь, барак как-нибудь найдем, мы без сердца на вас... Помните одно: дела делать будем.

И опять воет ночь, чужбина...

(Продолжение следует)

Казачьи песни

А. СОФРОНОВ

ПЕСНЯ КУБАНСКИХ КАЗАКОВ

Как ехали по полю.
Лихие казаки —
Под солнышком сверкали
Точеные клинки.

Под солнышком сверкали,
Как молния в грозу.
Клинки свои держали
Казаки на-весу.

Клинки свои держали,
Готовились к боям,
Чтоб дать отпор суровый
Взбесившимся врагам.

Чтоб дать отпор суровый,
Стереть с земли врагов,
Летели вихрем сотни
Кубанских казаков.

Летели вихрем сотни
В ученьи боевом
И песни запевали
О Сталине родном:

— Ты наш, товарищ Сталин,
Учитель дорогой,
Сердца наши казачьи
И наша жизнь с тобой.

Сердца наши казачьи,
Как ветер, молоды,
Цветут станицы наши
У голубой воды.

Цветут станицы наши,
Высоки тополя,
И нам всего дороже
Советская земля.

И нам всего дороже
В сердцах у нас весна,
Так пусть растет и крепнет
Советская страна!

... Так ехали по полю
Лихие казаки,
Под солнышком сверкали
Точеные клинки.

ПЕСНИ СТАРОГО КАЗАКА

Вдали по-над степью бледнеет закат,
Весенние ветры травой шелестят.
Весенние звезды светлы и чисты,
Росою холодной покрыты кусты.

Так спой нам, дедуся, что хочешь, то
спой.
И мы потихоньку споем за тобой...

«Ах, Катька-царица, куда ж завела,
Ты злую кручину казакам дала,
Ты злую кручину казакам дала,
Тюрьму подарила, а волю взяла.

Мы волю искали в степях и в горах,
А воля-неволя сама в кандалах.
Закована воля тюремным замком,
Не свиделась воля с лихим казаком»

Над хутором месяц далекий повис —
Наверх рукояткой, а лезвием вниз.
Он светит, не греет, ему ль не сиять?
Без звезд не выходит на небо гулять...

Так спой нам, дедуся, другую нам
спой,
И мы потихоньку споем за тобой.

«Кубанские кони летели в горах,
Казаки скакали в турецких краях.
В атаку нас вел есаул молодой,
Серебряна шашка, газырь золотой.

Ах, горькое горе смолчать не могло,
Полсотни казаков на землю легло.
Товарищ мой ранен, поник головой,
Горнист на вершине играет 'отбой...»

Полночные звезды висят над рекой,
Потянешься — можешь достать их
рукой.

А ветер подует — в смятенье придут
И синим дождем на поля упадут.

Так спой нам, дедуся, веселую спой,
И мы потихоньку споем за тобой.

«Свадьбу казачью на ведра считать,
На ведра считать, да и счет потерять.
Гуляет казак борода-богатей,
Таманским вином заливаает гостей.

На шитых коврах, словно месяц,
бледна,

Сидит молодая невеста-жена.
Казак молодой за тесовым окном,
В окно богатею грозит кулаком».

Плывут облака, словно волны, плывут,
Какие тревоги в дороге их ждут?
Лучится над полем серебряный блеск,
И месяц стоит, как морской волнорез...

Так спой нам, дедуся, о жизни нам
спой,
И мы потихоньку споем за тобой.

«Ой, на поле пал черноморский туман,
Казаков кубанских зовет атаман,
Ой, солнце над полем — в багровом
огне,
Казак-большевик летит на коне.

А навстречь казаку кокарда блестит —
То сын атаманов по полю летит.
Ой, враг ты смертельный — и выстрел
гремит,
Фуражка с кокардой на землю
летит».

Зеленые звезды бледнеют вдали,
Туман проползает у самой земли.
Мы утро встречаем последней звездой.
Слегка отраженной в реке голубой.

Так спой нам, дедуся, хорошую спой,
И мы во весь голос споем за тобой.

«Кубанские степи далеко видны,
Гуляют казачьих коней табуны.
Весенние ветры над степью свистят,
И шашки казачьи на солнце блестят.

Как тучи, проходят коней табуны,
Как ветер, над полем летят табуны...
Когда ж Ворошилов нам крикнет:
— Э-гей!

Мы все по команде взлетим на
коней!»

Зеленые всходы в огне золотом —
Высокое солнце встает над холмом.
Из хутора едет казачий отряд.
И песни над степью, как птицы,
летят...

Стихотворения

ЭЖЕН ПОТЬЕ

Перевод и предисловие АЛЕКСАНДРА ГАТОВА

6 ноября 1937 года исполняется 50 лет со дня смерти Эжена Потье. Эжен Потье — автор текста «Интернационала». Он родился в 1816 году, в рабочей семье. Первое его литературное выступление относится к 1830 году, и уже в следующем году юный Потье выпустил сборник стихотворений «Молодая муза», посвященный Беранже. Вслед за этим сборником последовали новые песни, также проникнутые передовыми идеями революционного движения 30-х годов. Эти песни имели огромный успех. Потье становится популярным среди парижских рабочих поэтом, песенником. Он пишет не только песни, но и обзрения и водевили. Он молод, жизнерадостен. Он верит в будущее класса, из которого вышел.

Потье участвовал в революции в феврале 1848 года. В июне 1848 года он участвовал в восстании парижских рабочих; это грозило ему смертной казнью. Случайность — Потье был в это время болен — избавила поэта от кровавой расправы, которую должны были произвести над ним подручные генерала Кавеньяка.

Переворот Наполеона III Потье встретил враждебно. Он посвятил ему блестящий памфлет «Парад империи». В период II Империи Потье сохранил верность республике, участвуя в революционных подпольных кружках. Потье по своей профессии был художником, разрисовщиком тканей. Он организовал профессиональный союз разрисовщиков тканей, который впоследствии вошел в Международное товарищество рабочих (Первый Интернационал).

Во время Парижской коммуны Потье был избран в члены Коммуны, принимал участие

в различных ее комиссиях и работал в мэрии своего округа. По сообщению его биографа Мюзэ, он был автором декретов о ломбарде и о квартирной плате. Он принимал участие в Комитете общественного спасения, сражался на баррикадах. Во время «кровавой недели» Потье находился в Париже, в подполье. Замечательно, что именно в дни поражения Коммуны Потье написал «Интернационал», явившийся настоящей программой революционного пролетариата на будущее. «Интернационал» — один из замечательных документов международного пролетариата.

Долгие годы Потье провел в эмиграции; из них семь лет — в Соединенных Штатах Америки. В Америке Потье написал ряд замечательных поэм — «Парижская коммуна», «Рабочая партия» и др. В этих поэмах Потье обращается к рабочим всего мира как представитель американского пролетариата, каким он действительно мог себя считать, так как в Америке Потье был избран генеральным секретарем американской рабочей партии. В 1880 году Потье после амнистии вернулся во Францию и примкнул к социалистической партии. В последние годы жизни Потье почувствовал, несмотря на старость, особый прилив творческих сил. Его воодушевляли победы, которые в 80-х годах начал одерживать во Франции рабочий класс. В этой борьбе Потье участвовал и как деятель партии, и как ее замечательный поэт.

Книги Потье появились только в последние годы его жизни. Наибольшим успехом пользовались «Революционные песни», выпущенные по инициативе участников Парижской коммуны в год смерти Потье. Предисловие к этой книге написал Анри Рюшфор. Похороны

Потье, в которых участвовали тысячи парижских рабочих, превратились в крупную политическую демонстрацию.

Несмотря на то, что ряд выдающихся представителей культуры и политики считали Потье крупнейшим поэтом, буржуазия отказывалась признать его творчество сколько-нибудь значительным. Произведения Потье не переиздавались и стали библиографической редкостью. Буржуазия замалчивала Потье, и это замалчивание было формой классовой мести великому революционному поэту, автору «Интернационал».

Пролетариат нашей страны шел со словами Потье на штурм капитализма. В течение десятков лет «Интернационал» вдохновлял трудящихся России на борьбу с капиталистами и помещиками. Характерно, что единственная статья о Потье в русской печати до революции была помещена в «Правде» в 1913 году.

Эта статья была подписана инициалами — Н. Л. Вполне возможно, что эту статью написал Владимир Ильич Ленин, хотя документально это не удалось установить.

В 1931 году у нас вышел сборник Потье «Песни». Появление работы о Потье в Советском Союзе стимулировало, между прочим, интерес к Потье и во Франции, о чем свидетельствуют журнал «Монд» и газета «Юманите». В настоящее время подготовлены к печати переводы избранных стихотворений Потье. Следующим этапом несомненно явится выпуск полного собрания стихотворений Потье на русском языке. Творчество Потье должно стать достоянием трудящихся Советского Союза. Наш народ должен познакомиться с творчеством великого поэта, одно из стихотворений которого стало гимном страны победившего социализма.

Печатаемые ниже стихотворения Потье переведены на русский язык впервые.

ЧТО ГОВОРИТ ХЛЕБ?

Леону Оттен

Я слышу, как шутят порою:
 Что хлеб говорит под ножом?
 Он красноречив, я не скрою,
 В обед за домашним столом.
 Пшеничный или гречишный,
 Как друг, он зовет аппетит.
 — Ты знаешь, что хлеб говорит?
 — Ты знаешь, что хлеб говорит?
 — «Я—жизнь. Я на свете не лиш-
 ний».

Кто знает, что значит работа —
 Поднять урожай из земли?
 Людей обмывало три пота,
 Быки обожженные шли...
 Для знати, чье дело — забава,
 Всем, кто, не работая, сыт —
 — Ты знаешь, что хлеб говорит?
 — Ты знаешь, что хлеб говорит?
 — «Рукам тем, что сеяли, слава!».

С мученьем все силы природы
 Прогрессу дано открывать.
 Кровавы, мучительны роды,
 Но рада страданиям мать.
 — К победам, к свершеньям, кто
 молод! —
 Зовет он, борьбой знаменит.
 — Ты знаешь, что хлеб говорит?
 — Ты знаешь, что хлеб говорит?
 — «Я был жерновом размолот».

Трудящийся! Станет ли ясно,
 Что хлеб наш — у ростовщиков?
 И солнце без веса прекрасно,
 И хлеб не желает весов.
 Голодным, нужде человечьей,
 Которая цепью звенит,
 — Ты знаешь, что хлеб говорит?
 — Ты знаешь, что хлеб говорит?
 — «Уже разгораются печи!».

Энергия

Роман

ФЕДОР ГЛАДКОВ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

(Продолжение ¹)

IX

Радость

1

После разговора с товарищами в партийном комитете Паша весь день чувствовала себя беспокойно. Ей казалось, что ни она, ни товарищи, особенно Мирон, не сказали чего-то главного. К ней никто, по обыкновению, не заходил, но она не обижалась: ведь все они — и Цезарь, и Мирон, и Гудим — тепло и участливо отнеслись к ней. Даже в окрике Гудима слышалось что-то вроде шутки. Мирон уехал вместе с Балбевым в Москву и простился с нею хотя и молчаливо, но в глазах его она почувствовала только ей одной понятный вопрос. Что увидел он в ее ответном взгляде — трудно сказать, но он улыбнулся виновато и взволнованно, точно хотел внушить ей, что он осудил себя — осудил беспощадно и навсегда. Этот миг потряс ее, и она несколько дней жила с мукой в душе.

В общежитии было несколько секций, и в каждой секции квартиры располагались от площадки лестницы веером: по бокам — трехкомнатные, а прямо — двухкомнатные. На втором этаже обе

комнаты занимали Корытин и Паша. Корытин был всегда занят на плотине или в конторе Симполовича, или по партлинии. Домой приходил только спать. Он казался всегда хмуро озабоченным, расстроенным и встречался с нею нелюдимо. Как-то Паша вызывающе-насмешливо напала на него, когда открывала ему дверь (он никак не мог сладить с замком):

— Хотя бы спасибо сказали, Корытин, что помогла вам войти в квартиру-то. Что бы вы без меня сделали?

Он выпучил на нее белки и мрачно пробасил:

— Извиняюсь. Прошу получить от меня благодарность авансом.

— Не злитесь, Корытин. Смотрите веселее.

— Сердиться мне нечего, да и веселиться нет особых оснований.

— Веселятся без особых оснований. Для этого достаточно иметь общительный характер. Вы знаете, что такое радость мечты?

Он усмехнулся, проходя мимо нее к вешалке.

— Скучно вы живёте, Корытин.

— Я работаю. Мне скучать нельзя... Едва успеваешь закусить и поспать. Нас душит календарь.

¹ См. «Новый мир», кн. 6—8 с. г.

И скрылся за дверью своей комнаты.

Однажды часов в одиннадцать вечера неожиданно явился Гудим. Не снимая картуза и пальто, он прошел в комнату и медленно оглядел ее, что-то соображая:

— Хорошая комната. Площадь — на двоих. Ванная есть?

— Конечно, есть.

— Знаю, что есть.

— Чего же ты спрашиваешь?

Он пошел к двери и на-ходу ответил не ей, а себе:

— Проверяю. Понятно?

Он открыл дверь в ванную и включил свет. Пахнуло влажной духотой от объемистой матово-белой чаши ванны.

Он подумал, пошлепал ладонью по гляцевой колонке и вышел.

— Выпьем чаю, Гудим. У меня есть свежее варенье.

Он безразлично заключил:

— Значит, есть досуг, чтобы варить варенье.

— Почему бы и не сварить себе варенья?.. Вишневое, Гудим... Принесла мне Домаша из своего колхоза. Она с Прокопом не только за колхоз борется, но и каждый день чай пьет с вареньем.

— Чаю не хочу, а варенья положи на ломоть хлеба.

Паша обрадовалась, подхватила Гудима под руку и потащила к себе в комнату.

— Разденься!

Он сконфузился и улыбнулся:

— Некогда раздеваться.

— Человечина! Ведь это же — неуважение к хозяйке: в пальто, в картузе... уж не в калошах ли ты?.. Поговорим же по-человечески... чучело!

— Ты мне ломоть намажь и вынеси... Я с'ем по дороге...

— Не ерунди!, сейчас же снимай пальто! Я тебе вместе с вареньем кабернэ хорошее поставлю.

Гудим опять улыбнулся, и в этой улыбке Паша увидела что-то похожее на детскую застенчивость.

«У него — телячьи глаза... — отметила она:—Ведь он же нарочно пришел ко мне... просто, по-дружески...».

— Ну, раз у тебя кабернэ, говоришь, тогда можно на минуту раздеться. Хм, варенье и кабернэ...

— Водки нет, Гудим...

— Водки не пью. Принципиально. Посижу только пять минут — некогда. Понятно?

— Понятно, понятно, Гудим. Я очень тебе рада, милый друг.

Он разделся и прошел в комнату. Чувствовал он себя непривычно и стеснительно: не знал, как держать себя с Пашей. А ее приветливый голос, радостный блеск очков и гостеприимная хлопотня смущали его: для него это было необычно, ново, как трогательное воспоминание о далеких днях. Она ухаживала за ним и была возбуждена — не сидела на месте, пылала и говорила неустанно. Она налила ему стакан вина, положила в розетку варенья и даже подвинула ему две тарелки — с фруктами и конфетами.

— Гудим, ты, пожалуйста, попробуй все. Ты сделаешь мне большое удовольствие.

Гудим удивленно посмотрел на нее, точно обнаружил в ней что-то очень хорошее, приятное, и засмеялся:

— Можешь завтра занять мою комнату. Я твою закрепляю за собой.

— Подожди ты о комнате. Давай с тобой выпьем за молодость, за неувядаемую юность...

Гудим взял стаканчик и взглянул одним глазом на рубиновый огонек в вине.

— Это можно.

Они чокнулись и встретились взглядами. И в этих взглядах, доверчивых и дружеских, оба они почувствовали хорошую человеческую связь.

«Он — по-особому нежный парень...» — подумала Паша растроганно.

Выпили. Он — до дна, деловито, уверенно, с сознанием необходимости опорожнить стаканчик. Она — до половины.

— Выдаешь себя, Бочка... — со строгим упреком он ткнул пальцем в ее стакан. — Самое важное — доводить дело до конца. Не первый год замужем.

— Я люблю посмаковать, Гудим, — не только кабернэ, но и дело. Чтобы до-

водить дело до конца, надо, чтобы человек не только чувствовал в себе суровое веление долга, но и переживал вдохновение.

— Ну-у!.. — протянул он презрительно, но глаза его смеялись. — Я не против кабернэ, но опьянеть — слуга покорный. Я предпочитаю шагать твердо, на полный удар ступни... военным шагом...³ Понятно? Пускай вдохновением забавляются поэты и бездельники.

Паша закипела, забунтовала, и рябины на ее щеках стали, как капли крови. Но она очень хорошо чувствовала, что Гудим старается по-своему подразнить ее.

— Гудим, ты же возмутительно заблуждаешься, дорогой. Вдохновение ты включаешь в настроение, а ведь это — проявление воли, как энтузиазм и целеустремленность.

Гудим отвел глаза к окну и стал вглядываться в разноцветные огни в окнах противоположного корпуса.

— Тут вот надо, Бочка, одолеть гнилые подушки под бычками. Попробуй-ка взять их своим вдохновением. Эти гнилые гнезда нас могут опозорить на весь свет с нашим вдохновением. Ватагин с Балеевым поехали в Москву с жалобой на эти подушки, чтобы просить помощи у сведущих людей.

Бочка даже встала от изумления:

— Как? за этим, в Москву? Вот это — настоящий позор.

— Пока не сладили с подушками...

Паша хотела налить ему еще стакан, но он решительно указал пальцем на то место, где стояла бутылка:

— Водвори обратно!

— Ну, с'ешь яблоко.

Он взял яблоко и погладил его, потом пытливо посмотрел ей в лицо:

— Утром я пришлю грузовик, и ты можешь сразу же перемахнуть в мою комнату.

— Я, Гудим, из этой комнаты не уйду. Мне эта комната стала самой дорогой в мире.

— Да-а... Это — уж не вино, а настоящая поэзия. Дрянь дело.

— Нет, замечательно, Гудим! Если бы ты знал, что я переживаю в эти дни...

В жизни человека бывают такие минуты, когда в молчании постигаешь людей глубже и проникновеннее. Таких мгновений не выразишь словами. Слова могут даже таить в себе ложь и разрыв. То же самое переживала сейчас и Паша. Когда она увидела по глазам Гудима, что он знает ее тайну, ей очень хотелось рассказать ему о своей любви, о беременности, которую она обнаружила недавно. Но сейчас же поняла, что слова — ни к чему, когда чувствуешь друга друга интимнее в недогворенности.

— Если ты будешь иногда навещать меня, Гудим, — вот так, как сегодня, — я буду совсем счастлива.

И с сожалением вздохнула:

— Ах, если бы ты женился, Гудим!

— Такая нагрузка — не по мне. В этом деле я — плохой организатор.

Он встал из-за стола и направился к двери. Но Паша подбежала к нему и встряхнула его за плечи.

— Гудим, ты не веришь в себя. Где же твое мужество? Дорогой мой, неужели ты никогда не переживал счастья любви? Это же — необычайный подъем сил и невыразимая красота.

Гудим с притворным негодованием отмахнулся и трудно вздохнул.

В коридорчике Гудим натянул шинель, старательно и расчетливо, взял фуражку и серьезно надел на голову. И, только проделав эту процедуру, поучительно сказал:

— Надо не кипеть, а копить энергию для полезного действия. Понятно? Для меня минуты, которые я просидел у тебя, очень дороги: эти минуты списаны со счета и скажутся как накладной расход.

— Ты, Гудим, как будто ставишь это мне в вину? — обиделась Паша.

— Чего это — в вину?.. Слабости своей приписываю: не устоял перед тобой...

— Какой ты славный, Гудим!..

Он повернулся к двери, взялся за ручку задвижки и заскрежетал ею. По-

пробовал раза два и внимательно осмотрел замок:

— Туго. Надо смазать маслом. Непорядок.

2

Как-раз в этот момент зазвенел звонок. Гудим отворил дверь, и они столкнулись на пороге с Цезарем. Нежданное его появление поразило даже Гудима. Он отступил и посмотрел на него настороженно. Паша вспыхнула и тоже отшагнула назад.

— Цезарь! голубчик! Очередная внезапность.

Гудим вышел и прихлопнул дверь.

Цезарь постоял у порога и прислушался к шагам Гудима. Потом шагнул к Паше и пожал ей руку. Вспыхнула улыбка и сейчас же погасла.

— Нет, Цезарь, как это ты вздумал зайти ко мне?..

Цезарь молча прошел вместе с ней в комнату. Лицо его было строго, твердо, бледно. Он волновался, но старался это скрыть. Она провела ладонью по его волосам, но он и этого не заметил.

— Цезарь, я как будто вижу тебя совсем новым — каким-то необыкновенным... Почему я тебя раньше не знала такого?

— Ты меня и не знаешь, Паша.

Она испуганно отстранилась от него и запротестовала:

— Нет, нет, Цезарь. Ты же — весь на виду. Выпей вина. У меня как будто новоселье сегодня...

Он благодарно кивнул ей.

Паша налила ему кабернэ и села к столу напротив. Цезарь приветственно поднял стаканчик и отпил несколько глотков.

— Я решил, Паша, пойти к тебе по совершенно неожиданному поводу.

— Подожди, Цезарь, ты слишком торопишься. Надо сначала выпить вместе со мной.

Она протянула ему свой стакан с недопитым вином. Он тоже поднял и чокнулся с нею.

— Я пила с Гудимом за молодость, а с тобой выпью за сердечную дружбу.

— За правдивость, Паша.

— Это одно и то же, дорогой товарищ.

Паша поставила стакан, не отрывая глаз от Цезаря. Он пил маленькими глотками и думал.

— Ты, вероятно, Паша, удивлена, что я пришел к тебе так внезапно и поздно?

— Наоборот. Я — в восторге. Я удивлена, что и Гудим, и ты свалились на мою голову один за другим. А потом, Цезарь, я оглушена счастьем и в личной судьбе.

Она многозначительно и настойчиво глядела ему в глаза в надежде, что он поймет ее намек, но он был слеп к ней и, кажется, совсем не слышал, что она сказала. Это ее обидело. Но она чувствовала, что он тоже переживает какое-то событие, а выразить его бессилён.

Он сразу начал рассказывать с серьезным и вдумчивым лицом, хотя на нее не смотрел, а как будто говорил сам с собою:

— Представь себе такую историю. Паша. Нужно взорвать мост — взорвать во что бы то ни стало. Схватят всех — дело погубило, и люди погибли. Взрыв моста обеспечивает успешность большой боевой операции, иначе — отступление, дальнейшие жертвы и, может быть, разгром. Политрук вызвался взорвать мост с двумя бойцами. Пошли. Мост — в руках врага. Дело удалось довести до последнего, решающего момента: оставалось зажечь шнур. В это время хватают двоих, а третий бросается в реку. Красноармеец струсил, ослабел, жаловался, что не вынесет пыток. Политрук, доставленный в штаб противника, оказался офицером, которого даже опознали и на радостях облачили в погоны и опоясали оружием. Когда привели захваченного вместе с ним красноармейца, он с остервенением застрелил его собственной рукой. Все — в восторге. Ну, потом пьянка, веселье до зари... На рассвете мост был взорван. Как ты оценишь этот сюжет? Можно ли оправдать действия политрука?

— Да, это — подвиг, Цезарь.

— А убитый им товарищ?

— Но если, Цезарь, иначе нельзя было поступить? По-моему, политрук

рассудил правильно: товарищ его был уже обречен, оставлять его на волю врага — опасно. Боец-то ведь по слабости все равно выдал бы его. Надежды-то на него у политрука ведь не было?

Цезарь болезненно улыбнулся:

— Прекрасно. Но перелицоваться в врага и в упор стрелять в товарища?..

Бочка сверкнула очками и почему-то повернулась к нему боком.

— Это же ясно, Цезарь. В чем дело? Политрук иначе не мог поступить. В тем-то его и заслуга, что он сумел обмануть врага, хотя и дорогой ценой. Я только не пойму, к чему ты кло-нишь.

— Видишь ли, Бочка... Тут есть одна маленькая деталь... Этот боец, когда ввели его в избу, был труп-трупом... Дрожал мелкой дрожью и молил о пощаде, как ребенок. А когда вдруг увидел политрука офицером, в ужасе отшатнулся. Потом бросился к нему, как безумный. В его глазах была такая ненависть и гадливость, что весь он замер только в крике отчаяния: «Предатель!», — и плюнул с неслыханным матом в лицо политруку.

Паша опять повернулась к нему, подняла стакан с вином и посмотрела сквозь него на огонь.

— Ну, и что же?

— И вот этот плевок и страшный крик: «предатель!» — носит этот политрук, как проклятие.

Паша пристальным коротким взглядом поймала глаза Цезаря.

— Договаривай, Цезарь...

— Политрук носит в себе эту муку... Ну, скажем, раскаяние, совесть... Правдиво это будет для художественного рассказа?..

Паша равнодушно — так показалось Цезарю — заметила:

— Политрук знал, на что шел и что совершал. Он предвидел это... все предвидел... и, очевидно, заранее обдумал свои действия...

Глаза ее за очками казались острыми и холодными.

— Ведь гвоздь вопроса в том, Паша, что конец рассказа у меня не вытанцовывается. Политрук не сообщил в своем рапорте об убийстве товарища.

Он сказал только, что мост взорван с большими жертвами и — точка. О подробностях же умолчал: скрыл, что сам уничтожил товарища. И эта тайна гнетет его по сей день. Вот в чем изюминка сюжета.

— Зачем же ему нужно было скрывать, Цезарь? Ведь он был свободен в своих поступках.

— Свободен ли, Паша?

— Безусловно. Иначе действия политрука — нелепая бравада. Надо ведь было довести дело до конца. Находчивость политрука меня восхищает. За находчивость и успешное выполнение дела политрука надо было наградить орденом, а за сокрытие — исключить из партии.

— А может быть, и расстрелять?

— Да, если это скрыто из трусости.

— Нет, он — не трус, нет...

Паша стукнула кулаком по столу, но на Цезаря не смотрела — избегала его взгляда. Щеки ее покрылись красным и бледными пятнами, очки сверкали неприветливо.

— Что это значит? Создавать какую-то тайну и переживать ее в самом себе, тем более делать тайну из своих поступков, — это, извини, преступление. Не имеешь права, Цезарь.

И она с судорожной улыбкой пристально уставилась на него, и он заметил, что глаза ее вздрагивали. Но уж от одного того, что он высказался перед Пашей и она поняла его (видел, что поняла), ему стало легче. Правда, он терзал себя за нерешительность, за маскировку, за игру словами; все-таки у него не было достаточно мужества выразить себя открыто, кратко, без подвоха — все-таки он прятался за жалкие слова, за иносказания, за третье лицо...

— Кстати, Цезарь, почему ты никогда не носишь ордена?

Паша уже потухла и как будто тяготилась им. А он чувствовал, что сделал какую-то ошибку, что не так он говорил с Пашей, что она, Паша, восприняла его исповедь неверно: несомненно, она увидела в нем кого-то другого, и в душе у нее родилось темное подозрение. Он вспомнил ее тоску, жестокое, недоброе лицо и черный, глубокий взор, когда она

увидела перед собою провокатора Хабло. Так она и сейчас держалась с ним. И в тот миг, когда он не ответил на ее вопрос, вдруг настала тишина, и эта тишина оглушила его.

Он сделал невероятное усилие, чтобы выдержать ее взгляд, и вздохнул. Она покраснела и тоже вздохнула.

— Я подумаю, Цезарь... Действительно, сложный сюжет... Я сейчас только поняла, как трудно быть художником...

Цезарь встал, и Паша увидела, что глаза его горели сухим, обжигающим жаром. Ах, вот почему в них каждый день глело страдание...

— Твои соображения очень ценны, Паша; я их приму во внимание.

— Я ведь могу ошибаться, Цезарь. Тебе надо поговорить с Гудимом, а еще лучше — с Мирном или Чумаловым...

— Я и с ними посоветуюсь, Паша.

— Ты не болен, Цезарь?

— Кажется, болен.

— Туберкулезом?

— Нет, я никогда не болел туберкулезом.

Он вышел на лестницу и, не оглядываясь, стал спускаться по ступенькам.

3

Паша открыла окно, легла грудью на подоконник и стала смотреть вниз, на тротуар. Сейчас из подъезда выйдет Цезарь; любопытно посмотреть на него издали, сверху, как он будет держать себя один на улице.

Было по-осеннему свежо и звездно, по-осеннему пахло горькими листьями. Молодые деревья на бульваре сверкали тонкими ветками под ослепительными электрическими фонарями. Окна противоположных домов были освещены разброс оранжевыми и зелеными огнями, а другие льдисто темнели: люди, вероятно, уже спали — рано вставать на смену. Магазины в нижних этажах мерцали обширной пустотой, освещенной матовыми лампами, и там четко и безжизненно, с геометрической правильностью, чеканились в далах древесно-желтые прилавки и расцветали красиво убранные полки. Мостовая тускло отра-

жала огни: она была чисто вымыта и еще не совсем просохла. Хрипя и мыча, мягко носились машины друг другу навстречу.

По тротуарам и по бокам мостовой бродили приодетые парни и девушки. Быстро прошли, должно быть, с плотными, две толпы рабочих с промким говором и спором.

Цезарь вышел из подъезда, постоял немного на тротуаре, оглядывая улицу, точно решал, в какую сторону пойти. Потом быстро пересек мостовую, остановился на той стороне и тоже подумал, оглядываясь по сторонам. В серой кепке, в плаще, он зябко засунул руки в карманы и, сутулясь, пошел быстрыми шагами к Дому общественных организаций.

«Гудим, вероятно, сейчас там, — подумала Паша, не отрывая глаз от фигуры Цезаря. — Почему Цезарь так заметен на улице и сразу выделяется среди людей?».

Но он сейчас же исчез в веренице прохожих.

Она закрыла окно и стала раздеваться.

«Почему он скрылся?.. зачем он это сделал?», — возмущалась она и чувствовала, что нет у ней злобы против Цезаря. Его боль была многолетней и постоянной, и он даже по виду — и по лицу, и по глазам, и по фигуре — казался больным, похожим на туберкулезного.

Да... проклятие — вот что его терзает... «предатель»... Глаза, которые унесли в могилу ненависть... и остались в душе, как огонь...

И странно, ей было тоже больно за него: что-то вроде жалости и острого участия к нему испытывала она сейчас.

Зачем он играл перед нею роль какого-то любителя-беллетриста? Совесть... Его совесть съела его характер. Его надо толкнуть, чтобы пробудить в нем волю к борьбе... Он сам не потушит этого огня... Почему? Сохранил, как искупление?.. А вдруг он — не тот, за кого она его принимает? Вдруг он — враг, скрытый под маской дорогого товарища? Ведь Хабло тоже изображал из себя преданного большевика и долго носил

маску верного соратника. Если бы она, Паша, наконец не опознала его, если бы в этом не помогли ей Репей и Емельян, он, может быть, и сейчас нагло красовался бы перед нею и тайно производил бы диверсионную работу. И Паша испугалась этой мысли.

Она взяла трубку телефона и услышала далекий голос Гудима:

— Партком. В чем дело?

— Слушай, Гудим. Цезарь — не у тебя?

— Не был. А что?

— Жалею, что ты не остался. Он общил мне необыкновенные вещи.

— Личные?

— Как будто личные, но с большими оговорками.

— Ну, и наслаждайся. Любите вы чесать свои сердца... Лирики!.. Так вот... Не мешай: у меня — дела и люди.

Телефон оглох.

Гудим ему верит безраздельно. А что он скажет, если сообщить ему о признании Цезаря? Не оставить ли это до приезда Мирона?

Паша легла в постель и сразу же ощутила приятную истому, точно она выполнила какую-то тяжелую физическую работу или прошла верст сорок. Думала она о Цезаре, а сердцем ликовала и наслаждалась собственным, тайным своим счастьем.

Обнаружила она в себе эту радость недавно. Она ожидала, следила за всеми изменениями в своем организме, но ничего не замечала. Первый месяц прошел так же, как и все предыдущие месяцы ее жизни. Но однажды, когда Мирон жил еще в своей деревенской хибарке внизу, в старом поселке, она пришла к нему, неожиданно подхваченная им ночью на плотине. Он был очень возбужден и нетерпелив, и ей было хорошо от того, что он крепко и грубо обнимал ее. Он был с ней нежен, любовно внимателен и проводил почти до самого ее дома. Но на другой день был угрюм, резок, сссредоточен и чужой до ужаса. И в глазах его она видела самоосуждение и жестокий приговор. В этот же день она с невыразимой болью ощутила конец их мучительной любви. В последующие дни он обращался с нею по-старо-

му — дружески, ровно, чутко: шутил, прислушивался на бюро к ее словам, уважительно оценивал их значительность, — но в строгом лице его и тугом взгляде она встречала грозный окрик: «Довольно!». А она с ликующим протестом отвечала на его взгляды: «Нет!».

В поликлинике знакомая женщина-врач, черненькая Софья Абрамовна, ответила на ее объяснения как-то даже не приветливо:

— Подождите с месяц. Теперь еще рано.

И вот этот месяц прошел, и она уже без врача знала, что забеременела. Пошла же она к ней потому, что хотела услышать авторитетное подтверждение этого события. И Софья Абрамовна подтвердила ей решительно, просто и деловито.

А потом сама однажды пришла к ней ночью — мимоходом, кстати, как оговорила она с лукавой улыбкой. Они толковали с ней о разных посторонних вещах, и, только уходя, Софья Абрамовна спросила:

— Ну, как ваше самочувствие?

И, не ожидая ответа, весело и уверенно крикнула ей в лицо:

— Все хорошо. Вы прекрасно организованы для материнства.

С этой Софьей Абрамовной Паша сблизилась быстро и сердечно. Эта густобровая, маленькая женщина, с усиками и заботливым голосом, стала ей родным человеком: ведь она одна — свидетельница ее тайны. Эта тайна открывает сама себя людям без ненужных слов.

Как-то незаметно у Паши появилась потребность разговаривать с женщинами о детях, о родах, о кормлении младенцев, о материи для рубашечек и, главное, о тех ощущениях, которые переживают беременные женщины.

Каждую ночь в постели она чувствовала себя новой: ей казалось, что в ней ежедневно происходят какие-то неувольные перемены. Нет, она не та, какой была месяц, декаду назад, вчера. Там прорастает, пускает корни, формируется неощутимая жизнь: это — она сама и — не она. Это — живородящая части-

ца его, который непреодолимо далек и неразрывно с ней связан навеки. Да, она стала иной и будет изменяться каждый день вместе с новым рождением. Может быть, это и вызывает в ней особый интерес и влечение к другим женщинам-матерям — к женщинам, имевшим счастье рожать. И ей было всегда страшно, она бледнела от гнева и возмущения, когда при ней женщины и девушки, не стесняясь, говорили об абортах, как о самых будничных вещах. Что это такое? Для нее даже мысль об абрте страшна, а они бесстыдно и преступно болтают об этом, как о чем-то неизбежном и само собою разумеющимся. Незамужние еще стараются умалчивать о своих любовных связях, а замужние игриво поругивают своих мужей. Но каждая из них откровенно и долго обсуждает все подробности той отвратительной процедуры, которая именуется иностранным словом «аборт». Это слово было самым употребительным и привычным для многих работниц и домашних хозяек. И они не видели в нем ничего зазорного.

Нет, она, Паша, знает и глубоко чувствует, что такое любовь. Это — не только самозабвение и счастье от обладания мужчиной, это — великая ответственность перед собой и людьми и огромная обязанность, муки, бессонные ночи в заботах о здоровье, о росте, о воспитании человека.

Пусть он будет далек, пусть возненавидит ее, а потом исчезнет в недостижимых далях страны, — она будет богата и прекрасна, как женщина и мать.

Вот в чем настоящая любовь. Она — не пустоцвет, не похоть, нет. Она — человеческое поведение...

«Дети — цветы земли». Нет-с, не цветы земли: лопух и роза — тоже цветы земли. Не в этом суть. Дети — это красота и величие поколений, это — новое дело и слово.

... С Агашей она сошлась очень близко и тепло. Агаша привязалась к ней и рвалась увидеть ее, посоветоваться, потолкаться около нее вместе с другими женщинами. А полюбила ее Агаша с того памятного вечера, когда они вместе

с Мироном приезжали к ним проведать больного Репея. Агаша не любила горластых большевичек, которые подражали мужчинам и голосом, и волосом и убегали из дому, бросая и детей, и семью на произвол судьбы. Но Паша смяла и пленила ее своей материнской нежностью к Никандру. Она потом сама приехала к ней на машине, взяла ее с ребенком и повезла осматривать ясли. Эти ясли были недалеко: до них можно было бы дойти пешком. Но пашина заботливость растрогала Агашу до слез. И сестра этого не сделала бы, что сделала Паша. У здания яслей Паша первая выпрыгнула из машины, взяла на руки Никандра и с упоением смотрела ему в личико. И с ней, Агашей, обращалась почтительно и ласково, точно она, Агаша, была какая-то важная птица.

В яслях Агаше понравилась чистота, праздничность, обилие света и воздуха, белоснежные кровати и чисто-плотные няни. Эти женщины, похожие на белых голубей, тоже обращались с ней ласково и почтительно. Они облачили и ее, и Пашу в белые халаты и повели по всем комнатам. Они рассказывали, как ухаживают за младенцами: когда кормят их и моют, когда укладывают спать, когда выносят на воздух, когда приходят матери и кормят своих карапузов и как учат матерей обращаться с детьми и следить за собой. Агаше было страшно оставить Никандра в этом доме младенцев, и она дрожала от страха. Но Паша сама передала мальчишку на руки чистенькой и симпатичной девушке и заставила Агашу остаться здесь, чтобы проследить за всеми процедурами, через какие пройдет ребенок. Так она вместе с ней и провозилась часа два в яслях и поборола боязнь и ее нерешительность. А когда они выходили на улицу, Агаша остановилась у подъезда и расплакалась. Паша смеялась, называла ее глупенькой дикаркой и сердито упрекала:

— Ты — пролетарка, жена большевика: ты должна первая показать пример нашим женщинам...

Агаша всхлипывала и казалась несчастной.

— Ты думаешь, что тебя за слезы твои похвалит Репей?

— Ах, оставь, не уговаривай ты меня, Паша! При чем тут Репей? Я знаю, что скажет Репей... Ты не рожала и не знаешь...

И вот теперь Агаша — первая помощница Паши: энтузиастка детских яслей и садов и горячий агитатор и организатор жен рабочих и служащих. Ловко же она на-днях обработала жен инженеров!.. С хорошими задатками бабенка...

За окном проносились машины с зычными и хрипыми гудками. Гомонили люди на тротуарах, хохотали девчата. Где-то далеко рычал уличный репродуктор и колокольно звонила музыка: передача из Москвы. Сирена взвилась на высокую ноту и пошла медленно вниз. Покрикивали паровозики, прозрачно прохотало тяжелое железо, и звякали сандерсоны на шлюзовом канале.

Неотвратимо идет тошнота... Паша надела туфли и взглянула в окно, где покачивались от ветра фонари и паутинно вспыхивали ветви деревьев. Тошнота схлынула и растаяла. Она хотела опять лечь: села на кровать и подняла одеяло, но ей опять стало дурно. И, когда она потом легла в постель, обессиленная и немножко больная, ее мгновенно охватила дремота.

... Весной у ней будет ребенок... Милый мальчик!.. Нет, это будет девочка с голубыми глазками, как у Кати... Она сумеет повести ее в жизнь... Она назовет ее Ольгой... Большая Ольга не узнает ее тайны... Она, Паша, покажет ей девочку, и Ольга нежно поцелует ее, как мать... Есть тайны, которые открывать невозможно. А законы ли тайны интимные? Может быть, это тоже пережиток в сознании людей? Вероятно, при коммунизме не будет ни одной, даже глубоко личной, тайны; тогда люди научатся читать даже скрытые мысли друг друга и уважать их. Нет, тогда не будет ошибок ни в делах, ни в поведении людей... Может быть, эти интимные тайны неизбежны сейчас и законы, как самозащита?

... Цезарь похож на брата Софрона...

похож своим углубленным, неугасимым блеском возбужденных глаз. Как она этого до сих пор не заметила?.. Когда он поднимает глаза, они изумленно вспыхивают и сразу же сгорают. Только у Софрона эта вспышка переходила в стальную блеск. Софрон тогда же чувствовал, что он обречен. А она в те дни была отравлена враждой к нему из-за Иннокентия: Софрон первый из них увидел под маской Иннокентия провокатора Хабло. Она верила в Иннокентия, а он предал товарищей... И она сама только чудом спаслась от гибели... Ага, почему она сама скрыла это от партии?.. Может быть, такие большие и маленькие тайны дымятся в душе у каждого—и у Мирона, и у Гудима, и у Глеба Чумалова?.. Имеет ли она право после этого жестоко обвинять Цезаря? Что такое ее жизнь? Она еще не рассказала даже себе своей биографии — не отчиталась перед собою в пройденном пути... Не думалось об этом: вся она была в настоящем.

Паша дремала, вздрагивала, просыпалась и опять засыпала. Неожиданно вспомнила Софрона — вздрогнула и проснулась. Замечталась о будущем мальчике... нет, девочке... и опять забылась. Проплыла перед нею Ольга в пыльном, догадливом взгляде — и Паша очнулась опять. Брат Софрон, товарищи в белом подполье... враги... Иннокентий, преображенный в Хабло...

Нет, не уснуть... Ветер разыгрывается за окном. Слышно, как он свистит и бушует в деревьях бульвара. Где-то хлопнула рама, и со звоном полились стекла на мостовую. Репродуктор на улице невозмутимо рычал далеко и глухо.

Х

Линия огня

1

Сквозной договор был в центре внимания всего сорокатысячного коллектива. Он был отпечатан и распространен на всех объектах по бригадам, и каждый рабочий получил его на руки. Редакция газеты обращалась к пролетариям строительства с просьбой присылать

свои предложения и одновременно помещать их в стенных на местах.

Рабочие взволнованно спорили по каждому пункту и в обеденные перерывы в столовых, и по дороге домой, и даже во время работ, и на производственных летучках, и дома, в семье. Листки с текстом проекта истерты были до дыр, до распыления печатных строк. На улицах соцгорода, в поселках, в магазинах и кино только и слышно было, как люди толковали о паровозах и думпкарах, о нагрузке бетонного и дробильного заводов, о под'емниках, об организации труда на скальных выемках, о грехах отделов эксплуатации и механизации, о проверке людского состава. Много было скептиков и среди инженеров, и среди рабочих. Но подавляющее большинство настроено было торжественно: у всех были серьезные и вдумчивые лица, как перед большими событиями.

Впервые в эти часы каждый понял, что жизнь ставит перед ним прямые, неотвратимые вопросы: кто ты? знаешь ли ты, какой счет пред'являет тебе страна? можешь ли ты оправдать те надежды, которые на тебя возлагаются?

Это торжественное и строгое напряжение похоже было на грозный подъем в день всеобщей мобилизации.

Никто еще не видел Осокина таким внушительным, как в эти дни. Сидел за столом перед микрофоном и глубокомысленно слушал ораторов. И борода, и приглаженные жиденькие волосы, и морщинки на лице отечески улыбались товарищам. Вероятно, эта приподнятость была и оттого, что заключительное заседание радиофицировалось: десятки громкоговорителей ревели на всех объектах, и в квартирах, и в цехах, и тысячи людей слушали каждого выступающего напряженно, не прерывая работы.

На участках по голосам узнавали своих ребят и, внимательно слушая их, радовались и тревожились за них:

— Наш Володин режет, ребята. Слушай и помни!.. Строгий парнишка...

— Володин всегда бьет наверняка. Парень отчетливый.

— Петруха поднялся! Ребята!.. Диктует отделу механизации...

И нередко слышались короткие всплески аплодисментов.

Новые предложения и дополнения к пунктам сейчас же вызывали дружный отклик и на бычках, и на мостовом переходе, и в столовой, где сидели рабочие очередного потока, и в котловане, и на лесозаводе, и в ЦММ, и в ГЭС...

— Держись, братва! До закурок добрались... Придется поститься, братишки...

— Это — зря... Как же без курева?.. Курево дух подымает...

— Шалишь, курский! Раз ударный штурм — сымай штаны, соси седлку...

— Это какая тут гадюка крутит спираль?.. Дай мне его!..

— Народ вы или нет, ребята?.. Сердце-то... вот оно!.. Страна... Перед лицом...

На всех участках шли спешные подготовительные работы: приводились в порядок под'емники, паровозы, механизмы заводов, чистились станки, убирался мусор, проверялись пути и крепились рельсы, тщательно обследовались думпкары, электропроводка и пневматика. Монтировалась «муха» на стрелах кранов и дерриков. На всем пространстве строительства, от горизонта к горизонту, готовились к сигнальному вою сирены в одиннадцать часов ночи, когда должны были вступить в дело новые смены. Кто-то сказал на плотине, что это ожидание похоже на пасхальную ночь, когда люди гостятся к первому удару большого колокола. Сейчас же этот голос оспорили другие голоса: церковный, мол, колокол сдан уже в переплавку, теперь у нас — атеизм. Из поселков, из соцгорода, из близлежащих колхозов шли колоннами добровольческие отряды рабочих, красноармейцев, женщин и колхозников. Красноармейцы, рабочие и женщины шагали с оркестрами, а колхозники — с гармониями и песнями. Все эти отряды сейчас же исчезали в огромных пространствах котлована, шлюзового канала, обеих гаваней и в кратере аванкамеры.

Прокоп первый повел своих колхозников на помощь рабочим. За два месяца среди выселенцев в единоличниках остались единицы. Все активисты были связаны со стройкой (кое-кто еще работал на плотине, а кое-кто по старой привычке ходил в свободные часы к своим приятелям в общежития или в клуб). Прокопа избрали председателем правления колхоза, и актив сплотился около него дружной стенкой. И, точно в ответ на это возвышение Прокопа, началась какая-то тайная и упорная работа в селе. Все как будто молчали и голосовали за всякие предложения и решения правления колхоза (полностью и досрочно выполнить план хлебосдачи, открыть ясли и детский сад, ремонтную мастерскую, приготовиться во всеоружии к осеннему севу и т. д.). Но сразу же дело как будто увязло в болоте: что бы ни начинал Прокоп — никак у него не выгорало. Люди выходили на жнитво и на молотьбу неохотно и смотрели невесело. Хлеб стоял на полях и осыпался. Лошади в конюшнях голодали и болели. В детские ясли матери несли младенцев и сидели с ними дома. Оказались недужные чуть ли не в каждой избе. Единоличники же бойко молотили хлеб у себя на дворах и, когда проходили мимо них колхозники, злорадно ухмылялись и ехидно подтрунивали над ними:

— Аль уж помолотились? То-то, чего, мол, это люди гуляют беззаботно?.. Оно, конечно, колхозом-то дело идет и скоро, и споро. А у нас вот и хлебушка-то, что на току... Прокоп-то верно считал: кто в артели — разбогатели, а у индуса — и хлеба ни куска.

Слово за слово — и колхозник уходил дурак-дураком, угрюмый, опустошенный, точно его обворовали и опозорили средь бела дня. Прокопа встречали с молчаливой и затаенной ненавистью в глазах. Домаша с подругами хлопотала среди баб, но уставала и приходила домой, как больная. А однажды вечером прибежала растрепанная, в изорванной кофточке и разрыдалась: по горячности она повздорила на улице в толпе баб с заядлой скандалисткой Феколой, большой, мужеподобной соседкой-единолич-

ницей (а ведь с нею они когда-то были подруги). Фекола на женской сходке глумилась над колхозницами, обзывала их «мирскими шлюшками», а Домашу — «артельной сводней». Домаша налетела на нее, как бешеная, вцепилась ей в волосы и отхлестала по щекам. В драке Фекола изорвала ей кофточку. Если бы не подруги, Фекола избивала бы ее до крови.

Прокоп решил тогда дело повести побоевому. Он обратился к Осокину за помощью: Осокин — руководитель мощной профорганизации, а колхозное движение — не только крестьянское дело, но и дело рабочего класса. Слово и сочувствие — сила великая, но колхоз «Красная звезда» требует механизации, личного участия рабочих, чтобы окончательно убить дух сопротивления индусов-подкулачников и доказать активно победоносную энергию пролетарской солидарности. Одним словом, надо со стройки достать тракторы, в городе добыть жнейки и молотилку, а может быть, кое-что оборудовать самим в ЦММ и послать в выселки группу кадровых рабочих. МТС была далеко и обслуживала степные районы; план выполняла она с перебоями — не хватало машин и мастеров. Да и райком вел себя странно: Дубяга считал, что твердый план хлебозаготовок чрезмерно велик и крестьяне не выполнят его, хотя бы и принимались самые жесткие меры. А строгий нажим вызовет возмущение в деревнях. Предписывая на словах безоговорочную реализацию плана хлебосдачи, райком давал директивы уполномоченным и инструкторам — «не нажимать», «не раздражать», «не нарушать равновесия», а проводить «по мере сил возможности» и «на тормозах», создавать себе опору и поддержку у «большинства населения и наиболее сознательных элементов». На местах началась смута: во многих деревнях избивали присланных работников и своих рьяных активистов, кое-где вспыхивали «бабьи бунты», хлеб молотили плохо и зерно сдавали туго. Люди стали выходить из колхозов, а единоличники чувствовали себя силой, с которой считались и в районе, и на местах.

Прокоп несколько раз ездил в райком и возвращался оттуда расстроенный: ни на один вопрос, ни на одну просьбу о помощи он не получал ясного и решительного ответа. Только и слышал одно слово: «осторожно»... Приезжал инструктор из города, бродил по полям, по селу, а потом на активе разорялся: план надо выполнить, но загибов не допускать, крестьян не раздражать, политику вести умело и осмотрительно. А когда его спросили, как это понимать и какие он конкретные меры рекомендует, инструктор оглядел всех, как дураков, и, улыбаясь, невнятно ответил, что не ему их учить, а сами они должны учитывать обстановку и действовать так, как диктует «ситуация». В активе после этого началось брожение: склока, как лихорадка, стала трепать людей. А хлеб стоял на полях, молотьба шла с перебоями, зерно по ночам воровали из-под носа охраны. Появилось много пьяных на улицах; они орали песни и, угрожающе размахивая кулаками, рвались к избе Прокопа и к сельсовету, чтобы «вдрызг расшибить Микешина и всех его дружков». В этих пьяных шайках юлили какие-то сторонние люди, не то со стройки, не то из соседних сел, и любовно обнимались с буянами.

— Какой же ты колхозник, башка лохматая!.. — потешались они: — Разве так колхознику подобает?.. Родная власть о тебе заботится, создает счастливую, радостную жизнь... Своя родня по лапоткам видна... Своя родня — середь дня, а очи нальешь — ее не найдешь...

И от этих убеждающих слов пьяные свирепели еще больше.

Прокоп не решился задержать этих посторонних гостей — боялся открытого возмущения, но строго наказал товарищам проследить за ними: узнать, откуда они и кто такие, но гости на глаза уже не появлялись. Прокоп сам пошел к буянам, когда они протрезвели, поговорил по душам, но ничего не добился: встретили его хмуро, виновато и во всем соглашались с ним.

Как-то он посетил Феколу и попросил ее поучить колхозниц вязать снопы: она считалась на селе лучшей мастерицей.

На своей полосе она уже справилась с своей работой. Встретила она Прокопа с ненавистью в глазах и начала прохаживаться насчет Домаши, но Прокоп спокойно сказал, что он не одобряет жену и извиняется за нее перед Феколой. Это обескуражило ее, и она смягчилась. На просьбу Прокопа она по-мужски крикнула:

— Вы — в колхозе, я — одна. Мой мужик даже хомута не в силах надеть на мерина. Я — и за мерина, и за мужика. Но прясло мое еще крепкое...

Прокоп дружески сказал ей:

— Я уважаю тебя, товарищ Фекола.

А она еще больше зачванилась:

— За твое уважение коня не купишь...

— Уважение выражает братство, Фекола, а не товар... — по-ученому отразил он ее несознательность, и у Феколы уже нехватало слов для ответа. А он пустился в чувствительные воспоминания. Они, дескать, жили когда-то с ее домом, при родителях, в добром соседстве. И меж их родителями не было противности. С ней, Феколой, он, Прокоп, провел свою молодость. А ежели она — одиноличница, так это же не есть враг, а одна семья. Из-за чего сердце иметь? Он, Прокоп, готов самоотверженно отдать им последний кусок и всего себя. Врагам же их раздор — на-руку: враги радуются и вонзают им нож в спину.

И пошел, и пошел. Вспомнил он, как они вместе играли в детстве, как он когда-то спас ее девочкой, когда она тонула в реке, как она плясала уже бабой на его свадьбе и замучила его криками: «горько»... Фекола размякла, засмеялась, и от воспоминаний у ней навернулись слезы. Она угостила его чаем, а перед чаем раздала по стаканчику. И тут она начала хвастаться: какая она ловкая да работающая, а по самосильности до нее мужику далеко. Вспомнила она мамыньку и тятеньку, сказала, что она хотела выйти за Прокопа, хоть и старше его была, да папаша его, медведь старый, был ей не по характеру. «Дуболом был, самодур и домовый, не тем будь побужен. Домаш-

ка-то с ним горе помыкала...». И тут же сразу согласилась поработать денек с колхозницами. Прокоп заикнулся насчет трудодня и сдельщины, но Фекола сурово обрезала его: «Не крути жерновом по пустому месту. Хоть ты и колхозный заводило, но души не убьешь».

А когда утром она пришла к правлению колхоза, где собрались колхозницы — бабы и девки, — Прокоп встретил ее вместе с взволнованной Домашей. На Домашку она поглядела тяжелыми глазами и хотела пройти мимо. Но Прокоп взял их за руки и, весело посмеиваясь, сказал: «Как это терпимо, ежели подруги — в недоразумении. Неизбежно поцелуйтесь. У меня сердце разрывается». Домаша первая бросилась на шею Феколе, а Фекола шлепнула ее по спине, обняла, и у ней задрожал голос: «Дура окаянная!..». И они, обнимаясь, расплакались. А бабы рады были сами поплакать от такого трогательного события: ведь радостная слеза душу обмывает.

Феколу поставил Прокоп инструктором для всех звеньев сноповязальщиц. «Все бабы идут, Фекола, под твою команду. Учи! Не руки у тебя, а чудотворцы. Эх, ежели бы ты в колхозе у нас была!.. Налюбоваться бы на тебя не могли...». А Фекола нахмурила густые брови: «Я и без колхоза добра наживу... В батрачках никогда не ходила и, даст бог, не буду». А Прокоп так и захлебывался от радости и смотрел на Феколу, как на невесту. «Единоличник — неизбежно батрак, Фекола: у нужды своей и собственности. Свой своему поневоле брат. Лошадь от волка гуртом обороняется, а щука карасей по одному глотает... Ну, да ведь ты нам и без дискуссии хороша...».

Так весь день Фекола и провела на поле и очень строго и гордо распоряжалась женским своим отрядом. Бабы и девчата зароптали было и зашущукались. Они бросали на нее злые взгляды, засплетничали, а Фекола сразу заметила их недобольство и разнесла их в пух. «Я, товарочки, к вам на помочьто не по нужде пошла, а по докуке Прокопа Микешина. Я ведь и плюнуть на вас могу: повернулась, и — нет меня.

Уж язычки-то свои привяжите веревочкой, а зенки закройте платочками».

И сама бросалась вязать снопы, впереди всех, а потом — то к одной, то к другой: «Ты чего же, Машка, охальничаешь? С каких это пор руки-то у тебя, Дунярка, отсохли? Себе-то самой как ты вязала? Я ж ведь знаю, дитятко: мне ведь ваши-то руки не первый час ведомы... Мне, девушки-соседушки, всякая работка — родная». И Дунярка, и Машка виновато краснели и не знали, куда деться от глаз Феколы. Домаша с своим звеном шла впереди и, когда встречалась глазами с Феколой, посмеивалась. Фекола любила хорошую и спорную работу: ценила красоту и ловкость. В этот день женщины старались как никогда. И все-таки звено Домаши перевязало три нормы — перекрыло другие звенья, и все женщины ее группы были счастливы. А когда возвращались домой, истощно пели песни и плясали по дороге. И по дороге же весело поспорили: Домаша кричала хвастливо, что она со своими девчатами выполнит завтра четыре нормы, а по качеству — комар носа не подточит. Все распалились, разорались и решили с завтрашнего утра доказать друг дружке, кто кого перекроет. Фекола чувствовала себя среди колхозниц чужачкой, как приبلудная корова в стаде, и ей стало грустно: вот жила она с этими бабочками бок о бок всю свою жизнь, вместе играли, вместе хороводы водили, одним цветом расцветала их молодость, знает она каждую из них, как себя. А вот судьба разделила их, и стала она, Фекола, злой ненавистницей. Былая дружба превратилась в постоянную обиду. Ей казалось, что она при своем личном хозяйстве — свободна и независима и нет над нею с мужем распорядителя и командира. А на самом деле, ежели спросить свою душу, работают они с своим мужиком беспрорывно, как каторжные, и все — в прорву: нехватки на каждом шагу. И даже они стали как-то беднее и скучнее жить. Мужик у нее — слабосильный, даже в Красную армию не взял по каким-то недугам, а в работе — одна с ним печаль. Хотел он войти в колхоз, но она его смяла, и он онемел. От

стыда он ушел в себя, стал робким и забитым. И все хозяйство легло на нее, Феколу. А вот сейчас, после трудового дня на колхозном поле, в гуще бывлых подруг, повеяло на нее вольным воздухом, и эта толпа женщин перевернула ее душу и дружным трудом, который она организовала сегодня, и песнями, и пляской в прохладных сумерках задумчивого вечера, в запахах блеклой травы, сжатого хлеба и родной земли. Вот она вместе с ними пережила весь этот день и как будто снова вошла в бывшее хорошее хозяйство, а сердце ноет и обливается кровью: нет больше покоя в душе, нет прежней близости и простосердечия. Хочется ей обняться с подругами, до смерти хочется вмешаться в толпу — петь, плясать, показать свою удаль, но какая-то проклятая сила душист ее и отравляет тоскою. Как будто идет она вместе со всеми, а — врозь. Как будто в веселой ватаге, а — одна. И Фекола чувствовала, что с этого дня жизнь ее будет еще безрадостнее: расстрожила она себя, распахнулась, и мысль о печальном муже, об избе, которую некогда прибрать, о грязном, навозном дворе и тощем меринишке, на которого так похож ее мужик, показала страшную. «Плохо, да свое...» — думала она, утешая себя, но сердце ехидно смеялось. «Это Прокошка принес мне такую назолу...» — злобно решила Фекола. Не то отчаяние, не то бабьи песни, от которых хотелось смотреть на черное небо, усыпанное звездами, не то девичьи воспоминания распахнули ей душу, только Фекола неожиданно бросилась вперед, в гущу толпы и крикнула мужским своим голосом:

— Девки! Разве так в наши-то молодые денечки плясали?.. Эх, вы, курбатееньки!.. Домашка! Дунярка!.. Тряхнем своими девчатыми годочками..

И почала подпевать себе басом и перебирать ногами. Частушку ее подхватили дружно, а Дунярка и Домаша выбежали вперед, как молодые кобылки.

С тех пор Фекола — в колхозе, и с тех пор в колхоз потянулись и другие, точно она развалила все прясла и поскопины.

... Строительские рабочие при содействии Осокина пришли в колхоз бригадой: починили старые машины, выделили двух трактористов, достали американку-молотилку и оборудовали на гумне. Осокин прислал киноаппарат и культурников. А когда одиночники попытались саботировать хлебосдачу, женщины, с Домашей и Феколой во главе, разыскали спрятанное зерно в ямах, в стенах, в могилах на кладбище.

Прокоп горел на работе, Домаша расцвела и поздоровела еще больше и с Феколой неразлучно работала среди женщин.

И вот сейчас, когда объявлен был бой за плотину и котлован, Прокоп повел свой отряд колхозников на соревнование по выемке скалы. Шел этот отряд под гармониста и под песни, с красным знаменем. А у входа в котлован Прокоп отдал рапорт Осокину и Гудиму и заявил, как бравый красный командир, что добровольцы подшефного колхоза «Красная звезда» с честью выполнят все обязательства. А Гудим и Осокин при всех пожали ему руку и громко приветствовали доблестный отряд колхозников. Прокоп остался с Гудимом и Осокиным, потолковал с ними о стройке и политике и пошел обратно домой с сознанием своего долга. В этот момент точно отдали ему салют потрясающие взрывы на той стороне, в шлюзе, и на гранитном острове, у акватория. Он остановился и взволнованно стал смотреть на молниеносные извержения огня и дыма, и при каждом грохочущем взрыве, который толкал его воздухом в грудь, чувствовал себя, как на войне.

И ему неудержимо хотелось возвратиться к котловану и вместе с своими колхозниками стать у машин, как когда-то летом он орудовал вместе с Матвеем и Никитой у подемников и думпкаров.

2

Татьяна подходила к блоку и с наслаждением смотрела на девчат. Вот они выполняют тяжелую и грязную работу, и сами — грязные и мокрые от цемента, а счастливы... Их личики горят, глаза ликут и смеются, и в них

волнуется настоящее вдохновение. Удивительно! Это уже не прежние комсомолки, которые бесились и падали духом от неудач: сейчас они ненасытны в работе, но чувствуется какая-то строгость и высокая честность в каждом их движении; они — в лихорадке, но расчетливы, экономны в действиях. На бадью они уже не бросались гурьбой, мешая друг другу, а обслуживали ее по-двое и посменно; попарно орудовали и лопатками и утапывали бетон, зная свое место.

На работу «мухи» прибежали смотреть с соседних блоков. Пришел сам Шлиппе с Кряжичем. Кряжич был даже смущен и старался скрыть свою растерянность торопливыми распоряжениями майнать и вирать на «быстро», на «медленно», на «стоп». Он озабоченно подходил к «мухе», пристально рассматривал ее, трогал руками, гладил тросы, потом вместе со Шлиппе шагали к паркету, долго вглядывались в пропасть и молча следили за полетом бадьи. А бадья неслась вниз легко и плавно, уменьшаясь в воздушной глубине.

— Здорово, а?.. Герман Карлович, как?..

Шлиппе перебирал пальцами бороду и улыбался морщинками около глаз:

— Вы поглядите, Николай Николаевич, на Шепеля: судите по нему — суров, как художник...

— Шепель-то здесь, а где Симполович?..

— Он осторожно отсиживается... — язвила Татьяна. — А вы, Николай Николаевич, опрометчиво вмешиваетесь в события, не считаясь с авторитетом иностранцев.

— Я преклоняюсь перед авторитетом этой девочки, — тепло сказал Кряжич: — У меня даже сердце забилось, как в молодости...

Шлиппе лукаво улыбался в бороду:

— Сердце — мятежно и нетерпеливо, Николай Николаевич: свойство его — любить и страдать.

И он кротко вздохнул, как смиренный мудрец.

— Зато я довольна, — засмеялась Татьяна. — Остается только расплавить бестрепетное сердце товарища Шлиппе.

Шлиппе сделал страшные глаза:

— Я вам объявляю строгий выговор, Татьяна Ивановна: вы дурно влияете на старые кадры...

Кряжич с притворным отчаянием схватился за голову:

— Мы — метафизики, Герман Карлович. Женщины да еще инженеры дерзко разрушают все нормы нашей жизни...

— Вот именно... — печально согласился Шлиппе. — Ничего нет труднее, как освоить женщину...

— А это потому, товарищи, что вы находитесь в плену традиционной теории пределов. В этом — ваша трагедия, — с насмешливой строгостью заключила Татьяна и быстро пошла к блокам. Оба — и Шлиппе, и Кряжич — молча проводили ее глазами.

— Ну? — Шлиппе толкнул в бок Кряжича. — Знобит, Николай Николаевич?

— Почему, Герман Карлович, так нелепо и ужасно складывается жизнь?.. Почему мы, люди как будто неглупые, образованные, так дурно и несчастно живем с своими женами и на многие годы обречены тянуть мучительную лямку?

— Н-да, бывает... — прячась в своей бороде, раздумчиво сказал Шлиппе. — Но в жизни человека всегда находится отдушина, Николай Николаевич.

— Вы на зависть эпикурецу...

— А девочка-то хорошо сказала... — лукаво усмехнулся Шлиппе. — Предельческие теории вас заедают, Николай Николаевич. А вы, голубчик, бросьте всякие предрассудки и смело шагайте вперед.

Он мягко защекотал ухо и щеку Кряжича своей бородой. От нее пахло одеколоном.

— Не провороньте девочки, Николай Николаевич. Если вы не видите себя в ее прелестных глазах, вы слепы, мой друг.

Кряжич отшатнулся от Шлиппе с ужасом в лице.

А на плотине, на обоих ее крыльях, разделенных широкой щербинной ряжей среднего протока, совершалась обычная

работа бетонщиков, плотников, мостовиков. Мачты подающих стрел величаво колыхались и крутились на большой высоте над ряжевым мостом, по которому с грохотом проносились навстречу друг другу, лихо свистя и шипя паром, поезда с бадьями на вагонных площадках. В огромном размахе котлована многолюдные толпы кишели на скалах, на дне, среди отвалов камня и щебня. Там тоже свистели паровозы, гремели вагоны, ползали длинными лентами вагонетки, грохотали и скрипели экскаваторы и деррики, стройно взлетающие на ряжевых постаментях. Глухо выли мощные насосы, которые выбрасывали в реку воду со дна котлована.

Около крана широким полукругом стояли плечом к плечу рабочие разных квалификаций: грязные бетонщики в комбинезонах, слесаря-мостовики в теплых куртках, электромонтеры. Люди приходили и уходили, но толпа не таяла, а как будто стала еще гуще. Все с сосредоточенным любопытством смотрели на карусельное вращение стрелы и особенно на ширококрылую «муху» и следили за ее дрожью и струнным трепетанием тросов. Многие подбегали к парапету и наблюдали за полетом бадьи. Здесь же, впереди всех, у блока, стоял и Алешка и держал себя самоуверенно, но на него никто не обращал внимания, а некоторые даже отталкивали его:

— Ну, чего здесь околичиваешься, курносый? Пошел домой, уроки учи. Туда же нос сует, шкет...

Но Алешка с горящими глазами смотрел на стрелу и первый устремлялся к парапету.

— Дорогу, граждане!..

В толпе хототали.

— Чей это парнишка-то? Вот активист какой!..

— Завтра с сиреной — круглая норма — сто... С ума сойти!.. Эх, прямо, как невеста под венцом... бадья-то...

— Это кто тут — под венцом? Хоть бы сказал: комсомолка на парашюте...

— А я не видал, как это комсомолка... Врать не буду — не видал... Чего знаю, то и лепортую...

Лобастый парень в кепке на затылке, с свежими брызгами цемента на комби-

незоне и сверкающей зеленой жижей на резиновых сапогах бегал кругом, расталкивая толпу, и кричал в восторге:

— Ну, теперь мы Америку — в лоск... За смену даю на этой «мухе» сто тридцать под'емов... Моя арифметика — верная...

Все очарованно следили за работой стрелы. Кран звенел, рычал, хрипел, труба выбрасывала черный дым, и кабина пламенела от ярких вспышек в топке котла. Кран вращался бойко, весело, и покачивался при падениях бадьи. Татьяна стояла между блоками и краном и смотрела на часы.

— Три с половиной минуты — на полный оборот под'ема!.. — сердито крикнула она такелажнику.

Такелажник крикливо повторил слова Татьяны, обернувшись к кабине.

Машинист, черный, как негр, сорвал сальную кепку с головы и, оскалив зубы, победоносно потряс ею навстречу толпе:

— Друзья, и ночью бывает день... С добрым утром, товарищи!..

У всех были серьезные лица, но в этих лицах, освещенных электричеством, обветренных, огрубевших, с черными тенями в провалах щек и в складках кожи, была величавая торжественность.

После всех пережитых испытаний Катя стала крепче, сильнее. Она уже смеялась над собой, прежней школьницей, хохотуньей-девчонкой: «Дура же набитая, идиотка смешная была я когда-то... Прямо стыдно до слез вспомнить наши школьные дни, милые девочки...».

И она действительно краснела от стыда, и девочки краснели, чувствуя себя виноватыми перед прошлым. Какие они были маленькими и беспомощными, и как они сейчас выросли — стали больше самих себя!..

Никогда еще Катя не переживала такого счастья, такой бури в душе, как сегодня — в эти часы испытания «мухи». Вот она, эта «комсомольская муха», вцепилась своими крыльями в тросы. Они дрожат и, кажется, рокочут гитарным звоном. Такелажник, этот забавный, пыльный, безбровый парень,

празднично легок и плавен в движениях. Он, как дирижер оркестра, одухотворен, и руки его — музыкальны, и поет он задумчиво:

— Вира-а!..

А при спуске бадьи, такой тяжелой, грозной и желанной, его голос играет ласковыми руладами:

— Майна, майна!.. Еще крошечку... Стоп!

Когда девочки опоражнивали бадью и она вилась в высь, Катюша вырывалась из блока и, шлепая по доскам «кастрюлями», бежала к парапету. За нею и над нею неслась в воздухе бадья. Катюша не отрывала от нее глаз и провожала до того момента, пока не замирала на месте стрела. Такелажник махал рукою, и бадья вместе с «мухой» беззвучно летела вниз, в воздушную пропасть. Катюша смотрела на это стремительное падение бадьи, и у ней кружилась голова. Бадья легко, невесомо уносилась в огненную глубину, и канаты гудели в трепете и дрожи, сливаясь далеко внизу в одну линию. Но бадья не шевелилась, не меняла своего устойчивого положения — не кружилась. И у Катюши было спокойно и твердо на душе: тросы надежны, параллели не перекашиваются, бадья, раскаленная электричеством, как будто улыбается ей снизу. Какой крошечный паровозик внизу и как смешно он чихает паром!..

Милая, родная «муха»! Сколько надежд, отчаяния, мучительной борьбы нужно было пережить за этот ряд дней, чтобы ты так чудодейственно зажуужжала на серебряных тросах! Ты трепещешь, как живая, легкая и могучая... В тебе пульсирует горячая кровь и горит душа Катюши. Ты навсегда связана с нею и кажешься ей бесценной и до слез простой и трогательной. В тебе — твоих стальных крыльях и играющих блоках — боль и радость, страдание и гордость этой беспокойной девушки. И, любясь тобою, она нежно улыбается тебе. Только теперь она, Катя, поняла, что счастье рождается из борьбы, из слез, из бессонных ночей, из бунта в моменты отчаяния. Вот недавно ее клеймили в газете, над ней издевались, имя ее трепали и на собраниях комсомольцев; сна-

чала ставили ее в пример и печатали фотоснимки, а потом с пренебрежением оплевывали, как зарвавшуюся хвастунью, как дрянную комсомолку, обманувшую доверие организации. Ставили ей в вину и гибель Максюка, и даже возбудили дело в бюро комсомола. Правда, Вася относился к ней с прежним дружеским участием и всегда встречал ее с яркой улыбкой в глазах:

— А, Катек!.. Здорово, дорогая!..

Но как горько было слышать и переносить презрение и насмешки товарищей на собраниях и в мимолетных встречах!..

И вот в эти-то дни ее испытаний и пришлось ей драться за эту свою родную «муху». И никто не знал, что с ней происходило дома, когда она ложилась на кровать. Ей казалось порою, что жизнь ее кончена, что ей остается броситься в водослив за Максюком, что впереди — ничего нет, кроме позора, кошмарной тьмы и безнадежности.

И вот, когда «муха» летала где-то в неизвестности, однажды ночью подсел к ней отец. Она, как в бреду, непрерывно чертила карандашиком свою «муху» и царапала детским почерком: «проклятая муха»... «чортова муха»... Посасывая трубочку, отец смотрел на ее художество и усмехался усами.

— Вот что, дочка... ты бы изложила мне, в каком там разрезе происходит у вас... Чего-то будто несуразно обернулось... трепня...

Она ничего не ответила и уронила голову на тетрадку. А он усмехался и сосал трубочку.

— Дураков у нас и сейчас немало. Это, пожалуй, дочка, неплохо: дураки плодятся, чтобы умные не спали... Без дураков умный не плакал бы...

— Ах, если бы ты знал, папка!.. Мне так тяжело!.. Ну, за что? за что?..

— За дело... А дело борьбы не только слезами поливается, но, часто бывало, и кровью... Старики это хорошо знают...

Катюша подняла голову, отмахнула волосы назад, и глаза ее, залитые слезами, глядели на отца с мольбой и надеждой.

— Ведь я же, папка, борюсь... Ты же знаешь, как мы работаем?.. Я не пони-

маю, как можно этого не видеть... Это же — дикая несправедливость...

Бычков попрежнему спокойно и вдумчиво усмехался и сопел своей трубочкой.

— Ничего... покипятись... побунтуй... скорее вырастешь... Хе, несправедливость!.. Дикая она или культурная — это дела не меняет. С этим зверем мы как будто справляемся. А вот, дочка, нечуткость и бездушие — это уж вредительство...

Катюша уже не плакала. Она с изумлением слушала отца и смотрела на него широко открытыми глазами. Она никогда еще не слышала от него таких слов,—он впервые говорил с ней серьезно. Она чувствовала, что он уважает ее и беседует с нею, как с равной. И — главное: он сам подошел к ней и первый заговорил о том, что мучило и изнуряло ее за последние дни.

— Я тут с Осокиным беседовал... Он сам с места сорвался — к Чумалову бегал. Муха твоя прилетит на плотину незамедлительно...

Катя вспомнила об этой задушевной беседе с отцом, когда любовалась своей «мухой».

Теперь всякий дурак любит эту «муху»... А почему эти же люди в самые отчаянные моменты старались обессилить ее и вывести из строя? Некоторые из них и сейчас хотят показать, что «муха» повисла помимо Катюши, что ее

бригада ляжет в лоск и высунет язык от этой рационализации... Ошибаетесь, дорогие товарищи!..

Кто-то из парней даже злорадно крикнул сквозь смех:

— Гляди, ребята, кастрюльки-то уже распаялись...

Алешка принимал деятельное участие в изучении работы «мухи». У него блестяли глаза, весь он был напряжен, зорек, строг, все время соображал что-то и очень критически следил за тросами, за бадьей, за механизмом передачи. Маленький, щетинистый, гибкий, проворный, он независимо шагал по настилам досок между блоками и парашетом и покрикивал на рабочих, которые стояли у него на дороге:

— Порядочек, граждане! Уберите свои бесполезные глазенапы!..

Пускай сейчас явятся американцы — пускай полюбуются и вытянут свои каучуковые физиы. Они хвалились, что их рекорды недостижимы, что только им принадлежит мировое первенство. Что же они сейчас скажут, когда удостоверятся, что бригада Катюши и ее кран перекрыли рекорды американцев в два раза?..

Завтра «мухи» разлетятся по всем кранам на бетоне, и в одиннадцать часов ночи завоюет сигнальная сирена о начале соревнования и о вступлении в силу сквозного договора.

(Продолжение следует)

Николаю Островскому

С. ГУРЕВИЧ

Пройдут года. Потомок благодарный,
Раскрыв великую страницу Октября,
Увидит славный путь героев легендарных
И юных ленинцев испытанный отряд.

Вглядится в образ твой и вслушается в повесть,
Как закалялась сталь,
И перед ним твоя большая совесть
Возникнет, как вершин сверкающая даль.

И он поймет, счастливый наш потомок,
Коммуны сын, сын мировой семьи,
В каких мы бурях грозных, среди потемок,
Неугасимые несли вперед огни.

О юных коммунарах армии великой
Ему расскажет, озаряя даль,
Вот эта пламенеющая книга:
«Как закалялась сталь».

УТРО

Играют на силосных башнях
Рассвета теплого лучи,
Струится холодок от пашни
И запах меда от гречих.

Стада коров идут на травы
Под роговой запев и свист.
Как утро, радостный и бравый
В гараж заходит тракторист.

По улице, где стройка дома,
Где спорят пилы, топоры, —
Навстречу солнцу молодому
Ведет он трактор на пары.

Сады по рослому забору
Ему развесили плоды,
А он под гору и на гору
Кладет железные следы.

Когда опять пальнут атаки,
Сыпнет смертельная картечь, —
Он поведет к границам танки
Страну цветения беречь.

Пока спокойно над полями
Челябинец берет под'ем
И деловитыми плугами
Расчесывает чернозем.

Возмездие

МИХ. ЗОЩЕНКО

1. Вечер воспоминаний

Во время годовщины Октябрьской революции на одном из ленинградских заводов был устроен вечер воспоминаний.

Желающие рассказывали о своем участии в революции и вспоминали различные эпизоды из прошлой жизни.

Делились своими воспоминаниями не в торжественной обстановке и не в зале с эстрадой и кафедрой, а просто участники вечера за чашкой чая вели свои беседы. Это придало разговору живой и непринужденный характер. И в тот вечер моя записная книжка была вдоль и поперек исписана интересными заметками и сюжетами.

Между прочим, очень много всех смешил заводской парикмахер, некто Леонидов. Он очень забавно и комично рассказывал, как он до революции служил в модной парикмахерской на Морской и как там он стриг и брил разных генералов и князей. И какие там у него встречались требовательные и нахальные клиенты, не разрешавшие во время бритья дотрагиваться пальцами до своей благородной кожи.

Все очень смеялись, когда Леонидов вспоминал разные забавные факты из своей практики. Но об этом как-нибудь после.

После Леонидова с коротенькой речью выступил немолодой слесарь Коротков, раненный в Февральскую революцию. Он рассказал об уличном столкновении с полицией, во время которого он и был ранен.

И вот, наконец, выступила работница заводского комитета, товарищ Анна Лаврентьевна Касьянова, награжденная в свое время орденом Красного знамени.

2. Речь А. Л. Касьяновой

Речь Касьяновой была исключительно интересна и занимательна. Это было воспоминание о прожитой жизни, о революции, о гражданской войне, о знаменитом Перекопе и о бегстве барской России за границу.

Это был рассказ человека, побывавшего в самом пекле революционных событий.

Уже по первым ее фразам я понял, что это не заурядная женщина с простенькой и обыкновенной биографией. И действительно, ее жизнь поразила нас каким-то внутренним, особенным значением.

Ее речь всех нас захватила, и мы не заметили, как промелькнуло полтора часа.

Во время перерыва я подошел к т. Касьяновой и попросил ее разрешения написать повесть об ее жизни.

Анна Лаврентьевна сказала:

— Если это получится как забава, то не надо. Мне было бы неприятно, если бы вы посмеялись над моей жизнью. Но если это полезно для дела революции, то я согласна, чтоб вы это написали.

Потом она добавила:

— Только то, что я рассказала, — это древняя история. Сейчас мы все заинтересованы другой материей — строительством и расцветом нашей страны. И эта старая история моей жизни, может, сейчас не так полезна в литературе, как другие, более современные темы.

Я сказал:

— Это именно та «древняя история», которая исключительно нам интересна, потому что без таких историй, может быть, и не было бы того, что есть сейчас.

В общем, я условился с Касьяновой, что по окончании моей работы мы повидаемся с ней и она внесет поправки, если в моей повести будут неправильности или неточности против правды.

Однако значительных неправильностей в моей работе не оказалось, и товарищ Анна Лаврентьевна Касьянова дала свое согласие опубликовать историю своей жизни. Необходимо сказать, что в этой моей работе я постарался сохранить все особенности рассказчицы, все ее интонации, слова и манеру.

Однако, прежде чем приступить к рассказу, я скажу несколько слов о наружности Касьяновой.

Она среднего роста. Склонная к полноте. Ей сейчас примерно около сорока лет. У нее голубые глаза, русые волосы и несколько широкое лицо. Вероятно, в молодые годы она была очень красивой той здоровой русской красотой, в которой чувствуется сила, уверенность и удивительное спокойствие.

Вот что рассказывала Анна Лаврентьевна Касьянова.

3. Детство

Я родилась в рабочей семье. Мой отец, Лаврентий Иванович Касьянов, крестьянством не занимался. Он был рабочий. Он служил на сахарном заводе. И мы жили в сорока километрах от Киева.

Но в японскую войну его во время забастовки на заводе арестовали и куда-то забрали. И он к нам не вернулся.

И тут после этого, если так можно сказать, все равно как бомба разорвалась в нашей семье. Отец не вернулся. Старший брат, мальчик лет семнадцати, уехал в Персию и там где-то остался. У сестренки открылась болезнь почек. Она потом умерла. И моя мать, видя все это, тоже начала хворать, гаснуть, и в скором времени она тоже скончалась.

В свои семь лет я осталась круглой сироткой. И только у меня в Киеве проживала одна тетя. И тогда эту тетю вызвали из Киева и спросили ее, что делать. Тетя удивилась, что я осталась одна, и отдала меня в соседнюю деревню в няньки к одному своему знакомому кулаку.

А у этого кулака была большая семья. Его родственники. Он сам. Два сына — Мишка и Антошка. И еще грудная девочка Феня, которую мне надо было няньчить.

А мне было всего семь лет. И можете себе представить, какая я была в то время няня. И какой мне был интерес ухаживать за этой девочкой.

Фамилию этого кулака я запомнила на всю жизнь. Это был богатый мужик и мироед Максим Иванович Деев. Он держал двоих батраков, которые обрабатывали его поля и смотрели за его хозяйством.

4. На заводе

Этот кулак Деев, видя, какая я нянька, решил меня отдать на завод. И он

меня отдал на сахарный завод, где в свое время работал мой отец, мой папа.

Я стала работать на этом заводе. И я там работала по 12 часов в сутки.

Когда я возвращалась домой, то дома я тоже не знала отдыха. Я дома продолжала работать. Я носила дрова. Убирала хлев. Пригоняла коров. Кормила птиц. И няньчила Феню. И утром, часов в пять, снова уходила на завод.

Мне хотелось играть в куклы или побегать с ребятами, но, вместо того, вот что я имела.

А у нас там, на сахарном заводе, детей использовали на подсобных работах. У нас там дети подбирали свеклу. Каждому из ребят полагался такой железный крючок. И вот с этими крючками мы ходили взад и вперед и подбирали свеклу, поскольку она то-и-дело падала, когда ее подвозили на эстакаду.

А когда мне исполнилось девять лет, то меня перевели с этой более легкой работы к станкам, где сахар рубят. Там были такие особые ящички, куда бросают сахар. И вот мы, дети, подбирали кусочки и швыряли их в эти ящички.

Но когда мне ударило 12 лет, то меня уже поставили на станок. Я там рубила сахар. И там я этим занималась до 15 лет.

И мне за это кулак Деев ежемесячно платил один рубль. Но сам он за меня получал сначала три рубля, а потом восемь.

В течение шести лет получал за меня ежемесячно по восемь рублей. Но я продолжала получать от него один рубль. И на эти деньги я должна была справлять себе обувь и одежду.

И за каждый этот мой несчастный рубль, полученный от него, он заставлял благодарить себя, как за совершенную милость. И я его сердечно благодарила, потому что я не понимала, как еще бывает иначе. Я не знала, что это был возмутительный акт с точки зрения революции. Я не отдавала себе в этом от-

чета. Я, девчонка в 15 лет, жила, как в дремучем лесу.

И только когда произошла революция, я кое-что стала понимать.

Я во время революции служила простой кухаркой в Киеве. И я тогда вспомнила эту эксплуатацию. Я вдруг вспомнила, как он мне платил один рубль, а остальные деньги брал себе. И как он, кроме того, заставлял меня дома работать до того, что я спала не больше пяти часов в сутки.

И когда я нарисовала себе эту картину, я просто не могла с собой совладать. Меня трясло от злобы, когда я подумала, как это было.

И, руководимая этой злобой, я даже нарочно решила поехать в деревню поговорить с Деевым.

Это было вскоре после Февральской революции.

5. Поездка в деревню

А в момент революции мне было около 19 лет. И я тогда, повторяю, жила в Киеве. И была прислугой, кухаркой.

И это было исключительное движение души, что я вдруг вспомнила эту эксплуатацию и решила съездить в деревню.

Я сама себя уговорила, что мне надо было побывать в деревне. У меня там решительно никаких дел не было.

И тем не менее, в мае я приехала в деревню и зашла во двор к Дееву. Он сидел на крыльчке и грелся на весеннем солнышке.

Я его три года не имела счастья видеть, но я ему не поклонилась. И он мне не поклонился.

Он мне грубо сказал:

— Ты чего шляешься по чужим дворам? Это еще что за новости?

Тогда я ему сказала, еле сдерживая свое негодование:

— Ты что же мне, старая плешь, платил один рубль, в то время как сам получал за меня восемь рублей. Ты

знаешь, как это называется с точки зрения революции?

Но Деев на это засмеялся и велел своим сыновьям, Мишке и Антошке, выгнать меня со своего двора.

И я тогда удивилась, что революция не облегчила мои душевные страдания. Я только потом узнала, что это была буржуазная революция, ничего не имеющая с нами общего. И надо было еще ждать полгода, чтобы произошла другая, народная революция, которая все поставила на место.

Так или иначе, кулак Деев стал смеяться над моими словами. И он до того смеялся, что еле мог выкрикнуть Мишку и Антошку.

А когда те прибежали, то я удивилась, как они выросли.

Они были, все равно как здоровые жеребцы.

Деев им сказал:

— А ну те-ка, прогоните мне эту белобрысую халду, приехавшую с глупостями к нам из Киева.

Старший кулацкий сын Мишка не стал меня гнать. Он сказал: «Не надо этого делать». Но другой сын, Антошка, ринулся на меня, словно дикий бык.

Он начал меня бить ногами. И стал выталкивать меня со двора.

Мы с ним одновременно выбежали на улицу. И там друг против друга остановились.

И он, засмеявшись, мне сказал:

— Я тебя, Анюта, прогнал со двора, потому что мне папенька так велел. А если ты у нас хочешь получить работу, то наймись ко мне блох ловить.

От этих его насмешливых слов у меня буквально свет померк в глазах. Души моей не стало от этой его дурацкой и нахальной фразы.

И я вдруг схватила ведро, стоявшее у колодца, и ударила им кулацкого сына Антошку. Я два раза и больше его ударила. И потом я, кажется, даже стала молотить его этим ведром.

Он вдруг испугался, что увидел такую мою злобу, какую он не предполагал видеть в женщине.

И от страха он закричал:

— Ах, подойдите все сюда. Вон что она со мной делает.

Но потом вдруг побежал к дому, бросая горстями кровь с носу.

И я тогда пришла в себя и пошла обратно. И даже не обернулась назад, чтобы посмотреть, не бежит ли кто за мной. Мне в тот момент сделалось все равно.

И только я потом узнала, что сам старик Деев хотел выстрелить в меня из дробового ружья, но он испугался это сделать, потому что ему сказали, что я член горсовета.

Но я тогда не знала, о чем он замыслил, и бесстрашно шла с тем, чтобы никогда сюда не возвращаться.

Но я вернулась сюда через 12 лет. Через 12 лет я была в этом районе. И снова нарочно заехала в эту деревню.

Это, кажется, было в 1929 году.

И вот я заехала в эту деревню. И зашла на двор к Дееву.

Но оказалось, что старик Деев уже давно отправился путешествовать на тот свет. А его сыновья, Мишка и Антон, были раскулачены и высланы из этого района. И никого из их родственников я тут больше не нашла.

А в их помещении была изба-читальня.

Я зашла в эту избу.

И когда я зашла в эту избу-читальню, я вдруг рассмеялась, что так все случилось.

Я не обладала жестоким сердцем, и я всегда была внимательна к чужому страданию. Но тут я рассмеялась, когда вошла в избу.

И когда заведующая избой-читальней меня спросила: «Чего вы смеетесь?», я ей ответила:

— Я смеюсь, что произошла такая народная революция, которая, наконец, оправдала мои надежды.

И тогда заведующая, не поняв, в чем тут дело, сказала:

— Может быть, вы хотите взять какую-нибудь книжку почитать, чтобы повысить свою культуру?

Не помню сейчас, но, кажется, я действительно взяла тогда какую-то книжку. Но в те дни я не стала ее читать, потому что у меня и без книг тогда слишком было переполнено сердце.

6. В Киеве

А что касается дореволюционного времени, то у этого кулака Деева я находилась почти до 16 лет.

А когда мне исполнилось 16 лет, к нам в деревню прибыл из Киева один мой знакомый, ранее служивший на сахарном заводе.

Он мне симпатизировал.

Он мне сказал:

— Бросай, Аннушка, своего кулака Деева и давай поедem в Киев. И я там куда-нибудь определю тебя на работу. Сам я служу в Киеве, в москательной лавке. И, если ты захочешь, мы там будем с тобой встречаться по воскресеньям.

И вот я тогда бросила своего кулака и действительно поехала в Киев.

И я там в скором времени устроилась прислужкой к одной весьма дореволюционной барыне.

Собственно говоря, это была, так сказать, не чистой воды барыня. Ее супруг служил в интендантстве по снабжению армии. И был все время в раз'ездах.

А супруга его содержала небольшую шляпную мастерскую, в которую она даже никогда и не заглядывала по причине своего нездоровья. А просто там у нее кто-то работал, а прибыль получала она. Тогда это было в порядке вещей, что один работает, а другой за него барыши получает. Это не казалось чем-то особенным. Это было тогда повседневным делом — подобная эксплуатация.

А у этой барыни была дочка Оленька. И Оленька оставила по себе очень хорошее воспоминание. Она меня учила грамоте. Она сама была гимназистка выпускного класса. И была чересчур бойкая и развитая не по летам. За ней постоянно мужчины бегали. И даже какой-то юнкер хотел из-за нее застрелиться.

Но у нее хватало времени со мной заниматься. Она мне преподавала географию, чтение, арифметику и ботанику.

В общем, я ей очень благодарна за науку, потому что как-никак к моменту революции я была уже немного подкована в смысле грамотности, и я уже не была такой, что ли, чересчур темной особой.

Эта Оленька потом вышла замуж и уехала из Киева. И я не знаю, где она теперь.

Я у них служила около двух лет. И я тогда нигде почти не бывала. А моего знакомого, с которым я приехала в Киев, взяли на войну. Он был мобилизован.

Я его провожала на вокзал. И я не знаю, что с ним в дальнейшем стало. Наверное, он был убит на войне. Или он пропал без вести. Только я о нем никогда ничего не могла узнать.

А он очень страдал, что уезжает от меня. И мы с ним торжественно, как жених и невеста, поцеловались на вокзале.

Но я привыкла терять близких мне людей. И я не имела от этой потери какого-нибудь отчаяния.

Я тогда стала больше работать, чтоб не скучать.

И я поступила даже на курсы поваров, чтобы повысить свою квалификацию.

И мне моя «барынька» разрешила это сделать. Ей самой смертельно хотелось, чтобы я у нее лучше готовила. И она мне позволяла по вечерам ходить на занятия.

Но от этого она, увы, не получила своего выигрыша, потому что я вскоре

ушла от нее на более хорошее место, к одной генеральше.

7. Генеральша Дубасова

Рядом с нашим домом был отдельный особняк. И там жила генеральша Нина Викторовна Дубасова, урожденная баронесса Недлер.

Она была сравнительно молодая, довольно интересная особа. Ей было около тридцати лет.

А сам генерал Дубасов был постоянно на фронте. Он был боевой генерал. Фронтовик. А она тут жила, все равно как в сказке.

Они были очень богаты, эти Дубасовы. У них было несколько имений, кажется, и на Украине. И к ним постоянно мужики привозили всякую снедь и продукты. И, кроме того, мужики привозили им деньги. И в довершение всего кланялись в пояс и целовали ручку. Причем они круглый год работали. А та за них отдыхала. И пользовалась всем на свете. Просто невероятно сейчас подумать, как это тогда было.

В общем, генеральша жила в полной роскоши, не зная никаких затруднений.

У нее, между прочим, было три денщика. А когда с фронта приезжал генерал, то он еще двух денщиков с собой привозил. Так что это было смешно видеть, что у них был такой личный штат.

Кроме того, у них было два кучера, два дворника, горничная, истопник и кухарка. А поскольку сам генерал был почти все время на фронте, то все эти услуги относились только к баронессе Нине Викторовне, которая прямо с ума сходила от своего безделья.

Она меня видела несколько раз со своего балкона и велела мне сказать, чтобы я бросила служить у прежней барыни и чтоб я перешла к ней, поскольку я ей почему-то понравилась.

И она мне положила в два раза большее жалованье. Я получала 6 рублей, а

она мне дала 12 рублей. А в то время это были порядочные деньги.

И тогда я к ней перешла. И вскоре я убедилась, что она была странно сумасшедшая. Она была недотрога и истеричка в высшей степени.

Ее люди очень не любили. И она часто выгоняла то одного, то другого. Причем, у нее была тенденция не платить. Она рассердится, например, на дворника, вышвырнет ему за дверь паспорт и велит сразу уходить. И никакой управы на нее нельзя было найти.

У нее было три денщика. Так она каждый день их лупила. Сейчас, конечно, трудно даже представить, как это можно ударить служащего человека. Но тогда это был не вопрос. Тогда это было вполне законное явление. И она за каждый пустяк била то одного, то другого.

Она била их по лицу. Причем у нее не было даже злобы, а просто это была у нее привычка.

А на битые они как военные не имели права ничего сказать. Они даже не смели шелохнуться. Они стояли на вытяжку, когда она их лупцевала.

И только один денщик, некто Боровский, поднял руку, чтоб защититься.

Он поднял руку, чтобы закрыть свое лицо от побоев. Он ей сказал:

— Я, говорит, Нина Викторовна, весь в огне горю. Еще, говорит, один удар — и я могу допустить крайность.

И он совершенно легко отодвинул ее от себя. Он отбросил ее от себя, чтобы не иметь соблазна пойти на крайний шаг. А она нарочно на пол упала. И такой она плач подняла, такие крики и такую истерику, что чуть не со всего района собрались люди на это сумасшествие.

И тогда Боровского арестовали и посадили в тюрьму.

8. Новая кухарка

Но интересно, что после этого случая она не стала тише себя вести и

продолжала своих денщиков лупцевать.

Конечно, невоенных служащих она остерегалась бить, но весьма часто замахивалась.

Один раз она даже на меня замахнулась.

Но я ей сказала спокойно и просто:

— Имейте это в виду, Нина Викторовна. Если вы меня тронете, то я сама за себя не отвечаю.

А я тогда была исключительно сильная и здоровая. Я была очень цветущая. У меня, например, был медальон. Так когда я его надевала, то он у меня не висел, как обыкновенно бывает — висят разные медальоны. А он у меня горизонтально лежал. И я его даже могла видеть, не наклоня головы. Он даже больше, чем горизонтально лежал. И даже отчасти не понимаю, как это тогда было.

Во всяком случае, я отличалась тогда исключительным здоровьем. И если бы я захотела, то эту самую Нину Викторовну я могла бы швырнуть из одной комнаты в другую. Тем более, что она была маленькая и хрупкая. Она была красивая, но тонкая и худенькая брюнетка. И когда к нам гости приходили, то они все больше на меня смотрели, чем на нее. А это ее очень бесило и растранивало.

Конечно, я не скажу, что отличалась в то время какой-нибудь удивительной красотой. Но я многим нравилась. И мое здоровье останавливало на себе внимание. Я была тогда до сумасшествия здоровая.

А если говорить о недостатках, то у меня были такие руки, которые мне принесли несчастье. И когда я в дальнейшем попала в Крым к белым, то мои руки меня выдали с головой. Белые сразу поняли, кто я такая. У меня были обыкновенные рабочие руки. У меня были большие мужицкие руки, которые от постоянного кухонного жара пылали тогда красной. И с точки зрения дворянской жизни это был крупнейший недостаток. И в то время некоторые барыни, чтоб вызвать белизну и

еще больше заморить свои ручки, ставили даже к ним пиявки и надевали на ночь лайковые перчатки. Потому что труд в том обществе считается большим позором. И нельзя было иметь то, что напоминало о принадлежности к трудовому классу.

Нет, вообще-то говоря, может быть, и красиво иметь тонкую ручку. И я ничего бы не имела против этого. Но я тогда главным образом страдала не по этой причине. А просто у меня была такая бурная жизнь и среди таких людей, которые весьма подозрительно смотрели на мои руки.

Сейчас я физическим трудом не занимаюсь и руки у меня стали нормальные, но тогда, действительно, было что-то особенное. И я тогда не раз досадовала, что для достижения моей цели я не имела белых дворянских ручек с голубыми жилками, для того, чтобы ввести в заблуждение моих врагов.

9. Генеральшины гости

Итак, я поступила кухаркой к генеральше Нине Викторовне Дубасовой.

И она была этим очень довольна, потому что я была в то время интересная, а это ее очень устраивало. Она была из таких надменных барынь, что любила, чтоб у нее все было бы самое красивое, самое наилучшее. И она добивалась, чтоб у нее прислуга тоже отличалась какой-нибудь счастливой внешностью.

Ей нравилось, когда гости поражались, что им открывает такая милостивая прислуга. И генеральша этим удовлетворяла свою барскую спесь и свою дурацкую гордость.

Но поскольку я была кухаркой, то я к гостям не должна была выходить. У нас днем двери открывали денщики, а вечером горничная.

Но баронесса непременно захотела, чтоб и я открывала двери.

И я тогда в вечерние часы стала тоже подходить к дверям.

Тем более, что свою личную горничную Катю генеральша не любила к гостям выпускать, так как она и ростом, и чернотой волос отчасти напоминала свою барыню. А это компрометировало барыню и, вероятно, снижало ее в глазах знакомых.

Так или иначе, я по вечерам впускала гостей.

Но это не так долго продолжалось, потому что она сослепу приревновала меня к одному офицеру, который был ее любовником.

К ней каждый день заходил один молоденький офицерик, некто Юрий Анатольевич Бунаков. Он был хорошенький такой, как жукла.

И я раньше никогда таких не видела. Он был похож на херувима. У него на щеке была нарисована черная мушка. И губы свои он подкрашивал красной краской. И всегда ходил с маленькой коробочкой. И там у него была пудра. Он то-и-дело припудривался, потому что он любил, чтоб у него была матовая кожа.

Сначала он меня просто рассмешил своей кукольной наружностью. Я даже не знала, что бывают такие изнеженные мужчины. Я хохотала, как сумасшедшая, когда в первый раз его увидела. Тем более, что он вел себя, как ребенок. Он капризничал, хныкал и с головной болью валялся на кушетке.

Но Нина Викторовна была в него сверх всякой меры влюблена. Она его обожала. И от него без ума находилась. Она могла глядеть на него круглые сутки. И она считала его удивительным и небывалым на земле красавцем.

Она с ним буквально нянчилась.

И когда генерал был на фронте, то Юрий Анатольевич каждый день к ней заходил.

Он играл песенки на рояле. И напевал их вполголоса. Причем весь репертуар у него был исключительно из грустных номеров. Он чаще всего пел: «О, это только сон» и «Под чарующей лаской твоею».

Также он имел привычку твердить

такие стихи (я их запомнила, потому что я их в свое время записала):

Все на свете, все на свете знают —
Счастья нет.
И который раз в руках сжимают
Пистолет.
И который раз, смеясь и плача,
Вновь живут,
Хоть для них и решена задача —
Все умрут.

И он при этом подкидывал в руках свой браунинг № 1, с которым он никогда в жизни не расставался.

10. Веселая жизнь

Но, конечно, это была сплошная ерунда, то, что она меня к нему приревновала. Я на него просто никак не глядела. Вернее, мне было забавно видеть его поведение. Но он, действительно, иногда глаз с меня не сводил.

Он мне однажды сказал в передней:

— Это, говорит, Анюта, чересчур жалко, что среди нашего высшего общества не бывает таких, как ты. Среди нашего общества все больше высохшие мумии. И я бы, говорит, наверно, вполне исцелился от меланхолии, если б я сошелся с такой особой, как ты.

Но я рассмеялась ему в лицо и не велела ему об этом больше говорить.

А моей баронессе не понравилось, что он со мной то-и-дело заговаривал.

Она мне сказала:

— Я, говорит, Анюта, считаю ниже своего достоинства к вам ревновать, поскольку вы для меня человек, стоящий на нижней ступени общественной лестницы, но тем не менее двери я вам больше не позволю открывать

Конечно, я не стала от этого горевать, потому что, откровенно говоря, в конце концов, плевала на них обоих.

Кроме этого молоденького офицера, которого у нас на кухне называли Юрочка, к нам очень часто заходил его

ближайший друг, некто ротмистр Глеб Цветаев. Этот был уже в другом духе. Он тоже отличался изнеженной красотой. Только что против Юрочки он был более веселый и энергичный и отличался хорошим здоровьем. Он был не такой квелый, как тот. А в остальном он был вроде него. Он тоже пудрился, мазался, на щеке носил мушку и имел черные тонкие усики, как у французской кинознаменитости Адольфа Менжу.

В довершение всего он курил тончайшие дамские папироски, увлекался мужчинами и душился так, что мухи боялись к нему подлетать.

Нина Викторовна считала, что по своей небывалой красоте он может стоять на втором месте после Юрия Анатольевича. Она находила, что у него особенно хороша улыбка. Она говорила, что даже розы могли бы распускаться под его чарующей улыбкой. И он благодаря этому то-и-дело улыбался. Но я в этой улыбке ничего особенного не видела. Это была деланная и фальшивая улыбка, которая исчезала, когда он отворачивался.

Интересно отметить, что впоследствии я в Крыму столкнулась с этим офицером. Он тогда был начальником контрразведки в Ялте. И он там тоже улыбался, когда глядел на мое разбитое лицо. Но об этом после.

Вместе с ротмистром Цветаевым у нас часто бывал его друг — граф Шидловский. Вот этот был большой нахал. Он ко мне часто приставал со всякой ерундой. Но он мне был просто противен своей гладкой, сытой физиономией и своими дворянскими поворотами.

Но он, конечно, не представлял себе, что кому-нибудь он может не понравиться, в то время как я дрожала от отвращения, когда он иной раз ко мне прикасался своей рукой.

Все эти офицеры у нас почти-что каждый день бывали. Они тут пили вино, танцевали, играли в карты и так далее.

Иногда у них всю ночь шло пьянство и стоял бешеный разгул. Но я даже затрудняюсь сказать, что у них там еще

было. Прислуга не имела права входить без приглашения.

А что касается Нины Викторовны, то она буквально дня не могла прожить без этих вечеринок, после которых она ходила желтая, как шафран, и целый день освежалась гофманскими каплями.

Из гостей у нас также иногда бывали разного сорта знаменитости — артистка Вера Холодная, киноактер Рунич и другие. И даже как-то раз приехал к нам из Москвы артист Вертинский. Этот пел свои знаменитые песенки. И эти песенки хватали нашего Юрия Анатольевича прямо за самое сердце до того, что он навзрыд плакал и просил их петь до бесконечности.

Эти песенки также исключительно сильно действовали на ротмистра Глеба Цветаева, который тоже прослезился и сказал, что у него такое ощущение, будто погибает весь мир и нельзя никого спасти.

Такое препровождение времени у нас было всю зиму, вплоть до Февральской революции.

11. Февральская революция

Я по-настоящему не понимала, что такое революция. Мне об этом мало приходилось слышать.

Я редко сталкивалась с людьми, которые могли бы меня на этот счет просветить. Что касается завода, то у нас там говорили об этом, но я была тогда слишком маленькая и не разбиралась. А у кулака Деева я тоже не могла ничего почерпнуть. Я жила, как в дремучем лесу.

И вот как-то утром я пошла на базар. И вижу, что по улицам ходят студенты и обезоруживают полицию. У меня сразу екнуло сердце. Я подумала: наверно, что-нибудь особенное произошло.

Я тогда пошла дальше и вижу, что на всех углах стоят уже студенческие посты, а полиции нет.

Тогда я спросила одного, почему так делается. И он мне сказал: «Это революция».

Но я тогда не знала, как это бывает, и решила пойти посмотреть.

И вот я пошла дальше со своей корзиной и вдруг вижу — идет громадная толпа. Некоторые идут с винтовками, а некоторые держат красные знамена, а некоторые идут так.

И многие из них кричат: «Мы идем на Сенной базар освобождать заключенных. Все идemте с нами!».

А там, у нас в Киеве, на Сенном базаре, была огромная тюрьма, в которой было много политических заключенных.

И вот я пошла вместе со всеми. И вдруг мы все (хотя я и не знала слов) в один голос запели революционную песню и с этой песней пришли на Сенной базар и увидели тюрьму.

И тогда народ с криками побежал к зданию и стал требовать выпуска всех заключенных.

А я и некоторые другие молодые женщины залезли на забор и там сидели, наблюдая, что будет. Причем я не расставалась со своей корзиной для провизии, потому что мне надо было кое-что закупить, чтобы к 12 часам дня начать готовку обеда.

И вот я сижу на заборе и слышу страшные крики. Это народ велит открыть все двери в тюрьме.

И вдруг, действительно, открываются все двери и ворота, и в окна показываются заключенные. И нам видать, что они недоумевают и не понимают, что это такое. И думают — нет ли тут провокации.

Мы видим, что двери и ворота открыты и часовых нету, но никто из заключенных на улице не появляется.

И тогда среди народа раздаются нетерпеливые возгласы: «Выходите же... Верьте нам, верьте».

И вот появляется первая партия заключенных. Они вышли из ворот и сразу поняли, что это такое. Один из них упал в обморок. А другой сразу же

влез на забор и начал произносить речь. Он был большевик. Он долго говорил, а я сидела со своей корзиной и слушала.

Он говорил, что в революции нужна прежде всего организация. Он сказал толпе: «Объединяйтесь в профсоюзы и тогда вы можете бороться со своим главным врагом — с буржуазией, чтоб она вас не эксплуатировала».

И весь народ ему хлопал, хотя многие и не понимали, что это такое.

Тем временем из ворот тюрьмы вышли все заключенные. Некоторые были бледные и качались. А некоторые с криком радости бежали в толпу. И там они обнимались с родными и целовались со знакомыми.

Потом вышла целая партия уголовников. Но никакого нахальства среди них не наблюдалось. Они держали себя смиренно и возвышенно, но только у всех стреляли папироски.

12. Неожиданная встреча

И вот, сидя на заборе, я увидела, что из тюрьмы вышел наш денщик Боровский. Он полгода сидел в тюрьме за то, что он защитился от побоев генеральши Нины Викторовны.

И тут я увидела, что он прямо переродился за это время. Всегда молчаливый и сдержанный, он тут вдруг самостоятельно влез на подводу и произнес речь. И многие ему тоже хлопали.

И тогда я протискалась к нему и сказала:

— Здравствуй, Паша Боровский.

Он очень обрадовался, что увидел свою знакомую. И мы с ним решили находиться вместе.

В это время среди народа раздались крики:

— Идемте все к думе, там происходят исключительно важные события.

И тут мы с Боровским побежали к думе. И встали около самой трибуны.

Там было много произнесено пламенных речей. И Боровский произнес вто-

рую речь. Он рассказал про свой случай генеральшей и убеждал народ не доверяться буржуазии и дворянству.

Потом я посмотрела на часы и увидела, что уже четыре часа. То-есть это был час, когда генеральша садилась за стол обедать. Она в смысле еды была исключительно аккуратная особа. И не любила запоздания даже в пять минут.

Тут я вспомнила, что я даже ничего к обеду не купила.

Но Боровский мне сказал:

— Сейчас безрезультатно что-нибудь покупать. Иди так домой. А если ты боишься неприятностей, то я могу с тобой пойти. И мы тогда посмотрим, что тебе Нина Викторовна скажет в моем присутствии. Хотел бы я это видеть.

Я сначала растерялась, и мной страх овладел, когда Боровский со мной пошел. Но потом мне от этого даже стало немного весело.

И мы с Боровским пришли домой. И наши денщики форменным образом обалдели, когда увидели нас вместе.

Они сказали:

— Ну, знаете ли, это уже слишком.

Но мы им объяснили, в чем дело. Среди нас поднялся горячий разговор.

И вот мы все, домашние работники, сидим в кухне и разговариваем.

Вдруг открывается дверь, и на пороге показывается Нина Викторовна, такая грозная, как она редко когда бывает.

И вот так говорит, задыхаясь от злости:

— Я не погляжу, что происходят революционные события. Мои права хозяйки остаются в полной силе. И эти права никем не могут быть нарушены. И я, говорит, всех вас в два счета к чорту выгоню, если будет повторяться что-нибудь подобное.

Вот так она говорит и вдруг видит — сидит на стуле Боровский.

Тут она побелела, как полотно, схватилась за дверь и прошептала:

— Боже милосердный...

Она, наверно, в этот момент поняла, что случилось. Она поняла, что произошло нечто небывалое в ее жизни.

И тут вдруг Паша Боровский встает со своего стула, и мы видим, что он нервничает. Он сильно волнуется.

Он встает со своего стула, отодвигает его с легкой осторожностью в сторону и так говорит Нине Викторовне:

— Амба.

И если бы он сказал что-нибудь другое, она бы не так испугалась. Но то, что он сказал «амба» и при этом сделал рукой отрицательный жест, это ее устрало до последней степени.

Она вскрикнула «ах», задрожала, пошатнулась и, бледная, как полотно, выскочила из кухни.

И тут все денщики рассмеялись и сказали: «Вот, что такое революция».

13. Первое крещение

Потом вдруг в кухню вошел ротмистр Глеб Цветаев. Он сказал Боровскому со своей улыбкой:

— Если тебя, мой друг, революция освободила, то это еще не значит, что ты как уголовный арестант и государственный злодей можешь тут у баронессы находиться. Я прошу тебя, мой друг, немедленно удалиться или будут самые печальные последствия.

Боровский сказал:

— Я уйду, так как я не хочу подвергать опасности моих товарищей. Потому что, если мы, господин офицер, с вами сейчас столкнемся, то они за меня заступятся. И тогда мне неизвестна их судьба. Вот почему, и только поэтому, я ухожу. Но с вами мы еще, господин офицер, встретимся. И тогда я вам преподнесу такую дулю, что вы пожалеете за свои чересчур нахальные слова.

Мы думали, что после этих слов произойдет нечто страшное. Но ротмистр Цветаев повернулся на каблуках и ушел, так хлопнув дверью, что кофейница упала с полки.

И тогда Боровский, попросившись с нами, тоже ушел. И он взял с меня слово, что я сегодня вечером приду в университет на митинг, который был назначен на 9 часов.

Тогда я наспех, из чего попало, приготовила обед, и горничная Катя подала его господам. И те пожрали в охотку и никаких замечаний не сделали.

А я, приодевшись, пошла в университет на митинг, ничего не сказав об этом Нине Викторовне, что было в то время большим преступлением по службе.

И вот я пришла в университет. И там уже было полным-полно. Выступали главным образом студенты и курсистки.

Тут подошел ко мне Боровский. Он сказал:

— Ну, Анюта, не подкачай. Ты сегодня непременно выступи. Ты будешь говорить от лица домашних работниц. Это произведет фурор. Ты скажи что-нибудь хорошенькое про эксплуатацию прислуги.

Тут я форменным образом задрожала, потому что эти речи я никогда не говорила и не знала, как это нужно.

Но Боровский не стал слушать моих возражений. Он подвел меня к трибуне и познакомил со всеми видными революционерами, какие там были.

И один из них, по фамилии Розенблюм, сказал мне, как будто бы я была заправская ораторша:

— Ты, говорит, товарищ Касьянова, скажи что-нибудь о профсоюзном движении, поскольку этот вопрос необходимо затронуть.

Тут я, скажу откровенно, совершенно сомлела, потому что я только сегодня днем впервые услышала об этом движении и еще не представляла себе, что можно об этом сказать что-нибудь определенное.

Но тут они меня привели на трибуну и представили публике.

Я не помню, о чем я начала говорить. Я только помню, что я дрожала, как собака, на этой трибуне. Но потом я совладала с собой и начала такую речь, что в зале произошла удивительная тишина. Все меня слушали и говорили: «Это нечто особенное, что она так говорит».

А я им развернула картину эксплуатации моего детства и сказала о теперешней жизни, которую я терплю у генеральши Нины Викторовны.

И тут я сказала, что среди нас находится ее жертва — денщик Боровский, побитый ею и посаженный в тюрьму. И тут все захотели увидеть этого Боровского. И тогда Боровский вышел на трибуну и сказал: «Да, это так, как она сказала».

И тогда все в один голос закричали: «Скажи нам ее адрес, мы ее к чорту в порох сотрем, эту твою баронессу».

Но я сказала то, что слышала утром. Я сказала со своей трибуны:

— При чем тут адрес? Революцию надо организованно вести. Надо создать профсоюзное движение и тогда планомерно вести борьбу с буржуазной знатью.

И тут раздалась такие аплодисменты, что я думала, что зал треснет пополам. Я, как в чаду, сошла с трибуны.

Тут сразу ко мне все подскочили. Боровский говорит:

— Это что-то особенное, настолько ты исключительно великолепно говорила.

Розенблюм мне сказал:

— Ты, Анюта Касьянова, пойдешь организатором в профсоюзы. Завтра приходи к думе, в оргбюро, и получишь назначение.

Я, как пьяная, вернулась домой. И я по дороге сочиняла речи, чтобы произвести их как-нибудь в другой раз.

14. Новая жизнь

На другой день утром меня вызвала к себе барыня Нина Викторовна.

Она мне сказала:

— Если ты хочешь у меня служить, то прекрати это безобразие. Я тебе не позволю шляться по всяким митингам, где бог знает что говорится.

Но я сказала, что в таком случае я откажусь от места.

Она стала меня просить, чтоб я этого не делала. Она сказала, что она в три раза прибавит мне жалованье и подарит несколько платьев, только чтоб у нас дома наступили мир и тишина.

Я ей ответила:

— Вы из образованных слоев и говорите такие удивительные глупости. Ваши слова мне смешны и напрасны. Разве вы не видите, что делается с народом? Не от моего желания зависит прекратить то или другое.

Тут в этот момент происходит звонок и к нам в столовую входит поручик Юрий Анатольевич Бунаков. И с ним вместе ротмистр Глеб Цветасв.

Бунаков, совершенно бледный и расстроенный, ложится на диван.

А ротмистр говорит:

— Что делается на улице — это уму непостижимо. Хамя столько, что пройти нельзя. Как, говорит, ужасно, что в таких варварских руках будет судьба России. А к этому идет, потому что мы против них буквально маленькая горсточка. Стоит выйти на улицу, и вы в этом убедитесь.

Тут он увидел меня и закашлялся.

Нина Викторовна говорит:

— Я с этой представительницей народа целый час бьюсь. Но она уперлась на своем, как баран. Ей милей, видите ли, уличная шантрапа, чем порядочная жизнь в высшем обществе. И, главное, она еще осмеливается мне возражать и вступать со мной в пререкания, как будто мы с ней на одной ступени жизни.

Тут ротмистр Цветасв сказал фразу, которую я поняла только через десять лет. Он сказал:

— Вот когда нам приходит возмездие от народа. Наши деды ели виноград, а у нас оскомина.

Тут Бунаков вскочил со своего дивана, и я удивилась, что в нем может кипеть такая злоба. Он сказал:

— Но ведь мы же не отдадим свои права без борьбы.

А ротмистр воскликнул:

— Мы будем драться до последней капли крови. Никакое соглашение тут невозможно, потому что сталкиваются два мира между собой. И то, что сейчас происходит, это — пустяки по сравнению с тем, что будет.

Нина Викторовна мне сказала:

— Аннушка, уйдите отсюда, нам не до вас.

И вот я в этот день, приготовив обед, поспешила в оргбюро.

В оргбюро уже все слышали обо мне. Мне там сказали:

— Ты, Касьянова, пойдешь у нас агитатором. Ты будешь ходить среди масс и агитировать за профсоюзы. Ты революцию поняла именно так, как следует.

И тогда я спросила со своей наивностью:

— Можно ли мне от барыни уйти?

И тут все засмеялись и сказали:

— Можно и даже нужно.

И вот я прибежала домой, сложила вещи и сказала:

— Я ухожу. —

Что было, это описать нет возможности. Но я выдержала бурю. И тогда баронесса, не заходя в кухню, швырнула мне паспорт. Но денег почти за месяц она мне не отдала.

Я хотела с ней об этом спорить, но как-раз так случилось, что с фронта приехал сам генерал Дубасов. Я думала, что это здоровый, бородатый генерал, вроде бульдога. Но он оказался удивительно худеньким и маленьким. И он так в комнате все время кудахтав. Он был недоволен и выражал свои взгляды на Юрочку Бунакова. Он приревновал Нину Викторовну. Но та вела

себя удивительно нахально. Денщики мне сказали, что она нипочем не захотела отказаться от дома Юрочке. И генералу, который обожал Нину Викторовну, пришлось смириться. В довершение всего пришедшие офицеры начали пространяться про революцию, и у них там поднялись горячие политические споры.

В общем, я не стала туда к ним соваться насчет своих денег. А просто пошла в оргбюро и получила там назначение. Мне там дали немного денег и отвели комнату. И мы условились относительно моей работы.

И я горячо принялась за эту работу: Тут мне все было интересно и занимательно. Новый мир стал открываться передо мной. И я только тогда поняла, как я жила и как весь народ жил. И как мы все находились в кабале, и сами, по своей слепоте, не замечали этого.

И вот тут, как я уже говорила, движимая ненавистью, я и поехала в деревню для переговоров с кудаком Девым. И эта поездка мне многое объяснила. Она мне объяснила, что, кроме этой революции, может быть еще другая, народная, революция, направленная против буржуазии.

И я, вернувшись, еще с большей энергией стала работать для революции.

Я как агитатор ходила по домам и там устраивала общие собрания домашних работниц, сиделок, нянек и санитарок.

Я им произносила пламенные речи и убеждала их вступить в профсоюз для планомерной борьбы со всякого сорта эксплуататорами, за гроши выжимающими масло из трудящихся.

И почти всюду меня принимали хорошо, но в некоторых местах меня хотели даже побить за слишком левые слова.

А когда были выборы по рабочим кварталам, то меня как представительницу от домашней прислуги выбрали в горсовет.

А в горсовете в то время были и генералы, и большевики, и меньшевики — все вместе.

И когда я туда пришла, так мне сказали:

— Примыкайте к какому-нибудь крылу. Вы кто будете?

Тут некоторые ребята из профсоюза мне говорят:

— Поскольку мы тебя, Аннушка, знаем, ты наиболее пригодишься в партии большевиков — примыкай к этому крылу.

И я так и сделала.

15. Октябрьские дни

И вот осенью у нас в Киеве начались выборы на съезд, который должен был состояться в Петрограде.

И меня как активную работницу выбрали на этот съезд. И с киевской делегацией я выехала в Петроград.

Я была этим очень горда. И больше, как об этом съезде, ничего не хотела знать.

Мне перед отъездом из Киева Боровский сделал предложение, но я ему отказала. Он хотел, чтоб я была его женой, он влюбился в меня.

Но мне было не до этого.

И в довершение всего он мне не особенно нравился. Так что я со спокойной совестью уехала. А он, я не знаю, куда делся. И больше я его никогда не встречала.

В Петрограде нашу делегацию поместили в здании юнкерской школы. Мы приехали в самые решительные дни. Это было дня за два до начала съезда.

Это были горячие и пламенные дни, когда решалась дальнейшая судьба революции.

В те дни я слышала Ленина и близко видела многих революционеров. И я, тогда почти неграмотная и темная женщина, слушала их речи, но я, если так можно сказать, полностью не отдавала себе отчета, что вокруг меня делается.

Я сидела там, как на празднике, но я сама не понимала, какой это праздник. И мне удивительно об этом говорить.

Я кипела в котле революции, но я не сознавала полностью все значение этих событий. И это был мой минус. Да. Это меня никогда не успокаивало. Я всегда завидовала тем людям, которые сознательно вступили в борьбу. И для меня это были великие люди. Что же касается меня, то я должна признаться — я жила в то время, как в тумане, многого не понимала и, главное, не отдавала себе отчета, что значит для трудящихся революция. Да, я понимала, что наступило нечто такое, за что я должна отдать свою жизнь. И все же я не сознавала, какое это великое событие в жизни народа.

И мне даже сейчас совестно признаться, что я не стояла в первых рядах с оружием в руках. Я не знала, что в этот день что-нибудь ожидается. И я, как дура и как мешанка, гуляла со своей подругой по городу в то время, как начиналась последняя борьба против буржуазии.

Мы шли с подругой по Садовой улице. И вдруг услышали выстрелы.

А мы с ней были тогда еще, ну, как сказать, обыкновенные деревенские девочки, дурехи, не бывшие на фронте под обстрелом.

И мы еще не знали, как это бывает, когда идет стрельба. И мы решили пойти посмотреть, что там делается.

Мы вышли на Невский проспект и увидели демонстрацию, которая направлялась от думы к Зимнему дворцу. Это были меньшевики. Они несли плакаты: «Вся власть временному правительству».

А наш лозунг: «Вся власть Советам». И в этом мы отлично уже разбирались.

И тогда мы с подругой стали энергично пробиваться через толпу, чтобы соединиться со своими.

Но в это время на площади снова раздались выстрелы. И нас толпа оттес-

нила назад. Тогда мы с подругой пошли на площадь с другой стороны, где ходили еще трамваи, как ни в чем не бывало. И мы дошли до самой площади, которая была, к нашему удивлению, почти пустая.

Все наши отряды были расположены на Миллионной улице и под аркой главного штаба. И мы снова хотели догнать своих.

Но тут началась такая сильная ружейная перестрелка, что впереди нас идущие люди, за которыми мы шли, бросились бежать, и нас снова отбросили назад.

Тут подруга моя упала и подвинула себе ногу. Мне пришлось взять ее под руку и идти домой.

Мы всю дорогу слышали выстрелы, которые все больше усиливались. И мы страшно досадовали, что нам не пришлось принять участие в последних боях.

В тот же вечер мы были на съезде и узнали, что Зимний дворец был взят.

16. Снова Киев

На другой день к нам в общежитие явился Розенблюм, приехавший с нашей делегацией. Он был сильно взволнован. Он сказал, что нам следует немедленно ехать в Киев, так как ожидают события и захват власти большевиками. И что наше дело быть сейчас там.

И в тот же день мы уехали.

Уже на вокзале в Киеве мы узнали, что в городе идет бой—большевики заняли несколько кварталов и продвигаются на Подол.

Розенблюм нам сказал:

— Хотя меня дома ожидают жена и сын, и мое сердце так к ним рвется, как я даже не представлял себе этого, тем не менее нам надо, не заходя домой, вступить в ряды бойцов. Кто хочет сражаться за большевизм и против временного правительства, идемте.

И мы, оставив на вокзале наши вещи, пошли на Подол.

Действительно, там уже начинался жаркий бой. Юнкера, офицеры и часть гражданского населения встретили бешеным огнем киевский пролетариат.

Это сражение, как известно, решило дело в пользу украинской рады, против временного правительства. Киевский пролетариат занял весь город, но советская власть была утверждена в Киеве только в январе, и то ненадолго, потому что тогда Киев заняли немецкие войска.

Итак, мы вступили в бой прямо с вокзала. Я тогда не стреляла, потому что я никогда не держала винтовку в руках. Но я помогала наступающим, подносила патроны и бинтовала раненых.

А когда кончился бой и весь город был в наших руках, Розенблюм мне сказал:

— Теперь ты выдержала такое большое испытание, что тебе надо вступить в ряды партии.

И вот он написал записку и послал меня в партийный комитет. Там за столом сидела женщина и заполняла партийные билеты. А к ней была порядочная очередь из рабочих, матросов и приехавших с фронта солдат.

Я встала в очередь и вскоре получила красную книжечку.

И с тех пор я стала партийной.

А тогда было для Киева исключительно трудное время.

Немецкие войска, гетман Скоропадский, Петлюра и Деникин вступали в Киев и устанавливали там свою власть.

И нам, большевикам, нельзя было сидеть сложа руки.

Только, может быть, месяца два или три до прихода немцев я жила сравнительно спокойно, не участвуя в походах и боях.

Тогда был даже такой период в моей жизни, что я сошлась с одним человеком, и мы с ним поженились.

17. В походе

Дело в том, что я там была знакома с одним революционером, студентом.

Его звали Аркадий Томилин. Он был сын чиновника, но он был всецело на стороне пролетариата, когда мы сражались в Киеве. Я к нему питала большое уважение. И он был тоже в меня влюблен. И у нас, вообще говоря, возникло большое чувство друг к другу.

Он не был в партии, но он весь горел, когда дело шло об интересах народа. Он ненавидел дворянство и купечество. И говорил, что каждый честный человек должен биться только за трудящихся. Он говорил, что сейчас наступил такой момент, когда народ может наконец сбросить со своих плеч всех эксплуататоров с тем, чтобы работать в дальнейшем для себя, а не для кучки паразитов. А как это будет в дальнейшем называться — коммунизм или как-нибудь иначе, — это его пока не интересует. Там, в дальнейшем, разберутся и сделают именно так, как это будет полезно для трудящегося народа. А пока мы должны биться за эту ближайшую цель, хотя бы это нам стоило жизни.

Он был очень пламенный и честный человек. Он был студент-политехник. Но он курса не закончил. И мы с ним вместе вступили в партизанский отряд, когда Киев был под властью немцев и Скоропадского. А когда немцы оставили Киев (после революции в Германии), мы вступили с ним в ряды Красной гвардии. И мы с ним вместе находились в Пластуновской дивизии на черниговском фронте.

Я была там в качестве разведчицы, а он состоял в пулеметном отряде.

Но в бою под Черниговом, когда мы брали город, он был убит белогвардейской пулей.

Я привыкла терять людей, и у меня всю жизнь были большие потери, но тут я не знаю, как я была ошеломлена. Я была растеряна и потрясена, и я так плакала, как никогда этого со мной не было и никогда, наверно, не будет в дальнейшем.

Я в то время прямо потерялась от горя, так я его любила.

А мне товарищи сказали
— Ты, Анюта Касьянова, поклянись над его трупом отомстить за эту смерть и исполнить то, что ты наметила. И тогда тебе будет много легче, чем сейчас.

И я так и сделала.

И верно, мне тогда стало легче. Я дала себе торжественное обещание не выпускать винтовки из рук, пока не исполнятся все наши надежды.

И я тогда как с ума сошла от своего обещания. Я все время была в первых рядах сражавшихся. Я шла напролом, куда угодно. Для меня ничего не составляло тогда зайти в тыл и бросить бомбу в какой-нибудь ихний штаб. Я тогда была удивительно смелая и решительная.

За тот период я дважды получала награды от штаба армии. Первый раз мне подарили именную браунинг, а второй раз мне подарили золотые часы. Что касается боевого Красного знамени, то я получила его в дальнейшем.

Но тут в эти два года были такие дела, что об этом следует написать отдельную книжку из эпизодов боевой жизни.

Тут были такие боевые дела, которые, без сомнения, будут описаны историей гражданской войны.

Тут были победы и поражения. Были и очень тяжелые моменты, когда почти вся Украина была в руках белых и когда на Петроград наступал Юденич.

Тогда, бывало, зайдешь в штаб, чтоб посмотреть на сводки, и сердце упадет от тоски. Но зато потом мы в один месяц докатили белую армию до Крыма.

И когда мы гнали эту дворянскую Россию аж к самому Перекопу, мне тогда на ум приходили слова ротмистра Цветаева. Как он тогда сказал, что, кажется, приходит час расплаты и час возмездия за все то, что было. И это было действительно так.

Но в то время я еще не знала, где находится ротмистр Глеб Цветаев и

где его друг Бунаков и наша баронесса Нина Викторовна со своим генералом.

Я о них узнала только потом, когда встретилась с ними в Крыму, в Ялте. Это было перед самым их бегством за границу.

И это был незабываемый момент.

18. Поездка в Житомир

В общем, когда наши взяли Житомир и стали энергично продвигаться дальше, отбрасывая белую армию к Крыму, случилось обстоятельство, которое неожиданно выбросило меня из строя на несколько месяцев. И я из-за этого чуть не умерла.

Это случилось таким образом. Мне начальник нашей дивизии приказал сопровождать эшелон с больными. Он меня назначил комендантом эшелона.

Мне дали это назначение, чтобы я имела некоторый отдых от боевой жизни. Все мои товарищи видели, что я прямо горела на фронте и совершенно не считалась с опасностями. И, кроме того, я еще не остыла от горя, что потеряла мужа.

И вот решено было переключить мое внимание.

Начальник дивизии мне сказал:

— У нас создается сейчас опасное положение на транспорте. Нужно во что бы то ни стало продвинуть поезда с больными и ранеными внутрь. Мы тебе, Анюта Касьянова, поручаем доставить 5 эшелонов в Житомир. И назначаем тебя над ними старшим комендантом. И ты помни, что это дело чрезвычайно важное и почетное — везти раненых.

В трех эшелонах были, действительно, раненые, в двух же эшелонах оказались сыпнотифозные больные. И начальник дивизии сам, наверное, не знал, что мне подсудобили эти эшелоны.

Через несколько дней я уже вполне оценила всю трудность этой задачи

Это у меня было совершенно невероятное путешествие. Санитары все к чорту переболели. Уборщицы — и говорить нечего. У нас даже захворали сыпняком все тормозные кондуктора, так что раненые сами тормозили состав. Поездка этим очень осложнилась. Главное, что ухода за ранеными почти не было. И мне самой на спине пришлось таскать раненых и разгружать теплушки от умерших людей.

Вдобавок, чтоб продвигаться вперед, надо было всякий раз добиваться паровозов и путевок.

Тут я поняла, что в боевой обстановке мне было гораздо приятнее, чем здесь. И тут нажила себе невроз сердца, и у меня даже началась бессонница.

А одного начальника станции я просто даже чуть не застрелила.

Я пришла к нему в кабинет, а он не дает паровоза. А мы тут уже стоим день. И тут у меня в эшелонах особенно много умирают. И я чувствую, что мне надо двигаться.

Я ему показываю специальный мандат, но он небрежно откидывает его рукой.

Тогда я, так сказать, хочу его взять на темперамент и выхватываю наган.

Я говорю:

— А ну скажи теперь, будет ли мне паровоз?

Но он, не растерявшись, хладнокровно говорит:

— Глядите, она мне еще смеет угрожать. А ну-ка, спрячь свой пистолет за пазуху, или мы тебя с дежурным по станции выкинем в окно. Каждая, говорит, бабенка начнет мне пистолет в морду совать — что и будет. Вот именно за это я тебя и проучу и не дам тебе паровоза.

Тогда я прихожу в такое страшное раздражение, что чуть ли не стреляю в начальника станции.

Я кричу:

— Я вас всех тут к свиньям перестреляю.

Тут все забегали, засуетились.

Дежурный по станции говорит:

— Успокойтесь. Паровоз я вам дам во что бы то ни стало.

И, действительно, минут через двадцать мне дают паровоз.

И начальник станции тоже вышел к прицепке. Но он не смотрел в мою сторону. И мне от этого было вдвойне совестно, что я так сильно погорячилась.

Я тогда перед самой отправкой велела ему отнести полбуханки хлеба. И он, поломавшись, принял этот хлеб с благодарностью и даже сделал мне ручкой.

В общем, я предпочла бы находиться на фронте, чем проталкивать поезда. Однако мне надо было исполнить задачу.

И я эту задачу выполнила.

Правда, в пути у меня четверть людского состава перемерли, но могло быть и хуже.

Так или иначе, я доставила эшелоны в Житомир.

В Житомире я пошла в баню. Вымылась. Вышла на улицу. И на улице упала в обморок. И тут начался со мной страшный бред.

Меня отнесли в больницу. И оказалось, что у меня сыпной тиф в крайне опасной форме. Я вскакивала с кровати, разбивала к чорту все стекла и так далее.

Я почти полтора месяца болела. Но потом поправилась. То-есть я настолько поправилась, что еле могла два шага сделать.

А в 70 километрах от Житомира жил дядя моей знакомой киевлянки Лели, с которой я тут неожиданно столкнулась в больнице.

И она мне предложила вместе с ней поехать в деревню к этому дяде отдохнуть немножко. И я так и сделала.

Мне в штабе дали отсрочку, дали немного денег, и я вместе с Лелей поехала в деревню, к ее дяде, который довольно мило и сердечно нас встретил.

И я там у него за две с половиной недели удивительно быстро поправилась, подкрепилась, расцвела и снова решила вступить в дело, так как гражданская война еще не была закончена.

19. Опасное назначение

Я тогда снова приехала в Житомир, но там мне в штабе сказали, что обо мне был запрос из Екатеринослава. И что я должна немедленно туда ехать, согласно полученной телефонограмме.

Я приехала в Екатеринослав и явилась в партийную организацию.

Один из работников губкома, мой однофамилец Касьянов, Петр Федорович, очень внимательно меня встретил. Он сказал, что у них до меня есть большое дело. Тут он познакомил меня с двумя военными, прибывшими с фронта из-под Перекопа. И сказал, что сейчас совершается исторический момент в судьбе пролетарского движения. Он сказал, что сейчас советская Россия почти чиста от дворянских и буржуазных войск. Вся страна в руках народа, и расцвет страны — недалекое будущее. Но Крым пока еще в руках врагов, в руках генерала Врангеля, в руках офицеров, дворян и помещиков. И пока это так, ни в коем случае нельзя складывать оружие.

— Этот фронт, — сказал один из военных, — надо ликвидировать к зиме во что бы то ни стало. Крым сейчас у нас бельмо на глазу. Мы гнали барскую Россию аж по всему фронту. И не дело, что у нас тут случилось нечто вроде заминки. Пора опрокинуть в море белую армию, засевшую на полуострове.

Тогда Касьянов добавляет:

— И, в связи с этим, у нас есть очень ответственное до тебя дело. Нам известно твое славное прошлое, и нам хорошо известна твоя боевая готовность и преданность народной революции. Генерал Кутепов зверски разгромил рабочую организацию Симферополя и многих повесил на фонарях. И мы

в настоящий момент потеряли связь с нашей подпольной организацией в Симферополе и Ялте. Туда надо каким-нибудь образом пробраться. Надо товарищам передать деньги и сообщить кое-какие инструкции о дальнейшем... Можешь ли ты это сделать? Мы наметили тебя и никого больше, потому что сейчас в Крым можно пробраться только через линию фронта. А ты можешь, в крайнем случае, назваться супругой офицера или что-нибудь вроде этого. Одним словом, тут мужчина не годится, а годится женщина...

И он поглядел на меня и одобрительно добавил:

— Такой наружности, как твоя. И такой храбрости, какая нам известна за тобой.

Для меня был не вопрос, соглашаться или нет. И я сразу ответила:

— Хорошо, я перейду к белым и все сделаю так, как нужно.

Он сказал:

— Но мы не знаем, как они отнесутся к тебе, если они тебя поймут. Вернее, тогда они...

Тут он еще раз вскинул на меня свои глаза, и я вдруг увидела, что он вздрогнул. Он как бы в первый раз на меня посмотрел. И я вижу, что он посмотрел так неравнодушно и с таким глубоким волнением, что я смутилась.

И тут я вижу, как может видеть женщина, что я так ему понравилась, как это редко случается. Тут я увидела, что у него в одно мгновение сгорело от меня сердце. Он положил свою пылающую ладонь на мою руку и так от этого застыдилась, что не знал, что сказать. И тут все присутствующие увидели, что происходит что-то не то. И все закашлялись. И он тоже закашлялся, встал со стула и прошелся по комнате.

И мы все ждали, что он скажет. И я подумала: «Только бы он не сморозил какую-нибудь несообразность».

Но он сказал:

— А если твое здоровье, товарищ Анна Касьянова, не в порядке, то тебе

ни в коем случае на это не надо идти. Мы тогда найдем еще кого-нибудь на этот предмет.

Я сказала:

— Здоровье мое теперь вполне порядочно. И то, что сказано, я исполню с большой охотой и радостью.

Один из военных сказал:

— Давайте тогда так условимся: мы доставим вас завтра на передовые позиции, изучим там с вами план и потом уж можно будет перейти.

Касьянов пошел проводить меня до лестницы, и там он мне сказал:

— Когда ты вернешься из Крыма, то, если можно, я бы хотел тебя увидеть... Я, говорит, смущаюсь об этом говорить, но ты перед собой видишь человека, который, кажется, полюбил тебя с первого мгновенья. Я сам удивляюсь, что это так произошло. Но ты именно такая женщина, какая отвечает моим представлениям. И для меня, говорит, было бы большое и непоправимое огорчение в жизни, если б я тебя потерял из виду.

Если говорить откровенно, то я была взволнована его словами. Я не могу сказать, что он, этот сорокалетний мужчина, мне тогда понравился, но я, тем не менее, сама не знаю почему, согласилась с ним увидеться после возвращения. Хотя это было не в моем принципе — вести такие разговоры и заключать условия.

В общем, мы с ним попрощались и дали друг другу обещание не забывать сегодняшнего дня.

20. Ночной переход

В тот же вечер мне дали пояс с деньгами, которые я должна была передать подпольной симферопольской организации. Потом мне дали точные инструкции и велели наизусть запомнить два адреса — в Ялте и в Симферополе. По этим адресам я должна была явиться и передать инструкции и распоряжения о возможных стычках в Крыму.

Затем я потребовала, чтоб мне выдали самое лучшее шелковое белье, хорошее платье, все, что полагается к наилучшему гардеробу. Мне хотелось быть подкованной до мелочей. И на случай ареста я решила выдать себя за женщину, бежавшую из советской России. Я решила сказать, что я жена офицера или что-нибудь вроде этого.

Мне выдали из конфискованного имущества такие дивные вещи, какие я только видела у баронессы Нины Викторовны.

Кроме того, мне дали для дворянского шика одно кольцо с розовым камешком и одну браслетку.

Но когда я стала эти украшения надевать на свои руки, загорбелые от кухни, то я поняла, что версия об офицерской жене, пожалуй, мне не пригодится.

Но я пока не стала обдумывать, за кого я себя выдам. Я почему-то надеялась на полный успех. Я надеялась, что я, пользуясь своим опытом разведчицы, проникну без ареста на территорию белых.

Я вызубрила эти два адреса. Надела пояс таким образом, что в случае чего я могла его в один момент сбросить.

Я еще хотела непременно надеть лорнетку с цепочкой, как это бывало у высшей аристократии, но лорнетку мне не нашли, и мне вместо этого дали хорошенький перламутровый бинокль, тоже дивной художественной работы.

На другой день меня доставили на позиции к самому Перекопскому перешейку.

Сначала я решила было переходить в районе железнодорожного моста, но начальник дивизии, товарищ Грязнов, посоветовал мне это делать. Он сказал, что вся линия полотна особенно тщательно проверяется и что надо поискать иных ходов, потому что тут нет ни одного шанса пройти незамеченной.

И тогда, изучив план всего фронта, мы решили, что следует перейти в другом месте, около укреплений, которые,

кажется, если я не забываю и не путаю, называются Юшуньскими.

Это место было до удивительности открытое. То-есть, тут было почти все сплошное ровное место вроде степи. Так что в смысле перехода тут казалось до поразительности трудно было что-нибудь сделать. Однако, тут имелось болото. И местами оно было как бы даже скрытое от глаз. И я, как разведчица, сразу оценила это обстоятельство. Тут, видимо, и охраны было наименьше всего, и переход был отчасти возможен. Во всяком случае, все другие места не выдерживали критики в сравнении с этим.

Еще была возможность перейти по самому берегу Сивашского Гнилого моря. Но там меня менее устраивало, потому что там надо было около двух километров шлепать по соленой воде.

Так что я со спокойной душой решила остановиться именно на выбранном болотистом месте.

Я два дня изучала планы неприятельских позиций. Вся моя задача заключалась в том, чтобы под покровом ночи постараться незаметно пройти через неприятельскую укрепленную линию. Для этого мне надо было перерезать проводочные заграждения и пройти в том болотистом месте, которое наименьше всего охранялось. И если бы я в том месте попала, тогда мне пришлось бы начать свое вранье о бегстве от советского режима. Но это было бы уже плохо, так как только дурак поверил бы, что я для этой цели могла пройти через расположение красных. Тем не менее, иного выхода для перехода к белым не было.

А если бы мне удалось пройти в тыл незамеченной, то дальше было бы просто — у меня в поясе были такие документы, что сам барон Врангель ахнул бы от удивления.

Я много мучилась также с костюмом. Я их переменяла несколько штук. Мне все хотелось, чтобы было естественно. Но особенно естественно не получалось. Тогда я остановилась на самом обыкновенном потрепанном платье. Но зато

под платье я надела шелковое белье. Так я была похожа на тоскующую женщину, бежавшую от советской власти.

И вот, наконец, все было готово, и в ночь на 28 сентября, в 11 часов ночи, я вышла из наших окопов.

Наш патруль провел меня шагов двести и оставил в поле с одним разведчиком, который в совершенстве знал эту всю местность.

Было ужасно темно. Луны не было. Неприятельские ракеты по временам ярко освещали поле. Сердце мое учащенно билось. Но страха не было. Наоборот, был прилив энергии и желание поскорей и наилучшим образом все сделать.

Мой разведчик тронул меня за руку, и мы с ним медленно и осторожно пошли.

Наконец мы наткнулись на проводочные заграждения. Мы с разведчиком ножницами перерезали колючую проволоку и пошли дальше. Кое-где раздавались выстрелы. И снова кверху стала взвиваться ракета.

Наконец, пройдя шагов еще сто, мой разведчик дал наставление, куда мне идти дальше, и, попрощавшись со мной, удалился.

Я осталась одна. Кругом меня было болото. Я шла страшно медленно и с таким трудом, что, казалось, теряла силы. Я шла по направлению звезды, указанной разведчиком.

В одном месте я лежала на кочках минут двадцать. Я так устала и утомилась, что мне вдруг захотелось тут заснуть. И я с трудом прогнала это сонное настроение и пошла дальше. Но тут вскоре я увидела, что ракеты взвиваются к небу позади меня. Значит, я миновала уже неприятельские позиции. Это был невероятный случай, но это был факт, и эта честь принадлежала нашему опытному разведчику.

21. Арест

Я шла теперь по ровному полю. Я прошла немного более версты и вдруг

наткнулась на какую-то деревянную будку.

Это было настолько неожиданно, что я чуть не вскрикнула.

Я шарахнулась в сторону. Но в этот момент кто-то закричал:

— Стой! Кто идет?

Я знала, что молчать нельзя. Я сказала:

— Вот что — я пробираюсь к белым.

Тут раздались быстрые шаги, ко мне подбежали двое.

К моему удивлению, это были офицеры. Я была готова к аресту, но я предполагала, что меня арестуют солдаты. Мне было бы с ними легче договориться. Но тут были офицеры в золотых погонах и с шашками. Это меня неприятно поразило.

В этот самый момент на небе появилась луна и стало довольно светло.

Один из офицеров схватил меня за плечо и стал трясти. Он был, видать, испуган неожиданностью и взбешен. Он закричал:

— Ты кто такая? Ты как сюда попала?

Другой офицер сказал:

— Ясно, что это красная дрянь. Больше тут некому шляться.

Я спокойно ответила:

— Пойдемте, господа, в штаб. Я там скажу.

Мне хотелось выиграть время. И я сама не знаю, на что я тогда надеялась.

Я сказала офицерам:

— Я пробираюсь, господа, в Симферополь, по своим личным делам. Я бежала от красных.

Они засмеялись и сказали:

— Что-то не похоже. Пойдем, однако, в штаб дивизии.

Но они стали уже более вежливы.

И мы с ними пошли в штаб.

Моей усталости как не бывало. Я лихорадочно обдумывала план действия. Ни о каком бегстве не могло быть и

речи. Офицеры с наганами шли плечо к плечу.

Прежде всего, мне надо было освободиться от пояса.

Пояс находился у меня под платьем, и он был так устроен, что его легко можно было сбросить.

Я незаметно провела рукой по животу. Пояс скользнул по моему шелковому белью и по ногам и мягко упал на траву.

Офицеры не заметили.

Мне стало вдруг так жалко денег и документов, что я чуть не расплакалась. Но делать было нечего. Надо было спасти шкуру для дальнейшего.

Тут я подумала, что надо бы, на случай, запомнить место, где упал пояс. Но как это, чорт возьми, сделать.

Я стала считать шаги. Мне хотелось сосчитать шаги вплоть до какого-нибудь особенно характерного места, которое я могла бы запомнить.

Я сосчитала 750 шагов, и вдруг мы вышли на полотно железной дороги. Я снова стала считать шаги. И до столба с номером 76 я сосчитала 100 шагов. После чего я стала думать о своем предстоящем вранье.

Мне вдруг вспомнился интересный факт из моего недавнего боевого прошлого.

У нас на фронте под Черниговом был задержан белый офицер, некто полковник Калугин. Он был молодой, лет тридцати. И он нас удивил своим поведением.

Он держал себя очень смело и непринужденно, когда его привели в штаб.

Его спросили, для какой цели он перешел к нам.

Мы ожидали от него услышать всякое вранье, но он так сказал:

— Да, я по убеждению белый офицер. Я скрывать от вас не буду, что я с революцией ничего общего не имею. Но в данном случае я прошу поверить моему честному слову — я перешел к вам отнюдь не по делам военным или политическим. Я питаю большую лю-

бовь к одной женщине, которая осталась при отступлении в Орле. И у меня такое к ней неудержимое чувство, что я решил повидать ее. Если вы меня отпустите с ней назад, я по-человечески вам буду исключительно благодарен и не буду с вами сражаться. Если нет, я останусь тут с ней. Если вы, конечно, помилуете меня и не расстреляете. Я знал, на что шел.

Эти речи нас всех привели в удивление, и мы не знали, что подумать.

На суде этот полковник Мингрельского полка Калугин на все вопросы отвечал с достоинством, но настаивал на своей любовной версии.

Однако суд не нашел причин для помилования и приговорил полковника к высшей мере. Причем прокурор ему сказал:

— Мы хотели бы, полковник, уважить вашу последнюю просьбу. И если вы найдете нужным, мы передадим вашей любимой женщине то, что вы захотите, — карточки, вещи и последний привет. Это делает вам честь — так любить. Но вы — наш враг, и мы не имеем права поступить сейчас иначе.

На это полковник рассмеялся и сказал:

— Неужели вы могли думать, что в такой момент, когда решается судьба России, русский офицер мог пришить к бабьей юбке? Никакой женщины нет... Это была моя выдумка, чтоб вас провести... Не удалось — не надо. Я готов умереть.

Это нас всех так удивило, что мы были ошеломлены. И мы тогда поняли, что поражение белых под Черниговом нельзя рассматривать слишком просто. Враги, несмотря на свою дряблость, имели сильных людей. И было бы политической ошибкой думать, что там был только мусор.

И вот, когда меня офицеры вели в штаб дивизии, я подумала об этом случае. И мне показалось, что было бы хорошо рассказать в штабе о какой-ни-

будь любовной истории. И если мы не поверили, то, может быть, тут поверят.

И когда я пришла к решению рассказать в штабе что-нибудь из любовных приключений, мне сразу стало на душе легко, и я уже не сомневалась в успехе.

В это время один из офицеров грубо схватил меня за плечо и велел остановиться. Мы стояли у какого-то домика. Вероятно, тут был штаб дивизии.

Было еще темно, но небо начинало немного проясняться. Вероятно, было около пяти часов утра.

22. Первый допрос

Меня почему-то не стали тут допрашивать. Меня только тут обыскали в высшей степени грубо и нечутко. Но ничего не нашли.

А после обыска я полчаса сидела на ступеньке, а против меня стоял офицер с наганом и в упор меня разглядывал. А другой офицер куда-то ушел.

Наконец, он явился и сказал:

— Генерал велел отвезти ее в Джанкой. Один из нас должен ехать. Если хотите, поручик, то поезжайте.

Мы прошли с этим поручиком несколько километров пешком и, наконец, сели в товарный состав, который и доставил нас в Джанкой.

Откровенно говоря, я была так утомлена ночной передрягой, что сразу, как камень, заснула на полу теплушки. И когда проснулась, мы стояли уже в Джанкое.

В общем, минут через десять я была уже на допросе. Меня допрашивал некто полковник Пирамидов, перед которым на-вытяжку стоял приехавший со мной офицер.

Повидимому, этот полковник был начальником контрразведки или что-нибудь вроде этого.

Узнав от офицера подробности, он отпустил его и, оставшись со мной в

комнате. любезно начал беседовать. Но его любезность меня не успокоила. Я увидела, что он даже не посмотрел на меня сколько-нибудь внимательно. И это меня отчасти устало. Это была игра без козырей. Наверно, после ночной передряги, я выглядела ужасно. Я чувствовала, какая я была грязная и растрепанная, как ведьма.

Полковник расспрашивал меня о том, о сем, и я ему на все отвечала, как находила нужным.

Я ему собиралась сказать что-нибудь правдивое, соответствующее моменту. Я хотела сказать, что я ищу офицера, которого люблю больше жизни, и благодаря эгму перешла сюда, но в последний момент, несколько растерявшись, не совсем так сказала. Я сказала, что я жена офицера, который тут, в Крыму.

Он спросил:

— А как его фамилия?

— Я отвечала:

— Он носит фамилию Бунаков, Юрий Анатольевич.

— А какой он воинской части? — спросил меня полковник. Что-то мне знакомая фамилия.

Я отвечала:

— Он поручик лейб-гвардии конной артиллерии.

Полковник Пирамидов, засмеявшись, сказал:

— Вы это хорошо изучили. Только извините меня — быть того не может, чтобы вы были его жена.

И он посмотрел на мои мужицкие руки.

Я сказала:

— Вернее, я его любовница. Он меня бросил. Но я его так люблю, что я решила его обязательно найти. Я с ним два года жила. И теперь так по нем тоскую, что места себе не нахожу.

Тут я увидела, что полковник Пирамидов мне не особенно верит. Он начал со мной шутить, задавать забавные вопросы и выпрашивать мое прошлое.

Потом он грубо сказал:

— Я тебя посажу в подвал. И ты подумай хорошенько, что именно тебе следует рассказать. А если ты, скотина, ответишь мне попрежнему враньем, то это факт, что я тебя пошлю путешествовать на небо. Мне, наконец, надоела твоя наглая ложь. Уж за одно, что ты назвалась женой гвардейского офицера, тебе следует хорошенько выспать.

Он позвал вестового. И тот отвел меня в соседний дом, и там меня бросили в подвал.

А когда меня вели к подвалу, один какой-то белобрысый офицер с огромным любопытством посмотрел на меня. И я видела, что он хотел даже подойти ко мне, но конвойный не разрешил ему это сделать. Мне было тогда не до того, и я не обратила на это внимания.

Подвал, куда меня сунули, был крошечным оконцем, в которое едва могла пройти кошка.

Я была ошеломлена и растеряна. Я понимала, что дело со мной исключительно плохо, и все, вероятно, кончится расстрелом. Я себя ругала за нетвердые и дурацкие ответы. И за то, что не могла сочинить поскладнее любовную историю. Однако надо было выпутываться. Я решила ни в коем случае не признаваться, так как тогда моя гибель была бы неизбежна. Я решила настаивать на любовной версии.

Я сидела в подвале на куче мусора и камней и обдумывала, как мне вести себя и что говорить при следующем допросе.

Вдруг я услышала музыку. Кто-то играл на баяне.

Я подошла к оконцу и увидела, что по двору гуляет сам полковник Пирамидов.

Он гулял, заложив свои барские руки за спину. Он был очень такой, что ли, задумчивый и грустный.

Позади него ходил солдат, который играл ему на баяне.

Солдат играл исключительно хорошо. Он играл русские народные песни.

Потом он заиграл такую песню, от которой я неожиданно заплакала. Я не знаю, что это за песня. Я ее раньше никогда не слышала. Она начиналась со слов:

В голове моей мозг иссыхает,
Сердце кровью моей обнлось...

И так далее, что-то в этом духе.

Это было совершенно не в моем характере — плакать. Но у меня после допроса нервы были до того расшатаны, что я разрыдалась от этой песни. Очень уж она была какая-то особенная. И солдат пел таким тонким голосом, что у меня сердце переворачивалось.

Но, поплавав, я снова взяла себя в руки. Это моя минутная слабость сыграла даже хорошую роль. Я дала себе слово не падать духом ни при каких обстоятельствах. Что из того, что я буду плакать и убиваться. Лучше я сохранию силы на предстоящую борьбу. Лучше я буду бороться до самой последней возможности. И подороже, и с пользой отдам свою жизнь, которая принадлежит не мне, а революции.

Эти мысли меня успокоили. Мне снова стало легко и просто.

Поздно вечером за мной зашел какой-то молодой офицер. Он был со мной до неприятности вежлив. Он сказал:

— Сударыня, вас приглашает полковник Пирамидов. Идемте за мной.

23. Второй допрос

Полковник Пирамидов начал со мной говорить сначала весьма любезно. Он мне предложил сесть и велел подать чашку чая.

И я начала пить чай и слушала, что полковник мне говорит. Он говорил мне о слишком ответственном моменте, когда поставлена на карту судьба всей России, и сказал, что если им придется покинуть Крым, то страна будет растерзана на части другими государствами.

Я ему хотела возразить, но сдержалась. На этом он меня поймал бы.

Когда я кончила пить чай, полковник Пирамидов ударил кулаком по столу. Он вскричал:

— Ты обманщица и негодяйка. Теперь мне совершенно ясно, что ты подслана к нам. Я непременно тебя сегодня расстреляю.

Я сказала:

— Вы, полковник, опрометчиво решаете.

— Я тебе дал чай, — закричал полковник, — с тем, чтобы тебя испытать. Это вранье, что ты была два года любовницей гвардейского офицера. Ты пила чай, как мужичка. Я велел тебе подать сахарный песок вместо рафинаду. И ты его жрала ложкой, вместо того, чтобы положить в чай. Ты никогда не сидела за одним столом с порядочным человеком. Я даже не могу допустить, чтоб штаб-ротмистр Бунаков два месяца с тобой жил. Давай прекрати это бесстыдное вранье и скажи так, как есть. Ты зачем перешла позицию?

Я была ошеломлена до последней степени, потому что выводы полковника были абсолютно неправильны. Я сахар не положила в чай не потому, что не знала этих великосветских правил. На это я достаточно насмотрелась в бытность свою у баронессы. А я не положила сахарный песок в чай, потому что я привыкла его экономить. Тогда был голод, и у нас вообще ни у кого не было привычки пить внакладку. Я ела сахар с ложечки и пила этот чай как бы в прикуску. И то, что полковник построил свои выводы на чепухе, это меня почему-то оскорбило. И я была до того этим ошеломлена, что буквально не нашлась ничего сказать.

И мое молчание меня отчасти погубило.

Полковник Пирамидов закричал:

— Я тебя спрашиваю, нахалка, зачем ты перешла позицию?

И хотя я была ошеломлена, но сказала твердо:

— Я перешла позицию, чтобы встретиться с человеком, которого я люблю больше жизни.

Полковник закричал на меня страшным голосом:

— Ты врешь, негодяйка. Твои мужицкие руки выдают тебя с головой. Ты этими грязными руками подбираешься схватить нас за горло. Ты такая некрещеная тварь, которой свет не видел... А то, что ты мне позволяешь так с собой говорить, еще раз убеждает меня в моем подозрении. Ты большевичка. На тебе даже, уверен, креста нет.

И он с такой силой рванул мое платье, что разорвал его до живота. И сам он был такой страшный, что я подумала — он меня убьет.

Но я сама почему-то была взбешена, когда он меня назвал некрещеной тварью, хотя мне это было решительно все равно, и на это было в высшей степени смешно обижаться. Но мне надо было на чем-нибудь сорвать свою злобу.

Я ему сказала:

— Меня крестили, а тебя, я вижу, в помойную яму опустили.

Он рванул меня за плечо и другой рукой со всей силы ударил меня по лицу. Кровь брызнула у меня из носа и изо рта. И я выплюнула два зуба.

В этот момент в дверь кто-то постучал.

— Нельзя, — диким голосом закричал полковник.

За дверью кто-то сказал:

— Слушай, Пирамидов. Одну минуту. Крайне важное сообщение.

Дверь открылась. И в комнату вошел офицер. И тут я увидела, что этот офицер — ротмистр Глеб Цветаев.

Он был в таком же виде, как и всегда. Он был красивый и чудно одетый, и черные усики оттеняли его лицо. Он поморщился, когда меня увидел. Но он не узнал меня. Мое лицо было разбито и в крови, платье разодрано, и вся я была грязная и выпачканная, как чорт.

Он сказал, улыбаясь:

— Фи, полковник. Ну как можно так. Что за методы.

Он вытащил из кармана батистовый носовой платок и бросил мне, чтоб я вытерла лицо. Но я не стала этого делать. Я боялась, что он меня узнает. И тогда все мое вранье о Бунакове окончательно обнаружится. Я сидела на лавке, закрыв лицо руками.

Полковник сказал:

— Это красная. И я в этом совершенно убежден... Наше положение столь напряженно и тревожно, что я, как видишь, немного понервничал.

Ротмистр Цветаев сказал:

— Ты знаешь, меня назначили начальником контрразведки в Ялту. Я сейчас еду... А что касается нашего положения, то оно много хуже, чем ты думаешь... Я сейчас от Кутепова. Тот взбешен и в ужасном виде... Как страшно все это, Пирамидов. Какой, прямо скажем, жуткий исторический момент. Мы маленькая кучка цивилизованных людей, отступаем под натиском мужицких войск... Мы пока держимся на каком-то крошечном клочке земли... Но сколько это может продолжаться...

Полковник сказал:

— Я тоже думаю, что наша судьба решена. Хорошенький момент — чорт возьми.

— Кажется, пришло возмездие, — сказал ротмистр Цветаев.

И он снова повторил фразу, которую я слышала от него: «Деды ели виноград, а у нас оскомина».

У меня вертелось на языке возразить этим брандахлыстам. Мне хотелось сказать о новой прекрасной цивилизации, которую несет трудящийся мир. Мне хотелось сказать: да, господа, пришло возмездие, пришел час расплаты за все беды, за все несчастья, которые терпел народ от своих притеснителей, от своих бар и помещиков.

И хотя я сама тогда была не слишком подкована в этих вопросах, но мне за-

хотелось им сказать, как они ошибаются в своих воззрениях.

Но я, конечно, не посмела ухудшить свое положение. Моя жизнь принадлежала не мне. А поэтому я молчала.

Хотя меня раздирали слова и я еле сдерживалась, чтоб молчать.

Ротмистр Пирамидов крикнул востового. Потом пришел какой-то офицер, которому Пирамидов шопотом отдавал длинное приказание.

Этот офицер сказал мне:

— Идемте.

И мы вышли из помещения.

24. Неожиданное избавление

Через полчаса они со мной разыграли весьма некрасивую комедию. Они разыграли сцену расстрела. Они хотели выманить от меня то, что я от них скрывала. Они подумали, что перед дулом винтовки я непременно упаду дулом и тогда им во всем покаюсь.

Они отвели меня в какой-то сад и там поставили к дереву.

И скомандовали: «Пли».

А перед этим они сказали, что помилюют, если я им признаюсь. Причем они били меня плетью и шомполом, чтоб я им все сказала. Они меня били по плечам и по спине. И я молча сносила эти удары.

Я рассчитывала, что, если я сейчас признаюсь, то тогда-то уж непременно мне будет крышка. И поэтому, когда они задавали вопросы, я снова настаивала на своем, хотя под конец я уже теряла силы и сознание. Я еле стояла от боли, негодования и страха смерти.

Они мне сказали, наведя на меня винтовки:

— А ну, произноси свое последнее слово. Уж теперь-то тебе все равно крышка.

Я им ответила:

— Свое последнее слово я вам уже сказала. Но если тем не менее вы меня теперь все же решили пристрелить, то

вы есть подлые негодяи. И это есть мое самое последнее слово, произнесенное в этом мире.

Они страшно поразились моему упорству. Я видела, как они пожимали плечами и недоумевали, и я уж не знаю, что они подумали. Они выстрелили в меня поверх головы. И я упала. Я думала, что я убита или ранена. Но оказалось, что не то и не другое. И они меня снова отвели в подвал и там бросили.

Первые два дня я, откровенно скажу, лежала почти без движения. Я не прикасалась даже к еде и только пила воду.

Но потом мне стало лучше. Я сколько возможно привела себя в порядок. И вскоре почувствовала такой прилив энергии, что мне захотелось отсюда убежать.

Я попробовала раскатать камень у подвального окошечка. Он не поддавался моим усилиям. Но я не теряла надежды.

Вдруг я увидела, что кто-то на оконце положил ветку винограда. Это меня удивило. И я подумала — неужели среди тигров нашлась мягкая душа.

Так или иначе я скушала этот виноград. И снова стала готовиться к побегу.

Но вот кто-то из офицеров подошел к подвалу и мне сказал:

— Выйдите наверх, мне надо с вами поговорить... А если вы так слабы, что не можете подняться, то я вам помогу.

Меня рассмешили эти слова. И я, забыв о своем надуманном положении, сказала:

— Мерси, я не нуждаюсь в посторонней помощи. Это ваши офицерские дамы не могут обходиться без поддержки, а я, говорю, еще чувствую себя довольно порядочно.

Однако я слишком понадеялась на свои силы. И когда я вышла из подвала и очутилась в саду, у меня так голова закружилась, что я чуть не упала. Но я не хотела перед своим врагом показать

свою слабость. Это было не в моих привычках. И, чтобы скрыть свое головокружение, я нагнулась и сорвала два кажих-то цветочка.

Офицер сказал:

— На вас приятно глядеть — какая вы здоровая, энергичная и сильная женщина. Другую совершенно подломила бы вся история, подобная вашей. А вы вышли из подвала и стали цветы собирать, как ни в чем не бывало. Эта живость меня восхищает до последней степени.

Я говорю:

— Если вы, господин офицер, решили мне тут делать комплименты, то я удивляюсь, что вы выбрали такой момент. Лично, говорю, мне не до этого.

Офицер, засмеявшись, сказал:

— Мне и эти ваши резкие слова весьма нравятся, и они находят отзыв в моем сердце. Они опять-таки показывают вашу большую моральную силу.

Тогда я с удивлением посмотрела на моего собеседника.

Я увидела перед собой офицера лет тридцати. Это был тот самый офицер, который хотел ко мне подойти, когда меня вели в подвал. Он был белобрысый и некрасивый. У него были маленькие свинячьи глаза и физиономия одутловатая и нездоровая.

Он сказал:

— Если говорить откровенно, то я наблюдал за вами все эти дни. Я не скрою от вас, вы мне понравились с первого же момента. Вы мне напомнили мою жену, которая бросила меня в Киеве... Она была вроде вас, такая же сильная и непреклонная. И я единственно уважаю в жизни — это силу и здоровье. Все остальное меня не волнует... Я сам крестьянский сын, сын полей и природы... Но что вы видите в настоящий момент перед собой? Я не могу дня прожить, чтобы не заправиться кокаином. И без этого я весь развинченный и в таком виде, что вы бы удивились... Да, я где-то пстерял свою силу,

но я продолжаю восхищаться, когда вижу у других.

Я сначала подумала, что этот человек что-то вроде провокатора и что он, наверно, подослан меня испытать. Но с каждым его новым словом я видела, что это вроде как одержимый. Не то, что бы это был ненормальный, нет, он был просто во власти своих психических представлений, занюханый кокаином и ослепленный своей идеей.

Он сказал:

— Я прошу вас, мадмуазель, не удивляться моим словам. Мне полковник Пирамидов обещал освободить вас в том случае, если вы...

И он, замаявшись, добавил:

— Если вы... в общем он освободит вас, если кто-нибудь из господ офицеров будет с вами жить... вместе... Он имеет к вам подозрение... И вот он хотел, чтоб вы были под присмотром... И если вы согласитесь, чтобы мы были вместе, то все закончится к общему благополучию.

Я была так поражена этим предложением, что даже не сразу поняла, о чем идет речь.

Он снова повторил свои слова и добавил, что никакого принуждения он не хочет. Он бы мог, конечно, поступить иначе, но он хочет настоящих и великих чувств, а не насилия.

Вероятно, в моем положении надо было на это согласиться, но я не могла. Мое сердце женщины разрывалось от чувства возмущения и досады. И я отклонила это странное предложение быть его любовницей.

Он сказал:

— Я не знаю, кто вы такая, и не хочу об этом знать. А что касается меня, то я не боевой офицер. Я благодаря ранению заведую хозяйственной частью. Я прапорщик и вот уже четвертый год нахожусь в этом чине без малейшего желания стать генералом.

Я спросила его:

— Что же, вы сами, что ли, обратились к полковнику или он вам предложил меня?

Прапорщик сказал:

— Я чувствую, что я упал в ваших глазах, мадам, но, если хотите знать правду, я просил его о вас. И он сказал: «Можете ее забирать, только чтоб она не наделала нам делов. Вы за нее ответите».

— И вы согласились?

— Да, я согласился...

Я сказала:

— А я все же не согласна. Я не продажная бабенка, которую вы, офицеры, привыкли покупать на улице. Передайте вашему полковнику, что он хам. И что пусть он поищет развлечений для своих подчиненных где-нибудь в другом месте.

Прапорщик был смущен до последней крайности. Он сказал:

— Хорошо. Я скажу полковнику, что я с вами договорился, а вы можете идти, куда хотите.

Мне показалось это фальшью и показным благородством. Но я сказала:

— А если я этим воспользуюсь?

— Хорошо. Воспользуйтесь. Только я прошу вас запомнить, где вы меня можете найти, если вы в Симферополе не найдете вашего любовника. Позвольте представиться: я прапорщик Василий Комаров — заведующий хозяйственной частью комендантского управления в Симферополе. Там вы меня можете очень легко найти.. И, вероятно, вам это придется сделать. Вы без денег, без паспорта, без квартиры... Так что я вас отпускаю с полной уверенностью, что наши пути еще сойдутся... Я верю в судьбу и знаю, что вы мне посланы вместо моей первой жены, которая меня бросила ради какого-то негодяя... Она не понимала ни меня, ни моего сердца... Итак, вы свободны. Идите.

И прапорщик Комаров сделал рукой театральный жест.

Я не знала, что мне думать. Я снова стала предполагать, что нет ли тут провокации. Но, как бы то ни было я была благодарна случаю, хотя и не могла верить в благополучный конец.

Я сказала:

— Значит, я могу вас так понять, что я свободна?

Он сказал:

— Да, вы свободны. Только, если вас спросят, вы скажите, что договорились со мной.

От радости, что я свободна, я вскочила на ноги и почувствовала такой прилив сил, как в дни самого большого счастья.

25 В Симферополе

Вскоре я привела себя в порядок, вымылась и поправила разорванный туалет. Но, когда я взглянула на себя в зеркало, я пришла в большое огорчение. Лицо было избито и в синяках. Только что мои голубые глаза попрежнему сияли. Все остальное не было в порядке. И нужно было недели две, чтобы все пришло в свою норму.

Но все же я решила идти в Симферополь.

Я попрощалась с прапорщиком Комаровым. Я с удивлением на него глядела, зачем он меня отпускает, неизвестно куда.

Я ему сказала об этом. Он, засмеявшись, ответил, что он очень рад, если я оценила его благородство. Что не все женщины так чужки и не все женщины умеют разбираться в сердце мужчины...

— Кроме того — добавил он, — я вас найду хоть из-под земли. Я уверен, что далее Симферополя вам будет не уйти без моей помощи... Ну, а если уйдете, значит не судьба и значит не вы предназначены мне заменить мою потерянную жену.

Тут я увидела, что шансы мои возросли, если он заговорил чуть ли не о женитьбе. Но все же я поспешила в Симферополь. Меня там ждали дела. И мне не к лицу было выходить замуж за своего врага, за этого белобрысого прапорщика из белой армии, ищущего,

как в бреду, возвышенных чувств в стенах контрразведки.

Я добралась до Симферополя на другой день.

Симферополь был, как осажденный город. На вокзале на фонаре висел повешенный. Всюду проходили войска и везли пушки.

Я поняла, что положение мое будет печальным, если я не найду кого-нибудь из указанных мне лиц. Но вместе с тем я чувствовала, что вряд ли тут кого-нибудь можно найти.

И когда я подошла к нужному мне дому, я там увидела кавалерийских лошадей. И в саду стояла военная палатка.

Поэтому я, конечно, сразу не рискнула туда зайти. Это был бы номер, если бы меня там захватили как явившуюся в подпольную организацию.

По всему видно было, что конспиративная квартира тут была разгромлена. Однако надо было проверить.

Я стояла на улице, недалеко от этого дома, и вдруг увидела, что идет женщина — гонит корову. Я разговорилась с ней. И как-то так вышло, что женщина предложила пожить у ней — поработать.

Мое положение было ужасно. Без денег и без ничего я могла просто пропасть.

Вдобавок, изуродованное лицо мне не позволяло идти на дальнейшее.

Я согласилась. И пошла с ней.

Оказывается, она жила через дом от нужной мне квартиры.

И вот, я стала у нее жить. Я прожила там не больше как 10 дней.

И за это время мое лицо пришло в себя, и я снова стала такая же, как и раньше.

И я подумала, что если бы прапорщик Комаров меня видел в таком со-

стоянии, он вряд ли так легко отпустил бы меня.

Кроме того, за эти 10 дней я узнала все подробности. Я узнала, что генерал Кутепов своими действиями навел прямо ужас на весь Симферополь. Тут еще недавно десятки повешенных висели на уличных фонарях. А что касается нужной мне квартиры, то там была какая-то целая история со стрельбой. И что там многие были арестованы и расстреляны.

Короче говоря, создавалось такое положение, что мне в Симферополе делать было нечего. Мне надо было пробраться в Ялту. Но как это сделать — это был большой вопрос.

Туда попасть было нелегко, а в моем положении просто невозможно, так как я не имела никакого, хотя бы даже плохонького, удостоверения личности.

Вместе с тем я чувствовала, что мне надо действовать.

Мне нужно было пробраться в Ялту и там завязать отношения. Меня послали не на курорт лечиться, а дело делать.

А между тем прошло уже три недели со дня моего перехода, и я ничего не сделала. Да еще, вдобавок, потеряла пояс с казенными деньгами.

Все это меня приводило теперь в глубочайшую меланхолию. Я буквально не знала, с чего мне начать.

26. Рука и сердце

И вот в расхлябанном состоянии я шла однажды от вокзала к своему дому.

И вдруг я неожиданно как-раз столкнулась с прапорщиком Комаровым.

Я вскрикнула от удивления и хотела бысро уйти. Но он догнал меня и схватил за руку. И я увидела, что он был, как в бреду, и занюханый кокаином.

Он сказал:

— Я проклинаю себя, мадмуазель, за то, что вас отпустил. Я извелся за эти две недели, так я вас искал. Я дни и ночи о вас думал. Это судьба, что мы встретились. Не покидайте меня.

Я сказала ему с тогдашней моей наивностью:

— Вы странно ставите вопрос. Если человек не нравится, так при чем же такие нежные слова?

Он сказал:

— Я от одиночества опять стал сильно нюхать кокаин. А у меня порок сердца, и мне абсолютно нельзя... И я знаю, что только вы, сильная и здоровая женщина, можете меня вполне спасти от ужасной гибели... И если я вас потеряю, то я пропаду, потому что тут у нас сейчас нету женщин, сколько-нибудь похожих на вас. У нас тут все сами нуждаются в поддержке... А вы такая, что когда я рядом с вами стою, то мне делается легко и весело. И ничего подобного я не испытывал с тех пор, как мы расстались с женой... Не оставляйте меня, потому что я без вас пропаду.

У меня вертелось на языке ему сказать: ну и пропадай к дьяволу, мне-то что.

Но я, конечно, этого не сказала. Я попросила у него отсрочки для решения.

Я сказала:

— Через два дня я зайду к вам и скажу, что я думаю. Но сейчас я ничего не могу сказать. У меня еще в моем сердце осталась любовь к тому человеку, которого я разыскиваю. И если за эти два дня я его не найду, тогда я на что-нибудь соглашусь.

Он ни за что не хотел меня отпустить. Но я на своем настояла. Я только согласилась с ним немного посидеть в кафе. Там мы ели фрукты, и он болтал мне всякую чушь насчет своей любви, которая у него зародилась ко мне.

Но он мне был так неприятен, что я еле сдерживалась не наговорить ему обидных слов.

Наконец я встала и пошла и не позволила ему сопровождать себя.

Я сказала на прощанье, что я сама зайду к нему в комендантское управление.

Но, между тем, прошло два дня и еще два, и я не пошла. Я решила пробраться в Ялту без его помощи.

Я уже смастерила себе особое легкомысленное платьице и достала у одной девушки красный карандаш для губ. Я устроила себе эффектную прическу. И в таком наряде, действительно, стала похожа на фею недурненькой наружности.

Своей хозяйке я сказала, что на несколько дней мне нужно съездить в Ялту. И та мне позволила. Она мной дорожила, потому что я все умела делать и даже стирала ей белье.

И вот я, пришедши, верчусь перед маленьким зеркальцем и решаю проблему, как я буду вести себя в Ялте. В это время к нам в помещение входит ни больше, ни меньше как прапорщик Комаров.

Он, оказывается, в прошлый раз пошел за мной и выследил, где я живу. И теперь, не дождавшись моего прихода, явился. Он был в очень расстроенном и нервном состоянии.

Он вдруг упал передо мной на колени и стал умолять меня, чтоб я ответила на его чувство.

И тут, в одно мгновение, я оценила общее положение. Я подумала, что если он в таком размягченном состоянии, то я могу из него веревки вить и я могу очень много через него достигнуть.

Вообще-то говоря, он не был в полной мере сознательным врагом. Он был недалекий субъект. И, видимо, его просто захлестнули обстоятельства, и он механически очутился в рядах белой армии.

Так или иначе, у меня в одно мгновение созрел в голове план действий.

И, когда прапорщик Василий Комаров снова повторил свои слова о том, что без меня он чувствует большую пустоту и что без меня он занюхается как кашню и окончательно пропадет, я сказала:

— А что же вы хотите?

Он схватил меня за плечи и от неуправляемого чувства обнял меня.

Он сказал:

— Я предлагаю вам руку и сердце. И, если хотите, то мы поженимся хоть завтра.

Мы с ним опять пошли в кафе и там стали есть фрукты.

В общем, я сразу поняла, что поступила правильно. Я могла с ним что угодно сделать. У меня даже мелькнула мысль о том, что надо будет заняться розысками пояса. Но пока — Ялта.

Я ему сказала:

— Только я ставлю условие поехать в Ялту. А потом я хотела бы немного освежиться и попутешествовать по Крыму.

И он сразу согласился. Он сказал, что в Ялту он может в два счета перевестись, у него столько связей и знакомств, что это просто не вопрос. После чего мы можем поехать по всему берегу Крыма, пока он в наших руках.

Он сказал, что мы завтра повенчаемся в церкви и послезавтра переедем в Ялту.

27. В Ялте

На меня Ялта произвела исключительно сильное впечатление.

Мне там понравилось голубое море, красивые домики и набережная.

В те дни на море было большое вол-

нение, и волны разбивались так, что заливали всю улицу.

Мы остановились с Комаровым в ялтинской гостинице «Франция». Сначала он хотел, при своих средствах, остановиться в лучшей гостинице, «России», но там стояла высшая знать, и там все было занято.

В первый же день приезда я пошла по нужному адресу.

Я буквально горела, когда шла. Мне казалось, что если и тут я потерплю поражение, то мне грош цена и, значит, я не оправдала возложенных на меня надежд.

Когда я шла по набережной, я попала, какая вокруг меня была толпа.

Мне навстречу шли люди, о которых я позабыла и думать. Тут кипела жизнь иная, чем у нас.

Тут шли разного рода барыньки, которые раздражали меня своими кружевными зонтиками и невероятным кривлянием.

Шли толстоватые потомственные помещики и генералы. Целая масса была офицеров, барышень и кокоток.

Все гуляли по набережной, наслаждаясь чудным солнцем. И, казалось, никто и не помышлял о войне и не думал, что тут, у них на пороге, Красная армия.

Я миновала базар и прошла в старую часть города. И там я без труда нашла то, что мне было нужно.

Правда, мне там долго не доверяли и водили меня из ворот в ворота, но потом мы договорились.

У некоторых товарищей слезы выступили на глазах, когда они узнали, что я к ним послана. Они меня горячо расспрашивали и всем интересовались. Я передала им на словах то, что было нужно, а что касается денег, то я рассказала, в чем тут запятая. Но я обещала этот пояс непременно найти.

Они не советовали мне рисковать головой ради этого, но я уж в душе решила, что так будет.

Они мне поведали о своем трудном положении и о Кутепове, который разгромил весь рабочий Симферополь. Но мы пришли к мысли, что осталось ждать недолго. Они мне сказали, что белая армия страшно нервничает и уже не надеется на успех.

Это меня поразило и обрадовало и в своем душевном подеме я решила сделать попытку поискать мой пояс с деньгами. Хотя эта задача мне казалась бесплодной и обреченной на неудачу. С этими мыслями я вернулась к себе в гостиницу.

Комаров уже проснулся и тревожно меня ожидал. Мы с ним пошли погулять по набережной. Был чудный день, уже близкий к вечеру. Мы с Комаровым шли под-руку и тихо беседовали.

Вдруг я вздрогнула и побледнела. Комаров сказал:

— Что с тобой? На тебе лица нет...

Но я не могла ничего сказать. Нам навстречу шла Нина Викторовна, и с ней рядом, попрыгивая, шел Юрий Анатольевич Бунаков. Позади них плелся генерал Дубасов и с ним какая-то перерезая особа.

Я буквально не знала, куда деваться. Я заметалась и хотела свернуть в сторону, но Комаров меня удержал. В этот миг мы поровнялись, и они своей компанией проследовали мимо нас. Они не узнали меня. Мой прапорщик Комаров козырнул генералу, и мы пошли дальше.

Но я обернулась. В этот момент они тоже остановились у перил набережной и взглянули на море — там кувыркали дельфины.

А я посмотрела на Бунакова — меня заинтересовало, какой он сейчас. Но он был такой же, как всегда. Только он стал немного смуглей, находясь под южным солнцем.

Я подумала об его песенке «Все на свете». И тут вдруг мои мысли странным образом ему передались. Он вдруг сказал:

Все на свете, все на свете знают —
Счастья нет.
И который раз в руках сжимают
Пистолет...

И я так засмеялась, что он произнес эти стихи, что вышло прямо как-то неудобно с точки зрения ихних правил поведения. На меня все посмотрели, но я отвернулась. И они опять не узнали меня.

На другой день поздно вечером я взяла документы, оделась по-дорожному и, договорившись заранее с одним шофером, выехала в Джанкой.

По дороге ко мне несколько раз обращались патрули, но я показывала документы и говорила: «Еду к мужу». И меня беспрекословно пропускали, потому что на документе мужа стояла подпись «Врангель».

И вот я доехала на паровозе до 76-й версты. И там пошла пешком. Я отсчитала там такое количество шагов, как мне нужно было, но пояса, как ни странно, не нашла. Я несколько раз производила счет, но безрезультатно.

Это меня взбесило, потому что я была разведчица, и такие вещи были непростительны.

А начинался уже вечер, и надо было поиски отложить, тем более, что тут небезопасно было в смысле ареста.

Но, когда я решила вернуться домой, я наткнулась в траве на мой пояс. Я задела его ногой. Я, кажется, даже закричала от радости.

Я вынула из пояса деньги (белогвардейского казначейства) и переложила их в карман. А пояс бросила.

Потом я, с большим трудом, добралась до Джанкоя. И там за очень крупную сумму я наняла себе подводку арбу.

Только на другой день утром подвода привезла меня в Ялту.

28. Эвакуация

Между тем в Ялте становилось все более беспокойно. Многие на улице открыто говорили, что белой армии не удержать Крыма.

Комаров, пойдя однажды за назначением, вернулся бледный и расстроенный.

Он сказал, что предстоит эвакуация, что некоторые учреждения должны незаметно покинуть Ялту уже сегодня.

Он не знал еще, в чем дело там, на фронте, но, кажется, там дело близко к катастрофе.

И, в самом деле, в Ялту вдруг прибыло несколько пароходов, и началась посадка.

Нельзя сказать, что произошла большая паника. Многие давно были готовы к этому. И многие уже уехали, но все же в городе наступил какой-то острый, напряженный момент. Кругом были напуганные и тревожные люди. И все спешили туда и сюда.

В порту образовалась большая толпа за билетами на пароход. Но еще никто в точности не знал, что именно произошло — пал ли Перекоп, или еще белые войска держатся.

Только доходили слухи, что была страшная атака красных и был прорыв. Но, насколько это опасно, никто не знал.

На другой день в Ялту прибыло еще несколько пароходов.

И снова в порт заспешили буржуазия и офицерство с чемоданами и саквояжами.

Ехали подводы с вещами, и шли разного сорта барыни, тяжело дыша от страха и волнения.

На молу стояла невообразимая путаница. Рассыпанное сено и мусор довершали картину суматохи и бегства.

Я с большим волнением наблюдала этот отъезд.

Я ко всякому пароходу приходила в порт и смотрела, как дворянская и купеческая Россия спешно покидала берега своей бывшей родины.

Чувство оскорбленного народа кипело во мне. Я видела расстроенные и плачущие лица. Я видела страх и смятение. Но не жалость, а восторг был у меня на сердце. Потому что я своими глазами видела час расплаты и наблюдала, как уходила прежняя жизнь, унижавшая народ во всех его чувствах.

Это было неповторимое зрелище.

Это был исторический момент — бегство барской России, бегство притеснителей народа. Это был момент бегства, когда им дальше и бежать было некуда. И они садились на пароход и ехали в Турцию.

И от этого зрелища меня охватывал такой восторг, что я все время стояла с улыбкой, так что все обращали на меня внимание. Но я нарочно махала платочком и бормотала: «До свидания, милые друзья, до свидания».

Между тем на берегу происходили разные трагикомические сценки. Некоторых не пропускали на пароход с большим багажом. Те хорохорились, кричали, называли всякие светлейшие имена, но все это стоило теперь три копейки...

И разные генералы и фон-бароны смиренно подчинялись правилам и, очутившись на пароходе, облегченно вздыхали.

Некоторые из них плакали, а некоторые говорили:

— Через две недели вернемся.

А один генерал кричал:

— Они все равно нас позовут. Ведь у них, кроме мужичья, людей теперь не осталось.

Я очень хотела схватиться с этим типом, но, конечно, сдержалась. Между прочим, я непременно хотела увидеть,

как будет от'езжать моя бывшая барыня, баронесса Нина Викторовна, но почему-то этот незабываемый момент пропустила. Я увидела их только тогда, когда пароход отчалил и они стояли на палубе. Баронесса слиняла и, бледная, как покойница, стояла, опираясь на генерала. Бунаков задумчиво смотрел вдаль. Я шутиливо помахала и им платочком. И мне кажется, что они меня узнали. Юрочка показал на меня пальцем, и они стали разглядывать меня в бинокль.

Но пароход уже от'езжал. И я пошла в гостиницу.

Вдруг в Ялту пришли белые войска. Это был, как нам сказали, Изюмский полк, отступивший от перекопской позиции.

Некоторые из солдат шли без винтовок. И все были в растерзанном виде.

И тогда нам всем стало ясно, что там на фронте произошло.

Волнение достигло наивысшего напряжения. Магазины закрылись, и на набережной моментально исчезли все гуляющие.

В довершение всего прибывший Изюмский полк, не найдя в Ялте продовольствия, разбил два магазина и разграбил их.

В порт прибыло еще несколько пароходов. Чувствовалось, что какая-то рука организует бегство.

29. Эпилог

Мы ожидали, что Красная армия войдет в Ялту в тот же день. Но этого не случилось. И первые красноармейцы вошли в город только через три дня.

Это был радостный и торжественный момент. Это был день торжества народа, освободившегося от рабства.

Мне, правда, омрачили этот день тем, что на меня кто-то донес, будто я жена белогвардейца, шпионка и контрразведчица.

Конечно, это почти сразу было рассеяно, и все выяснилось. Но мне было неприятно, что я была на целые два часа арестована.

Меня привели в дом эмира бухарского, где происходил допрос арестованных, и там один из товарищей сгоряча наорал на меня, и он хотел даже пристрелить меня, как врага. И был момент, когда я ужаснулась, что погибну от своей же пули. Но потом пришел один наш ялтинский товарищ, и все сразу успокоилось.

И тогда все, узнав обо мне, приходили меня поздравлять, жали мне руки и с нежностью меня целовали и поздравляли с великой победой.

Что же касается моей дальнейшей жизни, то вкратце могу вот что сказать.

В том же году я вышла замуж за моего однофамильца, товарища Касьянова, с которым я познакомилась в Екатеринославе.

И мы с ним очень счастливо и задушевно жили вплоть до его смерти.

Мне было очень жаль потерять этого чудного человека и прекрасной души товарища. И я, кажется, сильно горевала, как и тогда, когда на фронте потеряла моего первого мужа.

Да, я, действительно, многих прекрасных людей потеряла в жизни за время революции. Но зато я нашла то, что каждый день составляет мое счастье и гордость.

И меня нередко охватывает восторг, что мой народ сумел совершить великую народную революцию и сумел создать новую жизнь, которая с каждым годом будет все лучше и прекрасней.

И вот что я нашла вместо всех моих потерь.

И какой далекой и забытой страницей кажется сейчас прошедшая жизнь.

Вот, например, четыре года назад я случайно от одного знакомого, долго жившего за границей, узнала некоторые подробности о бежавшей эмигрантке-баронессе Нине Викторовне.

Она, оказывается, в Париже открыла «ателье мод», сильно разбогатела и

стала там чем-то вроде модной портнихи.

Со своим генералом она там разошлась. И он, несмотря на дряхлость, служит метрдотелем в одном загородном кабачке.

Юрий же Анатольевич Бунаков застрелился, когда они еще были в Югославии.

Что же касается ротмистра Глеба Цветаева, то он в Париже долгое время

служил шофером, но потом женился на одной богатой семидесятилетней американке.

Заканчивая этим свой рассказ, А. Л. Касьянова сказала:

— Канула в вечность эта барская и купеческая Россия. И я была свидетельницей этой страницы истории. Вот почему я позволила себе рассказать о своей жизни несколько, может быть, больше, чем вы предполагали.

Перед закатом

Роман

С. КУПЕР

(Продолжение ¹)

Глава IX

Распродажа

1

В морском министерстве меньше всего ожидали появления генерал-адмирала. Как-никак 26 января—необычный день. У кого в родне нет Марии? Каждый только и думал, как бы скорей закончить дела, чтобы готовиться к предстоящим именинам.

А день и без того оказался хлопотливым. Управляющему министерством приспичило именно сегодня формировать морской штаб для Дальнего Востока.

В конференц-зале у стола сгрудились возбужденные, как мичмана, адмиралы. Двойной оклад, выплачиваемый на Дальнем Востоке, был большим соблазном. Но ехать к Алексееву никому не хотелось. Лучше уж мирно сидеть где-нибудь в канцелярии Балтики или в управлениях черноморского побережья. Каждый выдвигал другого, чтоб самому избавиться от назначения.

— Японцев пора проучить: Федора Васильевича надо бы, он уж там был.

Дубасов, слыша свое имя, стойко упирался:

— Стар я стал для этих дел. Да и технический комитет не бросишь...

— Рождественского или Чухнина, больше некого, — горячился худосочный адмирал с растрепанными бакенбардами. — Случись война, они будут на месте.

— Рождественский не променяет главный штаб на Дальний Восток. Да и крут. Он с Алексеевым не уживется.

— Один выход — опять жребий бросать, — сказал желчный старик, увешанный орденами. — Командующего эскадрой жребием нашли, так же и здесь придется.

— Старк — старая калоша, он подчинился. Другой плюнет и уйдет.

— Не плюнет. Уговорили же Витгефта.

Адмиралы переглянулись. Им вспомнилось, как это произошло несколько лет назад. Алексеев был назначен начальником Квантунского полуострова, никто не хотел ехать к нему; во время вот такого же спора в комнату вошел невысокий капитан 1-го ранга с открытым, приветливым лицом. Спорившие многозначительно переглянулись.

— А, Вильгельм Карлович, поздравляю, поздравляю! — радушно по-

¹ См. «Новый мир», кн. кн. 8 и 9 с. г.

Дошел к нему престарелый моряк и потряс ему руку.

Точно по сигналу, все осыпали удивленного капитана поздравлениями. Он смущенно кланялся и жал протянутые ладони, робко поднимая на каждого недоумевающий взгляд.

— Чему, собственно, я обязан честью? — отважился Витгефт наконец спросить.

— Генерал-адмирал всемилостивейше остановил на вас свой выбор. Вы назначаетесь на тихоокеанскую эскадру.

— Я—кабинетный работник, почти не плавал,—робко лепетал безвольный капитан, но хор поздравлений заглушил его голос. Он смущенно огляделся и, покорно опустив голову, вышел из комнаты.

Так был найден кандидат.

— Приступим, что ли? — хмуро сказал желчный адмирал. — Видно, Дальнему Востоку на роду написано иметь адмиралов по жребию.

— Да я и тянуть не буду, — поднимаясь, буркнул Дубасов. — Поищите хорошенько. Витгефты и Старки найдутся.

— Генерал-адмирал приехал! — провозгласил кто-то.

Зал быстро опустел.

2

Великий князь ходил по кабинету, переполненный гневом до краев, когда вошел с весьма торжественным видом начальник морского штаба, контр-адмирал Рождественский.

Генерал-адмирал повернул к нему нахмуренное лицо. Начальник штаба предупредительно протянул ему руку с пакетом.

— Письмо от вице-адмирала Макарова, — произнес он с тем оттенком тонкой иронии, которая установилась в морском министерстве по отношению к адмиралу-чудаку.

Алексей Александрович лениво взял письмо. Пробежав первые строки, он недовольно протянул:

— Да это целый меморандум. Морскому казаку, кажется, плохо спится?

— Его мучают кошмары, ваше высочество, — поспешил согласиться Рождественский, стараясь по выражению лица генерал-адмирала уловить верный тон. — Дальневосточные кошмары.

— «Пребывание судов на открытом рейде, — начал вслух великий князь, — дает неприятелю возможность обрушиться ночью на флот с большим числом миноносцев и даже паровых катеров. Результат такой атаки будет для нас очень тяжел, ибо сетевое заграждение не прикрывает всего борта и, кроме того, у многих наших судов совсем нет сетей...».

Генерал-адмирал сдержанно усмехнулся.

— Неисправим, хоть брось, — проговорил он. — Чтобы Япония... Занятно!..

— Одним словом, страшнее кошки зверя нет, — поддакнул Рождественский. — Соболаговолите читать дальше.

— «Японцы не пропустят такого бесподобного случая нанести нам вред». Хм, еще подчеркивает, а? «Я даже думаю, что надежда ослабить наш флот ночными атаками была одной из причин объявления войны...». Постойте, постойте, это же бред! Какое объявление войны? — Генерал-адмирал беспокойно заворочался в кресле. — Я сегодня поздно встал... не случилось ли чего?

— Пустое, ваше высочество, — успокоительно кивнул Рождественский, — адмиралу Макарову угодно рассматривать перерыв дипломатических сношений как начало войны. Он полагает, что они осмелятся... и начнут без предупреждения..

Генерал-адмирал презрительно скользнул по бумаге.

— «Будь у нас в Порт-Артуре большой внутренний рейд, из которого эскадра может выходить во всякую минуту, японцы не так легко решились бы на объявление войны. Если мы не поставим флот теперь же во внутренний бассейн, мы принуждены будем это сделать после первой ночной атаки, заплатив дорого за ошибку!..».

— Форменный психопат, — прервал великий князь, снисходительно пожимая плечами. — Бросьте это в камин. Хотя постоите. Я позабавлю этим императора.

Оставшись один, генерал-адмирал мечтательно зажмурился.

«Дела!.. Представляю, какой переполох на бирже. Манчжурские падают, корейские обесценены... Содом! А что если попробовать... Проклятый век! Куда ни повернись, нужны деньги, деньги и деньги. Кто догадается использовать эту панику, чтобы сыграть на понижение...».

Он приоткрыл глаза и снова зажмурился. На лбу и висках проступили извилистые жилки.

«Такой случай вряд ли повторится. Казенные суммы можно было бы вернуть, а барыш тут — верный миллион...».

Он вытер со лба мелкие капельки пота и раскрыл лежавшую перед ним папку.

3

Рождественский прошел к себе в кабинет, снисходительно раскланиваясь по дороге с почтительно расступавшимися перед ним моряками.

В кабинете пахло свеженатертым паркетом. Рождественский поморщился и, открыв форточку, остановился у окна. Наконец-то он взял реванш. В турецкую войну его заслонила всякие ловкачи. Еще два года назад он был малоизвестным, рядовым служакой. Сейчас этот беспокойный Макаров, в сущности, единственный опасный соперник. Хорошо, что он сам делает себя посмешищем.

Лицемер, рядится в чудака, под Суворова.

Какой прыжок, какой головокружительный прыжок! В памяти встало последнее свидание императоров. Он долго и расчетливо готовился к этому событию. Интуицией, никогда не оставляющей честолюбцев, он чувствовал, что такой случай больше не подвернется. Команды изнемогали от напряжения, орудия не успевали за короткие перерывы остывать. Он сам измотался до нервных судорог. Зато к императорскому смотру его учебно-артиллерийский отряд пришел в Ревель, уверенный в себе... Сам Вильгельм был поражен меткостью его огня. Корабли стреляли на полном ходу между трубами друг друга — и ни одного промаха. Кто-то назвал эту стрельбу «артиллерийским балетом» — и это не так уж глупо сказано.

Рождественский лукаво улыбнулся. Все могло легко провалиться. Этот хитрец Вильгельм очень кисло похвалил его и предложил попытать счастья на больших дистанциях. Все растерялись. Поговаривали и раньше, что немецкий флот практикуется на чрезмерных расстояниях, но в Балтийской эскадре это не поощрялось, считалось пустой тратой снарядов, ненужным щегольством. Бой никогда не велся на таких дистанциях, и практического значения это не имело. Какой переполох поднялся среди офицеров и в свите! Но на императорской яхте взвился сигнал. Комендоры доотказа вздернули морды орудий и выпустили по снаряду. Дула смотрели вверх, и можно было думать, что отряд делит в небо. И вдруг остров Карлос, на котором стояли мишени, покрывлся густой пылью. Один за другим щиты взлетали в воздух, разрываясь на мелкие щепки.

Это была опасная игра. Что, если б кто пронюхал, что под щитами заложены фугасы и проводники выведены в надежное место, где верный человек должен в случае непопадания снаряда замкнуть ток? Кто спас его, если не судьба? Можно ли было вообразить, что Вильгельму захочется осрамить таким

образом русский флот? Предосторожность, принятая, чтоб исправить случайный перелет, спасла честь эскадры и сделала его, Рождественского, флигель-адъютантом его величества и начальником морского штаба...

Прервав приятные воспоминания, Рождественский позвонил адъютанту:

— Сегодня просителей не принимать.

4

Темнолицый человек в осеннем пальто тихо бродил вдоль одетой камнем реки. Он равнодушно прошел мимо сфинксов и спустился на лед у первой линии, где летом перекидывался понтонный мост через Неву. Рассеянно поднялся по мосткам. Очутившись у адмиралтейской иглы, нерешительно остановился.

Он стал робко подниматься по лестнице. Его ноги точно прилипали к плюшевой дорожке, он замедлял шаг с каждой новой ступенькой. Его обгоняли капитаны, адмиралы, и он не раз делал движение, чтобы повернуть обратно, но преодолевал нерешительность.

— Я просил аудиенции... амиранто Рождественско... — почти заикаясь, обратился он к одному из мелькавших в приемной адъютантов. — Он был начальник артиллерийский отряд, я давал проект новый снаряд...

Адъютант высокомерно оглядел плохо одетого иностранца, коверкающего русский язык, и равнодушно отвернулся:

— Его превосходительство сегодня не принимает просителей, тем более с претензиями к учебно-артиллерийскому отряду.

— Больше один год нет ответ...

Адъютант сделал нетерпеливый жест и бесцеремонно перешел к другому посетителю. Темнолицый человек покорно спустился с лестницы и вышел на набережную.

— Бестолковая страна! Придется объясниться с Корсаковым. Не могу же

я пользоваться его гостеприимством без конца...

Он углубился в ровные линии Васильевского острова, выстроившиеся, как солдаты на параде. Морской завод предупредительно раскрыл ему проходную калитку. Сторожа привыкли к этому тихому иностранцу, поселившемуся у их начальника.

Испанец, войдя в дом, прилег на диван. После каждой встречи с представителями министерства он ощущал какую-то расслабленность. Его энергичная натура угасала от вынужденного безделья. Закрыв глаза, он постарался отогнать от себя тяжелые мысли.

5

Когда Корсаков вечером пришел домой, он застал своего гостя крайне взвинченным.

— Угадайте, кто ко мне пожаловал?

Корсаков пожал плечами. Испанец взволнованно проговорил:

— Здесь был тот японец, который и на Дальнем Востоке пытался заполучить мое изобретение.

Корсаков уронил папиросу.

— Здесь? Как он сюда попал? — заикаясь от волнения, проговорил он.

— Их миссии разрешено ознакомиться с судостроительными заводами. Они и использовали посещение Морского, чтоб возобновить свои попытки. Эти шельмецы отлично информированы о моих неудачах здесь.

Ксаверий Антипович взволнованно заходил по кабинету.

— Проникли в дом! Что ж это творится? Разрешили посетить завод! Непостижимо! Поистине, когда боги кого не влюбят, они лишают его разума.

Он растерянно остановился перед изобретателем.

— А этот, этот... — он проглотил слово «прохвост», — этот новоиспеченный адмирал вас не принял?

— Подозреваю, что он затерял мой проект.

Натыкаясь на мебель, Корсаков нервно прошелся по комнате.

— Хорошо, — внезапно резюмировал он свои мысли. — Завтра я повезу вас к своему лучшему другу.

Испанец сделал вялое движение.

— Это — адмирал Макаров...

На лице испанца выразилось почти-тельное изумление:

— О, это великий человек! У нас все молодое поколение моряков воспитывается на его «Тактике».

— А у нас министерство до сих пор не может ее издать. Он — черная кость, как вы, как я, как все настоящие люди молодого века... Его ожесточили и сделали нелюдимым и нетерпимым. Его суют куда угодно, только не по прямому назначению. Чтоб держать его подальше от флота, его сделали начальником артиллерийского управления. Он-то поможет наверняка, если только сможет.

— Значит, завтра в артиллерийское управление?..

— Нет. Теперь его загнали в Кронштадт. Он — командир порта, — почетное, но ничего не значащее назначение... Знаете что? Сперва я съезжу сам.

6

Макаров сидел в своем кабинете у жарко горевшего камина, просматривая личный архив. В руки попал прошлогодний номер «Кронштадтского вестника». Адмирал развернул его, неприязненно морщась. Этот бесцветный листок министерства был благонамерен и скучен, как само адмиралтейство.

«Сегодня, — сообщалось в заметке, обведенной красным карандашом, — броненосец «Ослябя» ходил в море на официальную пробу машин. За поздним временем подробности не попали в этот номер. Впрочем особого интереса эти сведения не имеют, ибо машины

броненосца спроектированы десять лет тому назад и являются уже устаревшими».

Адмирал отбросил газету в сторону. Ни редактор, ни цензор штаба не заметили, сколько убийственной иронии, нет, сколько трагизма в этих строках. Создаются мертворожденные корабли. Строят так долго, что броненосец стареет раньше, чем вступает в строй.

Макаров взял ножницы и вырезал статью.

«Броненосец! Будто вся Европа не знает, что строился он как крейсер. Какой-то шельмец назвал его гермафродитом. Метко: для крейсера тихоходен, для броненосца жидок. И наглецы винят за этого уroda меня, точно я представляю себе крейсерскую войну с такими ублюдками. Зачем только построили еще однотипные «Пересвет» и «Победу»? В Артуре семь броненосцев принадлежат к четырем типам, восемь крейсеров — к шести типам, а вздумали, наконец, ввести однотипность — так выбрали урода...

Несчастный «Ослябя!» Сперва им командовал этот милейший оболтус Витгефт, глубоко штатский и береговой человек. Затем это блуждание под флагом Вирениуса. Больше года, как он вышел с отрядом в Артур и заблудился в трех соснах. Мы делаемся посмешищем для всего мира. Что ни порт, то починки. Новый броненосец, новые крейсера и 12 первоклассных миноносцев. Лучше бросить хлам в пути, но годное вести форсированным походом, чтоб поспеть во-время...».

Он отложил газету и начал вытаскивать из шкафов и ящиков груды испанной бумаги. В руки ему попала синяя, выцветшая книжка, тисненая золотом. Он встретил ее грустной улыбкой, как старого друга, и бережно стерев с нее пыль, стал задумчиво ее перелистывать.

«Круг завершен. Если я не хочу, чтоб это попало в чужие руки, пора найти ему надежное место».

Он с минуту поколебался и бросил дневник в камин.

7

Ксаверий Антипович застал Макарова в крайне угнетенном состоянии. Он угрюмо бегал по своему кабинету, отшвыривая ногой разбросанные по полу мелкоисписанные листки. Корсаков пожалел, что приехал. Было тяжело смотреть на этого большого, сильного человека, мечущегося по комнате, как пойманная белка.

— Вы, кажется, занялись военным судостроением? — спросил Корсаков, просматривая поднятый листок.

Макаров махнул рукой. Он остановился около своего гостя, тяжело дыша:

— Угадайте, кто прибыл сюда?

Ксаверий Антипович развел руками.

— С Дальнего Востока пришли броненосцы «Наварин», «Сысой», «Николай» да крейсера «Адмирал Нахимов», «Дмитрий Донской» и «Владимир Мономах».

— Пришли в Кронштадт теперь? — растерянно спросил Корсаков, чувствуя, как ему передается волнение адмирала.

— Восемь броненосных судов, целая эскадра, — повторил Макаров. — Вы что-нибудь понимаете во всем этом?

Корсаков молчал. Макаров прислонился к столу:

— Сейчас надо гнать на Дальний Восток все, что у нас есть, а эти... — Макаров крепко ругнулся, — прислали целую эскадру в очередной ремонт, измотав ее за такой переход. Поговаривают, что министр распорядился так в пику Алексееву.

Он задохнулся, глотнул воздух и несколько тише продолжал:

— Этим кораблям здесь грош цена. Второго такого перехода они теперь и не выдержат. Вирениус с новыми кораблями и то никак не доползет.

— Но если они так плохи, какой же в них толк там? — проговорил Корсаков.

— Ксаверий Антипович, вам-то грек так говорить! Вы, правда, человек не военный, но состав японского флота знаете отлично. Нового у них тоже не так много. Там на месте, близко от своей базы, всякое суденышко нам впрок. «Наварин» или «Николай» не устоят против «Миказы». А с «Чиниеном» или с какой-нибудь «Шикишимой» они справятся за милую душу. У японцев вся третья эскадра из старых судов.

Он полез в стол и, вынув коробку с сигарами, поставил их перед гостем и задымил сам, как миноносец.

— Десять лет назад я командовал эскадрой в Средиземном море. И как это нам пригодилось, когда пришлось обуздывать Японию! Рукой подать! Теперь, когда наша идея признана другими, когда Германия заводит средиземноморскую эскадру, мы свою расформировали.

Он порылся в ящике и, вытащив ворох бумаг, передал их молчаливому гостю. Корсаков быстро пробежал тщательно подобранные вести из Японии. Морской агент изо дня в день доносил о приготовлениях островитян к войне. Последние сведения говорили, что в Японии прекращены все паромные рейсы: суда стянуты для погрузки войск... Весь флот сосредоточен в Сасебо. На островах полным ходом идет всеобщая мобилизация..

— И неужели это не убедило министерство?

Макаров опять выругался и схватил новую сигару:

— Судите сами. Моряки, знающие Дальний Восток, пришли сюда. Туда пошлют новых, которые будут там, как в лесу. То же в пехоте: Квантунскую стрелковую бригаду угнали на Ялу. В Артур посылают новобранцев. Задачей японцев, конечно, было разделить врага, а мы сами вежливо послали во Владивосток не только крейсерский отряд, но и половину миноносцев. Непостижимо! Непостижимо!..

В комнату, задыхаясь, вбежал адъютант. Он был растерян, всегда безуко-

ризенные бачки растрепались и повисли, как мочалки.

— Японцы напали на нашу эскадру.

Макаров быстро обернулся и раскрыл рот, точно собираясь что-то сказать, но не сказал ничего. Корсаков тоже безмолвно глядел на вошедшего. Ад'ютант одним духом выпалил:

— Подорваны «Цесаревич», «Ретвизан» и «Паллада»...

Под высокими сводами притаилась тишина. Все стояли с поникшими головами, словно получили известие о гибели родных и близких.

Ад'ютант вышел.

— Все расчеты были на флот. Войск там совсем нет, — тихо проговорил Корсаков.

— А Сибирский путь все еще не закончен, и нет никаких шансов сконцентрировать войска, — глухо отозвался адмирал. — Эскадра стояла на внешнем рейде. Разве мог Алексеев объявить об опасности без фанфар! Надо было подождать до утра, чтоб все это произвести торжественно, с помпой, при свите и духовенстве, с пышным церемониалом...

— Что же это такое делается? — растерянно спросил Корсаков. — Где мы живем? Кто нами управляет?

— Еще чего доброго меня пошлют командовать эскадрой! — не сдерживаясь больше, воскликнул адмирал. — Макарова не послали готовить победу, но его охотно пошлют испить чашу поражения. К чортовой матери! Будь, что будет, я не поеду...

— Вы поедете, Степан Осипович, — просто сказал Корсаков. — Вы не можете не поехать.

— Нет, на эту удочку меня не поймают, — упрямо топнул адмирал. — Война уже проиграна. Вместо концентрации флот разбросан по трем морям. Вы понимаете, нет, вы тоже ничего не понимаете... У нас 25 броненосцев, мы могли бы уничтожить японцев шутя. Вы думаете, черноморский флот нельзя было перебросить туда? Не будем же мы вечно мириться с этим позорным Па-

рижским трактатом. Да с турками и договориться можно было, они в этой войне не заинтересованы. А там у нас вполне современная, сильная эскадра. Но вместо этого разбазарено и то, что было в Артуре, а теперь мы не в состоянии ничего послать: северный путь нами не исследован...

— Тем скорее вам надо вырвать из их рук флот. Надежда не потеряна...

— Какая может быть надежда! — впадая в ярость, вскричал адмирал, не слушая собеседника. — Разве можно победить с этими людьми? Вы думаете, они проникнутся величием момента и встанут грудью против врага? Они не перестанут друг против друга интриговать, воздвигать миллион препятствий на каждом шагу...

— Я вам дам орудие для победы, — торжественно проговорил Корсаков. — Я приведу к вам человека, изобретшего воздушную мину.

Макаров безнадежно махнул рукой.

— Нашли к кому приводить! Достаточно, чтоб я заинтересовался этим делом, чтоб несчастный изобретатель приобрел десятки врагов.

Он придвинулся к своему гостю и суровым шопотом продолжал:

— Мы оба плебеи, мы можем друг друга не стесняться. Я окончил штурманскую школу в Николаеве-на-Амуре, и дорога к морскому образованию была мне закрыта. Все командиры судов, где я плавал, преподаватели, офицеры хлопотали о моем производстве в гардемарины. Меня считают сильным, энергичным, негнущимся. Но как я тогда мучился! Я готов был зарезать себя и твердо решил сделать это, если только мне откажут. Три раза я бросал финку в Амур. Петербург счел, наконец, нужным ответить. Канцелярия навела справку о моем происхождении. Мне повезло. Мой отец, простой служака, был произведен в офицеры за год до моего рождения. Я был, так сказать, зачат благородным манером. Но, подумайте, какая дикость, подумайте, от чего зависит судьба человека! Если б мой отец был произведен на год позже, я утопился бы от отчаяния...

Корсаков молча протянул ему руку и направился к выходу.

8

Война для Петербурга оказалась неожиданной. Хотя Россия расходовала на подготовку войны больше всех государств мира, она оказалась неготовой к ней. На Кронштадтском рейде, как гончие, шныряли в полной боевой готовности яхта «Алмаз» да минные транспорты «Амур» и «Енисей». Не были готовы только броненосцы, без которых ни застрявший в Красном море отряд Вирениуса, ни другие суда не могли теперь рискнуть на поход к блокированному порту.

Первые телеграммы о минной атаке вызвали смех, как курьез. Но прошло несколько часов — и поднялась суматоха. Склады Артура и Владивостока пустовали, а морской путь был уже отрезан. В адмиралтействе потеряли голову. Во всеулышание протрубили, какие серьезные повреждения получили корабли, как бы оповещая, что они не скоро вступят в строй.

Не лучше чувствовало себя и военное министерство. На Дальнем Востоке квартировали всего две-три стрелковых бригады. Военный министр считал разумной лишь войну за проливы. С солдатской прямоотой он сказал императору, что конфликт с Японией обойдется в миллиард рублей золотом и в тридцать тысяч солдатских жизней, чего Корея не стоит. И он уверял себя, что авантюристам не удастся убедить царя угнать все войска в Азию, оставив западную границу обнаженной.

Война не была популярна и в народе. В руководителях патриотических манифестаций узнавали переодетых околоточных, в манифестантах — дворников и сыщиков. Манифестации больше напоминали собрания хулиганов, чем народное шествие: задирали прохожих, избивали встречных, отказывавшихся снимать шапки, под шумок громили ресто-

раны и лавки. В Москве, на Страстной площади, полиции пришлось разогнать нагайками слишком расшумевшихся «патриотов».

Начальство сочло такое буйное проявление чувств опасным. Появились приказы — приступить к «мирным занятиям». Подъем сразу угас.

9

Корсакову сообщили, что, желая воодушевить рабочих и ускорить окончание броненосцев, царь решил посетить Морской завод. Узнав об этом, разные верные люди резво забежали из цеха в цех с озабоченными физиономиями. Слишком много бед обрушилось в последние годы на завод: крен «Амура», неудачный спуск «Суворова», бунт в Артуре и наконец — эта история с «Александром»...

Броненосец «Александр» был рекордной неудачей Морского. Полтора года назад, перед самым его спуском, на заводе вспыхнула внезапная забастовка. Торопясь закончить корабли, Корсаков ввел вечерние работы. С большим трудом ему удалось уломать рабочих, чтоб они оставались ежедневно еще на несколько часов сверх положенных двенадцати, как вдруг министерство отказалось платить за эти сверхурочные часы. Возмущенные мастеровые покинули цеха, а отложить спуск «Александра» морское ведомство не разрешило: ожидался приезд императора. Спускать броненосец пришлось с неопытными штрейкбрехерами. Когда Корсаков подал знак и неумелые руки начали хлопотливо поднимать андреевский флаг, тросы запутались, и непокорный, тяжелый флагшток от чрезмерных рывков сорвался и полетел вниз, прямо на Николая. Крик ужаса застыл, не успев вырваться. Флагшток ударился о раскинутый для царя шатер и, дав рикошет, рухнул на стоявшего рядом ротмистра, сбив ему начисто голову. Прыгая на пружинившем тросе, флагшток бушевал среди телохранителей, нанося раны направо и налево. Царя спешно увез-

ли. Бледный, растерянный, с жалкой улыбкой он спешил к карете, испуганно озираясь.

Теперь, готовясь к новому приему императора, Корсаков был полон самых мрачных предчувствий. Он ходил по заводу, подозрительно оглядывая каждую водосточную трубу.

... Широко распахнулись ворота, пропуская нарядные сани царя. Корсаков заторопился им навстречу. Из корабельной вышла депутация. Старшина, держа хлеб-соль на серебряном, чеканном блюде с вышитым полотенцем, подождал, пока Николай вышел из саней, и, робко приблизившись к нему, начал, заикаясь, говорить:

— Великий государь наш, батюшка! Беспредельно обрадованные твоим посещением, мастеровые и рабочие Морского завода просят милостиво принять хлеб-соль и усердно молят всевышнего, да хранит он на благо России твою драгоценную жизнь на многие лета!

Николай, опасливо оглядываясь, снял фуражку, в которой лежала заготовленная для него ответная речь, и, устремив в нее тупой взгляд, апатично, как автомат, начал:

— Спасибо вам за вашу хлеб-соль и за высказанные чувства. Трудитесь честно, ведите себя спокойно и не давайте смущать себя дурным людям, которые такие же враги вам, как и мне.

Слова царя выбили на мраморных досках и повесили в цехах и конторах. Газеты писали: «Ваши слова прочтут родные, земляки, товарищи и порадуются за вас и за ласку возлюбленного царя и хозяина».

Но вместо этого родные, земляки и товарищи узнали, что Морской опять забастовал накануне сдачи «Александра».

10

Министры и адмиралы стекались в Петергоф. Потрясение от первых неудач уже улеглось, и вера в силу русского оружия вернулась. Везде повто-

ряли слова из приказа Куропаткина, что мир будет заключен только в Токио, и подобострастно одобряли решительность царя, подобно Александру I заявившего, что не заключит мира, пока хоть один враг попирает русскую землю.

Николай лично открыл совещание. Враг добился успеха не силой, а коварством. Без овладения морем победа невозможна. Но мощь России не ослаблена. Империя имеет балтийский флот, заканчиваются новые броненосцы, наконец, черноморская эскадра...

Министры многозначительно переглянулись. Они многословно заговорили о нерешительности союзной Франции, о нахальстве дерзкой Англии и обозленного янки. Нарушение договоров вызовет взрыв. Можно предпринять шаги, но теперь турки через проливы не пропустят.

Адмиралы хмурились. В Балтийском море оставались одни старые утюги, но они числились в списке боевых судов. Как сказать теперь, когда потребовали к отчету, что это — старые калоши, когда все время утверждалось обратное? И как сознаться, что строящиеся суда, давно ожидаемые на Дальнем Востоке, будут готовы через год?

Напряжение росло. Николай нервно пощипывал бородку — жест, хорошо известный приближенным. Он означал, что императорскую голову успели прочно начинить, а значит, теперь он вместо обычной нерешительности проявит то тихое упрямство, которое так трудно преодолеть. Старички зорко поглядывали друг на друга, стараясь уловить, не захочет ли кто выслужиться перед императором и поддержать нелепую идею, которая может привести только к гибели и еще большему сраму.

Неожиданно для всех это сделал сам начальник главного морского штаба.

Рождественский все время напряженно следил за лицами собравшихся. Он сидел, пригнувшись, как кошка, приготовившаяся к прыжку, переводя взгляд

с одного на другого. Чем больше высказывались против посылки новой эскадры, тем более темнело его лицо, и он напряженно ворочал головой, словно шее жал воротник кителя.

За время работы в морском штабе Рожественский довольно внимательно относился ко всему тому, что говорилось в укромных уголках, и был в курсе дел вершителей судеб флота.

До него дошли слухи о неудачной игре великого князя на бирже и о еще более неудачной его попытке запустить руку в семейную кассу Романовых, чтобы спастись от крушения.

Ни для кого не были секретом те сомнительные операции, на которые пускался генерал-адмирал, чтобы вывернуться. Его ждал крах и скандал. Наблюдая сейчас за выражением лица государя и его дяди, Рожественский понял, кто так прочно вбил царю в голову идею похода. Слушая императора, он удивлялся, что его доказательства целиком повторяют мысли докладных записок, которыми осаждают морской штаб разные вице- и контр-адмиралы, жаждущие походных лавров. Видно, великий князь позаботился убедить царственного племянника, что похода жаждет вся Россия. Расчет его был ясен: формирование 2-й эскадры не обойдется без крупных закупок за границей. Сотни миллионов проплывут через его руки, — не может же часть не прилипнуть? Это неплохо придумано. Если не поддержать генерал-адмирала, все равно ничего не спасешь. Он приблизит к себе одного из авторов проектов, — только и всего. Быть Дон-Кихотом...

Рожественский поднялся.

— В Артуре войск почти нет, в Сибири тоже, — с упреком говорил он, точно обвиняя, — подбитая эскадра воспрепятствовать высадке врага не может. Первое время перевес будет на стороне противника. Но Сибирская дорога заканчивается, и скоро мы создадим на Востоке бронированный кулак. Балтийская эскадра, пройдя к тому вре-

мени Сингапур, появляется в дальневосточных водах и, укрепив базу недалеко от Артура, входит в связь с 1-й эскадрой для установления совместных действий.

— Но базы-то нет! — тоненько взвизгнул анемичный, дряхлый адмирал.

— Японцы нарушили нейтралитет Чемульпо, — невозмутимо отозвался Рожественский. — Я не вижу, почему нам не базироваться на Чифу, как 10 лет назад. Оттуда до Артура 70 миль. К тому времени «Цесаревич», «Ретвизан» и «Паллада» будут починены. Выйдя одновременно из Чифу и Артура, наши эскадры будут иметь решительный перевес и сокрушат Того!

— Броненосцы не готовы, — попробовал урезонить сослуживца начальник технического комитета Дубасов.

— Надо ввести вторые смены! — вскрикнул Рожественский, так взглянув на Дубасова, что тот испугался, как бы расходившийся начальник штаба, чего доброго, не указал на него, как на виновника задержки. И так уж острят, что главный штаб вяло ведет войну, адмиралтейство держит нейтралитет, а технический комитет помогает японцам.

Император встал. Все поднялись. Глухой адмирал, нагнувшись к соседу, говорил ему свистящим шопотом:

— Быть Зиновию начальником эскадры и вице-адмиралом.

Тот пискливо ответил:

— Быть ему на дне морском.

Рожественский был назначен начальником формирующейся эскадры, хотя имел лишь чин контр-адмирала. Он деятельно принялся за подготовку к походу, торопил снаряжение готовых судов и окончание строящихся. Заводам он ставил такие жесткие сроки, что строители только поживались.

К этому времени в Петербург вернулся из Артура Курвеш. Он не был любителем острых ощущений, его слух

не переносил громов войны. У него завелись в штабе достаточно интимные связи, чтоб узнать обо всем, что творится в крепости. Самые близкие к наместнику люди торопливо покидали Артур, боясь, что он будет отрезан. Внезапно исчез главный поставщик угля для флота. Алексеев безгранично ему доверял и из сотен претендентов поручил все угольные дела ему одному. Японский уголь, стоивший 7.50, он поставлял по 12 рублей, а высокосортный кардиф — по 22 рубля тонну. Когда эскадра стояла в резерве (а случилось это 10 месяцев в году), привозили скверный шанхайский и сиднейский уголь по 110 шиллингов (японцы за кардиф платили только 13). Исчез и поставщик машинного масла, сбывавший пятирублевую смазку по 18 рублей на тех же паевых началах, что и угольщик.

Курвеш задумался. Надо было не только выбраться из Артура, не потеряв расположения Алексея, но и достать у него рекомендацию в Петербург, приобрести крепкие связи в министерстве. Он вошел к наместнику и, посетовав вдоволь на трусов и лжецов, предложил свои услуги для поставок.

— Друзья познаются в несчастьи, — скромно заявил он, — в тяжкую годину счастьем почту услужить. Мои знакомства со строителями Сибирского пути обеспечивают провоз. В остальном полагаюсь на связи вашего высокопревосходительства.

Алексеев пытливо посмотрел на него и растрогался. Через час Курвеш выходил из дворца, усмехаясь. Деньги, связи, карьера были, наконец, в его руках.

В Петербурге Курвеша не смутил нажим Рождественского. Силу протекции он успел познать во всей полноте, и жизнь казалась ему теперь простой и легкой: Алексеев написал, кому нужно, и все устраивалось само собой. Не успел инженер обрадовать правление сообщением, что миноносцы благополучно сданы флоту, как министерство, намекнув, что оно хотело бы видеть во главе

завода человека, который пользуется его доверием, дало фирме «Тритон» заказы на крейсера «Изумруд» и «Жемчуг». Акционеры поняли с полуслова, и Курвешу, владевшему уже солидной долей всех акций, было предложено место директора-распорядителя. Он согласился без ложной скромности и сразу же начал внедряться в морское ведомство, используя новые связи, чтобы проникнуть всюду, где пахло наживой.

Он быстро привился на новом месте, ознакомился с людьми и скоро почувствовал себя в министерстве не хуже, чем на заводе. Он чувствовал, будто вернулся в хорошо знакомую атмосферу сделок и комбинаций, царивших на Сибирской железной дороге и везде, где пахло казенными заказами. Предстоящие закупы взбаламутили тихие воды адмиралтейства. Курвеш сразу же наладил вполне деловые отношения с нужными людьми и надеялся участвовать в заграничных сделках.

Новый директор «Тритона» был так самоуверен, что заранее пригласил чинов министерства к приему крейсеров в назначенный срок. Он не кричал на подчиненных, не угрожал лютыми карами, не распекал. Вызывая к себе начальника цеха, он говорил своим медовым голосом:

— Уж вы не подведите, голубчик. Сами понимаете, родина в тяжкую годину не покусится на премии.

Недоверчивым он называл сумму, а строптивым ставил ультиматум:

— Годовое жалованье за исполнительность или выгоню с волчьим билетом.

Курвеша уже не удовлетворяло достигнутое. Его честолюбие шло дальше. Он мечтал об ордене, который поставит его на равную ногу со всей этой чванной знатью.

Перед отъездом за границу директор «Тритона» узнал, что его спутником бу-

дет Корсаков. С ним предстояло вести осмотр покупаемых кораблей. Курвеш считал судостроителя чудачком, от которого можно ждать пренеприятных сюрпризов.

Но совместная поездка способствовала исполнению планов Курвеша. Оказавшись на равной ноге с Корсаковым, он бесцеремонно стал у него бывать, используя любой предлог для сближения. Как-то в присутствии Людмилы он завел разговор о летней скуке в Петербурге.

— Вы будете поджидать отца в Ницце или Карлсбаде? — невинно закончил он свой дипломатический ход.

Ксаверий Антипович, недовольный навязчивостью гостя, хотел оборвать его, но, взглянув на Людмилу, передумал. У нее был такой смущенный и трогательный вид, что он поспешил ей на помощь.

— Что же вы, Юрий Николаевич, похищаете мой сюрприз дочери, — сказал он, краснея от мысли, что лжет.

Людмила вспыхнула от удовольствия.

Весь день Ксаверий Антипович упрекал себя, что становится похож на Невсвижского и, кроме своих проектов, ничего не замечает. Понадобилось вмешательство постороннего человека, чтобы он догадался пригласить дочь с собой за границу. Он смущенно стоял у окна, разглядывая нависшие над домиком остова броненосцев, пробовал поработать, уходил, возвращался. Потоптавшись у стола, он отбросил карандаш и пошел наверх, к дочери.

— Ты, Людок, прости, что я раньше не подумал о тебе. — Он обнял ее, отрывая от укладывания в несессер вещей. — Я, право, так замотался...

Она устремила на него изумленные глаза.

— Так это он...

— Да, и мне стыдно, что я не признался.

13

Корсаков почувствовал очень скоро, как тягостна будет поездка с дочерью

в обществе развязного спутника. Тот был назойливо-услужлив и притом хвастлив. Он заказывал лучшие номера в самых дорогих гостиницах, швырял деньги официантам, лакеям, цветочницам. Ограниченный в своем бюджете, Ксаверий Антипович решил положить этому предел. Он расстался с Курвешем, чтобы поскорей отвезти дочь на курорт.

— Откуда у него такие средства? — недоумевал судостроитель. — Будто не родовит, папенькиных нет, а от трудов праведных, говорят, не наживешь палат каменных.

Он окунулся в дела. Чили и Аргентина, заключившие договор об уменьшении флота, решили продать заложенные для них корабли. Для Чили в Англии строились два броненосца, для Аргентины в Италии — два броненосных крейсера. Эти суда, очень быстроходные, обладали сильнейшей артиллерией. Они продавались совершенно готовые, с полным вооружением и запасом снарядов.

Корсаков успешно повел переговоры в Италии. Цены были умеренные, аргентинцы только и хотели выручить затраченные деньги. Произведя испытание, Ксаверий Антипович телеграфировал в министерство об условиях покупки, радуясь, что эскадра получит такое солидное подкрепление.

Ответ поразил его. Морское министерство отказывалось от крейсеров из-за того, что артиллерия на этих судах не соответствует русским калибрам.

Корсаков написал горячее письмо, доказывая, что корабли эти надо купить, и чтобы усилить свой флот и чтобы лишить противника возможности приобрести их. Он сообщал, что Япония давно добывается аргентинских крейсеров, а ее союзница Англия покупает чилийские броненосцы.

Министерство оказалось неумолимым. Корсакову предписывалось присоединиться к Курвешу, который вел переговоры в Париже о других кораблях. Ксаверий Антипович был ошеломлен. Об этих других кораблях он слышал еще в Петербурге. В Париже уже побывали

японцы, опережавшие всюду всех. И ясно, что они выбрали лучшее. Какой смысл теперь смотреть то, что они забраковали?

У Курвеша оказалось такое обилие агентов, будто все адмиралтейство перенеслось во Францию. Ксаверий Антипович, знакомясь каждый день с новыми лицами и ведя общие разговоры, никак не мог добраться не только до проектов и чертежей, но даже не мог узнать количества продаваемых судов. Каждый агент оказывался представителем не продавцов, а лишь какой-нибудь посреднической фирмы.

Корсаков требовал осмотра, но посредники испуганно поднимали руки и заклинали:

— Нейтралитет! Тайна!

Возмущенный генерал-майор готов был прервать переговоры, но ему каждый раз обещали представить нового посредника, который уже связан с самим хозяином. Курвеш урезонивал его своим бархатным, медовым голосом:

— Жулики, что поделаешь! Торговые сделки всегда так проводятся. Мы от лишней тысячи не обеднеем, только бы корабли заполучить.

Среди всей этой толчеи сюрпризом для Корсакова явилось возвращение дочери. Однако радость от встречи с ней омрачилась на следующее же утро. Морской атташе в Италии телеграфировал, что японцы купили чилийские крейсера и назвали их «Нисин» и «Касуга».

В продолжение трех дней фирма могла еще отказаться от сделки, заплатив незначительную неустойку. Корсаков в отчаянии послал телеграмму лично Рождественскому. Тот не удостоил его ответом, а в газетах появилось интервью, где командующий 2-й эскадры заявил, что ему не нужно никаких крейсеров, так как находящихся под его командой судов вполне достаточно, чтобы разгромить японский флот.

Не успел Корсаков очнуться от этого удара, а его уже подстерегал другой. В «Киевских новостях» появилась статья о злополучной покупке.

«Почему не у нас еще мощный аргентинско-чилийский флот? — с трудом раз-

бирал судостроитель плохой шрифт. — Весь экзотический флот исчисляется в 75 тысяч тонн водоизмещения. Синдикат дельцов желал получить по тысяче рублей барыша за тонну. Аппетиты акул морского ведомства тоже разыгрались. Ставился куш в несколько десятков миллионов. Но акулы требовали обеспечения их заработка, т.-е. чтобы до окончания сделки положили кругленькую сумму на имя лиц, которых они укажут».

Корсаков щелкнул выключателем, хотя в комнате было достаточно светло. Суконный язык статьи заставлял записаться:

«Синдикат боялся, что купля судов может не состояться, и тогда он рискует потерять собственные миллионы, вложенные на чужое имя. Деятели же морского ведомства в свою очередь не доверяли синдикату, опасаясь, что, если допустить сделке состояться без денежных гарантий, синдикат, получив и свои 75 миллионов, и те, что сверх них должны итти в раздел между акулами, может этих денег и не заплатить им. Так взаимное недоверие сторон губит выгодное дельце, а стоимость переговоров исчисляется миллионами».

Ксаверий Антипович долго сидел в своем кресле. Когда он поднялся, лицо его было бледно. Он вошел в номер Курвеша и молча протянул ему «Киевские новости».

Тот долго читал статью, закрыв лицо газетой. По напряженному взгляду Корсакова он понял, что отступление отрезано.

— Вы не подумайте, ради бога, что мы таились от вас, чтобы урвать вашу долю. — Он шел напролом, единственное, что ему оставалось. — Вы вели себя так странно, что я не знал, как к вам подойти...

Судостроитель наотмашь ударил его по лицу. Курвеш подскочил, как от ожога, но тотчас же успокоился и, вынув из кармана платок, попробовал остановить хлынувшую из носа кровь.

— Что вы этим хотели доказать? — спросил он, смачивая платок водой из графина.

— Что вы — негодяй! — задыхаясь, истерически крикнул Корсаков.

— Какой оклад вы, ваше превосходительство, изволите получать в министерстве? — издевательски начал Курвеш, становясь против него. — Садитесь, у вас, кажется, нервы развинтились. Вам сейчас понадобится все ваше мужество. Вы, почтеннейший, не обратили внимания на усиленное приглашение вас со стороны некоторых фирм в качестве эксперта, консультанта и так далее? Не показались ли вам, высокочтимый судостроитель, чрезмерными и несколько раздутыми гонорары, которые услужливо вам выплачивались? Вы морщитесь? Вольно вам быть наивным, но кто же в нашей благословенной стране может прожить без побочных, так сказать, доходов. А форма, почтеннейший, форма — это пустяки. Одних обволакивают таким деликатным манером, другим суют в открытую.

Он расхохотался и, церемонно поклонившись, вышел из номера, оставив Корсакова «переваривать» открытые.

14

Дорога в Булонский лес казалась пестрым цветником шляпок, котелков и разноцветных зонтиков. Изредка, чванливо гудя, гордо неслись по аллеям автомобили. Это была новинка, еще очень дорогая и малодоступная, крик моды, верх шика. Из экипажей высовывались завитые головки, провожая машины завистливыми взглядами. Шоферы, польщенные всеобщим вниманием, неслись сломя голову, стараясь щегольнуть быстротой и лихим поворотом. Лес гудел от сирен, рожков и шелканья бичей.

Мчавшаяся по боковой дорожке красная двухместная машина вдруг резко затормозила. Перед нею в вечернем полумраке шатающейся, странной походкой маячила какая-то неясная фигура. Автомобиль рванулся в сторону, но пешеход тоже сделал прыжок вправо. Машина дрогнула и, сделав скачок, точно брала барьер, резко остановилась. Вереницы ландо и экипажей застыли под тя-

желыми телями деревьев, погрузив шумную аллею в странную неподвижность.

Кучка людей возилась у машины, стараясь вытащить из-под колес человеческое тело. Обладатели карет недоброжелательно косились на немногочисленных владельцев автомобилей.

— Возмутительно! Усгравать гонки по аллеям...

— Но господин шатался и шел прямо на машину, — растерянно оправдывался шофер.

— Возможно, душевное расстройство или нервно потрясение, — равнодушно бросил кто-то. — Он действительно шел на машину, словно нарочно.

Экипажи и машины двинулись дальше. Полицейский комиссар озабоченно рылся в карманах пострадавшего, отнесенного в сторону на траву. Врач, в ожидании кареты, перевязывал ему голову.

— «Корсаков, Ксаверий Антипович» — с трудом прочитал комиссар в измятом, покрытом капельками крови паспорте. — Сколько хлопот доставляют эти русские!

Глава X

Мышеловка

1

В газетах об этом писалось так:

«Коварный враг вероломно, без объявления войны, ночью, врасплох напал на мирно стоящий на рейде русский флот».

Газеты возмущались. Газеты негодовали. Газеты протестовали. Во имя гуманности. Во имя человечности. Каждый заголовок пылал гневом. Каждая полоса метала грома и молнии.

Наместник швырял на пол кипы прибывающих из столицы газет. Как хотел бы он иметь право утверждать то же самое! Народ — что? Народ поверит. Но что сказать двору, министрам, царю? Он без конца перечитывал полученную 26 января высочайшую телеграмму, спотыкаясь о последнюю фразу:

«Надеюсь на вас. Помогите вам бог».

Как много бы он дал, чтобы эта депеша задержалась на один день в пути! Он так долго и тщетно умолял, просил, требовал этого разрешения. Ему развязали руки, но все пошло прахом в одну ночь. Уехать бы, сгинуть, провалиться в небытие.

«Россия, — грозно писали столичные газеты, — это 130 миллионов жителей, 2 миллиарда бюджета, 1 600 батальонов, 5 300 полевых орудий, 23 эскадренных броненосца. Япония — 45 миллионов жителей, 600 миллионов бюджета, 156 батальонов, 6 броненосцев».

И еще писали газеты:

«Это, по существу, типичная колониальная война. Япония — только маленький мопс, укусивший в ногу огромного сен-бернара. Эта война — для Японии самоубийство».

То были его собственные мысли, он узнавал их. Они привились там, в далеком Петербурге, но сам он уже не верил им. «День Марии» до того был не похож на войну с Китаем, что наместник сразу потерялся. Он так быстро растался с верой в победу, что сам не понимал, когда это произошло.

Для артурцев японская «моська» внезапно превратилась в слона. Грозные призраки встали над краем и, прежде всего, над самим наместником: он один теперь в ответе — и его не пощадят. Старк — тот сумел вывернуться: из-за этой проклятой резолюции его не только пришлось отпустить с миром, но даже и представить к награде за бой 27 января, в котором он помял «Полтаву», исковеркал «Новик» и сгубил четыре миноносца. Газеты раздули эту перестрелку и приписали отступление Того действиям нашей эскадры, хотя и дураку было ясно, что отогнали их береговые батареи. Но так или иначе, — Старк щеголяет с Владимиром 2-й степени, а разные «участники» и «очевидцы» пишут о потоплении в этом бою двух японских крейсеров.

Артур не был готов к войне — Алексеев знал это. Ему никогда не приходило в голову, что кампанию придется вести здесь, на материке. Разгромить

японский флот и высадить десант на их островах — вот единственный вариант войны, который рисовался ему. Могли быть споры, на какой остров высаживаться, откуда начинать, но что Токио будет окружен и взят штурмом, — разве можно было в этом сомневаться после взятия приступом Пекина?

Ему напомнили, что его ждут на молебне. Он рассеянно вышел и отправился в сопровождении свиты к Обрядной церкви. И угораздило же его потребовать удаления публики из той части храма, где находятся придворные! Дернула нелегкая устроить себе особое место. Теперь придется красоваться отдельно на самом виду.

Алексеев отстоял молебен, туло уставившись в пол. Наступившая вдруг тишина заставила его вздрогнуть. Он приблизился к архиерею, быстро приложился к кресту и, надев фуражку, пошел из церкви.

В толпе ахнули. Остолбеневшая от изумления свита так растерялась, что никто не тронулся с места. Среди верующих раздался ропот. Наместник дико оглянулся и сорвал фуражку.

Он вернулся к себе полубольным. Хотелось лечь, закутаться в одеяло, спрятавшись под подушку. Но он знал, что на него смотрят тысячи людей, перед которыми надо казаться бодрым, решительным, спокойным.

Ему доложили, что пришел представиться перед отъездом начальник областного управления со своим штатом.

«Вот оно! — чувствуя, как все в нем содрогнулось, подумал он. — Бегут... Почуяли...».

В нем вскипел гнев, и он велел их выгнать, но не утерпел и вышел сам, чтоб разрядиться.

— Изменники! — кричал он на всю приемную, наaskaкая на седовласого генерала, начальника управления. — Трусы! Бежать от ничтожного врага! Сошлю!.. Сгною!..

Оробевший генерал стал бессмысленно трясти головой. Чины управления жались к стенкам, прятались за колонны, чтоб не попасть на глаза исступлен-

ному наместнику. Утомившись, Алексеев вернулся к себе в кабинет, стараясь унять подергивание правого глаза. Служащие под руки уводили домой потрясенного начальника.

— Ничего не понимаю, — пожимал плечами адъютант в ответ на пристаивания чиновников. — Лично приказал эвакуировать областное управление в Харбин. Понимаете, собственноручно подписал — и вдруг такой крик...

2

Растерянность наместника передалась гарнизону и эскадре. Все настолько опасались высадки и штурма, что крепостной полк погрузили в вагоны и возили из Артура в Дальний и обратно при каждой тревоге.

Неожиданно в порт прорвались три коммерческих парохода: русский, английский и немецкий. Сперва все очень обрадовались: в пути находилась «Монголия» со снарядами. Обеспокоенная тревожными слухами, она еще 11-го запрашивала из Шанхая, следовать ли намеченным маршрутом через Сасебо, и ей ответили утвердительно. Но среди прибывших, как и следовало ожидать, «Монголии» не было: в Сасебо ее давно разгрузили, и она плавала сейчас под японским флагом.

Настроение снова упало. В случае немедленной высадки нехватило бы снарядов на отражение первого же сильно-го штурма, и крепость могли взять налетом. Их попробовали доставить во Владивостоке, но на телеграфный запрос оттуда ответили, что у них склады пустуют.

Пароходы поставили под берегом у Ляотешаня. Поздно вечером недалеко от них стал минный крейсер «Забияка». Среди ночи вахтенный офицер разглядел в море силуэты судов. Возбуждение, господствовавшее среди моряков, граничило с паникой, а в этом состоянии принять стоящие на якоре коммерческие пароходы за крадущиеся миноносцы не трудно. «Забияка» открыл огонь.

В крепости поднялся переполох. Сторожевые катера, высылаемые со всех судов для охраны все еще стоявшего в проходе «Ретвизана», засуетились, стреляя во все стороны. Канонерки, крейсера, броненосцы дружно захохотали по злополучным пароходам.

К счастью, стреляли на судах попрежнему плохо, и повреждения оказались незначительными. Англичанин утром сильно ругался, а немец, наоборот, хвалил стрельбу, пряча ироническую улыбку в усы. Из команд никто не пострадал, и все ограничилось денежной компенсацией.

В эту же ночь миноносец «Сильный», выходя из гавани, наскочил в темноте на «Бзевого» и протаранил ему бок. А через несколько дней «Внушительный» был расстрелян японцами на глазах у всей крепости.

Он возвращался из дозора, когда у Артура появилась неприятельская эскадра. С маяка Ляотешань его уведомили об опасности, он укрылся в Голубиной бухте. Частая смена командиров и постоянное пребывание судов в резерве не могли способствовать изучению своих берегов, и миноносец сел на мель. Японцы заметили его и начали расстреливать методично, как на учении. Ко всеобщему удивлению, береговые батареи не смогли защитить его: шестидюймовки стреляли на 50 кабельтовых, японцы были вне предела их досягаемости, а у крупных орудий, которые могли бы достать японцев, оказался мертвый сектор обстрела.

Беззащитность собственных берегов еще больше увеличила панику и растерянность. Моряками овладели пессимизм и апатия. Никто и не подумал выслать крейсер, чтоб отбить «Внушительный» у противника.

А 20 февраля в Дальний отправили четыре миноносца конвоировать пароходы в Артур. Пока те пришли, выход судов отменили. Миноносцы запросили по телефону, как быть. Им велели ждать «Буракова», который привезет приказ. Пока тот разводил пары и пришел в Дальний приказ возвращаться, смерклось. В темноте миноносцы расте-

ряли друг друга. Один, стараясь укрыться от волны под берегом, наскочил на камни и попортил себе дно. Другой выскочил на песчаный откос под маяком, у самого входа в Артур. Эта бессмысленная гибель так угнетающе подействовала на моряков, что суда перестали высылать из гавани. Эскадра, как парализованная, замерла во внутреннем бассейне.

3

Тяжелая эпидемия обрушилась на Артур.

Эпидемия подкашивала здоровяков, никогда раньше не хворавших. Она намечала себе жертвы разборчиво, щадя одних и обрушиваясь всей тяжестью на других.

Матросов, солдат, мирных жителей она не касалась вовсе, сухопутных офицеров посещала с большим отбором, несколько чаще она забиралась в каюты мичманов и лейтенантов флота. Но особенно свирепствовала она среди капитанов всех рангов. Молодцы, хваставшие постоянно своим здоровьем, считавшиеся во флоте железными малыми, валились, как трава под косой.

Сперва никто не мог понять, откуда ее занесло. Врачи лишь пожимали плечами, исправно подписывая многочисленные удостоверения о болезни.

Рапорты об увольнении удовлетворялись немедленно. Уезжающим сочувствовали, советовали не запускать болезнь, побывать в Петербурге у хороших профессоров. Но эпидемия находила все новые и новые жертвы, и Алексеев задумался.

Когда Витгефт принес ему очередную пачку рапортов об увольнении, наместник растерянно воскликнул:

— Что это делается с офицерами! Принесите-ка мне списки.

Витгефт принес. Наместник стал читать:

— «Нехватает до комплекта: инженер-механиков 29 проц., обер-офицеров — 37 проц...». Да у вас чуть ли не полкомплекта офицеров!

Витгефт отлично знал это. Русские барчуки искали во флоте чинов и высо-

ких окладов, а это можно было найти в многочисленных морских канцеляриях столицы. Они предпочитали служить на старых калошах в Кронштадте, Ревеле, Гельсингфорсе, чем проходить службу на лучших броненосцах здесь. Знал Витгефт и другое. Наместник не переносил самостоятельных людей с инициативой. И эти люди уклонялись от службы под начальством Алексеева. Витгефт на себе испытал, как непродуктивна работа здесь, как скованы его ум и воля.

Алексеев точно угадал мысли своего подчиненного. Он сердито отодвинул пачку рапортов и процедил:

— Никаких увольнений. Пусть летят здесь.

Витгефт вышел.

«Догадался он или не догадался? Еще посадит их, чего доброго. Хотя с флотскими старается ладить. Я бы отпустил, бог с ними. Конечно, некомплект. Да уж и это не войны».

4

О Порт-Артуре принято было говорить в самых высоких тонах:

— Артур — неприступная крепость! Артур — дальневосточная твердыня! Артур — единственный незамерзающий порт России! Артур — оплот и база тихоокеанского флота!

«Артурская крепость стоит шести Севастополей» — доносил Алексеев. Россия могла спать спокойно. Если Англия вместе с Францией не могли в течение года овладеть крепостью, в шесть раз слабейшей, то кто может угрожать дальневосточным владениям, когда на страже их стоит такая несокрушимая цитадель?

Но Артур не был неприступной крепостью. «Это не крепость, — непочтительно перешептывались знатоки, — и даже не укрепленный лагерь».

Ни один форт Артура не был рассчитан на сопротивление тяжелой артиллерии. Наместник дал по этому поводу исчерпывающий приказ: «Крупнее шестидюймовых орудий наш азиатский противник иметь не может». Но ковар-

ный враг одиннадцатидюймовыми мортирами разносил блиндажи и казематы в щепы. Мелкий камень, из которого делалась насыпь, крошился и помогал неприятельской артиллерии наносить раны защитникам Артура, страдавшим от разбрызгиваемого щебня не меньше, чем от снарядных осколков.

Батареи строились красиво, но дожди размывали их непрочный фундамент. Фортов было мало, а чтоб оборудовать новые, нехватало орудий. В крепости полагается двадцать пять процентов запасных пушек. В артурских складах оказалась одна шестидюймовка и четырнадцать мелких орудий. Но и для действующих пушек не заготовили снарядов. На складах хранилось полкомплекта, и то по табели 1859 года, когда трехсот ядер на пушку могло хватить на два года. При скорострельных орудиях этого нехватало для отражения одного сильного штурма.

К началу войны в Артуре насчитывали всего 153 двенадцатидюймовых снаряда. 1037 штук попали из России во Владивосток, где не было ни одной двенадцатидюймовой пушки. Трехдюймовые гранаты оказались в Артуре, хотя они нужны были именно Владивостоку. Наместничество снабжалось аккуратно и в избытке только винами всевозможных марок. Даже пятилетняя осада не истощила бы их запаса.

Нет, Артур не был дальневосточной твердыней. Только с объявлением войны туда лихорадочно стали подвозить снаряды и возводить укрепления. Но это истощало и без того утомленных защитников крепости, а свежие насыпи выдавали место батареи, и японцы скоро уничтожили их.

Незадолго до объявления войны на Квантуне устроили маневры. Эскадра, стоявшая во Владивостоке, получила приказ перекраситься в боевой цвет и итти к Артуру. Там сторожевая цепь миноносцев прозвала «неприятеля». «Пересвету» и «Победе» удалось устроить демонстрацию, оттянувшую войска к северу. Эскадра высадил в это время десант в бухте Кэр, и командант Артура Стессель был вынужден

сдать крепость на третий день маневров.

Так же печально прошли сухопутные маневры. Войска, расположенные в Дальнем и Таляване, наступали на Артур. Они предприняли диверсию и заняли Казачий плац без единого выстрела, как будто пришли в гости. Артиллерия на Казачьем плацу была, но Стессель расположил ее так, что она не смогла не только отразить нападение, но даже увидеть «неприятеля». Живущие в крепости японцы возвращались с парада с фотографическими аппаратами за спиной и презрительной улыбкой на лице.

Не лучше окончилась и морская стрельба. Эскадра вышла в Таляванскую бухту и по приказанию адмирала открыла огонь. Одно орудие и четыре болванки были сбиты спереди и сзади мишени, земля сильно изрыта, но сама мишень почти не повреждена. Одни объясняли непопадание качкой, другие — неточностью дальномеров, третьи — чрезмерной настильностью морских орудий. Но в Петербурге должны были спать спокойно. Туда полагалось доносить только о благополучии. В приказе напыщенно говорилось:

«Эскадра Тихого океана находится на бесспорно высоком уровне боеспособности».

Артур не был единственным незамерзающим портом России. Рядом построили коммерческий порт Дальний. Это была фантастическая затея. Иностранцы злорадно посмеивались над искусственным созданием этого никому не нужного города. Его окрестили «Лишний». Ассигновки для укрепления Артура постоянно урезывались, зато всегда находились деньги на возведение дальнинским чиновникам домов самого причудливого стиля и архитектуры.

Дальний не был включен в укрепленный район, и, в случае войны, его легко могли захватить. Несмотря на это, все, чего нехватало в Артуре, находилось здесь. И обширные, хорошо оборудованные мастерские, и чугунолитейный завод, и великолепный док, и просторная гавань с молом и пловучими кранами. Артуру скупой отпустили два-

дцать один миллион, зато на сооружение Дальнего не пожалели вдвое больше. Японцам была приготовлена замечательная база для флота, близ осажденной крепости.

Правда, колонизаторы умудрились заморозить и Дальний. Бухта оказалась слишком открытой, норд-ост обрушивал на корабли свирепые волны и разбивал их о мол. Немедленно был ассигнован новый миллион на сооружение перед ним волнолома, чтоб закрыть доступ ветрам. Тогда бухта стала замерзать, и пришлось приспособлять специальные ледорезы, чтоб крошить лед и вычерпывать его на берег.

Артур не был единственным незамерзающим портом, пригодным для тихоокеанского флота. Таким портом мог считаться Владивосток. Замерзают его бухты только с середины декабря до середины февраля. Лед этот не толще шести вершков и с его дроблением справлялся захудалый маленький ледкол «Надежный». При объявлении войны он в одну ночь прорезал широкий канал до моря. Но Владивосток с его обширными внутренними рейдами и двумя выходами забросили, хотя он был расположен в равном расстоянии от всех трех проливов, ведущих в Японское море, и удобен благодаря летним туманам и зимним штормам для набегов на острова.

Нет, Артур не был оплотом и базой тихоокеанского флота. И эскадре нечего было делать там. Разве может быть базой порт без мастерских, без сухого дока, без удобного выхода в море? Числившийся на бумаге пловучий док «не обнаружился», когда в нем оказалась надобность. Узкий проход не позволял выходить из бассейна двум броненосцам одновременно. Но и один мог выйти лишь во время прилива, в полную воду. В случае затопления корабля в самом проходе весь тихоокеанский флот оказался бы запертым. Это была мышеловка.

Зато Артур — резиденция наместника его величества — был звездой Дальнего Востока.

Когда-то этой славой заслуженно пользовался Владивосток. О кутежах в

«Тихом океане» с завистью говорили в Петербурге. В одну ночь там проигрывались целые состояния. На карту ставились дома, имения. Владивостокские оргии сказкой облетали Азию. Между Небесной империей и страной Восходящего солнца возник край Бесшабашного кутежа.

Но ничто не вечно. Миллиард, ассигнованный на Великий Сибирский путь, был истрачен, однокорейку кое-как дотянули до Байкала, верста обошлась в 250 тысяч вместо обычных 60. Но и это кончилось.

Тогда на Востоке засияла новая звезда — Артур. Крейсера и броненосцы, стоявшие во Владивостоке, стали все чаще заворачивать из Японского моря в Желтое. Для полного блеска двора наместника моряки оказались как нельзя более кстати, и эскадра постепенно перекочевала в Артур. Морские офицеры кутили мельче, спустить пятьсот рублей в вечер считалось шиком. Это не был Владивосток с его размахом, но все же жизнь пенилась.

Что война будет — знали все. Но это не только не мешало веселиться, а придавало веселью особую остроту. Все были под впечатлением китайской кампании. Быстрота и легкость победы над четырехсотмиллионным народом не внушали уважения к азиатам. Войны ждали с нетерпением. О войне мечтали. Она в воображении артурцев была избавлением от скуки, прогулкой за наградами и орденами, триумфальным шествием по островам лилипутов.

5

А война круто гнула свое, опровергая легенды, ломая установленные репутации, издеваясь над традициями. Чтоб защитить Дальний, где японцы могли в любую минуту произвести высадку, из Артура вышел «Енисей» — заградить минами Тальянскую бухту. Для охраны минного транспорта с ним послали быстроходный крейсер «Боярин» и миноносцы.

Вечер был тих и ясен. Отряд благополучно достиг острова Саньшантао.

Под прикрытием крейсера и шнырявших в дозоре миноносцев «Енисей» расставил в бухте мины и повернул к Артуру.

Неожиданно с мостика заметили всплывшую мину. Застопорили машины. Ее надо было уничтожить. Она раскрывала неприятелю место заграждения, а при ветре ее могло приливом нанести на артурскую эскадру. Маневрируя, «Енисей» стал расстреливать всплывшую мину. Но плохо обученные комендоры никак не могли попасть в двигающуюся мишень. Транспорт менял курс, разворачивался, давал задний ход, чтобы пристреляться, но мина неуклюжей рыбиной упрямее плавала в воде, холодно поблескивая в свете луны металлическим телом.

Засылав выстрелы, приблизился «Боярин». Офицеры с удивлением наблюдали, как кружит «Енисей», стреляя в воду. Встревожились и миноносцы.

Преследуя уплывавшую мину, транспорт неосторожно приблизился к месту, которое сам только что сделал смертоносным. По бухте внезапно прокатился взрыв. Блеснуло пламя, забурлила вода. Высоко в небо взвились струйки дыма, повиснув тучками над бухтой. Содрогнувшись, «Енисей» повалился набок, обнажая приклепанную для устойчивости скулу. Он стал быстро переворачиваться, зарываясь в возникшее из пены облако. Через минуту вода сверкала так же холодно и спокойно, как будто «Енисей» никогда там и не было.

«Боярин» дал полный ход и повернул к Артуру. За ним, обгоняя друг друга, помчались миноносцы.

Когда вдалеке дружески замигали огоньки Золотой горы, переполох улегся. Матросы втихомолку издевались над перепуганными офицерами, рассказывая, как они вихрем мчались на палубу, чтоб успеть, «в случае чего», прыгнуть в воду.

— А народ не подобрали, — угрюмо развёл неуместное веселье голос Лаврова. Он был со многими другими переведен с подорванной «Паллады» на «Боярина». — Братва, поди, вся в бухте осталась.

— Ребят мало спаслось, — мрачно подтвердил другой, — вверх килем нырнул, какое уж тут спасенье.

— Команды больше ста человек. Может, кто и уцелел.

— Сволочи! — убежденно сказал Лавров, но замолчал, заметив кондуктора.

В Петербург, по обыкновению, донесли, что «Енисей» потопили японские миноносцы. Оттуда прислали грозное требование — наказать, наконец, макак. Командир «Боярина» был вызван к адмиралу.

— Государь требует проучить японцев. — строго сказал адмирал. — Так как вы знаете, где «Енисей» ставил мины, безопаснее всего отправляться вам. Какого курса намерены вы держаться?

Командир «Боярина» стал уверенно водить по карте.

— Господин капитан, — начал горячиться адмирал, — именно здесь «Енисей» должен был ставить мины.

— Но, уверяю, ваше высокопревосходительство... — обиженно воскликнул капитан.

— Невозможно! Извольте держаться мористой, примерно вот здесь.

— Но мины поставлены именно мористой! — вскричал капитан. — По этому курсу итти не могу.

— Извольте подчиняться распоряжениям! — свирепея, крикнул адмирал.

Командир «Боярина» вышел от начальника с перекошенной физиономией. Скорчив презрительную гримасу, он выругался и, пробормотав «чорта с два», направился к «Боярину».

Встретив Кузьмина в гальйоне, Лавров остановил его:

— Слыхал? Минное поле командир наш не нанес на карту.

— А ты откуда знаешь?

— Вестовой адмиральский сказывал. Перепалка у них там вышла здоровая. Ни тот, ни этот — ни в зуб ногой.

— Ну?

— На том и разошлись. Так и идем в темную...

— А курс?

— Что и у «Енисей» — в Тальявань.

После обеда вдали показался остров Саньшантао. Лавров, приставив ладонь козырьком, долго приглядывался из иллюминатора к очертаниям берега. Потом повернулся к Кузьмину:

— Как пить дать, тут вчера бродили с «Енисеем». Мне скалы эти хорошо запомнились — вон там у бухточки.

Они поднялись на палубу. Крейсер легко вспарывал воду, разрезая свежую волну. Шнырявшие кругом миноносцы доносили, что неприятеля нигде нет. «Боярин» начал разворачиваться на обратный курс. Легкий взрыв толкнул его в киль. В трюм хлынула вода.

— Шлюпки, пояса! — истерично закричали офицеры.

Бестолково торопясь, стали спускать шлюпки. Командир первый прыгнул вниз. Поднялась паника. Толкаясь, люди бухались в утлые лодки, опрокидывая друг друга. Чтоб не утопить в суматохе легкие суденышки, офицеры начали отваливать. Крейсер быстро пустел.

Но он не тонул, этот упрямый корабль. Команда успела пересечь на миноносцы, а «Боярин» с едва заметным креном продолжал двигаться вперед. Миноносцы дали полный ход, но брошенное судно, точно в насмешку, не отставало.

С Золотой горы передали семафором приказ — взорвать крейсер. Шедший концевым «Расторопный» нехотя повернул. Он подошел к навязчивому кораблю и выпустил в упор две мины.

«Боярин» продолжал плавно двигаться вперед. Суеверный командир «Расторопного» перекрестился и, решив, что крейсеру не судьба тонуть, заторопился за удаляющимися товарищами.

— Даже расстрелять не сумели, — злорадно прошептал Лавров, выразительно глядя на Кузьмина. — В упор, и то — промах. Чего доброго, японцы уведут его. То-то потеха будет!

Несколько дней носился «Боярин» по морю, как летучий голландец. Встревоженный наместник, боясь, что скандальная история дойдет до Петербурга, выслал миноносцы взять не желавший тонуть крейсер на буксир. Поднявшийся

шторм помешал, однако, привести в Артур непокорный корабль. К счастью, японцы не появлялись. «Боярина» прибивало несколько раз к берегу. Жители умесли с него все, что могло им пригодиться. Наконец, новый шторм увлек крейсер в море и нанес на минное заграждение, поставленное при его помощи. Никем не управляемый, он долго лавировал между минными банками. Всю ночь прибрежные жители прислушивались к гулу взрывающихся мин, гадая, кто это попал в беду.

«Боярин» больше не показывался, и все вздохнули с облегчением. Но он все-таки не утонул, этот неподатливый крейсер. Утром после шторма японские миноносцы нашли истерзаный и подорванный корабль приткнувшимся к мели. Они спустили команду, быстро наложили на пробоины пластыри и, взяв его на буксир, отвели в свой порт.

6

Кузьмин был молод, но жизнь уже многому успела научить его. Поэтому, после вынужденного участия в споре в кубрике, он держался с Лавровым настороже, сожалея, что погорячился и зря ввязался в разговор.

О Лаврове говорилось много худого. Команда любила его и считала образцом матроса; но именно то, что в нем хвалили, и не нравилось Кузьмину. Лавров слыл головорезом, отчаянным забиякой, бабником. Ему ничего не стоило спуститься с палубы, привязав платье к голове, и так тихо поплыть к берегу, чтоб самый чуткий вахтенный ничего не услышал.

Кузьмин с первых дней плавания приглядывался к товарищам, стараясь найти единомышленников. В машинной команде среди минеров, гальванеров, артиллеристов попадалось много бывших мастеровых. Но частая переброска людей с корабля на корабль мешала завязать связи, а Лавров казался менее всего подходящим для этого человеком.

После его горячей речи в день атаки Кузьмин стал к нему внимательней. От-

куда он знал об аресте рабочих? Почему его заинтересовал отъезд японцев? Откуда такая злоба при упоминании об именинах адмиральши?

Кузьмин не мог отделаться от двойственного чувства. Лавров не дурак. Он удивительно умел заводить знакомства и знал половину Артура. Создавая себе репутацию бабника, он, видимо, прятался за нее, как за маску. Но к чему?

Взяв Лаврова под наблюдение, Кузьмин неожиданно убедился, что о нем говорят именно то, чего хочет сам Лавров. Никто никогда не был с ним у девчонок. Никто, собственно, и не знал, куда он отлучался и ради чего он рисковал. О Марусях, Катях, Нюрах Лавров говорил сам.

Кузьмин задумался. Никогда Лавров не пускался в неосторожные разговоры, ни с кем не откровенничал, кроме того случая. Тогда его словно прорвало. Было очевидно, что он посещает рабочих. Кузьмину не раз хотелось связаться с ними, но на берег матросов пускали редко, да и чувствовал он себя в форме стесненно. Неужели Лавров опередил его?

«Острый парень» — решил Кузьмин и обрадовался, когда был назначен вместе с ним на миноносцы «Страшный». Лавров, наоборот, зло проворчал:

— Не было печали, черти накачали.

— Миноносцы, правда, постоянно мотаются, но и сидеть на рейде, как в тюрьме, не слаще, — попробовал утешить его Кузьмин.

— А знаешь, из какого дерьма строились эти миноносцы? Ход еле 20 узлов. Трубки поминутно лопаются, запас пресной воды — что кот заплакал, машины каждые полчаса портятся, котлы выходят из строя. Итти на них ночью — верная смерть: дай только полный — из труб такой огонь летит, что его в темноте за двадцать миль видно. А когда миноносцу ходить, как не ночью?

Жизнь на «Страшном», действительно, была страшна. Грязь, теснота, невыносимая жара. Если на крейсере они изнывали от безделья, то теперь валились с ног от переутомления. Приходи-

лось, кроме своих вахт, почти ежедневно работать на беспрерывных авариях. Кузьмин совсем измучился и все свободное время старался использовать для отдыха, валяясь в каком-нибудь укромном уголке.

— Скис? — насмешливо спросил его как-то Лавров.

Кузьмин промолчал.

— На берег не прогуляешься?

— А ну его!

— Идем, чудило. Твои с Морского приезжают.

— А кто тебе сказал, что они мои?

— Мне, брат, говорить не надо. Я сам узнаю, что требуется.

— Не пустят.

— Я уже отпросился. Идем.

Кузьмину стало неприятно. Лавров как бы распорядился им и даже заранее увольнительную припас. Он не успел высказать всего этого. Едва они вышли из баркаса, тот тихо сообщил:

— Рабочие хотят забастовать.

Кузьмин остановился.

— А тебе кто сказал, что я охотник до таких вещей? — возмутился он бесцеремонностью спутника.

— Не кирпичись, Филат. Говорю тебе, я сам узнаю, что мне надо. Ты эсдек, участник знаменитого прошлогоднего бунта.

— Катись ты к чортовой матери и оставь меня в покое.

— Брось ерепениться, чудило! Нехитрая штука — узнать. Я с «Тритона».

Кузьмин недоверчиво смотрел на собеседника.

— Идем, дурень. Если б я замыслил что, долго мне...

Кузьмин посмотрел на могучую грудь Лаврова, на свою шуплую фигуру и рассмеялся.

— А знатно ты меня обработал!

Лавров ничего не ответил. Филат старался запоминать дорогу, но в кривых, изогнутых переулках китайского города скоро потерял ориентацию.

— А что там у них стряслось?

— Война, осады ждут, семейные и пожилые домой тянутся. Человек десять посадили, за всеми учрежден надзор, чтоб крепость не покидали... Постой-ка тут...

Он оставил товарища и осторожно двинулся вперед, стараясь держаться в тени фанз. Через несколько минут он сделал знак следовать за собой.

7

Жизнь Артура всколыхнул приезд нового командующего, адмирала Макарова. Он поднял свой флаг на «Аскольде», стоявшем против входа в гавань. Адмирал на легком крейсере, сторожащем эскадру! — это Артур видел впервые. До него все начальники искали спасения за толстой броней, под прикрытием батарей Золотой горы. В следующий же вечер он выслал «Решительный» и «Стерегущий» на разведку, как бы сразу давая понять, что осуждает бездействие и боязнь риска.

У острова Кеп командир «Решительного» заметил слева свет боевого фонаря: большой корабль освещал вход в Дальнинскую бухту. Миноносцы приготовились к атаке и дали полный ход. Среди офицеров с приездом Макарова укоренялся его девиз: вступишь слабейшего противника — нападай, вступишь равного — нападай, вступишь сильнейшего — тоже нападай.

Но едва ход был увеличен, как из труб показались факелы пламени. Почти одновременно пять японских миноносцев навели на них прожектора. Определив по факелам их местонахождение, японцы устремились к берегу, стараясь отеснить русских в море.

«Решительный» и «Стерегущий» повернули от них. Но неприятельские прожектора зажгли и справа. Пять дружных миноносцев шли им наперерез.

Командир головного корабля с отчаянием огляделся. Еще несколько минут — и они будут окружены. Он наклонился к переговорной трубке:

— Самый полный!

Но в ту же секунду он застыл в неподвижности. Самый полный!.. Но разве убежишь, не имея и проектного двадцатиузлового хода, когда враг развивает тридцать? Самый полный!.. Но разве факелы из труб не станут еще длиннее, выдавая с головой их курс?

Он сжал ручку телеграфа и передал:

— Уменьшить ход!

Миноносцы пошли тише. Факелы стали короче, бледнее, они почти растворились в темноте. Справа и слева метался вихрь огоньков, почти окружая. Командир еще судорожно сжал ручку аппарата и, с трудом преодолевая инстинктивное стремление крикнуть: «Самый полный!» — прозвенел в машину:

— Малый!

Факелы потухли. Миноносцы погрузились во тьму. Командир изменил курс к берегу. Вихрь огоньков метнулся куда-то в сторону и стал быстро удаляться. «Решительный» и «Стерегущий» вошли в проход между островами Синьшантао, чтоб выждать удобный момент для атаки корабля, освещавшего бухту.

Но тот закрыл огни, видимо, догадываясь об опасности. Посоветовавшись, командиры миноносцев решили ограничиться наблюдением за неприятелем и повернули назад.

В 6 часов утра возвращающиеся миноносцы заметили неприятельский отряд. Отстреливаясь, они стали уходить к Артуру, увеличив ход до 16 узлов. «Стерегущему», однако, и эта скорость оказалась не по силам, и он начал отставать. Из-за Ляотешаня вынырнули два минных крейсера и пошли ему напересечку. Стараясь зайти с правого борта, они открыли огонь из крупных орудий.

«Решительный» прорвался, но «Стерегущий» отставал все больше, и на нем японцы сосредоточили весь огонь. Его окружало уже шесть судов, расстреливая его почти в упор. Он отважно огрызнулся на все стороны. Командир и офицеры давно пали, наконец свалился и заменивший их механик, но миноносец, сильно избитый, продолжал обороняться. «Акебоно» попробовал сблизиться с ним, но комендоры «Стерегущего» засыпали его снарядами. Получив 27 ядер, «Акебоно» стал отходить, вихляя кормой. Ему на смену подошел «Сазанами», но и он вынужден был повернуть, получив 8 пробоин.

Вдруг в кочегарку исковерканного миноносца с крейсера попал крупный сна-

ряд. Два котла разлетелись в стороны веером осколков. Паровые трубы, ведущие в машину, ключьями повисли на кронштейнах, истекая клубами пара. «Стерегающий» остановился.

— Айда, наверх! — скомандовал один из машинистов. — Тут теперь делать нечего.

— Все к орудиям, — крикнул другой, — сменяй убитых!

Японцы кольцом окружили неподвижный миноносец. Смертельно раненый сигнальщик делал последние усилия, чтобы уничтожить сигнальные «книги». Он подбирает болты, гайки, осколки снарядов, заворачивает их в вырванные страницы и, обмотав сигнальным флажком, бросает за борт.

Вся палуба загромождена ранеными и убитыми. Один снаряд разорвался около рубки и вывел из строя всю прислугу у носовых орудий. Все труднее становилось обороняться против крупнокалиберных орудий японцев. Шесть судов все теснее обступали «Стерегающий», сметая всех с палубы. В разных концах возникали пожары.

Во вторую кочегарку попал новый снаряд, через пробойну хлынула вода. Одна за другой замолкали подбитые пушки. Вот затихло последнее правое носовое орудие. С криком «банзай» японцы радостно бросились к миноносцу, торопясь овладеть беззащитным призом.

Но на «Стерегающем» еще осталось несколько человек. На палубе миноносца завязалась схватка. Когда последние защитники, не желая сдаваться, прыгнули ва борт, японцы стали прикреплять буксир, чтоб увести миноносец. В это время из боевой рубки выбежали два матроса и заперлись в кормовой каюте. Предчувствуя недоброе, японцы стали их уговаривать сдаться. Но им никто не ответил.

Неожиданно миноносец стал погружаться. Встревоженные японцы забежали по палубе, как выкуриваемые тараканы.

— Кингстоны, открыли кингстоны... — раздались испуганные голоса.

— Шлюпки, скорее шлюпки!

Спотыкаясь о развороченные мостики, о груды трупов, японцы бросились вон из непокорного миноносца. «Стерегающий» быстро погружался, хороня своих последних защитников.

8

Как только сигнальная станция Золотой горы донесла о завязавшейся схватке, Макаров приказал «Аскольду» итти на помощь. Но крейсер медленно снимался, и адмирал, не выдержав, пересел на быстроходный «Новик» и помчался к месту боя. «Аскольд» заторопился за ним.

«Стерегающего» спасти не удалось. Но вид адмиральского флага на мчавшемся в бой маленьком, небронированном крейсере заставил все команды высыпать на палубы. Офицеры вырывали друг у друга бинокли.

— Не может быть! Это авантюра! — беспокойно говорили не питавшие особой любви к морю достойные питомцы пресноводных флотоводцев. — Адмирал на скорлупке!...

— Не утерпел дедушка! — ликовала молодежь. — Ну, и борода!

«Новик» возвращался. За ним гналась японская эскадра. Ловко разворачиваясь в узких местах, он легко скользил по воде. На судах жадно вглядывались в отважно развевающийся адмиральский флаг.

Макаров пересел на катер и направился к «Аскольду». С живостью мичмана поднялся он на палубу по пляшущему трапу, рассердившись, когда наверху фалрепные хотели подхватить его. Выскочившим встречать офицерам с сердцем сказал:

— Чего суетитесь, церемониймейстеры? Сказано — без парадов!...

Он понимал, какие надежды возлагают на него, видел, какими теплыми, любящими глазами провожает его флотская молодежь. Отправляемые в опасные разведки команды отвечали на его прощальный призыв не «покорно благодарим, ваше превосходительство», а уходили с бурными криками «ура». Его

справедливое, простое, ласковое обращение сразу вызвало к нему доверие. Но он с горечью чувствовал, что не в силах оправдать его, и ожидания страны будут обмануты.

Он это понял еще по дороге сюда. Ему предложили экстренный поезд, но он отказался от него, чтобы не нарушать движения идущих на фронт воинских эшелонов. Каково же было его удивление, когда он убедился, что движение всех этих составов замирает у Мукдена. Поезда приходили туда ночью, а предстоящая сцепка, требовавшая работы маневренных паровозов, была запрещена, чтобы свистками не нарушить сон главнокомандующего — наместника Алексева. Всю ночь Макаров метался по вагону остановленного поезда, почти жалея, что согласился поехать.

Он утешался мыслью, что в дела флота Алексеев вмешиваться не будет, так ему обещали в министерстве при назначении на Восток. Первые же дни убедили Макарова, что наместник не намерен предоставить ему самостоятельность. Алексеев бомбардировал его телеграммами, вмешивался в его распоряжения, учил, журил, приказывал. Не желая обострять отношения в такой тяжелой обстановке, Макаров крепился и молчал.

Считая, что с таким личным составом победить невозможно, он принялся его перетряхивать. Офицерам, чувствующим себя не на месте, он предложил уйти. Это принимали, как оскорбление. Увольняемые обосновывались в штабе наместника в Мукдене, стараясь напакостить выскочке.

Состояние флота приводило Макарова в отчаяние. Надо было начинать с азбуки — учить эскадру выходам из гавани и совместному плаванию. Портные баркасы, выводившие броненосцы из бассейна, опаздывали на два часа и больше, часто к их появлению прилив кончался и проход мелел. Выведенные, наконец, на рейд корабли, как брошенные без надзора, не научившиеся ходить дсти, болтались в разные стороны, не способные к простейшему маневрованию. От перестроений эскадры

адмирал пришел в отчаяние. Об эволюциях командиры не имели ни малейшего представления. После первого же поворота корабли потеряли свои места, равнение, дистанцию. «Пересвет» столкнулся с «Севастополем». Пришлось прекратить учение, чтоб остановить течь. Решив покончить сразу с пресноводными моряками и показать, что не выслуга лет, а только способности ценятся им, — Макаров сместил командира «Севастополя», заменив его молодым кавторангом Эссеном, командовавшим «Новиком». На «Новик» он назначил привезенного из Петербурга энергичного офицера. Командующего портом, паркетного адмирала, тоже сменил капитан 1-го ранга. На миноносцах было смещено больше половины командиров.

В штабе наместника были поражены дерзостью «кантониста». Алексеев немедленно приостановил все назначения и представил в Петербург своих кандидатов на пустовавшие места. Под спицею заволновались.

Макаров поставил вопрос об уходе. Многочисленные петербургские адмиралы сейчас меньше, чем когда бы то ни было, хотели ввязываться в безнадежное дело, и его обошли с фланга: назначения утвердили, но издали приказ, что без санкции наместника он больше не в праве никого смещать. Такое ограничение прав командующего было против устава, но что можно было сделать?

Макаров с каждым днем чувствовал, как вера его угасает. Адмирал Того восемь лет командовал японским флотом, восемь лет подбирал и воспитывал личный состав, создавал и выращивал эскадру, закаляя ее в частых походах. Его же держали далеко от флота, а теперь прислали расхлебывать...

Помощи он не встречал ниоткуда. Его бросили в эту мышеловку, как жертву общественному мнению. Временами ему казалось, что там будут мало огорчены, если он сломает себе здесь шею. Тогда титулованные адмиралы с надменной улыбочкой пожмут плечами: мы, мол, предсказывали...

Ни одно его предложение не было принято Петербургом. Он требовал для крепостной артиллерии стальных сег-

ментных снарядов, чтобы стрелять на такое же расстояние, как японские судовые пушки. Петербург ответил ироническим замечанием, называя стрельбу на 10 верст фантазией. Он достал сегментные снаряды и доказал, что это возможно. Ему, скрепя сердце, обещали выслать, но не выслали. Он требовал разборки и отправки по железной дороге стоявших без дела в Кронштадте миноносцев — и получил отказ. Для воспитания командиров он требовал, чтобы, наконец, опубликовали его «Морскую тактику», по которой обучались в европейских и американских морских академиях. Ему ответили, что это не предусмотрено сметой министерства.

Что мог он сделать здесь — сторонник крейсерской войны, не имеющий крейсеров, мастер минных атак, лишенный миноносцев, приверженец активных действий, скованный небоеспособным флотом?

А шпиц словно задался целью окончательно его обезоружить. Вдогонку Макарову, для противовеса ему, в штаб эскадры прислали великого князя Кирилла Владимировича на должность начальника военно-морского отдела. Скоро прибыл и второй великий князь, прикомандированный Петербургом к штабу флота. Уже поднятие флага на «Аскольде» вызвало неудовольствие князей. Это смахивало на вызов. Выход на «Новике» окончательно убедил в этом. В Петербург помчались телеграммы, и оттуда пришел приказ — перевести штаб на броненосец. Довольно бесцеремонно намекалось, что он не в праве рисковать драгоценной жизнью членов царской фамилии.

Флаг пришлось перенести на «Петропавловск». Его связывали шаг за шагом, но попытки сопротивляться только истощали его силы. Всю жизнь приходилось ему бороться на два фронта, и он чувствовал, что больше его на это не хватает.

9

Упущенное не возвращается. Японская эскадра имела уже решающий перевес. Она появлялась почти ежедневно и, скрываясь за горой Ляотешань, начина-

ла бить по бассейну перекидным огнем. Между судами вскакивали громадные водяные столбы, точно тут и там зарождались фонтаны. Крепостные орудия не могли помешать противнику. Артурские стратеги считали идею перекидной стрельбы абсурдом, и на том берегу не было соответствующих батарей. Чтоб помешать неприятелю расстреливать флот с безопасного места, пришлось кустарно намосить деления на прицел орудий для стрельбы на расстояния, считавшиеся чрезмерными.

Японцы быстро пристреливались, и однажды снаряд ударил в «Ретвизан». У левого борта близ трапа закружился дымок. Наверх выскочили мастеровые и матросы. Дерево загорелось, распространяя удушливую вонь. Сквозь дым можно было разглядеть, как осколки, веером отскакивая от брони, летели в выкачивавший воду портовой пароход. Там засуегились, забегали, отдавая носовые швартовы броненосца. Тяжело разворачиваясь, он повернулся вправо и выбросился на отмель носом. Судовое начальство накинuloсь на рабочих:

— Марш по местам, тыловые крысы!

Высокий перепачканный мастеровой язвительно попросил:

— Может, ваше благородие дорогу нам покажет?

Офицер отвернулся. Морцы попытались остановить поток воды, заливавший пробитый кессон. Это были закаленные люди, в прошлом — моряки из машинных и технических команд, ко всему привычные, бесстрашные и отважные.

— Счастливо отделались, — мрачно сказал комендор, в бессильной злобе ходивший по плутонгу около бесполезного орудия. — Угоди он сажени две ниже — аккурат в бомбовый погреб.

Новый удар потряс броненосец. Снаряд ударил в правый борт под кормовой башней. «Ретвизан» загудел, закачался. Казалось, вот-вот он рухнет.

— Не везет ему, — сочувственно произнес кто-то.

— Надрывайся тут, чтоб тебя тыловой крысой обзывали, — зло отозвался другой.

Новый снаряд с шипением шлепнулся у борта, но не разорвался, а, подняв водяную гору, обрушил ее на палубу.

К лазарету потянулись раненые. У одного была разбита рука, у другого оторван подбородок. На носилках пронесли минера с раздробленными ногами. Обгоняя его, прошел матрос с окровавленным лицом; у него, как бритвой, срезало кончик носа.

10

Морцы уныло плелись домой. С Николаевского бульвара доносилась музыка, но она мало веселила. Они остановились около флотского оркестра, лихо наигрывавшего бравурный марш. Особенно старался барабанщик, бывший в барабан так, точно задался целью пробить его насквозь. Морцев удивило не столько его усердие, сколько знаки, которые он им делал.

— Да это приятель Кузьмина! — сказал один. — Как он в оркестр попал?

— Может, дело есть, — догадался другой. — Сядем-ка на скамейке да обождем.

Лавров, убедившись, что его поняли, так ударил в барабан, что дирижер, зверски ворочая белками, ткнул в него палочкой. Но тот не унимался. Он загрохотал медными тарелками, заглушая весь оркестр. Дирижер поспешил закончить марш и подошел к злополучному барабанщику.

О чем он говорил, не было слышно, но Лавров с самой постной физиономией передал другому палочки и побрел прочь от оркестра. Отойдя, он хитро подмигнул рабочим одним глазом. Они последовали за ним.

— Никак не мог на берег отлучиться, пришлось музыкантом заделаться. — засмеялся он, едва они удалились с бульвара. — Мне надо для одного дела пару ребят покрепче.

Людей нашли сразу, и Лавров направился с ними к вокзалу.

— Литературку выслали, да вот загвоздка: как ее получить? Ты, — он ткнул в одного пальцем, — найми ломовика. Дай ему вымышленный адрес и

вот эту багажную квитанцию. Если за ломовиком следить будут, уходи. Если все гладко, вези к себе.

— Мы в бараках.

— Второй за это время подыщет надежную квартиру.

Ломовика нашли скоро. Лавров провожал его издали, стараясь не потерять из виду при поворотах.

На станции было пустынно. Сдерживая сердцебиение, Иван наблюдал, как извозчик предъявил багажную квитанцию, как равнодушно железнодорожник взял ее. Вот ломовик поднял громоздкий тюк и, согнувшись, понес к телеге.

Возбужденно шел матрос за подводой с драгоценным грузом. У Пушкинской его обеспокоило отсутствие получателя багажа. Но скоро он заметил его в подворотне и свернул туда.

— Что делать? Не вернулся товарищ, искавший квартиру.

Приятели в тревоге задумались.

— Он придет по вымышленному адресу, его там пошлют к чорту или захотят узнать, что в тюке.

Лавров беспокойно засопел.

— Чорт возьми! Задержи его.

— Как?

— Скажи, что у тебя горит дом, что снаряд разорвался на чердаке, что напали хунхузы. Скажи, что хочешь, но задержи хоть на четверть часа.

Он побежал в книжный магазин, где часто покупал книги.

— Ко мне багаж прибыл из Питера, а мне на вахту. Разрешите оставить на часок?

Хозяин согласился. Лавров побежал к подводе, где товарищ препирался с несговорчивым ломовиком.

Только к вечеру нашли надежную квартиру для литературы. Напихав, куда только можно, газеты, брошюры и листовки, Лавров вернулся на миноносец. Кузьмин с нетерпением поджидал его. Забившись в дальний отсек трюма, друзья набросились на литературу.

— «Вести последовательную пораженческую линию...». Ничего не понимаю. «Капитуляция Артура станет прологом капитуляции царизма...». Филат, что все это значит?

— Это значит, Ваня... А тебе самому разве не приходило в голову — с такими порядками, с такими командирами, с такими кораблями не победить, хоть лопни. Тут героизм бесполезен.

Лавров крепко задумался.

— Этого я не могу... Как же так? Поражение своих... Но разве я не знаю Японии? Думаешь, там лучше, чем у нас?

— Настанет и их черед, Ваня. Японский народ сам убедится, кто выиграет от войны, и поднимется против своего микады, как и мы... Давай-ка читать, там мы больше узнаем...

Они снова углубились в привезенную литературу.

11.

Стратеги из-под адмиралтейского шпица руководили боевыми операциями, сидя в Петербурге. Получив сведения, что японский флот базируется у островов Элиот, генерал-адмирал предписал тихоокеанской эскадре атаковать его. Ослушаться начальства Макаров не решился: и так отношения были достаточно натянуты. В ночь на 31 марта восемь миноносцев были высланы к островам Элиот.

После обеда Лавров, всегда все узнававший раньше всех, сообщил Кузьмину, что «Страшный» тоже пойдет в ночной поиск.

— Не хотели брать, командир напросился, — негодовал он. — Тоже со своей рваной калошей в герои метит.

Кузьмин, не любивший лишних слов, промолчал и направился в кубрик написать перед уходом письма.

Снялись, как только стемнело. Ночь была безлунная, море казалось черным, по небу крались мохнатые тучи. Чтоб не растерять друг друга, с головного приказали держаться вместе, дабы можно было переговариваться голосом.

Погода портилась. Полил дождь. Плавание делалось опасным, трудно стало держаться на курсе. Но возвращаться ночью в Артур — значило подвергаться риску попасть под огонь собственных батарей. Решили итти дальше.

У Дальнего на левом траверзе заме-

тили какие-то огни. Предполагая, что это кормовые фонари неприятельских миноносцев, от них стали уходить. Японцы, вероятно, тоже приняли огни за свои.

— Не лучше ли вернуться? — тревожно стали запрашивать с миноносцев.

— Если в десять часов берег не откроется, повернем, — ответили с головного.

Дождь поливал все гуще. Несмотря на кормовые огни, миноносцам все труднее становилось разглядеть друг друга. К десяти часам хотели повернуть, когда показался высокий берег острова Хайлюндао. Отряд потушил огни.

Где-то вспугнул тишину выстрел. Миноносцы теснее подтянулись друг к другу: за головным, вместо семи, следовало только четыре судна.

Из отбившихся два благополучно вернулись в Артур. Но «Страшный» был тритоновской постройки и плохо держался на курсе. Носясь по сердитому морю, жадно всматривались в темноту. Но дальше полукабельтова ничего не было видно, и командиру «Страшного» становилось страшно.

Беспокойство передалось команде. Задраенная в своих отсеках, она по неверному, часто меняемому курсу поняла, что корабль блуждает. До команды дошло и то, что растеряли своих, и, стоя у кочегарок и клапанов, матросы тревожно ловили вести сверху.

Кузьмин дежурил в правой машине. Вал мелькал перед глазами, вызывая головокружение; раскаленные цилиндры глухо гудели, а с мостика в переговорную трубу кричал истерический голос:

— Малый! Самый малый!

Филат давно сбросил форменку, бескозырку и в одной тельняшке, мокрый, как загнанная лошадь, передвигал рычаги. Открывая и закрывая клапаны, он еле успевал вытирать с лица едкий пот...

Из левой машины раздался стук. Кивнув помощнику, Филат пошел к переборке.

Лавров передавал, что в море показались огни. Неугомонный парень, по обыкновению, все знал первый. Он ус-

пел несколько раз побывать на верхней палубе, помогая ремонтировать заевшее срудие. Сейчас, задранный в отсеке, он вздумал переговариваться по тюремной азбуке.

— Коли туго придется, — твердо стучал он, заставляя говорить глухую сталь, — отвинчивай люк, вылезем.

В переговорную трубу рычал нетерпеливый баритон командира. Кузьмин прервал разговор и побежал на свое место.

— Полный!

Нервный, подрагивающий голос подтверждал опасения.

Прошло несколько томительных минут. Наверху, видно, совещались. Труба загудела весело:

— Самый полный!

Отлегло от сердца — свои! Кузьмин снял ботинки, размял взопревшие ноги и сел передохнуть.

Его опять потревожил стук из левого отсека. Он подошел к переборке:

— Готовься, — часто стучал Лавров.

— Что там?

— Японцы рядом идут. — Он сделал выразительный перебой. — Их восемь!

Кузьмин молча обдумывал сказанное. Лавров снова застучал:

— Подымали позывные, они не ответили.

Опять свистнула переговорная труба. Кузьмин отошел от переборки. Он надел форменку, достал спасательный пояс.

Серое утро раздвинуло предрассветную муть. Командир «Страшного» тщетно глядывался в окружающие его суда. Измученный неизвестностью, он приказал поднять флаг и повторить позывные, хотя сигнал должна поднимать сильнейшая сторона.

Медленно и неохотно полз андреевский флаг, предостерегающе хлопая по мачте. Почти одновременно суда, с которыми «Страшный» бок-о-бок мотался всю ночь, дали залп. Упрямый командир убедился, что находится рядом с теми, от кого желал быть как можно дальше.

Дав полный ход, «Страшный» выпустил мину из кормового аппарата по ближайшему кораблю. Бить боевую тре-

вогу было излишне: команда разбежалась по местам вместе с залпом «попутчиков».

Стремительно разрывая волну, «Страшный» мчался к Артуру. Вспененная вода двумя валами расходилась за миноносцем, оставляя широкий след. Снаряды догоняли его, свивали в кольца трубы, взрывали борта. Искалеченный, он летел, вздымая водяные гребни, спасаясь от смерти. Убитый командир свалился с мостика, мичман лежал раненный, застигнутый осколком инженер-механик упал, неловко прислонившись к борту. Голова его откатилась в сторону, поливая палубу кровью. Но «Страшный» продолжал борьбу.

До ближайших батарей Артура осталось уже немного, когда три снаряда одновременно попали в миноносец. Они с грохотом взорвались, вырвав часть палубы. От сотрясения все на «Страшном» задрожало. Кузьмин, оглушенный, свалился у остановившейся машины. Он с трудом поднялся, пытаясь найти повреждение, когда с левой стороны открылся иллюминатор и в горловине появилась курчавая голова Лаврова.

— Беги, балда! — кричал он, протискивая через иллюминатор широкие плечи. — Капут «Страшному»!

К Лаврову подбежал кондуктор и, упершись в его голову, стал выталкивать его назад в левую машину. Кузьмин хотел побежать на подмогу товарищу, но ощутил слабость в ногах и схватился за помпу. Беспомощный, он наблюдал борьбу матроса с кондуктором. Никто не решался вмешаться, и тому удалось протолкнуть Лаврова назад. Но раньше, чем он успел захлопнуть иллюминатор, кто-то из левой машины просунул в горловину палку. Кондуктор напрягся, как бык. Он тщетно пытался выбросить брус, чтоб задрать крышку. Из горловины просунулась рука с маховичком и ударила его по голове.

Все побежали. Кузьмин попробовал двинуться к трапу, но зашатался от головокружения. Лавров подбежал к крану и, открыв воду, окатил товарища из шланга. Филат очнулся. Подхватив ослабшего друга, матрос устремился наверх.

«Страшный» слабо отвечал на огонь. Единственный уцелевший офицер, пьяный от дыма и ужаса, метался по палубе и в диком исступлении рычал:

— Погибнем, но не сдадимся!

Японцы суетились вокруг миноносца, стараясь отрезать ему путь к Артуру. У орудий валялись горы изуродованных трупов, но лейтенант ничего не предпринимал, чтоб вызвать новую смену. Осколок задел его голову, и содранная кожа висела над лицом, заливая его кровью. Меньше всего можно было ожидать от него команды или хотя бы приказа о спасении задраенных внизу людей.

Лавров схватил койку, привязал к ней Кузьмина и, подняв его, последний раз посмотрел вокруг себя: японцы спускали шлюпки, очевидно, собираясь взять миноносец на буксир. Матрос опустил койку на палубу и, подойдя к лейтенанту, тронул его за плечо. Тот дико отпрыгнул и оскалдился, как помешанный, точно собираясь кусаться. Махнув на него рукой, Лавров устремился к переговорной трубе.

— Братва, наверх! — закричал он и, подбежав к орудью, прицелился в спущенную шлюпку. Хлопнул выстрел, лодка брызнула вихрем щеп. Японцы забегали по своим миноносцам, открывая огонь. Лейтенант взмахнул руками и упал за борт. Лавров побежал по палубе, помогая выбежавшим матросам очистить место у орудий. Бой завязался с новой силой.

— По местам, лишние вниз! — крикнул он, увидев, что все устремились наверх. — Надо пустить машину, тут без пользы перестреляют.

— Лишние вниз, по местам! — подбадривали друг друга матросы. Из Артура, наверно, подмогу вышлют.

Трудно было бороться одному против шести, имея лишь 47-миллиметровые срудия против 75-миллиметровых у неприятеля. Но миноносец грызался, как мог.

К Лаврову подбежал минер. Все, как по уговору, признали за машинистом право распоряжаться.

— Ваня, носовой минный аппарат заряжен. Не дай бог снаряд...

— Разряди, разряди! — крикнул Лавров, поняв с полуслова, какая опасность угрожает миноносцу.

Но было поздно, предательский снаряд ударил в неразряженный аппарат. Мина взорвалась, вырвав часть палубы. Миноносец подскочил, точно его подбросила неведомая сила, и медленно стал оседать.

Японцы хладнокровно продолжали расстреливать гибнущий корабль. Когда ледяная вода достигла борта, Лавров оторвался от орудия.

— Спасайся, братва! — крикнул он в переговорную трубу. Подняв все еще находившегося в обморочном состоянии Кузьмина, он бросил его за борт. Подождя, пока выскочили немногочисленные уцелевшие матросы, он прыгнул вслед за ними с погружающегося корабля. Сильными взмахами рассекая волну, он ушел глубоко в холодную воду. Вынырнув, он поискал глазами Кузьмина и поплыл к нему.

— Ну, как, отошел? — сумрачно спросил он товарища, стараясь не глядеть назад.

— Смотри, — слабо ответил тот, — японцы шлюпки спускают.

— Ты старайся отплыть подальше, я помогу, — посоветовал Лавров, переворачиваясь на спину. — Артур близко, верно, вышлют кого.

12

Сторожевые суда заметили на юго-востоке в сетке дождя вспышки огоньков и поняли, что недалеко завязался неравный бой. Скоро донеслись отдаленные раскаты. «Баян» быстро снялся с якоря и помчался из гавани. Но бой одного против восьми не мог длиться долго. Крейсер опоздал. На обломках плавало пять матросов, а кругом рыскал враг, стараясь подобрать пленных. «Баян» разогнал миноносцы и спустил шлюпки.

На него полным ходом налетело четыре японских легких крейсера. Он стал между ними и цепляющимися за обломки людьми, прикрыв их, как щитом, высоким бортом.

С «Дианы», стоявшей в проходе, за-

метили, что «Баян» на полном ходу застопорил машину. Крейсер пошел на помощь, но вместо проектных двадцати узлов он давал едва семнадцать. К счастью, обгоняя его, вихрем помчался к месту боя «Новик», следом за ним шел «Аскольд».

— Вот это ход! — с восхищением провожали их с «Дианы». — Видно, что за границей строились, не то, что наша богиня.

Из гавани вытягивалась вся эскадра. Навстречу из мглы показались японские броненосцы. Макаров, проходя на «Петропавловске» мимо кораблей, показался на левом крыле верхнего мостика. Барашковский воротник черного пальто подпирал его раздвоенную бороду, трепетавшую от ветра.

— Здорово, молодцы! — резко стлался над морем его громкий голос.

— Здравия желаем! — дружно и возбужденно кричали с кораблей.

— Дай бог, в добрый час!

— Ура! — неслось с кораблей.

В 8.40 показалась вся японская эскадра. Макаров повернул к Артуру и вступил под защиту береговых батарей. Японцы подошли к Ляотешаню. Опасаясь, что они начнут бомбардировку перекидным огнем, адмирал не вошел в гавань, решив предпринять обычное крейсерство от Белого Волка к Крестовой горе. В суете забылись замеченные ночью в лучах прожектора подозрительные силуэты судов.

Лавров и Кузьмин, переодетые в сухую одежду, стоя на палубе «Баяна», вели тихую беседу.

— Этот будто уж настоящий; да все равно, — говорил Лавров. — Смотри, бой не состоялся, а два броненосца станут на ремонт.

Кузьмин, еще не оправившийся от потрясений, вяло спросил:

— Что, мина?

— Какое! При выходе «Пересвет» приткнулся к мели, а «Севастополь» так неуклюже разворачивался, что угодил ему под нос.

Над эскадрой повис протяжный, раскатистый взрыв. Команда, которой было разрешено обедать и прибраться, рванулась к своим местам.

— «Петропавловск»! «Петропавловск»! — закричали со всех сторон.

Увлекаемые толпой, Лавров и Кузьмин побежали на другой борт. Над адмиральским броненосцем трепетало гигантское бурое облако. В нем, как переполошившиеся птицы, вверх и вниз летали мачты, обломки, люди.

— Пироксилин! Минный погреб!

Второй гулкой взрыв заглушил голоса. Клубы белого пара заслонили растущий бурый ком.

— Котлы! — отчаянно вскрикнул кто-то.

Третий взрыв не дал ему договорить. Корма броненосца стала медленно подниматься, резко и круто нависая над палубой. Показалась алая, как кровь, краска подводной части, быстро и отчаянно заработали в воздухе лопасти винтов. Корма точно разорвалась, вихрь и пламя брызнули из нее наверх. На минуту мелькнули скользящие по наклонной палубе матросы — и все рухнуло.

Оцепенение охватило команды. Суровая тишина сменила взрывы, точно море поглотило не один броненосец, а всю эскадру. В глубоком молчании корабли двигались дальше за «Пересветом», не решаясь ничего предпринять.

Снова раздался глухой удар минного взрыва, и «Победа» начала медленно крениться. «Пересвет» застопорил машину и бросился влево. Строй спутался. Эскадра сбилась в кучу.

Со всех судов сорвались выстрелы. Среди беспорядочно столпившихся кораблей вздымались струи брызг. С «Победы» в воду полетели койки. Люди, бросая свои места, искали спасательные круги, порываясь броситься в море. С подбитого броненосца спускались шлюпки. Над ним летели снаряды, порождая панику. С «Петропавловском» погибло 800 человек. На «Победе» не хотели разделить их участь.

Заговорили тяжелые мэртыры Тигрового полуострова. Снаряды свистели над головой. Осколки звякали о борт. Рев металла наводил ужас. Вступая в драку из-за спасательных поясов, матросы кричали:

— Коней пришел!

— Подводные лодки!

Лавров перегнулся через борт «Баяна».

— Видал? — прокричал он Кузьмину. — Друг в дружку лупят, а офицеры еще шлюпки спускают. Поостынут, начнут для собственного оправдания неповинных стегать.

Точно в подтверждение его слов, по палубе пробежал старший офицер, выволакивая за шиворот на мостик горниста и крича диким голосом:

— Дробь, играй дробь, сукин сын! Как играешь, мерзавец? Кишки выпусти, дуи, пока не лопнешь!

Неверный дрожащий звук горна прорезал воздух. Все громче и резче становился он, но на него не обращали внимания.

— Что ж это такое? — спросил с трудом соображавший Кузьмин.

— Паника! — ответил Лавров, зло махнув рукой. — Видал? Сами начали, а теперь зуботычины пустили в ход.

— Ведь ты, стервец, по «Диане» жарись! — тряс офицер комендора, сясь оторвать от орудия.

— В кого целишь, в кого? — яростно наседа на другого артиллерийский кондуктор.

На «Пересвете» подняли сигнал: входить в гавань. Догадайся японцы, что тут происходит, они могли бы легко утопить подбитую эскадру, сосредоточив огонь в центре кучи судов, метавшихся на месте, стрелявших друг в друга. Но японцы были слишком хорошего мнения о своем противнике и, как и в день первой атаки, не воспользовались случаем уничтожить неприятеля.

13

Спускаясь по трапу «Баяна» на берег, Кузьмин заметил на набережной притаившуюся между тюками и ящиками фигуру, наблюдавшую за проходившими шлюпками. По блудливому, бегающему взгляду и беспокойной позе в ней нетрудно было узнать шпика. Кузьмин подтолкнул Лаврова и схватился за место, где полагается торчать козырьку кепки. Нашупав голый лоб, обтянутый матросской бескозыркой, он полез в

карман за платком и стал протирать глаз, чтоб закрыть лицо. Но филер уже заметил их и сделал какой-то знак. К ним подошли полицейские и, окружив, быстро повели к дворцу наместника.

Алексеев гневный ходил по кабинету. Он привык, чтоб все тут беспрекословно подчинялось ему, и вдруг какие-то мастеровые сопротивляются ему в такую тяжелую минуту, и все его попытки сломить их упорство ни к чему. С раннего утра к нему приводили на допрос рабочих. Он был уверен, что это затесавшиеся сюда поляки или евреи. Но все оказались русскими людьми. И все же тщетны были напоминания о родине, долге, присяге царю и отечеству.

— Что я — крепостной? — монотонно твердил каждый. — Где хочу, там работаю.

Он приказал обойти все корабли, чтоб найти матросов, которые были по донесениям в контакте с бунтовщиками. Во флоте он, во всяком случае, искоренит крамолу. И Алексеев с нетерпением ждал привода арестованных.

— Негодяи! — закричал он, как только они переступили порог. — Изменники! Лютой казнью казнью!

Они молчали, доводя его этим до бешенства. Генералы и адмиралы бледнели от одного его слова, а эти смотрят в глаза, как праведники.

Он сел за стол. Конвой подвел матросов поближе.

— Почему вы шляетесь в рабочие ба-раки? — вцепился он в арестованных.

— К товарищам ходить запрету нет, — задорно ответил Лавров, который не признавал пассивного сопротивления и не хотел молчать. — Мы сами раньше там жили.

— А нелегальщину кто по кораблям разбрасывает?

— Кто его знает? — с простоватым видом пожал плечами матрос.

— Врешь! Ты Крапоткина читаешь! — наместник хотел сказать не то, но от спокойствия этих людей у него путались мысли.

Лавров был не из терпеливых.

— И вам бы посоветовал, — резко проговорил он.

— Что.... что?! — теряясь, закричал Алексеев. — Убрать этих негодяев! Замуровать!.. Сгноить!..

Он захлопнулся и упал в кресло, моргая правым глазом. Арестованных выволокли и отвезли в тюрьму.

Кузьмин расхворался. Брошенный в одиночную камеру, он лежал целый день на койке, делая усилия, чтоб не впасть в беспамятство.

С ним кто-то настойчиво пытался перестукиваться. Он стал часто забываться и не был уверен, не мерещится ли это ему. Однажды он явственно разобрал вопрос: к какой партии вы принадлежите? Заподозрел провокатора и не отозвался.

Он стал погружаться в тяжелую забывчивость. Его одолевали кошмары, и он просыпался расслабленный, потный, чувствуя невыносимую ломоту и жар во всем теле. Он жадно цеплялся за все более редкие часы бодрствования, пытаясь обдумать свое положение и найти выход. Надежда воплощалась для него в образе нового друга, от которого он почему-то ждал чего-то необыкновенного.

Лавров спал почти круглые сутки. Его энергичная, деятельная натура всегда тратила больше, чем накопляла, и теперь точно обрадовалась отдыху, стараясь наверстать упущенное. Он потерял счет дням и тосковал только о Кити.

Как-то, проснувшись, он увидел на потолке солнечного зайчика. Показалось, что сегодня первое мая, и ему взгрустнулось. Попытки перестукиваться с соседями ни к чему не приводили. Отрезанный от всего мира, он ходил по камере, измышляя способ выбраться отсюда.

Ему бросился в глаза красный сенник. Моментально вспыхнули десятки планов.

Он дождался, пока вывели уголовных гулять. Вобразившись на подоконник, открыл верхнюю откидную часть окна и выглянул осторожно вниз: по каменному мешку гуляли узники. Он спрыгнул на пол и, бросая частые взгляды на глазок дверей, быстро стал раслаживаться сенник. Высыпав солому на койку, матрос опять взобрался на под-

оконник и просунул красный лоскут через решетку.

Внизу остановились. Раздались удивленные восклицания. Часовой вскинул винтовку и выстрелил. Лавров, набрав полные легкие воздуха, закричал:

— Долой войну! Долой самодержавие!

Хлопнул второй выстрел. Зацепив лоскут за раму, Лавров повернулся, чтоб соскочить вниз, на пол. Пуля звякнула близко о камень, и он, поскользнувшись о косой подоконник, потерял равновесие. Падая, он выставил руки и все же стукнулся о стол головой.

Красное знамя трепетало над тюремным двором. Внизу на выстрелы бежала караульная рота. У окон всех этажей, громоздясь друг на друга, толпились арестованные. Из камер, точно по сговору, полилась песня:

Отречемся от старого мира,
Отряхнем его прах с наших ног.
Нам не нужно золотого кумира,
Ненавистен нам царский чертог.

Солдаты загоняли в камеры выпущенных на прогулку, те упирались, кричали, дрались. Из окон стали бросать вниз ложки, подушки, ножки табуретов. Караульные открыли по зданию огонь.

Лавров, изо всех сил зажимая рану, ликующий, стоял посредине камеры, подтягивая во все горло:

Мы пойдем к нашим страждущим братьям,
Мы к голодному люду пойдем.

Зазвенели ключи, отодвинулся тяжелый засов. Часовые подались назад при виде поющего человека с окровавленным лицом.

С ним пошлем мы злодею проклятье,
На борьбу мы его позовем.

Часовые набросились на арестованного, пытаясь надеть наручники. Лавров долго сопротивлялся. Когда, обессиленный, он упал на каменный пол, разгоряченные часовые стали избивать его. Озверев от сопротивления и крови, они топтали его ногами, лупили прикладами. Лавров прятал лицо и извивался,

как вьюн, стараясь увернуться от ударов.

Дикое избиение прекратил приход дежурного, вызывавшего арестованного к коменданту. Прибежал фельдшер сделать перевязку. Морщась от боли, Лавров раздумывал, что бы еще могли затеять тюремщики.

Его вывели из тюрьмы и посадили в карету. В темноте он с трудом различил Кузьмина. Тот старался держаться бодро, но Лавров почувствовал, каким жаром пышет его тело.

Карета быстро мчалась, вползая на горы, катясь вниз. Она остановилась у какого-то здания с высокой кирпичной стеной, мало чем отличавшегося от тюрьмы. Но это была не тюрьма, и Лавров с радостью увидел во дворе людей в белых халатах.

«Кузьмина в больницу, — с облегчением подумал он, — а меня что же?.. Неужели из-за головы?».

Их ввели в приемную. С ними ласково говорили врачи. Их переодели в халаты и повели.

— Коллега, как же здоровых в буйное отделение? — расслышали матросы дрожащий возмущением, приглушенный голос.

Они остановились, пораженные. Высокий нервный фальцет пропищал:

— Собственноручный приказ наместника. Попробуйте поспорить!

Глава XI

Побег

1

Несвижскому случилось быть очевидцем гибели «Петропавловска».

Никогда еще пасха не приносила так мало радости, как в этом году. Праздники были отравлены тревогой, вызванной слухами, что готовится высадка и резня.

Артур, казалось, дремал, с'ежившись у заряженных орудий. Он поражал пустотой и безмолвием. Черные глазницы окон, потерявших при бомбардировке стекла, угрюмо смотрели на редких прохожих. Магазины были пусты, дома за-

колочены. Суда в своей темной окраске выглядели, как в трауре.

В эти дни Несвижский находился в подавленном состоянии. Он избегал своей квартиры, словно там его подстерегала смерть. Он ослабел от постоянного напряжения, потерял сон. По ночам малодушно прятал голову под подушку, чтобы не слышать ужасного грохота канонады. Ему казалось, что взрывы приближаются, что именно его нащупывает неприятельская артиллерия.

Один из его приятелей-артиллеристов пригласил его «на игрушку» в форт. Несвижский пошел почти с удовольствием.

В тесном каземате он застал шумную компанию за картами. Инженер прикурнул в кресле, следя за игрой, и незаметно задремал.

Проснулся он от громкого спора. У столика, заставленного бутылками и закусками, шумели офицеры. Небольшая лампа освещала возбужденную группу людей и кучу ассигнаций на столе. Свет отражался на золотых погонах и металлических пуговицах, бросая скользкие тени на разгоряченные лица.

Несвижский опять задремал. Когда он проснулся, в узкое окно каземата пробивался рассвет. На столе стояли полуопорожненные стаканы, пустые бутылки, большая коробка с папиросами. Цементный пол был покрыт плевками, окурками, картами.

Инженер направился к дверям. Артиллерист поднялся прогнать его. Прощаясь с необщительным гостем, багиста произнес:

— Я почти вернул свое. Им ничего, у них там всякие поставки и подряды, а мне какво выворачиваться?

Несвижский стал спускаться с горы. Бесконечной, необозримой равниной уходило вдаль море; на рейде, в неверном свете луны, чернели броненосцы, катера, шлюпки. Надстройки затопленных судов торчали над водой, как пни вырубленного леса.

Внезапно на горизонте загорелись бледножелтые огоньки, и сухой треск всколыхнул настороженную тишину. По вспышкам видно было, что идет бой одного со многими; очевидно, постоян-

но шнырявшие у Артура японские суда подстерегли какой-нибудь отставший русский миноносец. Отступающий отстреливался редко, точно изнемогая.

С Золотой горы брызнули лучи прожектора. Они, точно живые, бродили по волнам, сходясь и разбегаясь. Между рядами бон и бочек медленно выходил «Баян». Он устремился в море, открыв жестокий бортовой огонь. Ему на помощь тронулась «Диана». Обгоняя ее, вихрем промчались «Новик» и «Аскольд». Быстро надвигающийся рассвет давал возможность разглядеть весь рейд: броненосцы снимались с якоря и грузно вытягивались в море.

Несвижский с волнением наблюдал бой. На Электрический утес группами и в одиночку поднимались офицеры с биноклями и подзорными трубами. Начальник крепостной артиллерии почти бегом взобрался наверх и остановился недалеко от инженера.

В море показались дымки неприятельского флота. Русская эскадра стала поворачивать назад.

Вдруг у носа «Петропавловска» взметнулся столб белого дыма, за ним из середины броненосца вырвался буроранжевый клубок.

До Электрического утеса донесся взрыв, за ним второй, третий. Бурый дым повалил гуще, показались языки пламени. Корма броненосца вертикально поднялась над водой, быстро, быстро заработали вхолостую вылезшие из воды лопасти гребного винта.

«Неужели?» — в ужасе подумал Несвижский. Он в смятении наблюдал, как кренилась палуба. Вот она уже перпендикулярна к воде. Отважные люди, доверившие свою жизнь строителям флота, скользя и падая, беспомощно карабкались на занявший место палубы борт.

На мгновение показался киль броненосца, и все исчезло. Несвижский бесильно опустился на землю.

— Опрокинулся, перевернулся, — бесвязно бормотал он.

Кругом поднялась паника. Казалось, вот-вот под следующими кораблями тоже вскипит вода, и они последуют за флагманом. Предполагая присутствие

подводной лодки, эскадра шарахнулась от входа в гавань. Береговые батареи беспорядочно палили по узкому проходу, снаряды ложились около не успевшей отойти «Победы». Наблюдавший переполюх начальник крепостной артиллерии велел адъютанту передать по телефону приказ о прекращении стрельбы, но через минуту два новых снаряда легли между бонами.

— Я приказал прекратить огонь! — яростно крикнул он, хватая телефонную трубку.

Ему долго что-то объясняли, он сердился, кричал. С фортов продолжали палить. Бросив трубку, он длинно выругался.

— Уверяют, что с батареями ясно видна подводная лодка.

В поднятой суматохе Несвижский сидел безучастно. Это был день всеобщего потрясения. Но для всех это была гибель одного из шести тихоокеанских броненосцев и лучшего адмирала. А для Несвижского в этот день погиб весь русский флот. Он пробовал себе доказать, что от мины произошла детонация, взрыв пороховых погребов и кочегарок, что этого не выдержал бы ни один броненосец в мире, но в мозгу, как молотком, стучало:

— Опрокинулся. Через полминуты — килем вверх.

2

Принявший командование эскадрой адмирал Алексеев ни во что не вникал, и исправление поврежденных судов затормозилось.

С самого начала, когда Несвижскому поручили ремонт подорванных кораблей, его поразил окружающий хаос. Не только дока—мастерских порядочных не оказалось в порту. Русских рабочих туда раньше не брали, гонясь за дешевым трудом китайцев, приехавшие же недавно рабочие не успели приспособиться к новым условиям. Усердно трудившиеся китайцы обалдевали за день от криков, брани и разноречивых приказаний несведущих в корабельном деле инженеров.

Они оказались неспособными даже снять с мели загораживающий проход «Ретвизан». Этому броненосцу особенно

не повезло. Если петербургский инженер не умел рассчитать корабль, то артурский не мог даже толково сделать кессон. Первый же кессон не выдержал давления и разломался. Второй оказался мал и не закрывал трещин, расплывшихся от пробойны. Несмотря на работу мощных насосов, вода не убывала. Принимая на себя все атаки, «Ретвизан» стоял у Маячной горы, пришвартовавшись кормой к бочке и приткнувшись носом к мели.

Несвижский спустил водолазов. Они подвели пластыри под щели, и броненосец всплыл. Его отвели в бассейн, освободив, наконец, проход.

Но «Ретвизан» все еще клевал носом. Пластыри приходилось беспрерывно подкреплять, спуская ежедневно водолазов. День и ночь работали помпы и насосы. И все же с трудом удавалось удерживать воду на постоянном уровне; броненосец то-и-дело погружался в жидкий, вязкий ил западного бассейна. Многие считали его обреченным и предлагали свозить команду на берег.

Несвижский осмотрел подведенный кессон. Это было простое, деревянное сооружение, не требующее от конструктора особых талантов. В огромном ящике две стороны из шести открыты: наверху для входа мастеровых, сбоку, чтобы прилегать к поврежденному борту. Эта единственная требующая точности сторона должна была соответствовать обводам судна, чтобы прильнуть плотно и не пропускать воду.

Но кессон никуда не годился. Когда, приладив его к броненосцу, выкачали воду и ящик давлением прижало к «Ретвизану», обнаружилось несоответствие между его формой и бортом. Пришлось делать новый кессон.

Но главные трудности встретились на «Цесаревиче». Он был подорван с кормы, где борт гораздо более изогнут. Сквозь кессон необходимо было пропустить вал гребного винта. Артурские специалисты боялись приступать к этой работе. Небольшая неточность, какой-нибудь дюйм в обводе кессона вправо или влево, могла при установке погнуть вал. Броненосец пришлось бы бросить.

Несвижского, впрочем, смущало не это. Его ошеломило сопротивление, на которое он наткнулся на «Цесаревиче». Привыкнув все делать вдумчиво, инженер облазил весь корабль, тщательно обследовал пораженные места и пришел к выводу, что сила взрыва не могла не отразиться на руле. Он решил разобрать рулевое устройство, уверенный, что рама рулевого аппарата повреждена. Но командир броненосца категорически воспротивился этому.

Что командир заинтересован представить повреждения злополучной ночи как можно меньшими, Несвижский понимал, — она дала ему «мечи» к пожалованному раньше Владимиру 3-й степени. Но взятый им тон и упорство были совершенно недопустимы. Флотские офицеры считались образцом светскости и любезности, и инженер удивлялся, как может командир броненосца разговаривать с ним, как фельдфебель.

Все свои надежды он стал возлагать на Макарова, зная его чуткость и внимание к вопросам техники. Смерть адмирала похоронила эти надежды.

Несвижский не мог уступить, зная, что рулевой аппарат — душа броненосца. Но его настояния ни к чему не приводили. И, к своему удивлению, он заметил, что с ним грубы не только на «Цесаревиче». В штабе, на адмиральском судне, на «Ретвизане» — везде с ним обращались, как с низшим.

Раздумывая над этим, он стал пристальней приглядываться к флотским нравам и пришел к странному выводу: морские офицеры презирают труд. Инженер не может быть приобщен к их касте, потому что бывает грязен, перепачкан, потому что самая его профессия приближает его к мастеровому. Это в их глазах унижает человека, делает его недостойным их общества.

Такие вопросы вставали перед ним впервые и поразили его своей неожиданностью. Ошеломленный, он подумал:

«Я для них плебей».

И впервые в своей жизни Несвижский впал в апатию, почувствовав, что работа перестает его интересовать.

А тут одна неожиданная встреча окончательно потрясла его расшатанные нервы: в штабе заместника он столкнулся с женой Лаврова.

3

Китисан осталась в Дальнем, решив стойко перенести все сопутствующие войне лишения и невзгоды. Однако первый же вихрь лишил ее покоя.

Когда дошли вести о бомбардировке Артура, дальнинцев охватила такая паника, словно снаряды сметали дома не за 60 верст, а здесь, рядом. Будто по сигналу, население бросилось на станцию, штурмуя поезда.

Китисан в первую минуту поддалась общей волне. Укрепив ребенка на спине, она устремилась к вокзалу, еле неся чемодан с пожитками. Теснота и давка у кассы несколько охладили ее. Женщине нечего было делать там, где и мужчине не удавалось пробиться. Носильщикам за билет платили такие деньги, что она только вздохнула.

Китисан медленно побрела обратно. Эти люди спешат домой, к родным и друзьям. Войска микадо, конечно, не пощадят ее, как изменницу. Но все, что у нее есть, находится здесь. Значит, и ее место здесь.

Когда первая волна беглецов схлынула, полуопустевший Дальний несколько утихомирился. Японский флот не подходил к Таляваню, не желая, очевидно, разрушать город, который может пригодиться. Наместник же заверял, что с суши опасности нет: кичжоусские позиции неприступны.

Для окончательного успокоения населения был объявлен обстоятельный план эвакуации. Предусмотрено было все: порядок отправления поездов, место сбора, вагоны для детей, женщин, стариков.

Не менее предусмотрительно готовились и ведомства. Под разные сооружения порта и гавани заложили пироксилин. Заводы, мол, склады, магазины — все мало-мальски ценное было минировано. На вокзале водрузили специальную колонку, к ней подвели провода, установили кнопку. После отправки последнего эшелона оставалось нажать кнопку — и город, стоявший сорок три

миллиона, эффектно взлетит вверх, похоронив кстати все отчеты и скучное депроизводство.

Китисан была целиком поглощена своим горем: Ваня не давал о себе знать. Она утешала себя мыслью, что теперь ему трудно надолго отлучиться с корабля, но написать-то он может, а ответа на письмо нет уже недели две. Не случилось ли с ним несчастье? Не ранен ли он?..

Она снова собралась в дорогу. На этот раз вокзал был пуст, и она облегченно вздохнула. Но билета ей не выдали: в Артур въезд запрещен, пусть пойдет к коменданту за пропуском.

Она мучительно искала лазейку. Нанять шампуньку и пробраться морем? Но кругом шныряют катера и миноносцы. Разве она не обязана сберечь Ване дочь?

20 апреля новая паника потрясла Дальний. Город обволакивали тревожные слухи о высадке, бомбардировках, обходах. Так как ни одно из намеченных мероприятий по эвакуации не осуществлялось, жители бросились на вокзал и в порт, к пароходу «Гирин». Трое суток измученные люди ожидали отправления. Наконец, поездом разрешен был выезд на север.

Китисан вместе со всеми бросилась в порт, но, узнав, что «Гирин» отправлять запрещено, направилась к вокзалу.

На перроне стоял поезд с плачущими женщинами и детьми. Он только что вернулся назад с полпути. Японская разведка обстреляла состав, и машинист еле успел дать задний ход и вывести поезд из-под огня.

Вместе со всеми Лаврова побежала к коменданту. Толпа требовала отправки в Артур, пока японцы не отрезали от него. Их успокоили, показав приказ заместника — всем оставаться на местах. «Дальнему не угрожает никакой опасности» — заверял адмирал Алексеев.

А в душную майскую ночь тревожный сон жителей нарушил стук в двери и грохот падающих в окна камней. Полицейские в панике орали что-то в разбитые стекла. Улицы мгновенно заполнились босыми, полуодетыми людьми, истерически что-то выкрикивающими.

На вокзал устремились кто в чем был, не помышляя не только о вещах, но и об одежде. Перед самым носом толпы от дебаркадера отвалил последний состав, нагруженный углем, хотя его в крепости были целые горы. Все бросились пешком по Артурской дороге. Человек в военной форме подошел к забытой красивой колонке и нажал кнопку. Все обернулись назад, как бы отдавая последний долг покойнику. Но взрыва не последовало. Город оставили врагу с переполненными складами и прекрасным оборудованием.

4

Китисан брела с ребенком за плечами и чемоданом в руках, все больше отставая от других. Люди бестолково торопились, стараясь обогнать друг друга. Слухи о японской разведке, толки о хунхузах вызывали все большее смятение, и беженцы, чтобы двигаться быстрее, бросали и то немногое, что успели захватить с собой.

Китисан жаль было расстаться с чемоданом, где лежал праздничный костюм Лаврова и ее платья. Напрягая последние силы, она дотащила с ним до деревни Шуйшун, надеясь там достать носильщика. Но китайцы разбежались в страхе перед двойным гнетом воюющих сторон.

Китисан присела на свой чемодан. Кругом плакали женщины, не желавшие, как и она, расставаться с последними вещами. Все возмущенно кричали, изливая друг перед другом свое горе. На станции осталось больше 500 вагонов, груженных всякими материалами. Все достанется врагу, а для них не отпустили ни одного.

На дороге поднялась легкая пыль. Чьи-то взвинченные нервы не выдержали:

— Японцы!

Бросая корзины и узлы, все ринулись вперед. Китисан бежала изо всех сил, не думая уже ни о костюме Вани, ни о платьях. Только бы убежать.

На рассвете паника несколько улеглась. Все начали подозрительно друг друга осматривать. Около Кити остановилась мрачная, высохшая женщина.

— Глядите, православные, никак японка затесалась!

Вокруг Лавровой сгрудилась толпа, неприязненно переговариваясь. Она уловила страшное слово «шпионка».

— Шли бы своей дорогой, одно у нас горе, — вмешалась хромая женщина с ребенком на руках и, заметив недоверчивые взгляды, добавила, — китайка это, у японцев глаза другие.

Толпа двинулась дальше. Хромая пошла рядом с Кити.

— Ты, голуба, дите на ружьи возьми, чтобы не цеплялись.

Лаврова сняла дочь с плеч. Девочка открыла глаза и заплакала. Мать на ходу сунула ей грудь.

Несколько раз крики «хунхузы» заставляли всех пускаться в бег. К вечеру люди перестали обращать внимание и на это. Все брели, как лунатики, валялись на землю, засыпали ненадолго и шли опять.

Утром Кити добралась, наконец, до Артура. Беженцы сидели на тротуарах, не зная, куда деваться. Старик-священник, возмущенно размахивая рукой, говорил:

— Что мы — подданные русского царя или нет? Существуют для нас закон и защита?

5

Лаврова заняла заколоченный домик бежавшего жителя, содрав доски с дверей и окон. Мебель оказалась на месте, на кровати даже сохранился сенник.

Продукты в Артуре ежедневно дорожали, их все труднее становилось доставать. Бомбардировки сметали целые дома и кварталы, грозные циркуляры приказывали женщинам покидать крепость или поступать в госпитали в сестры. Но ехать Кити было некуда, а в госпиталь японку вряд ли бы взяли, да и ребенка не с кем было оставить.

Она мирилась бы со всем, если б к ней хоть изредка заглядывал Ваня, если бы она чувствовала его присутствие где-то здесь, близко. Но он не являлся, несмотря на ее письма. Его исчезновение оборвало ту единственную ниточку, которая соединяла ее с жизнью. Она бродила целый день по городу, пытаюсь

узнать что-нибудь о муже. Отчаяние родило смелость, и она забиралась в штабы, подплывала на шампуньке к миноносцам, останавливала по улицам матросов, офицеров. Какой-то лейтенант отнеся к ней очень ласково, и она доверчиво начала рассказывать о своем несчастье, но он постарался увлечь ее в улицу пустынной, и она убежала. Одни бросали на нее похотливые взгляды, другие предлагали зайти как-нибудь вечером, третьи прямо пускали в ход руки. Однажды, когда она оттолкнула не в меру ретивого кавторанга, он даже пригрозил пристрелить ее, как шпионку.

Это испугало Кити, и она забилась в свою комнату, не решаясь больше ходить по улицам. Расстрелы шпионов стали будничным явлением в крепости. Почти ежедневно в штаб на расправу вели группы китайцев, связанных за косы. Говорили, что это переодетые японцы, отпустившие себе волосы и загримированные под китайцев, но Кити не верила этому.

И вдруг ей пришлось в этом убедиться самым неожиданным образом. К ней настойчиво постучался человек, одетый кули. Поколебавшись, она впустила его. Он сразу повел себя очень странно, тщательно запер за собой дверь, обнюхал все углы и уселся лишь тогда, когда убедился, что в комнате никого нет.

Китисан охватило беспокойство: этот кули хозяйничал здесь, точно у себя. Когда он наконец уселся (при всей своей ненаблюдательности Лаврова заметила, что он выбрал дальний темный угол), в комнате стало как-то тесно, неуютно. Заговорил он на чистейшем японском языке, окончательно ошарашив женщину:

— Ты изменница, Китисан, и достойна казни. Но микадо милостив, и если ты будешь послушна, он простит тебя.

— Араки! — вскрикнула женщина, узнав по голосу бывшего приказчика «Канегафуци».

Японец перебросил косу с одного плеча на другое и плотнее запахнул китайский халат. Его неприятно поразило, что эта женщина узнала его чуть не

с первого слова. Что ж, тем хуже, он не будет с ней церемониться.

— Да, я Араки, — раздельно проговорил он, — и я пришел к тебе не по своей воле, а по поручению нашего микадо.

6

На «Канегафуци» с Араки случилась беда. Он слишком вошел в свою роль и несколько раз покушался на девушек, которые приглянулись хозяину. Озлобившись, тот прогнал его с фабрики.

Араки долго не мог подыскать службы и уже начал предаваться отчаянию, когда ему повезло. Один приятель дал ему рекомендацию в «Черный дракон».

О такой удаче Араки и не смел мечтать. «Черный дракон» был в большом почете, его школу прошли виднейшие государственные деятели, с его могуществом мог поспорить разве тайный совет. Когда в 94-м году кабинет медлил с объявлением войны Китаю, «Черный дракон» одним маленьким покушением на жизнь премьера живо расшевелил министров. Они знали, какая участь ждет тех, кто идет против «Черного дракона». Незадолго до этого тихо покончил счеты с жизнью непокорный премьер.

Араки был послан в Порт-Артур. Ему, правда, не понравилось распоряжение стать цирюльником, — как-никак в Китае это презренная профессия. Но спорить не приходилось. А скоро он убедился, что хитрость «Черного дракона» поистине безгранична. Денег ему дали достаточно, и его парикмахерская оказалась лучшей в городе. Скоро все высшее общество ходило только к нему. Пока брили, стригли и завивали разных полковников и кавторангов, эти болтливые сороки выбалтывали все артурские и петербургские новости. И, наконец, вершина — чин придворного парикмахера наместника, вот когда он получил доступ всюду. Офицеры после этого долгом считали ходить к нему. Араки только посмеивался над своим невежеством. Оказалось, не только он, простой служащий, занимал такую должность. Офицеры токийского генерального шта-

ба работали в крепости прачками, разносчиками, а то и просто лакеями и кухарками.

Араки сидел, удобно развалившись на лавке, спокойно оглядывая испуганную женщину. Эта Китисан — прелакомый кусочек. Попробовать разве... Но нет, он достаточно проучен на «Канегафу-ци». Дело прежде всего.

— У вас муж русский, к вам больше доверия, — вкрадчиво сказал он, прерывая тягостное молчание. — Если вы согласитесь сообщать...

— Нет, нет, оставьте меня, — закричала Лаврова, выходя из оцепенения. — Вы уже один раз чуть не погубили меня.

Японец быстро вскочил с места, узкие глазки его сузились еще больше, придав всей его маленькой, юркой фигурке вид рыси, зажатой в капкан.

— Я даю тебе неделю срока — поразмысли. Не вздумай только прятаться, от нас ты не ускользнешь. — Он сделал несколько шагов к ней и угрожающе поднял руку. — Помни, глаза микадо далеко видят, руки микадо далеко достают. Если замыслишь предательство, помолись хорошенько теньям предков.

Шпион проворно нырнул в сени, отодвинул засов и юркнул в темноту. Китисан, дрожа, закрыла за ним дверь.

К Кити подкрадывался голод. Скудная пища истощила и ребенка, и он стал хворать. Кити проводила бессонные ночи у постели дочки.

Как-то вечером ее переполошил чей-то стук. Она тихонько вышла в сени и посмотрела в щель. У входа стояли полицейские. Они нетерпеливо трясли дверь, и она открыла, боясь, что сорвут петли. Грубо схватив женщину, околочный приволок ее в комнату к светильнику.

— Так и есть, косоглазая! — удовлетворенно воскликнул он, вертя ее перед огнем. — Которую ночь примечаю сигналы. Бегу — тухнет.

Ее повели из комнаты. Кити осмотрела свое окно. Из него, действительно, пробивался свет. Прочитав приказ заешивать окна, японка накинута на раму свое пальто. Наверху оно неплотно прилегало, вырез ворота оставлял щель.

Китисан с ужасом думала об оставленном ребенке. Полицейские вполголоса переговаривались.

— Тут прикончить или в участок вести?

— Волоки ее в штаб, — распорядился околочный. — Кабы из китаез — один разговор. А то япошка.

Дежурный офицер собирался прилечь. Поглядев с досадой на невольную помеху, он вяло выслушал донесение и буркнул:

— И чего вы с ними валандаетесь? На месте преступления и прикончили б.

Полицейский стал толкать Китисан к выходу. Она вырвалась, упала перед поручиком на колени и воскликнула:

— Пожалуйста! Там остался больной ребенок, дочь Лаврова!

Офицер сделал нетерпеливое движение. Полицейский грубо обхватил ее, пытаясь поднять. В эту минуту к ним подошел Несвижский, оказавшийся невольным свидетелем этой сцены.

— Это жена нашего рабочего. Я за нее ручаюсь.

— А за вас кто мне поручится? — Офицер окинул презрительным взглядом штатскую фигуру заступника и строго обратился к полицейскому: — Чего стоишь? Оглох, что ли?

— Пойдите, я от Вильгельм Карлыча. Он подтвердит...

Несвижский схватил телефонную трубку. Адмирал долго отнекивался, ссылаясь на неподсудность ему таких дел, но под конец уступил:

— Я пришлю за ней адъютанта и допрошу лично.

7

Витгефт приготовился встретить обвиняемую сурово, но при первом же взгляде на нее изменился в лице.

— Китисан! — прошептал он.

Японка долго вглядывалась в него.

— Вы меня помните? — с легкой грустью проговорила она. — А я бы вас не узнала. Вы совсем белый.

— Садитесь, — засуетился адмирал, — так вы жили все время тут, в Артуре?

Женщина сняла шаль и села на кончик кресла. Витгефт жадно смотрел на нее.

— Я распоряжусь вас освободить. В случае неприятностей обращайтесь сразу ко мне.

— О, спасибо, — быстро прошептала Китисан, поднимаясь.

— Вы так торопитесь уйти, — огорченно проговорил Витгефт. — Вас ждет муж?

— Он был на «Страшном», а тот погиб.

Она хотела добавить о больной девочке, но что-то остановило ее. Витгефт стоял, странно взволнованный, глядя куда-то мимо нее.

— Что ж вы одна будете делать среди чужих людей? — тихо спросил он, подходя к ней.

— Я надеюсь, он жив, — доверчиво поднимая на него глаза, сказала она. — Вы поможете мне найти его, вы добрый.

Смешавшись, он наклонил голову и отошел к своему столу. Вертя в руке пресс-папье, тяжело вздохнул:

— Нет, нет, я презирал бы потом себя всю жизнь.

Поспешно позвонил ад'ютанту и сбивчиво распорядился:

— Прикажете освободить арестованную.

Ад'ютант повел Китисан через полуосвещенные комнаты пустынного дворца. Жадно оглядывая мелькающую перед ним стройную фигурку, он презрительно думал:

— Форменный Виля. Отпустить всухую такую вишенку. Шапка! В Артуре теперь женщина такая редкость, а японки совсем не то, что наши недоτροги.

Он решительно взял Китисан за руку и повел к себе.

— Придется тебе посидеть до утра.

— Но у меня ребенок болен. Он умрет один!

— Ладно, идем. там сговоримся, — тяжело дыша, проговорил он, увлекая ее в свою комнату.

8

Китисан резко изменилась. Она наглухо завешивала окно не только ночью, но и днем. Двери ее лачуги были задвинуты на все засовы. Она никуда не выходила и вела себя, как зверь, который

чувет облаву, но не может убежать от окружающих со всех сторон охотников. Каждый прохожий заставлял ее вздрагивать.

Кити чувствовала себя точно опоганенной. С утра затапливала печь, грела воду и целый день парилась, мылась, скреблась, словно надеялась снять прилипшую нечисть. Больше всего боялась она теперь возвращения Вани. Ей казалось, что не вынесет его взгляда. Что она ему скажет, как объяснит?

В эти дни ее снова посетил Араки. Он тихо и осторожно стучал в дверь, но Китисан притаилась за косяком и не открывала. Инстинктом травимой она чувствовала, что он не посмеет проявить настойчивость. Постояв немного, он действительно ушел.

Но окончательно Лаврова от него не избавилась. Он стал подсылать к ней других. Кити удивилась, как много шпионов живет свободно здесь, в блокируемой крепости, куда, казалось, так трудно проникнуть. Как неуклюжа русская полиция! Ее, ни в чем неповинную, чуть не расстреляли, а эти гуляют всюду, как у себя дома.

Одному удалось проникнуть к ней в дом под видом торговца. Бесцеремонно оглядев пустую комнату, он вынул солидную пачку денег и протянул женщине:

— Ты бедствуешь, Китисан. За простую информацию ты ежемесячно будешь получать вдвое больше.

— Но я ничего не знаю, — беспомощно произнесла она.

— Ты можешь все знать, Китисан. Адмирал Витгефт ни в чем тебе не откажет, ты получишь доступ всюду.

Нервы ее не выдержали напряжения, последних недель, — с ней сделался истерика. Шпион испуганно удалился. Она была поражена их осведомленностью и еще сильнее отгородилась от всего внешнего мира. Теперь каждый казался ей подкарауливающим врагом, и она пугалась малейшего шороха.

Неизвестно, чем кончилось бы такое затворничество, если б ее не разыскал Несвижский. Его стук привел Лаврову в ужас, и она долго ему не открывала. Впустив его, Китисан никак не могла

найти себе места, и Ян Казимирович сам испугался этой дрожащей женщины с затравленным взглядом, державшей перед собой дочь, как щит.

Инженер приложил все усилия, чтобы ее успокоить. Когда она несколько пришла в себя, он дал ей денег и обещал заходить каждую неделю. Это снова вызвало на ее лице ужас, и он стал уверять ее, что все мобилизованные рабочие сохранили право на свой заработок.

Участие Несвижского несколько ободрило ее, регулярно получаемые деньги помогли поставить на ноги ребенка. Но скоро Кити убедилась, что оправдались ее худшие опасения. Она была беременна.

Это подхлестнуло ее, как плеть. Любой ценой, во что бы то ни стало избавиться от этого несчастья, освободиться, очиститься!..

Оставляя ребенка одного в запертой квартире, она бегала по разным знахаркам, доставая все новые средства, и без разбора вливала в себя разные снадобья в надежде на избавление. Но оно не приходило, и она снова и снова искала знахарок, соглашаясь на самые рискованные меры.

В какой-то лачуге бабка после долгих просьб согласилась сделать ей верно действующие уколы. Вернувшись после них домой, Китисан слегла. Она валялась два дня в постели, плавая в крови, пока к ней не зашел Несвижский. Он ужаснулся ее вида и послал за врачом. Тот только покачал головой, но, получив за визит приличное вознаграждение, стал любезней и обещал прислать сиделку и заглянуть вторично.

Проводив его, Несвижский вернулся к постели больной и, взяв плачущего ребенка, стал расхаживать с ним по комнате, пытаясь его убаюкать.

9

Первым движением Лаврова в больнице, когда он услышал разговор врачей и увидел в палатах фигуры помешанных, было сейчас же вернуться и излить на голову рабелепных медиков свое бурное возмущение. Он замедлил шаг и хотел

обернуться, но почувствовал на себе твердую руку товарища.

— Выдержка, Ваня, — тихо сказал Кузьмин, грустно улыбаясь. — Из этого переплета так не выбраться.

Их ввели в палату, где расхаживали странные фигуры. Одни были сосредоточены и углублены в себя, другие — деятельны, крикливы и вертлявы, как мартышки. Кроватей не было. Люди валялись на нарах, а то и на полу.

Лавров, совершенно подавленный, удивился оживленности и разговорчивости своего молчаливого друга.

— Спасибо, — тепло благодарил он санитаря, притащившего им сеник. — Тяжелая у вас тут служба.

Удивленный разумной речью приведенных, санитар, запинаясь, ответил:

— Да, уж служба, надо сказать, не сладкая.

— Что же поделать, дружище, — с ударением говорил Кузьмин, — нашему брату нигде не сладко. Вот нас с завода во флот упекли, а не угодили начальству, здоровых в сумасшедший дом запирают.

Санитар смотрел на них пораженный:

— Неужто здоровых в это пекло?

— Посуди сам, — с тем же ударением подтвердил Кузьмин, — на заводе прибавку просили, бунтовщиками объявили и кого в тюрьму загнали, когда в солдаты сдали. Там, чуть что не по нраву начальству, по морде хлещут и сюда загоняют, чтобы и здоровый ума решился.

— Вот аспиды! — протянул ошарашенный санитар. — Что же они, анафемы, с нашим братом делают!

Он ушел, совершенно растерянный, а Кузьмин, устраиваясь на койке, сказал, как бы угадывая мысли друга:

— Выдержало бы тело, голова не сдаст, не бойся. Она у меня крепкая. Надо нам у служащих симпатию вызвать, а потом...

Ваня опять удивился этому человеку. Голова у него, действительно, за сто верст видит. Пододвинув сеник, он улегся прямо на полу, чтобы быть ближе к больному другу. Но Кузьмин тихо посоветовал:

— В любом действии ты должен тут выделяться.

Лавров недоуменно оглянулся и заметил, что больные в беспорядке валяются на подмятых сенниках, в туфлях и колпаках. Он встал, переложил сенник на нары, снял туфли, колпак и лег на спину, заложив руку под голову.

До него дошло тяжелое зловоние.

Он оглянулся. Его сосед пыхтел, тушился, а с сенника на пол стекала тонкая струйка желтой жижицы. Это заметил не один Лавров. Шагавший, как заведенный, и непрестанно бормочущий широкоплечий бородач остановился, потянул носом, уставился на пыхтевшего и громко загоготал. Тотчас же в разных концах палаты раздался визг, хохот, улюлюканье, топот ног и истерические выкрики. Лавров зажал уши и отвернулся от санитаров, бегущих со смиренными рубашками. Он встретил внимательный, точно изучающий взгляд Кузьмина и тоже скосил глаза на барахтающийся клубок тел на полу. Не понимая, что тут могло вызвать интерес товарища, он снова отвернулся и закрыл глаза.

Он старался не обращать внимания на соседа, который пронзительно визжал и кривлялся, пока его передевали и убирали сенник. Зловоние густо било в нос, но Лавров закрылся халатом и скоро задремал. Очнулся он, услышав у постели разговор.

— Вот больные, — несколько смущенно говорил молодой врач пожилому человеку в пенсне, видимо, сдавая ему дежурство.

— Как вы себя чувствуете, друг мой? — ласково обратился пожилой к Лаврову, увидев, что тот зашевелился. — Что это, буйствовал? — спросил он, заметив повязку на его голове.

— Это тюремный подарок, — резко ответил Лавров, — меня угостили им за то, что я отметил 1 мая, повесив на решетку красный флаг.

— Успокойтесь, успокойтесь, голубчик, — доктор отошел от постели, — сейчас еще конец апреля.

— Так это вы? — воскликнул молодой, видимо пораженный: — Так это о вас говорит весь Артур?

Он стал что-то тихонько объяснять другому. Тот удивленно кивал головой, взглядывая на матросов через пенсне. Наконец он недоверчиво протянул:

— Но первое мая?..

Врачи вопросительно взглянули на Лаврова. Он ответил со свойственной ему насмешливостью:

— У меня, господа, не было в камере календаря. Непростительная небрежность начальства. Последнее известное мне число — бой на «Страшном».

— Так вы с этого несчастного миноносца? — воскликнул молодой врач, еще более пораженный. — За что же вас так?

— Нас несправедливо подозревают в принадлежности к революционным партиям, — торопливо ответил Кузьмин, боясь, что Лавров скажет что-нибудь гордое, но неосторожное...

Врачи опять стали тихо переговариваться. Принимавший дежурство, пожилая плечами, отрицательно качал головой:

— Как знаете, а мне бы не хотелось разделить их участь. У нашего наместника... Нет, покорно благодарю.

— Вы, — не выдержал Лавров, напряженно следивший за их совещанием, — наверное, сотни раз хвастали либеральными убеждениями. Окажите теперь хоть помощь больному человеку.

Пожилой пожал плечами и пошел к дверям. Санитары провожали его недружелюбным взглядом. Второй постоял в нерешительности и, горько махнув рукой, с перекошенным лицом пошел за ним.

— Тот боится наместника, этот боится того. Интеллигенция, — проворчал Лавров, злобно сплюнув сквозь стиснутые зубы.

У Кузьмина начался бред. Он метался по койке, тихо бормоча обрывки фраз. Лицо его заострилось и пожелтело. Лавров оторвал рукав рубахи и, смочив, крепко обвязал ему голову.

Поздно ночью, когда утомившиеся за день больные уснули, знакомый санитар привел к Кузьмину фельдшера. Тот дал Филату успокоительного и, промыв наскоро рану Лаврова, положил чистую

повязку с мазью, забинтовав прежней грязной марлей.

— Это, чтобы не догадались, — довольный своей хитростью, сказал он и, кивнув на Кузьмина, добавил: — Санитар вам передаст облатки. Пусть принимает через каждые два часа.

10

Уход за товарищем отвлекал Лаврова от тяжелых дум. Кузьмин поправлялся медленно. Как только вернулось к нему сознание, он продолжал внимательно изучать окружающую обстановку, казалось, несколько не тяготившую его.

Новости из внешнего мира скупо проникали сюда и мало нарушали однообразие этой жизни, в которой драки и скандалы повторялись с неумолимой закономерностью. Санитары опасались вести долгие разговоры с заключенными и едва отваживались передавать отрывочные вести с фронта. От них матросы узнали, что японцы высаживают десант. Кузьмин, уже свободно ходивший, переглянулся с товарищем и тихо сказал:

— Ну, пора. Скоро осада.

Лавров, не перестававший ломать себе голову над тем же, недовольно буркнул:

— Пора-то пора. Но, если будут ловить, как я в рыло съезжу санитару после всего?

— Надо раздражить больных и устроить свалку, — сказал Филат, — санитары нас ловить не станут. Вот одежду... — он не закончил, выразительно тряхнув халатом.

Темной ночью чутко спавшего Кузьмина разбудили отдаленные раскаты. Он снова закрыл глаза, ослепленный блеском молнии, подумав, что на улице бушует свирепый весенний тайфун. Но раскаты участились, точно приближаясь, и по их регулярности Кузьмин понял, что началась канонада. Он соскочил с койки и, тихо подойдя к окну, приоткрыл ставню. Небо бороздили десятки прожекторов, стекла звонко вздрагивали от залпов. Постояв с минутой, он решительно распахнул рамы.

Орудийные выстрелы гулко ворвались в палату. Яркий свет проник в окна, вливаясь в комнату и ощупывая беспорядочно спавших вповалку людей. Боль-

ные стали ворочаться, глухо бормоча бессвязные слова.

— Вставай, Ваня! — на ухо крикнул Кузьмин товарищу, опрокидывая свою койку.

Лавров вскочил, протирая глаза. Услышав раскаты и увидев при вспышках выстрелов встревоженных, мечущихся по комнате людей, он сразу понял, зачем его разбудил Кузьмин, и зарорал нечеловеческим голосом:

— Пожар! Горим!

В палате поднялся вой. Больные с визгом наскакивали друг на друга, колотя кулаками по чем попало. С криком «горим» Лавров устремился к дверям. Растерявшиеся санитары, ослепленные вспышками света, испуганно шараясь в стороны. Толпа устремилась по лестнице, сбивая их с ног.

Лавров, как только очутился внизу, незаметно свернул в сад, увлекая за собой Кузьмина. Пока ловили устремившихся к воротам помешанных, он подсадил товарища на стену, вскарабкался при его помощи сам и благополучно соскочил вниз, приняв друга в свои объятия.

— Ну, айда, ноги в руки! — весело произнес он, пускаясь по улице.

Но в переулке оказались люди. Заметив беглецов, они подозрительно оглядели их халаты и бросились к ним. Крики «лови, держи» всполошили ночной Артур.

Кузьмин тщетно пытался объяснить, в чем дело. Инстинкт поддержания «порядка» оказался у обывателей сильнее всего, и Филат почувствовал себя в чьих-то крепких руках. Видя, что Лавров, вместо того, чтобы бежать, пробивается к нему, он громко крикнул:

— Беги, Ваня! Обоим теперь не уйти!

Но тот продолжал пробиваться к своему другу, сбивая и калеча наскакивающих на него людей. На шум открылись ворота больницы, и оттуда выглянули сторожа. Филат напряг все свои силы:

— Не будь слюнтяем, беги!

Дошел ли до Лаврова этот крик, или, заметив бегущих сторожей, он понял, что спасение товарища невозможно, он

быстро повернул и скрылся в одном из переулков. Сторожа взяли Кузьмина и пошли к воротам, где все еще бушевали больные.

Лавров бежал осторожно, выбирая глухие переулки. У облупленной фанзы, где жил старик Кузьмин, он остановился, тяжело дыша, и тихо постучал. У промасленной бумаги, заменявшей стекла, показалась тень, кто-то испуганно вскрикнул.

— Это я, Ваня, — нагнувшись к окну, проговорил Лавров.

Тень исчезла, у дверей завопились.

— Откуда принесло? — тихо приветствовал его изумленный голос Кузьмина. — Мы-то думали, упокоил бог вашу душу вместе с миноносцем, — тихо проговорил старик, пропуская его вперед. — А где Филя?

Он обводил двор тревожным, беспокойным взглядом, точно не верил глазам.

— Его поймали сторожа, — скороговоркой сказал запыхавшийся беглец, в изнеможении опускаясь на цыновку. — Надо организовать ему побег.

Старик засуетился вокруг нежданного гостя. Его надо было переодеть, а у самого не найти и пары свободных брюк. Он побежал к товарищам, оставив мыло, полотенце и бритву. Лавров сел было к зеркалу бриться, но раздумал — бороду было лучше оставить.

Когда Кузьмин вернулся с костюмом и обувью, Ваня спал. Разбудив его, старик передал ему одежду, с удивлением слушая его рассказ об аресте и отправке в сумасшедший дом.

— То-то твою Катю все обысками донимали, она сюда перебралась с дальними. Как бы тебе не пришили измену: дескать, с японкой живет и через нее связан.

Матрос беспокойно взглянул на него и, торопливо закончив переодевание, записал адрес жены и выбежал из фанзы.

11

Лавров быстро пробирался по указанному адресу, стремясь попасть к Кити до пробуждения соседей. Улицы были

еще пустынные: канонада прекратилась, и жители старались отоспаться.

Он вышел к набережной и невольно остановился. На камнях лежал горевший пароход, немного в стороне из воды виднелись мачты другого судна. Лавров понял, что японцы сделали новую попытку затопить брандеры в узком проходе, чтобы закупорить его. Он удивился, с каким упорством Того шлет флотилию за флотилией, не жалея людей и судов. Ему вспомнились слухи о плане Того — залить рейд керосином и зажечь его.

Лавров надвинул картуз на лоб и пошел вдоль бухты. Его внимание привлекли шляпки, вышедшие подбирать команды брандеров. На реях затопленных судов цеплялись японские матросы. Они, видимо, продрогли за ночь и еле держались. Лавров посмотрел на шляпки, прикидывая, успеют ли они подойти, пока обессилевшие люди не выпустят реи из окоченевших рук.

Он приблизился к выбросившемуся на берег брандеру и заметил на его палубе японцев. Они смотрели в море, точно надеясь еще, что оттуда подойдут катера, предназначенные для с'емки команд с обреченных судов. Палуба догорала. Матросы вяло боролись с огнем.

Лавров остановился. Он был близко от этих несчастных. Он всматривался в карабкающуюся на рею фигурку и не заметил, как подошла по набережной пожарная команда.

Пожарники остановились около пылающего парохода и стали быстро взбираться на него. Обычно на брандерах устанавливались адские машины, и судно в любой момент могло взлететь на воздух. Часть пожарников устремилась в трюмы, чтобы отыскать их, другие занялись спасением команды.

Лавров побрел по указанному адресу. Найдя дом, он нервно постучал в окно и, вбежав во двор, рванул дверь. Он ступил на порог комнаты и остановился. Все было перевернуто вверх дном, будто в доме свирепствовал тайфун. Лавров бросился к кровати. На ней, скорчившись, лежала маленькая фигурка без головы. Голову срезало, точно саблей. Кровать, пол, стулья бы-

ли забрызганы кровью. В стене зияла дыра от снаряда.

Лавров в ужасе застыл на месте, дико озираясь. Тихий лепет, напоминавший журчанье родника, вывел его из оцепенения. По шершавым доскам пола мирно ползала его дочь, перебирая ручками и ножками. Лавров схватил ее, прижал к груди и выбежал с ней из комнаты.

Глава XII

Водобоязнь

1

Дальнинцы принесли с собой в Артур тревогу и панику. Чтоб несколько ободрить население, архиерей решил устроить крестный ход. После литургии громадная толпа выплеснулась на Пушкинскую улицу и двинулась к Цирковой площади.

Подъема, однако, создать не удалось. Священники торопились, певчие проглатывали слова молитв, хоругви мотались над толпой, готовые упасть, горожане крестились, как автоматы, тревожно кося глазами на взморье.

Высоко над головами что-то завывало, засвистело. Крестный ход остановился, кое-кто выскочил из толпы. Где-то ухнуло, потом еще и еще. Камни, доски, куски угля взметнулись вверх, точно с земли поднялась вспугнутая стая галок.

Толпа шаррахнулась в сторону. Подбирая полы ряс, впереди бежали священники. Бросая кресты, хоругви, образа, люди устремились вперед в едином порыве: бежать, обогнать других. Женщины протягивали мужчинам детей, умоляя сласти хоть их, но толпа неслась мимо, стремясь поскорее выбраться из города.

Вторая бомбардировка крепости вызвала у всех растерянность. Со «дня Марии» японская эскадра не подходила так близко к Артуру, и здесь решили, что флоту не по силам тягаться с фортами и что адмирал Того не отважится на новую бомбардировку. К счастью, свежая погода задержала высадку, и железнодорожное сообщение было восстановлено. Кто только мог, стал собираться в дорогу.

Наместник тоже решил покинуть крепость, ставшую слишком опасной. Гибель Макарова заставила его принять командование над флотом, и он поднял флаг на «Севастополе», переведя его предварительно к самой пристани и отгородив бонами. Он велел развесить в батарейных и жилых палубах список всех балтийских и черноморских судов, спешащих будто бы на помощь Артуру, а сам перестал показываться на эскадре.

Алексеев с трудом скрывал злорадство, вызванное избавлением от беспокойного адмирала. Трагический конец Макарова оправдывал его собственную трусливую осторожность. Витгефту была дана инструкция больше не рисковать. Макаровские приказы были осуждены, как авантюрные, и ревнители старого порядка могли опять спокойно отдыхать на якорях.

Увы, отдохнуть сейчас было самое неподходящее время. Уже с середины апреля разведка упорно доносила, что японцы укрепляются на островах Блонд и Элиот, строят боны в узких проливах и загораживают минами широкие. Нетрудно было предвидеть, что неприятель готовился высадить десант. Уже никто не говорил о войне на островах, которую предсказывал Алексеев. Обещание Куропаткина заключить мир в Токио было забыто.

От наместника ждали решительных действий. Когда узнали, что он вызвал к себе Витгефта и командира расквартированной в Артуре стрелковой бригады Стесселя, легковерные решили, что будет что-то предпринято. Но разговор пошел совсем о другом.

— Голубчик, — ласково начал Алексеев, когда начальник морского штаба явился к нему. — Вы назначаетесь временно командующим эскадрой.

Витгефт поклонился.

— Высочайшим повелением, — торжественно закончил наместник, — мне велено отбыть в Мукден. Вы уж тут постарайтесь...

Витгефт сделал нерешительное движение.

— Благодарю за доверие, Евгений Иванович, — но как же?.. Я — ученый, не строевик...

— Временно, временно, — пояснил Алексеев. — Сюда выезжает вице-адмирал Скрыдлов.

Витгефт вторично поклонился и вышел. Его чистая натура негодовала. Бросить крепость в такое время! Свалить эскадру на него, мирного ученого, мало плававшего, не имеющего опыта даже в командовании отрядом.

Алексеев между тем напутствовал генерала Стесселя:

— Вы назначаетесь начальником укрепленного района. Высочайшее повеление отрывает меня от личной защиты моего детища.

Генерал неприязненно смотрел на него: «Повеление! Соизволение, а не повеление... Сам испрашивал, как только запахло порохом... Поезд, небось, с первой бомбардировки держит под парами...».

Казалось, Алексеев угадал обидные мысли собеседника.

— Крепко надеюсь на вас, ваши заслуги не будут забыты.

Стессель вздохнул. «Что ж, недавно назначенный сюда новый комендант шляпа и, хоть кончил две академии, пореха не нюхал, и его нетрудно будет прибрать к рукам. Пара лихих атак, и, как знать, чин генерал-лейтенанта, а может быть...».

Выпроводив гостя, наместник с облегчением вздохнул. Проходя мимо Витгефта, подумал: «Этот не строптив. При первом деле надо ему исхлопотать чин вице-адмирала. Уважения больше у подчиненных будет». Он испугался... формулы «при первом деле» и, нахмурившись, сказал:

— Ну, Вильгельм Карлович, надеюсь на ваше благоразумие. Главное — не рисковать.

2

Алексеев не успел отдохнуть перед дорогой. Тревожное донесение сорвало его ночью с постели, и он помчался к вокзалу, не захватив даже свой штаб. Но, видимо, и его приближенным плохо спалось. Запыхавшись, стягивались они в стоявший на запасном пути поезд — кто без шинели, а кто в пальто, накинутом на ночную рубашку.

Своим отъездом наместник оказал крепости последнюю услугу. Артур лишился единого командования. Не только морское и военное ведомства стали независимы друг от друга, — назначение командующего укрепленным районом создало двоевластие и среди сухопутных.

Как только Алексеев выехал, начались раздоры. Моряков обвиняли в том, что проворонили появление врага, а теперь отсиживаются за крепостными стенами. Они отвечали, что гарнизон проспал войну и даже на второй день поддержать флот могли только две батареи.

Отношения обострились. На моряхах вымещали прежние обиды. Им не могли простить их богатства, привилегированного положения, безделья во время стоянок в резерве.

Моряки сами позаботились доставить новые поводы для насмешек. Миноносец «Внимательный» в одной из разведок отстал от своих. Ему померещился неприятель, и, не пытаясь даже проскочить в Артур, он повернул в Голубиную бухту. Не дожидаясь нападения, миноносец выбросился на берег, а экипаж пустился наутек к крепости.

Если бы никто не узнал подробностей этого дела, все прошло бы благополучно, а, может быть, кое-кого и наградили бы. Командир мог изобразить серьезное нападение, прорыв в бухту и самоотверженную решимость — с риском для жизни выброситься на камни, чтоб судно не попало в руки неприятеля.

Но на беду местные китайцы, растащив с «Внимательного» все, что можно было, доложили на ближайший пост, что на берегу лежит русский корабль. Взяв взвод солдат, поручик пошел посмотреть, не нуждаются ли моряки в помощи. К своему удивлению, он не заметил на миноносце признаков жизни, хотя на нем продолжал развеваться андреевский флаг. Это казалось тем необъяснимей, что не было заметно никаких следов присутствия здесь неприятеля.

Поручик торопливо забрался на корабль. Ему было несколько не по себе на этом таинственном судне. Ему чудилось зловещее происшествие, трагическая развязка. Он шел по миноносцу в

сопровождении солдат, отыскивая следы отчаянной борьбы.

В кают-компании он остановился, пораженный. С обитой бархатом переборки на него глядел портрет царя. Под ним — собственноручное свидетельство императора, что он дарит свой портрет офицерам «Внимательного» в твердой уверенности, что они сумеют грудью защитить его.

Поручик велел снять портрет. Ему становилось все неприятнее от встречаемых на каждом шагу следов поспешного бегства. Даже судовые журналы не были захвачены беглецами, хотя из них японцы могли узнать немало секретных вещей.

Когда поручик вернулся в свою часть и доложил о результатах своего похода полковому командиру, тот пришел в ярость. Полковник хотел немедленно написать о происшедшем рапорт и отправить его по начальству, но ему отсоветовали. Всем хотелось раньше поиздеваться над чванными моряками.

Офицерам «Внимательного» дали понять, что знают об их доблестном оставлении миноносца. Они пробовали высокомерно рассмеяться. Их привели в казармы, где хранились реликвии миноносца.

В страхе перед предстоящим унижением моряки умоляли отдать им легкомысленно брошенные вещи. Но сухопутные офицеры не соглашались ни на какие компромиссы.

Антагонизм все углублялся. Вскоре, так же трусливо, при виде случайного дымка, выбросился на камни еще один миноносец. Моряков стали открыто оскорблять, и они уже не рисковали в одиночку появляться даже в излюбленных кафе.

Впрочем моряки были скоро отмщены.

Внезапно высадившиеся на полуострове японцы быстро оттеснили гарнизон к Артуру, занимая позицию за позицией. Войска готовились дать им отпор у Кичжоу, считавшейся неприступной. Еще Макаров, осматривая укрепленные самой природой горы, назвал их «второй Шипкой». И вдруг разнесся слух, что японцы налетом взяли Кичжоу.

Сперва этому никто не верил, но к ночи в Артур стали стекаться разрозненные, беспорядочные толпы солдат. Они рассказывали о нераспорядительности генералов, о беспорядке и панике. Полки стреляли друг в друга, не понимая, где свои, где чужие.

Моряки взяли реванш. Теперь они смеялись. Но скоро им пришлось замолчать. С «Отважного» и «Гремящего» неожиданно были списаны командиры, и скоро все узнали, что они отказались выйти к Кичжоу, ссылаясь на порчу машин. Отправился только «Бобр», но он не мог один долго держаться и вынужден был вернуться, оголив фланги перешейка. Японские канонерки вплотную подошли к берегу и, открыв по флангам сильный бортовой огонь, решили участь позиции. Каково же было всеобщее возмущение, когда стало известно, что машины и на «Отважном», и на «Гремящем» были в полном порядке.

3

Счастье неожиданно стало благоволять к артурцам.

Японцы высаживались медленно. Они опять сделали попытку заградить брандерами вход в порт и шныряли недалеко от рейда, высматривая, заперта ли эскадра. Методичный, любящий действовать наверняка, враг боялся рисковать, когда решалась судьба всей кампании.

Каждый век рождает свои новые методы и приемы. Но старая тактика, прежние испытанные способы побеждать не отмирают целиком. Внезапность, хитрость, лукавство отлично служили талантливым полководцам всех времен и народов.

Притвориться запертым и, обманув бдительность противника, неожиданно напасть на него, когда он, охраняя неповоротливые транспорты с десантом, неспособен к маневрированию, — такие планы роились у макаровских питомцев.

Четырех исправных броненосцев, пяти крейсеров, двадцати миноносцев для боя мало. Но этого достаточно для налета на высаживающегося в 60 милях

противника. Алексеевские птенцы и слышать не хотели об этом. Убедившись в мирном настроении артурцев, японцы ускорили высадку. Часто набегали легкие туманы, способствующие всякому смелому предприятю, но в штабе не думали ими воспользоваться. Витгефт, нерешительный даже в житейских мелочах, ждал нового командующего. Спорили, доказывали, но он только разводил руками, тыча пальцем в оставленную заместником инструкцию:

«Впредь до исправления больших судов, активных действий не предпринимать».

— Вильгельм Карлович, — пристава-ла к нему молодежь, — вы ведь отлично знаете, если даже бой, артиллерийские повреждения не так опасны и могут быть исправлены без дока. К моменту готовности «Ретвизана» и «Цесаревича» остальные будут готовы.

Витгефт нерешительно почесывал бороду. Чтоб успокоить горячие головы и прекратить нарекания, начали распространять слух, что десант входит в планы Куропаткина. Говорили, будто он лично просил заместника дать японцам высадиться к востоку от Артура, опасаясь высадки в Ньючанге. Приводилось авторитетное изречение, что военной науке известно двенадцать способов высадки и ни одного — обратной посадки. А так как в победе на суше сомнений быть не могло, каждому предоставлялось делать выводы.

— «Артурская твердыня неуязвима, — передавали слова высокопоставленного лица. — Чем больше высадится японцев, тем меньше вернется их на острова».

Но неожиданно для всех Алексеев переменил тактику. Вернулись ли к нему, вдали от Артура, воинственные наклонности, или он понял, что с высадкой десанта колеблется его положение, но он прислал приказ предпринять минные атаки против неприятельских транспортов.

Может быть, в Мукдене его подчиненные проявили бы не меньше отваги. Но они были в Артуре, и повели себя точно так, как вел бы себя здесь сам заместитель. Нерешительный Витгефт со-

брал совещание флагманов и капитанов, а те почти без споров постановили, что ввиду затруднительности выхода ночью, необследованности рейда и присутствия неприятельских крейсеров, охраняющих десант, считать возможной атаку, если японцы высадятся не дальше Кичжоу. Японцы однако не пожелали выбрать Кичжоу, а высадились чуть дальше, у Бицзыво. Витгефт заявил на совещании с подкупающей откровенностью:

— Я, господа, не строевик. Давайте решать все сообща.

Но счастье, очевидно, повернулось к русским: 2 мая бездействие и апатия на судах были нарушены беготней и ревом. Все, у кого от безделья не распухли ноги, помчались наверх.

— Японцы на мине! — сияя счастьем, как будто он сообщал личную свою радость, докладывал вахтенный унтер-офицер бегущим.

Один из привезенных Макаровым офицеров, командир «Амура», давно просился в дело. Его не пускали, боясь рисковать последним минным транспортом. Японцы курсировали постоянно в 10 милях от берега. Оттуда они могли безнаказанно громить порт из дальнобойных орудий, потешаясь над не достающими их русскими батареями.

Воспользовавшись туманом этого утра, командир «Амура» настоял, чтоб его отпустили, и поставил мины на пути обычного крейсерства неприятеля. Придя, как всегда, в составе трех броненосцев и двух крейсеров, японцы на втором галсе услышали взрыв и увидели, как броненосец «Яшима» накренился.

Это была первая удача русских за время войны. Люди лезли на мачты, на трубы, стараясь подняться как можно выше, чтоб в просветах между Золотой, Маячной и Тигровой горами увидеть своими глазами поражение неприятеля.

С Золотой горы с новой силой скатилось могучее «ура». Броненосец «Хатцузе» подошел к поврежденному товарищу, чтоб помочь ему, но сам наткнулся на мину и стал быстро тонуть.

— Вот до чего дожить бы Макарову!

— На рейд! На рейд! Раскатать остальных!

Но как было выйти на рейд, когда эскадра опять стояла без паров? Добить неспособный управляться японский броненосец и уничтожить остальные — значило освободить заблокированный русский флот.

Но это была эскадра, достойная своего начальника. На большинстве русских судов были водотрубные котлы и, если б не угас боевой дух, если б во главе судов не стояли расслабленные паркетные шаркуны, пары можно было бы поднять скоро, и через полчаса эскадра вышла бы в море. С подбитым броненосцем японцы не могли далеко уйти. Победа просительницей стояла у ворот.

Но удача любит смелых и предприимчивых, возвращенное же Алексеевым племя было трусливо и бездарно, «Хатцузе» утонул через 5 секунд, «Яшима» все более кренится, а эскадра так и не вышла.

4

Военное счастье покинуло японцев. Задувший к ночи свежий зюйд-вест развел сильное волнение, и подорванный броненосец «Яшима» затонул. В тот же день «Касуга» в тумане налетела на крейсер «Иошино» и пустила его ко дну, а крейсер «Тацута» сел на камни. Вслед за ними погибли от столкновения две канонерки, а два миноносца взорвались на минах. Утрата двух броненосцев — трети глазной силы неприятеля — настолько ослабила его, что борьба за владычество на море стала для артурской эскадры снова возможной.

Алексеев воспрянул. Чтобы хоть как-нибудь участвовать в успехе, он больше всех трубил о нем. Скрыдлов явно не торопился в Артур. Он устраивал в столицах и крупных городах Сибири пышные банкеты при встречах и проводах, стараясь подоспеть к крепости, когда она будет отрезана. Мало огорченный этим, наместник представил Витгефта к чину вице-адмирала, предпочитая иметь во главе флота послушного Вилю.

Загоревшись жаждой побед, Алексеев телеграммой приказал готовиться к походу.

Витгефт опять собрал совещание. Из всех неожиданностей этой войны самой диковинной было учреждение при флоте самодержавной России парламента. Заявив: «Я не строевик, давайте решать все сообща», — Витгефт из неограниченного командующего превратился в конституционного адмирала.

Флагмана и командиры постановили защищать крепость. Они не хотели выходить в море, эти моряки, страдавшие водобоязнью.

Наместник не мог с этим мириться. Он явственно чувствовал под собой колебание почвы. С началом войны он был высочайше утвержден главнокомандующим; теперь назначили к нему на правах командующего Куропаткина, и тот во всем ему противодействует, как и раньше, когда был военным министром. Алексеев считал, что надо немедленно сбросить японцев в море, — Куропаткин предпочитал отступать, заманивая врага в глубь страны. Генералы, получая противоречивые приказы командующего и главнокомандующего, то наступали, то отступали.

19 мая Алексеев снова настойчиво телеграфировал эскадре — готовиться к выходу. Витгефт решил перенести дискуссию к сухопутным генералам. Через три дня он собрал объединенное совещание с ними. На этом совещании снова решено было: флоту охранять крепость (хотя обычно крепость строится для того, чтобы охранять флот).

Привлечение генералов к участию в «парламенте» внесло еще большее обострение между сухопутными и моряками. Генералы требовали от флота не стоянки в бассейне, а активной защиты. Витгефт на следующий же день собрал более узкое совещание моряков, чтоб рассмотреть предложение сухопутных. Флагмана долго обижались на требовательность генералов и решили, что в море выходить опасно.

Нетерпеливый герой Таку — Тяньцзиня — Пекина решил ободрить своих воспитанников. Он телеграфировал, что «Миказа», «Хатцузе», «Шижишима», «Яшима» и добрая половина броненосных крейсеров погибли, а «Фуджи» и «Нисин», имея большие повреждения,

ушли чиниться в свои базы; около Порт-Артура стоит лишь слабый заслон для поддержания блокады. Чтоб скрыть потери, японцы вооружили ряд коммерческих пароходов, замаскировав их под броненосцы.

«Выйти в море и, не вступая в бой, если окажется это возможным, проложить себе путь во Владивосток» — гласил приказ. Он не способствовал бодрости и вносил путаницу. Никто не мог расшифровать, к чему относится фраза: «если окажется это возможным». Нерешительные относили ее к возможности избежать боя, а трусливые — к возможности пройти во Владивосток.

Моряки очутились между двух огней. От Алексева можно было отписаться, но что противопоставить нажиму грубых армейцев? Они не понимали тонкости морского дела и требовали выхода на встречу неприятелю.

Опыт показал Витгефту, что японские корабли, считавшиеся потопленными, великолепно плавают и стреляют. Он отправил наместнику отчаянную телеграмму:

«Благоприятного момента для выхода эскадры в море — нет. Не считаю себя способным флотоводцем. Командую лишь в силу случая и необходимости, по мере разумения и совести, до прибытия командующего флотом Скрыдлова. Боевые войска с опытными генералами отступают, не нанося неприятелю поражения, почему же от меня с совершенно неподготовленной и слабой эскадрой, имеющей 13-узловый ход и не имеющей миноносцев, ожидается разбитие сильнейшего, отлично подготовленного боевого 17-узлового флота неприятеля, несмотря ни на какие обстоятельства? Принятие боя при данных условиях было бы не Синопом, а Сант-Яго. Предписание выполню беспрекословно, но по долгу присяги докладываю, что согласно положению дел в Артуре и состоянию эскадры есть только два решения: или эскадре совместно отстоять Артур до выручки, или погибнуть, — так как момент выхода во Владивосток может наступить только тогда, когда смерть будет и спереди, и сзади».

5

Отрезанный от всего мира Порт-Артур начал жить странной, фантастической жизнью. Тревожное, нервное состояние, полное страстного ожидания помощи, заставляло верить в призраки, цепляться за самые нелепые слухи и иллюзии. Каждый далекий дым на море вселял надежду, ночная зарница заставляла говорить весь город об артиллерийском поединке японцев с подходящей подмогой. Шопотом, из уст в уста, почти ежедневно передавали то о приближении Куропаткина, то о прибытии в Печилийский залив балтийской эскадры.

Но Рождественский сидел еще в Кронштадте. А Куропаткин пока воевал главным образом с Алексеевым. Взятие Кичжоу японцами окончательно роняло престиж наместника, и Куропаткин вовсе не был склонен спешить на выручку Артура.

Алексееву было понятно, что такой тактикой Куропаткин надеется от него избавиться. Он вызвал его к себе в штаб-квартиру, чтоб поставить перед ним вопрос ребром. Разглядывая его бесцветное лицо и плутоватые, с хитрецей, глаза, наместник с ненавистью думал: «Паец! Тоже Кутузов нашелся! Заманивать врага в глубь страны, когда там погибает крепость и флот!».

— Когда же вы думаете перейти в наступление? — отрывисто спросил Алексеев, хмурия лоб, чтоб придать лицу как можно более строгое выражение.

— Не раньше, чем сконцентрирую здесь кулак. Пропускная способность железной дороги повысилась, войска накапливаются.

— Я вынужден решительно настаивать на немедленном выступлении. Падение Артура легло бы несмываемым пятном...

— Полноте, Евгений Иванович, такая крепость выдержит осаду трех держав. — Он говорил так простодушно, что решительно не к чему было придраться. — Прямо не понимаю, что произошло у Кичжоу. Помните, еще в японо-китайскую кампанию вы называли ее ключом Квантуна и справедливо заявили, что при надлежащем укреплении эта позиция неприступна.

Алексеев заморгал правым глазом. Во время боксерского восстания Кичжоу действительно, изрядно укрепили, возвели бруствера, траверзы, установили много пушек. На флангах перешейка устроили береговые батареи из захваченных в Таку и Тяньцзине крепостных орудий. Потом все забросили, и этот ключ Квантуна заржавел, дверь распахнулась настезь перед врагом. Уже перед самой войной, 21 января, наместнику представили проект укрепления этого людского перешейка, и надо было отпустить всего 19 тысяч рублей. Но постройка виллы неожиданно потребовала новых затрат... Через неделю он отпустил на Кичжоу полтора миллиона, но достать орудия оказалось уже невозможным даже за большие деньги. Сорок суток без сна и отдыха войска укрепляли позицию, но японцы навалились на Кичжоу, не дав установить привезенные с судов дальнобойные шестидюймовки Кане. Какое-то роковое невезение! Еще день-два — и установленные пушки держали бы под огнем оба залива, тогда неприятельский флот не мог бы войти в бухту и ударить во фланг...

— Мне придется доложить о вашей медлительности государю, — пробормотал Алексеев, прерывая невеселые мысли.

Куропаткин нахмурился. И чем только эта бездарь держится? Он вспомнил свое прощание с министром финансов, с которым вместе они столько лет боролись против Алексеева. Куропаткин высоко ставил министра, хитрого, умного политика, и на прощание попросил у него совета. Тот с сомнением посмотрел на него и проговорил:

— Мой совет бесполезен. Вы им не воспользуетесь.

После долгих настояний министр все же высказался:

— Приехав, я отцепил бы поезд Алексеева и арестовал бы его. Вы пользуетесь авторитетом в армии, за вами бы пошли. Потом я отправил бы государю телеграмму: «Для успешного выполнения возложенного на меня гражданского дела я счел необходимым отстранить главнокомандующего, так как без этого успешное ведение войны не-

мыслимо. Прикажите, ваше величество, меня расстрелять или же для пользы родины простите».

— И вы думаете, меня простили бы?

— Не знаю. Но это единственный шанс выиграть войну.

Куропаткин ощутил легкое головокружение. «Этот умница-министр, к несчастью, прав. Вот он сидит, наместник, властелин всего Дальнего Востока, одутловатый, надутый, важный... Фаворитки — это еще понятно: женские чары. Но фавориты? Непостижимо!.. Если б он не уверял, что наш флот владеет морем, мы имели бы теперь здесь полумиллионную армию. И пусть бы японцы попробовали высадиться под ее огнем! Но эскадра не только слаба, она деморализована. Судьбу Кичжоу решили японские крейсера, обстрелявшие наши фланги и тыл. Переход японцев через Ялу был бы немыслим, будь в реке наши канонерки. Первые серьезные столкновения у Тюренчена, сразу парализовавшие дух наших войск, никогда не кончились бы так постыдно, если б из реки не вынырнули японские миноносцы и канонерки... Но пусть я не прав. Может быть, в Артуре он был и на месте, — все же адмирал... Но как он мог попасть в главнокомандующие? Да еще после того, что он натворил? Невероятно!».

Куропаткин, растравленный, вскочил с места:

— Я тоже, ваше превосходительство, буду писать государю! В Артуре остались трупы или изменники. Сдать в один день Кичжоу! Позор! Такой второй позиции не сыскать во всем мире. Узкое место, неприступные горы, прекрасный обстрел. Бежали, как зайцы, в панике, палили друг в друга. Хуже китайцев! За перешейком — Тафашинские высоты, Навгалинские горы, природные твердыни. А они неслись до самого Артура, и мне еле удалось выгнать их из крепости и заставить укрепиться на Волчьих горах, пока японцы не успели еще их занять. Я не могу для них рисковать еще не окрепшей армией!

6

1 июня отступавшие русские дивизии остановились. Куропаткин давно понял,

что японцев шапками не закидаешь, и до полного накопления сил считал отход единственно возможной тактикой. Но Алексеев настоял на своем. Забыл, что еще недавно он сам оценивал свое детище в шесть Севастополей, наместник телеграфировал, что «Артур не является крепостью, вполне обеспеченной от атаки, и нуждается в немедленной помощи». Петербург приказал принять бой и двинуться на выручку Артуру. Куропаткин долго оттягивал, хитрил, изворачивался, но мрачный дух Алексеева подхлестывал и подгонял.

Японцы катились вперед стремительно и неудержимо. Наткнувшись у Вафангоу на противника, они сразу завязали сражение. Хотя Манчжурия больше четырех лет была фактически русской колонией, но русские генералы натывались в ней на сопки там, где предполагались долины, и на реки там, где на карте значились возвышенности. В гористой Манчжурии армия воевала без горной артиллерии, и солдаты в отчаянии героически лезли на недоступные вершины, тщетно пытались достать японца штыком. Измотав в бесплодных стычках армию, Куропаткин отступил, оставив на сопках тысячи убитых и раненых.

Поражение у Вафангоу ни в чем не убедило Алексеева. Он попрежнему продолжал нажимать на командующего, требуя наступления. Не решаясь открыто противодействовать наместнику, Куропаткин оттягивал, сколько мог, новое сражение, обещая дать бой сперва у Дашичао, потом у Хайчена. Но японцы легко сбили южную пруппу и заняли Сихеяну, угрожая обходом левому флангу и открыв себе дорогу к столице Манчжурии — Мукдену. Куропаткин отказался дать бой, боясь окончательного разгрома армии, не оправившейся после Вафангоу. Начался долгий и нудный обмен телеграммами с Петербургом.

Алексеев устремился во Владивосток. Жажда деятельности довела его до неистовства. В ней он топил тоску и сознание вины, страх за будущее. Он решил пробудить к активности крейсерскую эскадру. Она тоже не очень спешила выступать, и ее командующие раздражали его не меньше, чем Куропаткин.

7

Когда во Владивостоке узнали о мичной атаке японских миноносцев, крейсерский отряд вышел в море взять реванш у врага. Но ему не повезло. Свирепый шторм трепал корабли, окатывал палубы, срывал рафгоут и людей. Пришлось вернуться, ничего не сделав.

Новая неудача тяжело действовала на владивостокских моряков, непрерывающиеся несчастья артурской эскадры окончательно парализовали их. Прошел февраль, март, а корабли все еще торчали в гавани. Командующий японскими крейсерами адмирал Камимура, отчаявшись дожидаться выхода владивостокского отряда, вошел в Уссурийский залив и, крейсируя у самого Русского острова, открыл по городу стрельбу.

День был воскресный, по улице гуляло множество народа. Никто не думал, что враг сумеет так запросто пожаловать в гости. Панику пытались прекратить уверением, что батареи молчали, не желая себя обнаружить. Но это никого не обмануло, и жители так же, как в Артуре и Дальнем, штурмом брали поезда, так необходимые для перевозки войск. Поражала не только беззащитность Русского острова, являвшегося ключом к Владивостоку, но и осведомленность врага, знавшего про это. Теперь, как и в Артуре, испугались десанта и начали наспех возводить укрепления. Промерзлую землю приходилось разогревать кострами, что сильно замедляло работу, перегруженная дорога не могла доставить орудия.

В эти дни во Владивосток прибыл вице-адмирал Скрыдлов (так и не добравшийся до Артура) и вместе с ним — вице-адмирал Безобразов, назначенный начальником отряда крейсеров. На каждый корабль приходилось сейчас по адмиралу, и это не замедлило сказаться. Один предлагал для операций Корейский залив, другой — Тихий океан, третий — Желтое море. Скрыдлов был старшим, но ему колко намекали, что его место в Артуре, куда можно пробраться из Инкоу на одном из быстроходных миноносцев, время от времени

прорывавшихся туда с донесениями. Другие предлагали ему вернуться в Петербург, чтоб стать во главе готовящейся к походу второй эскадры. Устав преираться, Скрыдлов поднял свой флаг на здании женской гимназии и отстранился от дел.

В середине апреля крейсера, наконец, вышли в Гензан. Этот порт, не связанный дорогами с Манчжурией, никак не мог быть местом высадки японцев, и отряд только зря рисковал встретиться с Камимурой. В Гензане, действительно, никого не оказалось, и крейсера вернулись, утопив на обратном пути два парохода и потеряв на минах миноносцев.

Две недели корабли стояли в бездействии, ожидая, пока «Россия» банила котлы. А 4 мая адмирал Иесен вздумал осмотреть минное поле в Посьете и пошел туда не на миноносце, а на «Богатыре». С утра стоял густой туман, и командир крейсера возражал. Адмирал все же вышел и в бухте Славянка посадил «Богатыря» на камни. Попытки снять корабль ни к чему не привели, и на соседний мыс пришлось выслать отряд пехоты с батареей, так как Славянка тоже не была защищена крепостными орудиями и «Богатырь» могли безнаказанно расстрелять у всех на виду, как «Внушительный» в Артуре.

Все эти неурядицы дали повод крейсерам простоять в бездействии весь май. «Богатыря» долго мотала на камнях свежая погода, и, чтобы снять его, пришлось свозить орудия и механизмы. Пробоина так увеличилась, что корабль надо было вводить в док. До встречи с Камимурой крейсерская эскадра потеряла четверть своего состава. Тогда третий адмирал решил выйти в третий поход.

На этот раз крейсерам посчастливилось. В Корейском проливе они уничтожили три неприятельских транспорта, с войсками и снаряжением. Удовлетворившись первым успехом, отряд повернул назад, хотя в проливе находилось еще 9 японских транспортов.

Четвертый выход чуть было не оказался последним. Отряд неосторожно приблизился к Гензану, и о его появлении оттуда протелеграфировали Ками-

муре. Не успели крейсера достигнуть Корейского пролива, как с юга показались японская эскадра, а с севера — отряд миноносцев. Но минная атака оказалась неудачной: отряд к ней успел подготовиться. Воспользовавшись наступившей темнотой, быстроходные крейсера вернулись во Владивосток.

Камимуре давно ставили в упрек, что, обладая превосходными силами, он не сумел уничтожить или хотя бы запереть владивостокский отряд. Последняя встреча особенно возмутила патриотическое чувство японцев: Камимура в темноте принял свои возвращающиеся миноносцы за русские и долго расстреливал их из скорострельных орудий. В Нагасаки возмущенная толпа патриотов напала на дом адмирала и разрушила его.

8

Поезд шел во Владивосток. Наместник мрачно рассказывал по комфортабельному купе своего вагона. Неудача Камимурой мало утешала его. Алексеев прекрасно понимал, что крейсерский отряд не оправдал тех надежд, которые на него возлагались. На ход кампании набег не оказали влияния. Для эскадры быстроходных броненосных крейсеров это мизерно: не только не помешали перевозке японских войск, но не сумели даже повредить их коммуникации, чтоб лишить армию припасов и снаряжения.

Оторопь берет от всего, что творится кругом. Все точно ошалели. Ни одной победы, ни одной серьезной удачи.

Еще пятьдесят лет назад японцы при первой встрече с европейцами салютовали из единственной дубовой пушки, стянутой железными обручами.

Алексеев остановился у тормозной ручки и осторожно потрогал ее. В сущности, высланные из Одессы «Петербург» и «Смоленск» сделали бы для перерыва японских торговых сообщений больше, чем владивостокская эскадра. По крайней мере, начали они хорошо, за несколько дней захватили много призов. А ведь это — только коммерческие пароходы, установившие на палубе мелкую артиллерию. А как переполошились японские союзнички — англичане! Обид-

но, что все это расстроилось: министерство иностранных дел забыло оповестить державы о зачислении этих пароходов в военный флот. А впрочем—хорошо, что их вернули: их успех слишком подчеркнул бы неудачи владивостокского отряда.

Поезд остановился, фыркая и отдуваясь. Алексеев задернул занавески: теперь его уж не встречали восторженные обыватели, как год тому назад.

В купе вошел начальник штаба. Подавая депешу, скороговоркой сказал:

— Восемнадцатого июля Куроки опрокинул у Янзелина отряд графа Келера. Сам генерал-лейтенант убит. У Юшинского и Пьелинского перевалов наши отброшены и отступили за реку Ланхе. Канонерка «Сивуч» взорвана. Куропаткин приказал очистить без боя хайченские позиции, на которых обещал дать генеральное сражение.

Алексеев быстро пробежал бумаги.

— Телеграфируйте: остановить отступление любой ценой.

— Три неприятельских дивизии обходят левый фланг южной группы.

Наместник схватился за голову.

— Прикажете переменить паровоз. Назад! В Ляолян!

— Слушаюсь. Осмелюсь...

— Ну что там еще?

— Генерал Ноги прислал в Артур парламентариев.

— Какая наглость!

— Он предлагает сдать крепость. Обращаю внимание вашего высокопревосходительства на его условия: гарнизон получит право уйти с оружием на соединение с главной армией...

Алексеев грозно поднялся:

— Вы думаете, о том, что говорите, генерал? Вам должно быть известно, как отвечает Россия на такое оскорбление...

Начальник штаба попятился:

— Я хотел лишь обратить внимание вашего высокопревосходительства на формулировку предложения... Они сами раскрыли свои карты: они готовы выпустить осажденную и обреченную армию, лишь бы поскорее овладеть флотом. Нажим японцев, вне сомнения, вызван опасениями прихода второй эскад-

ры. Соединение ее с артурской было бы верным поражением противника и концом войны. Теперь они сделают все, чтоб сокрушить Артур. Они обрушат на него...

— Да, да, простите мою горячность. Надо во что бы то ни стало вывести эскадру из этой несчастной крепости. Телеграфируйте в категорической форме: незамедлительно переходить во Владивосток. Не забудьте напомнить, что японские броненосцы ушли на ремонт, оставив один заслон.

Начальник штаба щелкнул шпорами. Алексеев откинулся на спинку кресла и устало бросил вдогонку:

— Поторопите паровоз!

9

Витгефт назначил поход на 7 июня. Успех прорыва обеспечивался главным образом внезапностью выхода. Но об этом меньше всего думали в Артуре. Приказ Витгефта так свободно разгуливал по канцеляриям, что попал в руки сотрудников местной газеты.

Редактор давно уже не имел сенсационных известий. Он считал своей задачей — поднимать дух гарнизона и жителей, но дела шли так плохо, что решительно нечем было порадовать артурцев. Оценив по достоинству важное значение выхода эскадры, он поспешил поделиться радостным известием с населением, напечатать приказ Витгефта и воинственные пояснения к нему.

Редактор самоотверженно провел ночь в типографии, торопя наборщиков и метранпажа с выпуском номера. Желая снабдить газетой уходящую эскадру, чтобы поднять ее дух перед боем, он до рассвета отправил на корабль катер с первыми экземплярами.

Суда стали уже сниматься с якоря, когда Витгефту доложили об усердии газетчиков. Адмирал спешно послал в редакцию офицера, чтоб задержать номер, но типография уже разослала тираж.

Целая армия рассыльных заметалась по городу и порту, чтобы конфисковать

злополучный номер. Катера сновали между судами, отбирая газету у команды. Редактора решили примерно наказать, но тут кстати вспомнили, что день выхода выбран неудачно: высокая вода будет после полудня, и, пока эскадра выйдет, стемнеет и возникнет угроза минных атак. Решили выждать, пока прилив не совпадет с рассветом.

10 июня, в четыре часа утра, эскадра стала, наконец, вытягиваться из гавани. Местом сбора был назначен район, вплотную прилегающий к крепостному минному заграждению: здесь, вблизи орудий фортов, японские заградители не рисковали появляться, и опасность встретить минное поле была наименьшей.

Один за другим корабли подходили к месту сбора. Команды готовились завтракать, когда на «Диане» раздался крик:

— Мина за кормой!

В ста саженях от крейсера чернела опоясанная цепочками крышка всплывшей японской мины. Выходивший из гавани «Цесаревич» круто бросился в сторону и застопорил машины.

— Мина под носом! — крикнул там сигнальщик.

С «Пересвета» донесся сухой, резкий треск: команда расстреливала еще одну мину. К девяти часам их всплыло 15 штук. Тяжелое, подавленное состояние охватило команды. Что японцы усердием злополучного редактора были предупреждены о выходе, удивляться не приходилось. Но, что они знали, какое место назначено для сбора, было грозным и тягостным признаком.

— Пронесло, — с невеселой миной крестились суеверные, — счастье, что плохо ставили...

— Пронести-то пронесло, — хмуро цедили другие, — полжизни не жалко, чтоб выяснить, как они могли проведать!

Случай этот лишил мужества тех немногих, которые его еще не потеряли. Страшное слово «измена» не прозвучало еще вслух, но отравило своим ядом многие и многие сердца. Японские шпионы чувствовались где-то здесь рядом, в сердце эскадры.

10

Несвижский бродил по Артуру, нигде не находя себе места. Ощущение покинутости не оставляло его, и он чувствовал себя после ухода эскадры бездомным, несправедливо брошенным, никому ненужным.

Он ничего не смыслил в стратегических тонкостях, но разве надо быть военным, чтобы понимать всю важность защиты прилегающих к Артуру гор. Все спешили поскорее укрыться за крепостные стены и развели теории, что защита Навгалинских и Тафашинских высот — пустая потеря людей.

Несвижский забрел к жившему недалеко знакомому минному офицеру. Тот собирался на дежурство и потащил своего унылого гостя с собой.

— Я вам покажу такие вещи!.. Если бы это было установлено во-время, мы не потеряли бы столько кораблей, а японцы... Весь ход кампании мог бы быть иным.

Они пришли в просторный домик на взморье. В нем казалось тесно от проводов, реостатов, рубильников. Гордо оглядываясь, минер показывал инженеру приборы:

— Поздновато, правда... по уставу минировать рейд — это первое дело морской крепости. Вот взгляните, что наворочено: весь рейд, выход — все в минах. Когда идут наши, выключаем ток, и мины — безопасные картошки, но если включить вот это... Подумать страшно, что из-за нераспорядительности высокого начальства мы потеряли «Енисей», «Боярина»...

— А быть может, «Петропавловск» и Макарова... — вырвалось у Несвижского.

Офицер пожал плечами:

— Все могло быть... При хаосе, царившем здесь до приезда нашей команды...

Инженер угрюмо отвернулся. Минер взял бинокль и подошел к окну.

— Ура! — вдруг заорал он.

Несвижский бросился к нему. Сумерки сгустились над морем, но в бинокль можно было разглядеть дымы над горизонтом.

— Что с вами?

— Глядите, глядите! — кричал моряк, нетерпеливо обводя биноклем горизонт: — Японская эскадра! Они проморгали наших. Витгефт уже в открытом море! Сейчас они у меня запрыгают! Боже мой, месяц жду...

Он бросил бинокль и кинулся к большому рубильнику. Руки его дрожали. Несвижский вскочил с места и вцепился в его рукав.

— А вдруг это свои? Вдруг они возвращаются?

Минер тряхнул кистью, стараясь вырвать рукав.

— Пустите же, говорят вам, дорога каждая минута! С чего нашим возвращаться? Боя еще не могло быть, а бежать... До такого позора мы еще, слава богу, не дожили...

Он включил рубильник.

— Смотрите, сейчас они взлетят...

— Дымки, еще эскадра! — дико закричал Несвижский, цепляясь за его руку.

Минер растерянно взглянул на море: левее быстро шла другая эскадра, наседая на первую. Он быстро выключил рубильник и, схватив бинокль, выбежал из комнаты.

11

Эскадра, отслужив молебен, вышла в море. Блокирующие Артур крейсера давно известили Того о движении русских, и он подошел с главными силами. Хотя ход ремонта «Цесаревича» и «Ретвизана» был ему в точности известен, но велика была его тревога, когда он увидел их во главе русской эскадры. В душе он надеялся, что повреждения в не имеющем дока Артуре неисправимы. Он понимал, какое впечатление произведет на его офицеров появление двух лучших броненосцев, которые все считали навсегда испорченными.

Того почувствовал, что судьба кампании висит на волоске. Прошло полгода со дня славной атаки, нанесшей русским такой страшный урон, и вот — все надо начинать сначала. И при каких условиях? Русский флот потерял один устарелый броненосец, он — два луч-

ших, неприятель доведен безвыходностью до отчаянной решимости, японские команды будут угнетены появлением «Цесаревича» и «Ретвизана». Ему и так ставили в вину нерешительность первой минной атаки, неиспользование гибели «Петропавловска» для разгрома предавшегося панике неприятеля и множество других неизбежных ошибок. Он по мере возможности берег флот от риска и теперь вынужден рисковать в наиболее неблагоприятных условиях. Не только поражение, — нерешительный исход боя поставит высадившуюся армию в катастрофическое положение.

Витгефт вскоре рассеял его тревогу. Встретив вместо слабого заслона весь боевой отряд Того, он поднял сигнал повернуть назад. «Миказа», «Хатцузе», «Шикишима», «Яшима», «Нисин», «Фуджи» наседали на него, стреляя из всех орудий. В глубине души Витгефт был рад, что непредвиденное препятствие задержало его на рейде и он встретился с неприятелем недалеко от своей базы, когда еще отступление не отрезано.

Около Артура «Севастополь» коснулся мины. Хотя он остался на плову, эскадра не решилась в сумерках входить в бассейн. Всю ночь она провела на внешнем рейде, отбиваясь от непрерывных минных атак, подтвердивший лишним раз, что при бдительности миноносцы не страшны.

В Артуре Витгефта ждали неприятности. Он надеялся, что пробоина «Севастополя» даст ему передышку, заставит генералов и наместника оставить его в покое. Но генералы вдруг ожесточенно стали гнать его из крепости. Они доказывали, что только стремление овладеть эскадрой делает Артур для японцев столь притягательным и что с уходом флота крепость потеряет для них интерес.

Наместник тоже не оставлял его в покое. В ответ на телеграмму Витгефта он выразил удивление, что адмирал и строевой состав не сумели отличить броненосцы от замаскированных коммерческих пароходов. Чтоб покончить с отписками, он испросил высочайший приказ о прорыве во Владивосток и телеграфировал

категорическое распоряжение императора выходить.

«Напоминаю, — грозил наместник, — что невыход эскадры в море вопреки высочайшей воле и моим приказаниям и гибель ее в гавани в случае падения крепости лягут неизгладимым пятном на андреевский флаг и честь родного флота».

Генерал Ноги со своей стороны решил поторопить колеблющихся моряков. Бездействие русского флота освободило тяжелые 11-дюймовые мортиры японских прибрежных крепостей. Дальний, прекрасно оборудованный кранами и подъемными машинами, дал японцам возможность выгрузить их под самым Артуром. Мортиры были установлены на окружающих горах, и, пользуясь их дальностью, Ноги начал бомбардировку внутреннего рейда, поражая укрывшиеся там броненосцы.

Круг сомкнулся. Оттягивать и вилать стало невозможно. Витгефт сдался. Не скрывая своего неверия в возможность прорыва, он телеграфировал в Петербург:

«Согласно повеления вашего императорского величества выхожу с эскадрой прорываться во Владивосток. Лично я, флагмана и командиры были против выхода, не ожидая успеха прорыва, ускоряющего сдачу крепости».

12

В течение июня генерал Ноги сконцентрировал под Артуром громадную армию и, бросив ее на Волчьи горы, овладел ими. Началась тесная блокада. Все усилия осаждающих сосредоточились на Высокой. Атаки велись день и ночь, изматывая и без того переутомленный гарнизон.

В середине июля японцы после упорного штурма взяли Высокую. Как только эта весть распространилась в крепости, все поняли, что препирательствам и проволочке конец. С этой горы был виден весь Артур, и наблюдатели могли теперь с большой точностью корректировать стрельбу. Флоту больше нигде было укрыться от осадной артиллерии.

25 июля установленная на Волчьих горах неприятельская батарея приступила к обстрелу порта. Она быстро пристрелялась по хорошо видимой цели и начала поражать беспомощные суда. В «Ретвизан» попал снаряд ниже ватерлинии, сделав подводную пробойну. Он стал медленно крениться и, пока подвели пластырь, набрал 500 тонн воды, потеряв свои превосходные морские качества и быстроту. Попал снаряд и в «Цесаревича», легко ранив самого командующего.

Витгефт решил в последний раз собрать свой «парламент». Флагмана и командиры думали, что их вызывают для совместной выработки плана прорыва. Но командующий лишь прочитал им высочайший приказ, и, назначив строй и порядок выхода, поднялся, чтобы отпустить их. Удивленные такой несвоевременной самостоятельностью, командиры выразили желание обсудить план неизбежного боя, выработать выгодную тактику. Но Витгефт холодно заявил, что это его дело.

Накануне выхода контр-адмирал Лошинский предложил свой план: во Владивосток прорываются лишь быстроходные суда, а тихоходы «Полтава» и «Севастополь» с десятью миноносцами остаются для демонстрации у Дальнего. Если Того бросит все силы на преследование уходящей эскадры, то этот отряд будет громить Дальний — базу японской армии. Если же он пошлет часть сил к Дальнему, то, пользуясь минными заграждениями и поддержкой береговых батарей, «Полтава» и «Севастополь» смогут долго вести бой с превосходящим противником, а эскадре будет легче прорваться во Владивосток.

Витгефт только отмахнулся от него: — Мне приказано итти со всеї эскадрой — я это исполняю.

Так же бесплодно кончилось совещание штурманов. Они предложили выходить с вечерней полной водой, чтобы, часто меняя курс, скрыться в ночной темноте и обмануть бдительность стерегущего противника. Командующий, боявшийся больше всего мин, отклонил их предложение.

Выход эскадры не оставался тайной и на этот раз. Было много признаков, что флот окончательно покидает Артур. Усиленно грузили уголь, прибирали корабли, испытывали механизмы. Моряжи устраивали своих жен и любовниц сестрами милосердия на госпитальную «Монголию», чтобы не скучать без них во Владивостоке.

Несвижский тоже решил покинуть крепость. Он немало изумил штабистов, подав рапорт с просьбой зачислить его механиком на один из кораблей.

— Дорогой мой, куда вас несет? — удивленно спросил адъютант. — Идем ведь с отчаяния, не веря... Все хитрят, как бы списаться, а вы...

— Передайте рапорт контр-адмиралу Витгефту, — сухо прервал Несвижский.

Его взяли как мебель: авось, пригодится во Владивостоке, где дельных инженеров тоже не очень много. Определенного назначения ему не дали. Он перенбрался на «Цесаревича» с волнением: этот купленный при его участии быстроходный красавец может послужить ему и могилой.

13

28 июля, чуть поредела тьма, эскадра стала выходить на внешний рейд. С востока, в предрассветной мгле, смутно чернели дымки «Нисина» и «Касуги».

В восемь тридцать командующий поднял сигнал:

«Флот извещается, что государь император приказал итти во Владивосток».

Шли медленно. Сначала нельзя было развить ход из-за ползущего впереди тралящего каравана, потом испытывали пластырь «Ретвизана», боясь, что он не выдержит большого напряжения. «Ретвизану» разрешено было в случае нужды вернуться в Артур, но он держался в строю исправно.

Едва отпустили тралящий караван и дали 13 узлов, как произошла поломка на «Цесаревиче». Пришлось поднять сигнал:

«Иметь 8 узлов хода».

«Восемь узлов при прорыве блокады!» — уже без прежнего раздражения подумал Несвижский. Он относился теперь ко всему с иронией, которой

прикрывался от одолевшей его тоски.

Погода благоприятствовала прорывающимся. С востока и северо-востока находил низовой туман. Сзади сразу утонул в синеве гор Артур, впереди все шире развевывалось свободное море.

Эскадра дала полный ход.

Около половины двенадцатого с востока показался боевой отряд адмирала Того. В кильватерной колонне, как и всегда, было шесть кораблей. Купленные в Италии первоклассные броненосные крейсера «Нисин» и «Касуга» заняли место затонувших 2 мая броненосцев. Отряд пошел на пересечение курса русской эскадры. Легкие крейсера, вынырнув от островов Миао-тау, склонились на соединение с ним.

Состязание в быстроте хода решало исход первого столкновения. На обеих эскадрах, с замиранием сердца следили, как вспарывали волну тяжелые броненосцы.

Вдруг на «Цесаревиче» опять подняли флаг «К» — злополучный сигнал повреждения. Все застопорили машины.

«Это руль!» — с горькой уверенностью решил Несвижский.

Через десять минут с поломкой справились, и состязание продолжалось с новой силой. Казалось, русская эскадра рассечет стремящихся сдвинуться врагов, раскидает их направо и налево, и крейсера будут бессильны помочь своим броненосцам в бою. Но в 12 часов 20 мин. «Победа» подняла ставший популярным флаг «К» и вышла из строя. Все опять стали.

Неприятель быстро сближался. Его крейсера пересекли курс эскадры и стройной стайкой влились в свой флот. Как бы в ознаменование успеха раздался могучий салют — первый залп по русским судам. Завязался бой.

Витгефт стоял на нижнем мостике, холодно скользя взглядом по неприятельским броненосцам. Вокруг рвали снаряды, около головы жужжали осколки, а он, словно перед ним происходили маневры, безразлично наблюдал за сражением, не замечая беспокойно толпившихся около него штабных.

К нему подошел флаг-офицер:

— Вильгельм Карлович! Надо переходить в боевую рубку.

Витгефт повернул к нему холодное лицо, и флаг-офицер отодвинулся, до того эта застывшая маска не напоминала добродушного Вилю. Он вытянулся и, приложив руку к козырку, нерешительно пробормотал:

— Здесь, ваше превосходительство, небезопасно.

Витгефт отвернулся. Чего хотят от него эти люди? Он не верит в эскадру, но он не позволит сомневаться в своей личной храбрости. Он покажет, что сумеет мужественно умереть.

«Позирует для истории», — неприятно подумал отошедший флаг-офицер.

Витгефт пристально вглядывался в воду. Пересечение крейсерами курса эскадры обеспокоило его, и он приказал внимательно смотреть вперед. Его опасения скоро оправдались: по курсу были разбросаны мины, и «Цесаревич» круто повернул на 4 румба, чтобы не наскочить на банку. Заунывная сирена прокатилась над эскадрой, призывая к бдительности. «Новик» застопорил машины и, пропуская мимо себя суда, передавал каждому семафором о подстерегающей опасности.

Во втором часу Того повернул «все вдруг» на 16 румбов. Нырнув под хвост русской эскадре, он обрушил на шедшие сзади крейсера всю силу своего огня и разошелся с ними контр-курсами.

— Кажется, посчастливилось, — облегченно вздохнули на «Цесаревиче».

— Дай-то бог...

— Прорвались!..

Моряки суеверны, и болтунов резко останавливали. Не верилось, чтобы японцы, для которых весь исход войны зависел от победы флота, успокоились без решительного, жестокого боя. Они, очевидно, опасались возврата эскадры и решили отрезать обратный путь в Артур. Они словно конвоировали арестованных, держась позади правого траверза на такой дистанции, что на горизонте виднелись только их трубы, мостики и надстройки.

Эскадра скользила по легкой зыби спокойного моря, матово блестя бортами под яркими лучами солнца. День был тих и прозрачен. На горизонте, не приближаясь и не удаляясь, тянулись две правильные линии судов. Команды сажались за столы ужинать. Наблюдавшим эту мирную картину не верилось, что бой, рано или поздно, должен состояться.

— Четыре крейсера справа! — прозвучал голос вахтенного.

Витгефт отлично видел их, как и тех других сзади. Они летели наперерез, неся впереди вспененную воду.

Мелькнуло сизое облачко, сверкнул огонь. Другой, третий, десятый... Опять бой?

Но они не сближались больше. Точно играя или выжидая чего-то, крейсера лениво постреливали, держась далеко от эскадры.

Корабли шли 15-узловым ходом. Невижский заметил, что «Севастополь» и «Полтава» отстают.

«Не лучше ли было, в самом деле, итти без них, — подумал Невижский. — Скорость эскадры равняется скорости самого тихоходного судна. Без тихоходов мы бы задали такого гону... Может, японцы и отстали бы».

Словно в подтверждение его мыслей, «Цесаревич» уменьшил ход, чтобы не растягивать линию...

Пробили склянки.

«Пять часов, — с надеждой подумал Витгефт, всматриваясь в стройную линию своих броненосцев. — Дотянуть до темноты — и мы спасены. Ложными поворотами уклонимся в сторону, оторвемся от японцев и затеряемся в морском просторе...».

«С заходом солнца следить за адмиралом» — взвился сигнал на «Цесаревиче».

Как бы в ответ, неприятельская колонна резко прибавила ход.

— Щетинятся, щетинятся! — закричал кто-то.

Все оглянулись. Блестящая линия гладких, как мрамор, бортов странно меняла очертания. Ровная поверхность медленно расступалась, изнутри направо и налево выдвигались дула орудий. Они

ресли, как гигантские жала, все больше и больше подымаясь, точно оглядывая врага.

Кругом зашипели снаряды. Витгефт поднял сигнал — стрелять по головному. Это был завет покойного Макарова.

Но Того был способный ученик, и учился он у каждого, у кого было чему учиться. Он приказал то же самое, и «Цесаревич» очутился под снарядной лавой, а на «Пересвете», на котором был контр-адмирал князь Ухтомский, сбили грот-стенгу и верхушку фор-стенги. Это были не очень удачные выстрелы, чуть лучше перелета, но они лишали младшего флагмана возможности поднимать сигналы.

Бой шел ровно, не давая никому перевеса. Две эскадры двигались параллельными курсами, осыпая друг друга огнем и обволакивая дымом. В головной японский броненосец попало несколько тяжелых снарядов, но говорили, что Того шел вторым на «Миказе», чтоб не подвергать свой флот риску остаться без командующего.

«Продержаться до вечера...» — вяло думал Витгефт.

Двенадцатидюймовый снаряд ухнул рядом, обдав палубу брызгами осколков. Начальник штаба, предпочитавший не подходить к командующему с тех пор, как с получением высочайшего приказа тот носил эту неподвижную страшную маску, приблизился к нему.

— Необходимо перейти в рубку, — мягко сказал он.

— Там и без того тесно, — не оборачиваясь, бросил Витгефт. — Один я не пойду. Со штабом — помешаем судовым чинам управлять броненосцем.

— Может, перейти на верхний мостик? — несмело предложил начальник штаба.

— Не все ли равно, где умирать? — с сердцем отмахнулся командующий, все так же через плечо.

Начальник штаба неодобрительно покачал головой.

— Я хотел предложить на рассмотрение вашего превосходительства выгодный способ маневрирования. Повернув последовательно на 8 румбов, затем на 8 «все вдруг», мы зайдем хорошее поло-

жение относительно солнца и окажемся в строе фронта, в котором нам выгоднее принять бой на отступлении. У нас 26 шестидюймовых кормовых орудий против 14 японских, а бортовых 33 против 47.

— Знаю. Но это на отступлении, — как автомат ответил Витгефт, — а нам приказано итти во Владивосток.

Тяжелый взрыв над мостиком потряс броненосец. Витгефт качнулся и грузно стал оседать.

«Темнеет, — пронеслась последняя мысль, — за ночь, авось...».

Новый двенадцатидюймовый снаряд упал у коечных сеток. «Цесаревич» круто бросился влево и так накренился, что по броненосцу пронесся стон, напоминавший отчаянный вопль при гибели «Петропавловска».

Несвижский стоял на палубе, бледный, взволнованный, стараясь удержать дрожь в коленях. Вот момент, ради которого он пошел с эскадрой. Выдержит «Цесаревич» экзамен или сейчас опрокинется, похоронив под собой адмирала и экипаж?

Броненосец описывал циркулярию. Он прорезал строй эскадры, катясь прямо на «Пересвет», точно собираясь таранить его. Тот быстро повернул. «Ретвизан», сперва склонившийся за флагманским кораблем, понял, что тот потерял способность управляться, и лег на прежний курс.

На эскадре началось замешательство: кто поворачивал за «Цесаревичем», кто за «Ретвизаном». Пользуясь заминкой и преимуществом в ходе, Того начал склоняться в сторону противника, с очевидным намерением охватить головную часть колонны, чтобы держать ее под огнем из окружности в центр. На пути во Владивосток смыкался непроницаемый полукруг японцев.

Командир «Ретвизана» понял, что командующий убит и что наступает критический момент. Он очутился впереди эскадры, но, вместо стройной колонны, увидел позади себя идущие в разные стороны корабли, не способные к отражению атаки. Очевидно, каждый решил действовать по способностям — самое опасное в бою решение.

Он с минуту колебался, пристально взглядываясь в «Пересвет», на котором находился следующий по чину адмирал. Там не видно было никаких признаков инициативы. Махнув безнадежно рукой, командир оглядел свой броненосец: пластырь держался, но «Ретвизан» от новой пробойны в носу, над самой ватерлинией, с каждой волной черпал воду, зарываясь носом. Решив, что до Владивостока ему все равно не дойти, он приказал положить лево на борт и устремился на японскую колонну.

За ним двинулась «Победа», готовая итти за каждым, кто проявит решимость. Она сразу очутилась словно в закипающем котле: огонь всей неприятельской эскадры сосредоточился на ней. Вокруг вздымались огромные столбы воды; палуба, башни, мостики, рубка затрепали от снарядного града. Японцы ни на минуту не выпускали инициативы из рук. Броненосцы скрылись под вздымающимися гигантскими фонтанами. Когда они стали опять видны, на «Победе», не обладавшей такой броней, как «Ретвизан», были разворочены трубы, изрешечена палуба. С крепом на правый борт и дифферентом на нос изуродованный корабль повернул назад.

«Цесаревич» продолжал описывать круги. Осколки снаряда попали в боевую рубку и вывели из строя управление броненосцем, приборы, людей. По палубе пронесся крик:

— Заклинило руль!

«Сволочи! Что они сделали с лучшим броненосцем» — успел подумать Несвижский, теряя сознание от контузии.

Первым очнулся старший артиллерийский офицер. Он увидел, что в рубке все убиты и броненосец катится влево, так как до попадания снаряда положили руля для удержания корабля на курсе. Артиллерист бросился к штурвалу, но руль не действовал. Он отдал распоряжение в центральный пост — перевести управление на нижний штурвал, но ответа не получил.

В это время у входа в рубку зашевелился и с трудом приподнялся раненый лейтенант. Откуда-то прибежал мич-

ман. Артиллерист послал завести румпель-тали и, чувствуя, что лицо затекает кровью, ушел на перевязку, поручив броненосец лейтенанту. Последнему удалось перевести управление кораблем в центральный пост, и «Цесаревич» стал выходить из опасного положения, разворачиваясь машинами. На нем взвился флаг:

«Адмирал передает командование».

«Ретвизан» продолжал сближаться с японцами. Он был уже в 17 кабельтовых от них, когда на нем заметили сигнал «Цесаревича». Готовясь к таранному удару, командир подумал:

«Кому? Ухтомскому?».

Он вскинул подзорную трубу, взглядываясь в «Пересвет», и различил привязанный к мостику сигнал: «Следовать за мной».

Командир в нерешительности оглянулся. Вернуться? Сейчас, когда неприятельский флот так близко, когда один смелый удар может решить судьбу боя... Ему вспомнилось, как в Абукирском бою английский адмирал, считая дело проигранным, приказал отступить. Нельсон, командовавший тогда кораблем, зорко взглядываясь в строй эскадр, заметил замешательство не только среди своих, но и у неприятеля. Притворившись, что не видит сигнала, он смело пошел в атаку и протаранил французский фрегат... Англичане разбили врага.

— Медленно идем, — с досадой произнес он, меряя глазами расстояние до «Нисина». — Больше 16 узлов не дать, хоть тресни.

Он опять оглянулся на оставленную эскадру.

«Нельсон был слеп на один глаз. Ему легко было ответить: «Не заметил сигнала...».

Горячий осколок попал ему в живот. Ранение не было серьезным, все же командир упал на поручни. Ему сделалось дурно.

Японцы с беспокойством следили за движением «Ретвизана». Его неожиданный поворот заставил всех растеряться, и броненосец подпустили слишком близко: артиллерийские башни продолжали бить по флагманским судам. Когда,

спохватившись, сосредоточили огонь на «Ретвизане», волнение мешало взять прицел.

Адмирал Того стоял в рубке, наблюдая за упрямо прокладывавшим себе дорогу броненосцем. Вся эскадра перенесла на него огонь, а он идет и идет вперед, точно заговоренный. Действия «Ретвизана» могут лишить японский флот плодов всех побед.

Из всей его эскадры уцелел один «Фуджи». На «Асахи» раненые, в «Нисин» попало два двенадцатидюймовых снаряда, а сам «Миказа» изрешечен, как лейка. Первый же снаряд в спардек пронизал грот-мачту и убил 12 человек. За какой-нибудь час его проткнуло больше 20 тяжелых снарядов. Около Того нет уже принца Хирояси, нет командира броненосца, нет многих офицеров, подбито одно двенадцатидюймовое орудие.

К нему подошел артиллерийский офицер:

— Снаряды на исходе.

Того знал, что не успели погрузить запасный комплект снарядов, но в горячке забыл об этом. Он, не моргая, смотрел перед собой и чувствовал, как страх, обыкновенный человеческий страх овладевает им. Его страшило грозное сопротивление доведенного им же до отчаянья врага.

— Усилить огонь! — дрогнувшим голосом приказал он.

Артиллерийский офицер ушел с тем же растерянным выражением. Того застыл, вцепившись пальцами в поручни. Флот — не пехота. Тут не бросишься вперед, не воодушевишь личным примером. Спокойствие и трезвый расчет.

Вспомнился китайский адмирал Тинг. Тот отважно сражался и потерпел поражение благодаря бестолковым распоряжениям Пекина. Но после неудачи он удавился. Обычай Азии суровы.

Он заметил ослабление огня и снова поднялся: стреляли вяло, видно, жалея последние снаряды. Жестко приказал:

— Немедленно усилить огонь!

— Орудия подбиты, — долетел до него невнятный ответ.

Он вздрогнул и огляделся: около

боевой рубки все было разворочено. мостик снесен, орудия исковерканы. «Шикишима» еле поспевал за флагманским броненосцем, вихляя совершенно разбитой кормой, за ним тянулся сильно поврежденный «Асахи».

— Не отклоняться от курса! — резко крикнул он, заметив, что «Миказа» под ураганом снарядов понемногу начинает склоняться на ост. Офицеры молча переглянулись. В голосе всегда спокойного адмирала послышались истерические нотки.

«Ретвизан» был уже в 15 кабельтовых. Его орудия без передышки выплевывали металл в неприятельские броненосцы, получая в ответ еще больше металла. Командир его, очнувшись от контузии, безнадежно оглядывал через амбразуры рубки море.

«Один! Ни одна сволочь не пошла за мной. Будь нас трое-четверо, они бы не выдержали натиска. Страшная вещь — эскадра, стремительно несущая смерть на своем таране, эскадра, решившая любой ценой добиться уничтожения врага... Они явно уклоняются. Теперь бы один решительный удар! Ах, если б не отдали крепости тридцать орудий... Нет. Одному не выдержать. Повернуть? Что ж, в конце концов я спас всех, приняв на себя весь огонь... Теперь они оправились, пусть дерутся, чорт возьми!.. Нельсон тоже один не решил бы участи боя. Его пример подействовал, как искра, все устремились за ним. А эти...».

Он снова вкинул бинокль, пытаясь рассмотреть, что делается на русских броненосцах, бывших от него сейчас дальше, чем неприятель.

Замешательство на артурской эскадре все увеличивалось. Сигнал «Пересвета» заметили не все. Многим в голову не приходило искать его на верхнем мостике. Большинство склонялось к мысли, что эскадра неуправляема, и каждый делал первое, что приходило на ум. Суда сбились в кучу.

Начальник крейсерского отряда контр-адмирал Рейценштейн, заметив, что флагман передает командование и что на «Пересвете» не видно сигнала, решил, что Ухтомский тоже убит и власть

должна перейти к нему. Еще до боя все до того были уверены в поражении, что, как только началось замешательство, сочли себя побежденными, хотя ни один корабль не выбыл из строя, а огонь неприятеля все слабел. Контр-адмирал Рейценштейн не подумал заменить командующего, чтобы вести эскадру в бой. Он поднял флаг «Следовать за мной» и дал такой ход, на который был еще способен один лишь «Новик». Не только броненосцы, даже крейсера не могли исполнить приказа трусливого адмирала, пустившегося наутек на быстроходном «Аскольде».

Ухтомский тоже не проявлял решимости. У него были сбиты стены, но, не будь он так растерян, сигнал можно было поднять на их обломках, на марсах, на трубе, на любом приметном месте. Но больше всего он боялся ответственности и одинаково не решался — ни повернуть назад, ни продолжать путь во Владивосток. Он, как избави-

телю, обрадовался «Ретвизану», который возвращался, не выдержав сосредоточенного огня. Суворовский завет устарел: таран оказался дурой, пушка молодцом. «Ретвизан» держал курс на Артур. Контр-адмирал Ухтомский оказался человеком без претензий и скромно занял место в кильватер «Ретвизану», довольный, что не он повел эскадру назад.

Командир «Ретвизана» всю отвагу растерял в последней атаке. Забыв, что его броненосец — часть эскадры, он дал полный ход. Не обращая внимания на отчаянные сигналы не поспевавшего за ним «Пересвета», он скоро скрылся из виду. Никто уж не думал о том преимуществе, которое давало обилие кормовых орудий, если принять бой на отступлении.

Далеко на юге чернели силуэты японских судов, в напрасной тревоге ждавших атаки богатой снарядами русской эскадры.

Конец первой книги

Люди и факты

1. ИВ. РАХИЛЛО — Валерий Чкалов. 2. И. ГЕХТМАН — Рассказы о золоте

ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ

Ив. Рахилло

(Из записной книжки)

Имя Чкалова еще задолго до своего всенародного признания было известно каждому летчику нашего воздушного флота. Окутанное славой, оно всегда возникало в памяти, как символ отваги. Старые летчики рассказывали о самых невероятных похождениях этого воздушного героя. Слава Чкалова росла снизу. Так конструкторы и инженеры, продувая в аэродинамической трубе модель самолета, раньше других узнают о чудесных свойствах новой машины. «Аэродинамическая» слава Чкалова выдерживала любую «продувку» авиационных специалистов и мастеров пилотажа.

Познакомиться с Чкаловым лично мне удалось несколько лет тому назад. У заводского ангара стоял широкоплечий, большелобый человек, с суровым, обветренным лицом; у него были внимательные синие глаза.

— Испытатель летной станции Валерий Павлович Чкалов!

Вот он, оказывается, какой! Чкалов был немногословен, разговаривал баском, волжским говором. Я напомнил ему о том, как он когда-то пролетел на самолете под Троицкий мост. Он подтвердил это.

— И вы не боялись зацепиться крылом?

— Не боялся. Я так чувствую габариты крыльев, что никогда не заце-

плюсь. Так же, как обыкновенный человек свои расправленные руки...

Он показал таблицу мировых рекордов скорости и заявил:

— Не успокоюсь до тех пор, пока не перекрою все эти цифры!..

Чкалов смел, но осторожен. За всю свою практику на такой сложной работе, где он испытал несколько десятков типов самых разнообразных машин, он не имел ни одной аварии. Это — редчайший случай в практике летчика-испытателя.



Мы пошли по заводу. Десятки новых машин, самых разнообразных конструкций, заполняли ангара. Он шел мимо них, как укротитель, похлопывая и разговаривая с ними, как с живыми. Для каждой из них он находил свои слова, свою интонацию. В углу стояла элегантная, крошечная машина, такая маленькая, что из кабины пилота, обернувшись, можно было достать рукой до хвостового оперения. Издали казалось, что она выкована из тончайшего серебра. Заметив мое восхищение, Чкалов усмехнулся:

— Вот в жизни постоянно так происходит. А испытатель по внешности не должен судить. Внешность обманчива. На этой машине из всех летчиков ле-

тал только я один, да и то раз. Поддерживающие плоскости у нее с ладонь, а посадочная скорость — больше ста тридцати. При посадке так и норовит развернуться, еле-еле ногами удержишь.

Несмотря на свою отвагу, Чкалов осторожен и расчетлив.

Машина рождается на глазах летчика-испытателя. Еще до того, как она приняла видимую, осязаемую форму, он уже знаком с ее чертежами. Опытный экземпляр машины делается руками, каждая, самая мельчайшая деталь выпиливается, вытачивается на ручных станках. Наконец машина собрана. Но ее не сразу выпускают в воздух: машину начинают ломать. Ее испытывают на прочность. На нее нагружают мешки с песком, крылья гнутся под грузом: конструктор вместе с испытателем изучает кривые. Это напряженная, кропотливая, лабораторная работа, где вместе с машиной испытываются терпенье и постоянство летчика. Уже в это время он знает машину до мельчайших деталей, он чувствует ее, но верить ей он не имеет права.

Начинается полоса заводских испытаний.

— Тут уж не стесняешься, даешь самолету самую серьезную нагрузку. — Чкалов отбрасывает кепку на затылок. — Испытываешь его на под'ем, на маневренность, управляемость, на устойчивость, километраж, в фигурных полетах, «потолке», и в заключение — на штопоре. На этой работе, знаешь, какое здоровье нужно?.. Мне приходится давать самолету такие нагрузки, каких он никогда не будет переносить впоследствии. Можно прекрасно чувствовать машину, но, чтобы испытать ее на сверхмаксимальных скоростях, чтобы выжать из нее все до предела, нужно обладать большой физической силой. Разгонишь самолет по прямой и с ходу вдруг переведешь его в другой режим полета — в соответствии с законом инерции создается огромная нагрузка на человека и машину, достигающая иногда семи-восьми крат. И чувствуешь, как на плечи наваливается чугунная тяжесть. Зажмешь в руках управление и на миг потеряешь сознание. Голову прижимает к

самым коленям. Но только овладел собой, и уже озабоченно глядишь: выдержала ли машина перегрузку?..

Испытатели — народ осторожный. И это естественно: стоит сделать одно неправильное движение — и машина разбита. Эти качества — наблюдательность, смелость, предприимчивость, настойчивость — твердо врастают в характер человека, оставляя след на его лице. У Чкалова большой, открытый лоб, смелые глаза и толстые, прямодушные губы. Он широко мыслит.



Вместе с Байдуковым и Беляковым Чкалов готовит книгу для Детиздата. Годы его мальчишества связаны с Волгой.

— Если бы двадцать лет назад мне сказали, что я буду летать, я бы тому не поверил, — рассказывает Чкалов.

— Детство мое прошло в небольшом селе на берегу Волги, называлось село — Василевский Затон. Зимой здесь ремонтировались пароходы. В этом затоне работал мой отец, котельщик. Здесь начал работать и я. Мне было тринадцать лет.

Я помню себя здоровым, задорным мальцом в старом отцовском пиджаке и в отцовских валенках. Лицо мое и руки покрыты густым слоем копоти. Жили мы плохо, но я всегда был весел и жизнерадостен.

Я очень обрадовался, когда отец повел меня на работу. Вместе со мной работали и другие ребята — мои друзья. Я был первым среди них. Никто не мог так быстро, как я, переплыть Волгу, так поднырнуть под плоты или уцепиться за руль идущей полным ходом баржи.

В то время у нас в Василеве еще жив был обычай драться «стенкой». Бились на-кулачках и ребята.

Я был предводителем самой сильной в селе группы ребят. И «горские», и «базарские» ребята никогда не выдерживали наших кулаков.

Вместе с приятелями мы уезжали рыбачить на лодках, зимой катались на лыжах и санках. К 12 годам я был сильным и храбрым. Работа на затоне

еще больше укрепила и закалила меня. Каждый день по 10—12 часов я поднимал и опускал тяжелый молот. Мои мускулы развились. Через год я уже работал кочегаром на камнечерпалке, а еще через год — на пассажирском пароходе «Баян».

В 1917 году мне было всего четырнадцать лет, и я окончил только сельскую школу. Трудно мне было разбираться в жизни, но нашлись товарищи, от которых узнал я о партии большевиков, о Красной армии, о гражданской войне.

В годы гражданской войны в Нижнем-Новгороде был расположен авиационный парк. Изредка над городом пролетал самолет. Услышав шум мотора, я забывал о дисциплине и выскакивал из кочегарки, где тогда работал. Черномазый, потный, следил я за исчезающим на горизонте самолетом.

Возвращаясь в свое «пекло», я мечтал о полете. И какой несбыточной казалась мне эта мечта!

Но осень 1919 года застала меня в приемной комнате штаба IV авиационного парка. Я пришел поступать в ряды Красной армии добровольцем. Мне шел в то время шестнадцатый год.

Целый год работал в парке сборщиком самолетов. Это был год разочарований. Никто не собирался учить меня летать, всем было не до меня. Со всех сторон молодую республику окружали враги.

Наши летчики летали на устаревших, непрочных самолетах. Белогвардейцы же — на новеньких, английских. И все же наши голодные герой-летчики побеждали сытых, прекрасно вооруженных белогвардейцев.

Как мне хотелось летать вместе с нашими летчиками, как хотелось сразиться с врагами в воздухе! Но в то время на всю Россию была одна авиационная школа. Попасть в нее, да еще с моим сельским образованием, было невозможно. В годы гражданской войны я усиленно читал, беседовал со знакомыми летчиками и авиационными мотористами, постепенно готовился к школе.

И в 1921 году был наконец командирован в город Егорьевск, в авиационную школу. С какой жадностью принялся я за учебу!

За первый год я несколько раз побывал в воздухе, и чувство полета стало для меня знакомым и близким.

На всю жизнь запомнился день, когда я впервые полетел на самолете один. В одно июльское утро наш суровый учитель — «бог», как мы его звали между собой, — неожиданно сказал мне:

— Приготовиться к самостоятельному полету.

Тот, кто сам испытал такую минуту, поймет, какое у меня было замечательное настроение.

Лететь одному без инструктора!

Я приготовил машину к полету. Оторвался от земли, сделал две посадки и два под'ема — и все один, поймите, один — без чьей-либо помощи! Летал я первый раз всего-навсего десять минут.

С этого десятиминутного полета и начинается моя летная жизнь.

Скоро я окончил школу, и меня командировали в Серпуховскую школу летчиков. Здесь меня, рядового пилота, превратили в военного летчика. Я научился владеть не только самолетом, но и оружием, применяемым в воздушных боях.

Учился я хорошо. В награду меня отправили в московскую Высшую школу авиации. Искусство высшего пилотажа — «петли», «штопоры», «перевороты» и другие сложные фигуры — я постиг быстро. В ноябре 1923 г. я стал военным летчиком...



Недавно мне пришлось побывать на родине Чкалова. Он вырос в Василевском Затоне. Домик стоит на самом берегу Волги. Решетчатый забор. Синие дали. Его старая художавая мать рассказала о детстве сына:

— Такой непоседа был, за зиму, бывало, три пары валенок сносит... Любит меня. Деньги присылает. Недавно прилетал на самолете...

У учительницы Славиной хранится фотография Валерия. Снимок первых лет его авиационной жизни. На снимке размашистая надпись:

«Моей первой учительнице, которая показала мне букву «А» и велела ее запомнить».

Товарищи Валерия Чкалова по школе рассказывают:

— Среди мальчишек, во всех ребячьих предприятиях, он был вожаком. Своей здоровой, плечистой фигурой он резко отличался от нас, его сверстников. В школе он обычно сидел на задней скамейке. Учился хорошо. Несмотря на свой рост и силу, был чрезвычайно добродушен.

О простоте и высоком чувстве товарищества рассказывает земляк Чкалова Шишов:

— В 1925 году, когда он служил в Ленинграде, мы — несколько его земляков — приехали туда учиться. Мы были совсем безденежные студенты, а он еще малоизвестный летчик. Материальные возможности его тогда были очень скромны. Несмотря на это, он всех нас вселил к себе, оказал поддержку и каждого из нас постоянно бодрил.

В эти несколько месяцев нашей жизни у Валерия мы близко могли наблюдать его бесстрашие. Его полеты над самой крышей дома, где мы жили, приводили в ужас не только нас, обитателей, но и всех случайных зрителей, собиравшихся толпами смотреть на «безумца». Валерий постепенно, на наших глазах, рос, мужал, превращаясь в дисциплинированного испытателя скоростных машин, в летчика с редким самообладанием.



— Моя жизнь не была прямолинейной. Налетав сотни часов, я заскучал. Я совершал порой слишком смелые и рискованные полеты...

Однажды на аэродроме Чкалов, демонстрируя свое искусство в технике пилотажа, разогнал машину и ринулся вниз, желая, повидимому, проскочить в

узкий пролет между деревьев. На аэродроме росли два дерева, но каждому, самому неискушенному, зрителю было видно, что пилот совершил непоправимую ошибку: ему изменил глазомер — расстояние между деревьями было гораздо меньше размаха крыльев самолета. Через секунду должна произойти катастрофа! Зрители ахнули, — на полной скорости Чкалов поставил машину на ребро и с ревом «пролез» между деревьев. Это был сенсационный трюк!

Он был большой выдумщик. В мглистый день, зимой, идя по маршруту на амфибии, он увидел идущий из Ленинграда поезд. Став по курсу полотна железной дороги, Чкалов полетел навстречу паровозу. Увидев мчащийся на сумасшедшей скорости самолет, машинист начал давать предупреждающие сигналы. Но самолет не сворачивал. В десяти шагах перед обезумевшим ревушим паровозом Чкалов поставил на дыбы обледеневшую амфибию, перепрыгнул через паровозную трубу и, едва не задев лыжами заснеженных крыш вагонов, скрылся за хвостом поезда в морозной мгле.

Он любил выделять фигуры на неподвижной высоте, у самой земли. Он вибрировал вокруг купола Исакиевского собора.

— Тяжело переживал я свои порывы, но что поделаешь, — во мне продолжал жить стихийный волгарь. И только позже, когда я стал работать летчиком-испытателем в научно-исследовательском институте, я нашел самого себя. Я попрежнему не останавливался перед риском. Но это уже был риск другого порядка — настоящий, трезвый риск, осторожный, хладнокровный, не имеющий ничего общего с «лихачеством».



Несомненно, что высокие мастера совершенно противоположных профессий поймут друг друга с полуслова. Их будет роднить техника, система и методика достижения той или иной степени

мастерства. В позапрошлом году в Сочи, на «Ривьере», жил известный скрипач Цимбалист. Несмотря на адскую, изнуряющую жару, он ежедневно, по два часа, проигрывал на скрипке простейшие этюды. Это была арифметика. Но зато какой класс он показал на своем концерте!..

Профессия летчика-испытателя весьма напоминает собой профессию музыканта. Каждый день, систематически, он обязан производить пилотажные полеты, чтобы с одного полета уметь почувствовать «душу» машины, разобраться в ее сложности, в тончайших капризах ее характера.



Живопись чувствует глубоко и понимает, но нет времени ходить по выставкам.

— Из театров самый любимый МХАТ. В МХАТ просмотрел все постановки. Узнав о премьере «Анны Карениной», забегал, засуетился. Обыкновенно билеты покупала жена, Ольга Эразмовна. Но на «Анну Каренину» купить билетов было нельзя. Не хотелось обращаться к администратору, но пришлось. На спектакле сидел в четвертом ряду партера в приподнятом настроении: Хмелев покорила своей игрой. Очень понравилась Тарасова. Вот это да...».

В правительственной ложе сидели товарищи Сталин, Ворошилов, Молотов. Увидев Чкалова, Ворошилов приветливо кивнул ему.

Домой Валерий Павлович возвращался под глубоким впечатлением от спектакля:

— Вот это да... — все повторял с задумчивостью.



В последний раз Валерий Павлович был в Василеве в мае.

Утром на местном «аэродроме» собралось едва ли не все население Василева. Прежде чем поехать на аэродром, Валерий Павлович завернул к 80-летней Дарье Акимовне Павловой.

— Садись, Дарья Акимовна, — сказал, здороваясь, Чкалов. — Заехал вот за тобой. По небу кататься поедешь?

Дарья Акимовна несколько растерялась:

— А не уронишь, Валенька?

— Нет, уж будьте спокойны, вернетесь в полном здоровье.

— Ну, раз уж такое дело — поедем.

Дарья Акимовна и сейчас еще полна впечатлений о полете.

— После меня-то уже многим старикам хотелось на самолете покататься, да Валерий Павлович спешил...



С Байдуковым разговариваем о Валерии. Характеристики совпадают.

Вначале Чкалов производит впечатление неповоротливого, флегматичного человека. Но первое впечатление обманчиво: достаточно увидеть его хоть раз в полете или поговорить с ним, чтобы определить в нем тонкого, наблюдательного и умного собеседника, с широким мышлением и высоко организованной нервной системой. Валерий — прекраснейший товарищ, правда, иногда резкий, но под этой резкостью скрывается доброе, застенчивое сердце. Он постоянно спокоен, но изредка в нем просыпается вспыльчивость — это бывает в тех случаях, когда человек настаивает на чем-нибудь мелком и наперекор ему. Не любит мелочности и мелочных людей.



Вся страна следила, затаив дыхание, за перелетом трех отважных героев. Стоит только вспомнить, сколько беспокойства испытали все, когда нарушилась связь с экипажем. И сколько мы пережили радости, восхищения, восторгов при известии о благополучном окончании маршрута! Нет, современникам никогда не забыть этой бури!

И вот финиш в Москве.

Я был в Кремле в тот день, когда их награждали орденами. Вспоминается серый, дождливый день. Беляков, в вышитой рубашке, стоит у окна и задум-

чиво смотрит на мокрые крыши. То-и-дело, отряхиваясь, входят знакомые — инженер Стоман, конструктор мотора, инженер Микулин, начальник штаба перелета Чекалов, профессор Ветчинкин. В приемной уже собралось человек тридцать. Открываются двери, и секретарь приглашает всех в зал заседаний. По дороге Беляков говорит Стоману о некоторых конструктивных недостатках самолета «АНТ-25», требующих устранения:

— Плохо, что негде было вытянуть ноги. Это очень неприятное ощущение: весь перелет в скрюченном положении. Надо переделать сиденье пилота. Сиденье неудобное. У Чкалова сводило ноги. Особенно правую. Приходилось меняться через каждые три часа...

В конце стола уже ожидают Калинин, Орджоникидзе, Чубарь. Читают постановление правительства. Первым подходит к столу Чкалов, он получает орден и от имени трех героев отвечает:

— Если не в этом, то в будущем году Сталинский маршрут пройдет через Северный полюс!..

В его голосе столько убеждающей твердости, что никто ни капли не сомневается в его словах. Домой все шагают по гулким коридорам, счастливые, возбужденные.

Приятели рассматривают грамоту Чкалова. Она напечатана золотом. «Герою Советского Союза». Огромная голубая печать. Подпись Калинина.



Нежнейшая полоса серебристого моря, как занавеска, пересекает окно комнаты.

Третьего дня Чкалов простудился и потерял голос. Он изъясняется знаками. Изредка, когда того требуют обстоятельства, он издает хриплые звуки. Он редко подходит к телефону. Но в это утро произошло такое событие, что даже у Чкалова на время появился голос. В разгар завтрака Валерия Павловича позвали к телефону. Он вышел в переднюю и начал там что-то кри-

чать своим простуженным голосом. Поговорив и повесив трубку, он вызвал из-за стола Байдукова и сообщил ему новость: товарищ Сталин ждет их с женами к себе на обед.

— Ровно в шестнадцать часов!

Счастливые от полученного приглашения, пошли играть на бильярде. Чкалов был в особенном ударе. Если верить наблюдениям игроков, что характер человека ярче всего выявляется при игре в бильярд, то партию этого дня следует описать.

Партнер Чкалова был довольно опытный игрок, с которым летчик встретился впервые. В присутствии любопытных зрителей новый игрок положил подряд семь шаров. Ему остался один шар, и бильярдная слава Чкалова должна была померкнуть. Любой человек на его месте упал бы духом, но тут-то Чкалов и показал всю свою сдержанность, всю потенциальную волю к победе, всю силу своего железного характера: совершенно хладнокровно и расчетливо он начал класть в лузу шар за шаром, не давая при этом противнику ни одной удобной возможности для выигрыша. В итоге, будучи у самого края «сухой», он под аплодисменты восхищенных приятелей с треском вогнал последний, восьмой, шар — и выиграл.

Потом пошли к морю. Чкалов, раздевшись, молча лежал на камнях, — из-за большого горла ему было запрещено купаться.

Как медленно тянется время!.. Пришел парикмахер и быстро всех побрил. Надо ехать. А Чкалов никак не одолевает жесткого накрахмаленного воротничка. Вспотел, но ничего не может сделать. А кругом торопят, подгоняют, возмущаются... Наконец, по предложению Байдукова, Чкалов надел русскую косоворотку.

И вот машины мчатся по асфальтированной автостраде, через мост, затем по зигзагообразной дороге — вверх, вверх, вверх — среди разросшихся фруктовых деревьев. Вот она на горе — темнозеленая дача. Гостей встречает товарищ Сталин. Рядом с ним Жданов. Иосиф Виссарионович интересуется усло-

виями отдыха, внимательно вглядывается в гостей, ведет их по саду. Он знает здесь каждый кустик, каждое дерево.

Хозяин приглашает всех в дом. За обедом шумно, весело. Иосиф Виссарионович радушно ухаживает за гостями, угощает. Первый тост — за дорогих гостей.

Видно было, что Сталин очень любит летчиков; он интересовался авиацией, расспрашивал подробно об условиях работы, о профессиональных заболеланиях пилотов. Разговор постепенно перешел на прошлое: Иосиф Виссарионович рассказал несколько эпизодов из своей жизни, произошедших с ним во время ссылки в Сибирь. Особенно взволновал всех рассказ о том, как зимой, в страшный мороз, товарищ Сталин провалился на Енисее в полынью...

При первой представившейся возможности Чкалов обратился к Иосифу Виссарионовичу с просьбой разрешить экипажу самолета «АНТ-25» перелететь через Северный полюс.

Сталин ответил, что время пока терпит, зря рисковать не нужно, а ближайшее будущее покажет.

— Стоит ли жалеть о трех летчиках, — шутя возразил Чкалов, — их у нас вон сколько! Что могут значить для такой страны три человека?

На это Сталин заметил, что люди у нас — самое ценное, всех нужно беречь...

Пели хором песни. Сталин любит хорные. Завели патефон. Иосиф Виссарионович выбрал пластинку и предложил молодежи показать свое искусство в танцах.

Потом играли на бильярде. У Иосифа Виссарионовича любопытная и совершенно необычная манера игры: он медленно ходит вокруг стола, держа кий на плече, долго и сосредоточенно выбирает шар, а удар наносит стремительно и резко: он совсем не водит по руке кием, как это делают обычно игроки. Байдуков, Чкалов, да и все гости обратили внимание на эту особую манеру игры.

Разъехались за полночь... Это посещение навсегда осталось в памяти каждого, кто находился в тот вечер в го-

стях у простого и приветливого Сталина.

Несмотря на то, что и в этот раз Чкалову не удалось добиться определенного ответа, разговор с Иосифом Виссарионовичем все же оставил в его душе надежду.

— Я обещал в Кремле, что Сталинский маршрут ляжет через Северный полюс, и я это обещание исполню!



Гремит оркестр. Чкалов долго и проникновенно смотрит на сына: через три-четыре дня предстоит труднейший перелет.

У сына удивительное сходство с отцом: беловолосый, те же сдвинутые брови, вспыхивающие ноздри и добрые, веселые ямки на щеках. Сын едет в Артек. До отхода поезда остались считанные минуты. На отце черный пиджак, простая русская косоворотка, он по-рабочему приземист, широкоплеч, могуч.

— Если бы мы в их годы учились, — говорит он, — посмотри, какие у всех детей интеллигентные лица!.. А грудь-то, грудь какая, весь в отце! Четверочник. Сплошные четверки принес...

Мать стоит сзади, она по плечу мужу. Большими встревоженными глазами она смотрит на мальчика: сегодня она управляет сына в первый самостоятельный рейс. Послезавтра улетает отец. Какие опасности могут встретиться ему по пути, кто знает?..

Поезд отходит. Чкалов долго идет рядом с вагоном.

— Учите там маленьких испанцев петь «Интернационал»!

Мужчины оставляют дом. Дома остаются одни женщины — мать и двухлетняя Лерочка. По радио они, как и в прошлом году, будут жадно следить за полетом отца.



Сегодня у жены Чкалова, Ольги Эразмовны, день рождения. Гостей всего трое. Сама новорожденная хлопочет по хозяйству, ее взгляд то-и-дело задер-

живается на муже. Через два дня он должен лететь через Северный полюс. Только-что проводила сына, теперь провожает мужа. Она редко видит его. Последнее время экипаж «АНТ-25» живет в Шелкове, под наблюдением врачей. У них строгий режим. «Мы не должны волноваться. Нам нужно беречь нервы для выполнения основной задачи». Она знает это, но все ж ей хочется, чтоб Валерий задержался сегодня подольше.

— Не проси, — отвечает Чкалов, — нельзя, значит нельзя...

Жена молча уходит в столовую.

Валерий показывает по карте маршруты перелета.

— Прямо от Москвы мы ложимся на курс — Земля Франца-Иосифа. Радиомаяк облегчит нам первый этап пути. Отсюда, пройдя над полюсом, по 120 меридиану западной долготы, мы выйдем к берегам Северной Америки. На одномоторном самолете впервые нам придется пересечь «полюс неприступности». Вот видишь, на карте белое пятно — вот это он и есть. Их, как известно, у нас четыре: географический, магнитный, холода и неприступности.

В разгар ужина раздался звонок, и вваливаются земляки — два рыбака с Волги.

— Понимаешь, Павлыч, приехали, а ночевать-то и негде... Будь другом!

— О чем разговор, пожалуйста! — радушно встречает Чкалов.

Рыбаки усаживаются за стол. Хозяин расспрашивает, как идут дела в колхозе. Видно сразу, что он в курсе их жизни.

— Небось, за автомобилем приехали?

— Да не мешало бы, — смеются гости. — Угада!

Разговор идет о рыбе, об охоте, о всякой всячине.

— А что, Павлыч, надолго отбываешь?

— Теперь надолго. До осени. Обратное придется на пароходе.

Подойдя к патефону, Чкалов поставил пластинку с арией «Князя Игоря».

— Вот Бородин... — и, закурив, молча стал слушать музыку. Жена не сводила глаз с его профиля.

Войдя в детскую, поцеловал спящую дочь и стал собираться.

— Располагайтесь, ребята, как дома!

— Спасибо!

У ворот аэродрома он распрощался с женой; женам присутствовать на старте не разрешено. Она долго смотрит ему вслед. Какие вести принесет ей послезавтра радио?



Салон-вагон прицепился в самом хвосте поезда. Его бросает из стороны в сторону. На столе дребезжит посуда.

— Вот так же трясет, когда самолет начинает обледеневать, — говорит Валерий Павлович. Он задумчиво смотрит через стекло на убегающие линии рельсов: граница позади. Поезд мчится по родной стороне. Чкалов с жадностью слушает новости о Москве, о своей семье. Я рассказываю ему, как жена, узнав о благополучной посадке «АНТ-25» в Портланде, с таким рвением бежала домой сообщить давно ожидаемую новость, что подвернула себе ногу и ее пришлось на другой день отвозить к доктору.

— Скажи, пожалуйста, на Северном полюсе ничего не случается, а тут на ровном месте ноги ломают!

Чкалов доволен тем, что его сын возвращается с курорта. Почти в один день они раз'ехались с отцом: сын в Артек, отец — в Северную Америку, в один и тот же день они возвращаются теперь домой.

В вагоне душно. Все завалено цветами. В соседнем купе едет полпред СССР в США Трояновский, с женой и пятнадцатилетним сыном.

— Сейчас бы холодного чаю со льдом хватить, — мечтательно говорит Чкалов. — Ты никогда не слыхал об этом? Вся Америка пьет чай и кофе со льдом. Оказывается, что холодный чай гораздо ароматней горячего. Это чудесный напиток, прекрасно утоляющий жажду...

Так постепенно разговор переходит на американские темы, о быте, встречах и впечатлениях.

— Когда приютивший нас генерал Маршалль узнал, что мы получили от Хэлла телеграмму с приглашением нас на воскресенье, он развел в удивлении руками... Хэлл?.. В воскресенье!?. Кажется, первый случай в истории.. Невероятно!..

Вообще, американцы падки на сенсацию. Везде, где нам приходилось бывать, приходилось давать свои автографы. Это утомительная вещь — слава. Нас узнавали сразу. Придешь в магазин, обувь там купить или шляпу, сейчас же: «А, чиф-пайлот!.. Нордпол?? Пожалуйста!..». Вещи бесплатно предлагают, это им выгодно для рекламы. Известная автомобильная фирма «Паккард» предлагала нам бесплатно машины. Мы, конечно, отказались.

В Америке в большом количестве встречали русских. Молокан. Живут по старинке. Бороды до пояса, чай из самовара пьют. Но довольны за своих, за русских.

Поражает страшная разница между сказочным богатством отдельных миллиардеров и чудовищной нищетой бедных слоев населения. В каких отвратительных условиях живут, например, негры в Нью-Йорке, это трудно себе представить. Негры — одаренный, добрый и отзывчивый народ. И рядом с этими людьми — финансовые пауки.

С нами на «Нормандии» ехал один миллионер. Он так удивлялся тому, что нам не нужны деньги, просто до смехотворности. Спрашивает: «Вы богаты?» «Ничего, — говорю, — есть!» «Сколько?» — «Сто семьдесят миллионов» — отвечаю. «Чего, рублей, рублей?» — «Нет, населения... Нам деньги не нужны. Они на нас работают, а мы на них» — «Не понимаю... Как же не нужны? Вот вы же едете в первом классе. Значит, откуда-то нужно доставать деньги?..» — «Нам страна дает... Страна заставила нас ехать в 1-м классе, вот и еду. А вообще, лично я предпочел бы ехать в третьем!» — «Непонятная страна, непонятные люди!».

Поезд подходит к Смоленску, на перроне толпа железнодорожников, школьников, женщин, военных. Чкалов выхо-

дит из вагона, его встречают бурными приветствиями, подносят цветы. Он произносит короткую, но выразительную речь.

В Вязьме опять встреча. Но тут уже мощное шествие.

— Надо разбудить Байдукова, — говорит Чкалов.

— А как его разбудить? Он не просыпается.

— Ему достаточно только крикнуть «завтрак готов», как он сейчас же и проснется... Попробуй!

Действительно, стоило только сообщить Байдукову о завтраке, как он уже был одет и умыт.

Чкалов, надрывая голос, рассказывает собравшимся о перелете и заграничных впечатлениях:

— Мы прошли там, где никто никогда не был. Честь завоевания полюса принадлежит советским летчикам. А кому мы обязаны своим успехом?.. Вам, рабочим и колхозникам необъятной Советской страны... Только тогда любое предприятие даст свой эффект, когда его поддерживает весь народ в целом... Одиночка наверняка обречен на гибель... Вы все читали о гибели знаменитой американской летчицы Амелии Эрхарт. Когда случилось несчастье, на ее розыски были затрачены миллионные средства. Около ста самолетов разыскивали ее. А обеспечить безопасность полета не могли. В этом как-раз и кроется разница между нашей страной и странами капиталистическими. Наша безопасность обеспечивалась. Товарищ Сталин лично следил за перелетом. А ваша любовь, товарищи?.. Обещаю вам, что в будущем году мы покажем миру еще что-нибудь интересное!

Чкалова буквально заваливают цветами, его бомбардируют букетами. Валерий Павлович растроганно смотрит на грязного мальчугана. Он гладит его по волосам.

— Я тоже такой был грязный, как ты. Значит, ты вырастешь и будешь таким, как я. Будешь? — спрашивает Чкалов. Мальчик смущенно опускает голову:

— Буду...

Все смеются.

— Ничего, не смущайся, — поддерживает его Чкалов. — Я вот был грязный, а теперь чистый. Растем, растем...

Две старушки суют герою маленький букетик цветов, одна из них вытирает выступившие от волнения слезы.

— Примите от учительниц...

— Спасибо, родные!.. Больше всего на свете я ценю учителей. Вам доверено самое ценное, что есть в нашей стране, — наша будущность... Берегите ее!

Под звуки оркестра поезд трогается; до Москвы осталось два перегона. Сонный Байдуков уже успел позавтракать. Глаза у него красны.

— Ты иди, поспи, — советует ему Чкалов, — а то у тебя глаза, как после перелета через полюс!

Байдуков немедленно заваливается на полку. Беляков не просыпался до самого Можайска. Лишь один полпред Трояновский неумоимо пишет статьи для центральных газет.

Перед Москвой все оделись и нетерпеливо повысовывались в окна. Вот уж и Фили... Байдуков смотрит в ту сторону, где расположен его завод. Рабочие узнают героев, машут руками, детишки бегут за поездом. Ход вагона все тише, тише, медленно подползает сумрачная прохлада вокзала. Первым, впереди всех фоторепортеров и кинооператоров, мчится к вагону сын Чкалова, Игорь. С разгона он бросается в объятья к отцу, у обоих глаза влажны от счастья...

РАССКАЗЫ О ЗОЛОТЕ

И. Гехтман

Волк

Вася Сычев, балагур и гармонист из артели хабаровцев, увидел Волка еще издали. Он нахмурился и сердито сказал Майорычу — рабочему партии ленинградских геологов: — Волка зачем-то к нам чорт несет. Фарта сегодня не жди!

Волк подошел к завалинке избенки хабаровцев, поздоровался с Майорычем за руку и как-то нерешительно сказал:

— История! Цыновка на американке окончательно расхулилась. В клочья разлезлась. Золотников тридцать за мешок дам.

Вася сплюнул в сторону и смолчал, как будто не слышал слов Волка.

Старые мешки, бабьи юбки, куски войлока и сукна на Борискином прииске ценились дорого. Все это давно было израсходовано на самодельные колоды и американки для промывки. Волку, должно быть, туго пришлось, если он пришел к старателям с просьбой.

Старатели не любили и даже слегка опасались Волка. Жил он один, на отлете, почти в километре от других старательских избенок, — они стояли, тесно прижавшись одна к другой, словно ища друг у друга защиты от мрачных каменных гольцов, нависших над берегом Борискина Ключа.

— Погодь, Герасим, — сказал Майорыч. Он вынес из избы пару старых бархатных в рубчик шаровар. Такие шаровары носили испокон веков старатели на Алдане и Зее. В них удобно было потихоньку втереть золотник-другой золотых крупинок, чтобы незаметно унести их с прииска.

Волк полез за пазуху и достал маленький холщевый мешочек с золотым песком.

— На хрен мне золото! — равнодушно сказал Майорыч. — Сдай его в контору, получи махорку и дай мне.

Волк не курил, а Майорыч не выпускал изо рта трубки.

Волк поблагодарил Майорыча и пошел к себе на делянку легкими, упругими шагами.

— На што дал ему цыновку, — заворчал Василий на Майорыча. — Дружка заимел какого. Ты ему в зенки взгляни. У его глаза вовнутрь смотрят. Ему на людей глядеть неудобно. Сахалинец! Факт. Я думаю, не иначе он там людоедством занимался.

— Будет врать-то, — сердито цыкнул на него Майорыч, посасывая трубку, — человек, как человек. А что треплется меньше тебя, так очень правильно делает. Экий толк от твоих разговоров. Самый ты пустой человек есть. Волк — старатель основательный. Таежник. На Лене, поди, еще работал.

— А ты почему, старый хрыч, знаешь? — огрызнулся Василий. — Рассказывал он тебе, что ли? Так ведь у него один разговор: здравствуй — прощай.

— И рассказывать не к чему. Сам вижу. Ты взгляни на его походку. Походка легкая и вперед согнулся. Почему? В тайге много ходил и мешок на спине таскал.

— А на Лене почему был? — недоверчиво, но заинтересованно спросил Василий.

— Опять рассудить требуется, — ответил Майорыч задумчиво. Лучше его никто тут золота не знает. Значит, не пустой человек, а старатель настоящий, опытный. Шею опять же втягивает и голову набок держит — почему? Потому, что в подземных забоях ходить привык. В забое, скажем, метр пятьдесят, а в нем метр семьдесят — вот и гнет

голову набок. Теперь, скажем, где подземные забои работают? На Алдане открытые работы, в Охотске тоже. Выходит, что на Лене работал. Понятно?

Василий с уважением посмотрел на Майорыча.

— Ловко ты это, старик, раз'яснил. Откуда в тебе такое понятие ко всем вопросам?

— Походи с мое в тайге, и у тебя понятие будет, — солидно ответил Майорыч, пропадая в густых клубах мажорочного дыма.

На крыльцо вальяжно выплыла подышать свежим летним воздухом мамка артели — Анфиса, круглая, румяная, крупчатая баба лет сорока, с шальными серыми глазами.

— Поиграли бы, Василий Тимофеевич, на гармонии, — пропела Анфиса, — вечер чересчур замечательный. Будто бы и не на Колыме этой вовсе, а в нашей Саратовской области. Только-что соловья не заметно. Страдания бы!

В это время из избушки выкатился Цыган — муж Анфисы, староста хабаровской артели, — невысокий, коренастый мужик, лет сорока пяти, с седоватой, волнистой бородкой и черными глазами.

— Анфиса! — закричал Цыган, метнув на мамку горящий взгляд. — Это кто ж пельмени стряпать будет?.. Я ншто? Артель с расцветы работала! Артель за кормежку деньги платит.

— Каки еще пельмени? — тоненьким голоском, не идущим к ее мощной фигуре, заголосила Анфиса. — С чего тебе пельмени стряпать? Одни белки остались. Белка что за мясо. Та же мышь, только что с хвостом. Не стану с белки пельмени делать.

— Иди в избу! — грозно прикрикнул Цыган.

Анфиса обиженно подобрала губы и нехотя пошла в избенку. Цыган прошелся по берегу ручья и подошел к Сычеву.

— Так что, — сказал Цыган, сплевывая сквозь зубы, — на вас, Василий Тимофеевич, товарищ Сычев, от артели опять заявление поступило. Лодыря, значит, валяете. Артель землю скребет, а ты по грибы в это время ходишь. Между прочим, управляющий, товарищ Подпругин, заявил, что наша артель

меньше всех золота в этом месяце сдала. Половины плана не выполнили. Такой, говорит, артели продукты в последнюю очередь выдавать следует. Продуктов, говорит, Ногаево не шлет, а вы последнее жрете, а золота шиш сдали. Так-то! Баб, между прочим, охаживать вы горазды, а насчет работы ваших нет.

— А ну тебя к шутам! — лениво приподнялся Василий, оглядывая с высоты своего роста маленького Цыгана. — Надоели вы мне и с артелью с вашей. Нарезу себе делянку возле Волковой, сам один работать буду.

— Так-то, — ехидно ухмыльнулся Цыган, — в волчаты лезешь? Куда тебе! Волк-то — он зверь на работу, а ты что? Бабий угодник. Марью-якутку, каллахову дочку, обхаживает, — подмигнул он Майорычу.

Цыган плюнул и ушел в избу.

Майорыч покосился на Василия.

— Зря ты это, Василий, действительно, — сказал Майорыч. — В этакое дремучем краю должны мы свой авторитет держать. Кто мы есть? Советские граждане, представители рабочего класса, а не какие-нибудь колонизаторы... Конечно, ты человек молодой, а баб на прииске только что Анфиска, стерва, да Марья-якутка. Однако Марья — девушка хорошая. Ее обижать нельзя. Если что задумаешь, Василий, так надо по-хорошему, по закону.

Василий усмехнулся.

— Какой у них закон, Майорыч. У них насчет баб закон простой. Повалил девку на землю, — значит, муж. Вот тебе и закон весь.

Василий подбросил гармонию на плечо и пошел в тайгу, к балагану Каллаха, сложенному из жердей и кизяка.

Как только розовая полоска зари золотила синеватые сопки, Волк шел в тайгу за дровами для пожогов раньше всех. Среднего роста, сухощавый, жилистый, он обладал удивительной силой и выносливостью. Шутя тащил он из тайги две огромные вязанки дров — километра за два до своей делянки.

Работа спорилась у него в руках, и даже сильный и ловкий Василий с за-

вистью смотрел иногда, как Волк отбивает киркой пласт за пластом и кидает их заступом в американку.

Старатели говорили, что Волк может промыть в день полтораста лотков породы на руках, чего не мог сделать ни один самый опытный промывальщик.

Но особенно удивляло старателей необыкновенное знание золотого дела — большой опыт Волка. Волк не работал наобум, как большинство старателей на прииске. Он чутьем знал, где лучше бить шурфы.

Когда старик алданец Адам вклепался со своей артелью в последний Борискин шурф, возле которого когда-то нашли богатое золото, Волк, подойдя к подземным забоям, где работали артельщики Адама, сказал:

— Ты брось, Адам, время терять. Тут больше золота не будет.

Адам обиделся:

— Молод ты меня учить. Когда ты еще мать за юбку держал, я в Бодайбо золото мыл. Ишь, механик какой отыскался!

Однако, покопавшись недели полторы под землей, Адам должен был признать, что Волк прав.

Волк находил золото по приметам, ему одному известным. Он оценивал уклон ручья, складки местности, излучины ключа, присматривался к форме гольцов, по которым текла весенняя вода, и по направлению потоков высчитывал места, где должно было некогда отложиться золото. Сдавал Волк в среднеканскую контору золота больше других и в провинции нуждался мало. Во время самых острых нехваток продовольствия он ходил в тайгу на охоту и приносил с реки Хириникан — что значит якутски «река маленького рябчика» — целые мешки рябчиков.

Одинок и нелюдимо Волк часами бродил по долине ключа и по сопкам, откалывал кусочки породы, заворачивал их в бумажки и прятал в своей землянке, куда никто никогда не заходил к нему.

Однажды, впрочем, из Среднекана к Волку приехал секретарь партийной ячейки Чернов. Спросив о здоровье Волка и удивившись, почему он никогда

не приходит в гости к нему или управляющему приисками Подпругину, Чернов начал уговаривать Волка:

— Ты, Герасим Иванович, — сказал Чернов, — человек бывалый. Лучше тебя, пожалуй, золота никто тут не знает. Что тебе за интерес работать в одиночку? Государству нужно золото. Надо ставить планомерные разведки района. В Ногаеве сидят почти-что три тысячи старателей. Им некуда ехать. Районы совершенно не разведаны, никто толком не знает, где золото. Ты должен помочь нам. Пошел бы в разведчики или смотрители. Охота тебе сидеть в землянке таким сычом. Вон тебя старатели даже волком прозвали...

Волк сидел у маленького самодельного якутского очажка из глины, внимательно слушал секретаря, но отмалчивался и нехотя, вяло отвечал:

— Без меня найдут золотишко, Михаил Степанович. Тем более, я и не знаю ничего. Зря это про меня болтают. Человек я простой, рабочий, в геологи не гожусь. А зовут Волком, и пусть зовут. Я им ни к чему, да и они мне тоже. Они меня не любят, ну и я их не слишком долюбиваю. Да и то сказать, за что их, людей, любить-то?

Чернов неодобрительно покачивал головой и бормотал:

— Экий ты. Ну, ну, работай, как знаешь. Дело твое. И впрямь волк.

Волк, конечно, говорил секретарю неправду. Он родился на золоте и всю жизнь прожил с ним. Сын ленского рабочего, Гераська Моргунов был отчаянным мальчишкой еще с детства. Тринадцать лет от роду он начал хищничать в забоях компании. По ночам мальчишка спускался в шахты и выбивал киркой богатейшие места жилы. Администрация шахт с ног сбилась, разыскивая дерзкого хищника, усиливала охрану на всех горизонтах, ставила сторожей у входов.

Но Гераська пробивал дыры над креплениями или спускался в шахты по узким вентиляционным ходам и, тенью проскальзывая мимо сторожей, по сырой стене забоя, воровал попрежнему заранее, днем высмотренную породу. Выдали Гераську приятели, с которыми он

играл в карты. Отца Герасима посадили в тюрьму, а он бежал на Алдан.

С Алдана, со знаменитого Незаметного, Герасим вывез пуда полтора золота, которое и прокутил в Иркутске в один месяц с шулерами и девицами легкого поведения.

В гражданскую войну Герасим прикнул на Байкале к партизанскому отряду и жестоко преследовал беляков и японцев. Однажды белогвардейский отряд изловил Гераську, отбивавшегося от своих. Его собирались расстрелять, но он ухитрился соблазнить начальника отряда рассказами о золоте, которое лежит, будто бы, недалеко в тайге в громадном количестве.

Гераська завел поручика и еще десяток офицеров, жаждавших золота, — чтобы удрать в Манчжурию — в непроходимую глушь. Здесь он убил сопровождавшего его офицера; отобрал у него оружие и на лыжах ушел на восток. Беляки погибли в тайге, а Гераська, проблуждав месяца три, вышел на побережье океана, недалеко от Охотска.

В Охотске Моргунов также ходил за золотом. Здесь же он влюбился в девушку, учительницу, и женился. У него родился сын. Герасим был счастлив. Он начал учиться, пристрастился к геологии, мечтал о том, чтобы пойти в вуз.

Но в двадцать первом году в Охотск ворвался отряд белобандита есаула Бочкарева, пришедшего на покорение Колымы и Камчатки. Моргунов ушел в тайгу, к партизанам Каландарашвили. Перед уходом он поручил свою семью другу-земляку, крестьянину, старателю с Лены:

— Убьют, — сказал ему Василий, — помоги моей семье. У них спрятан мешок золота. Побереги жену и сына.

Земляк побожился и даже перекрестился на образ, что свято выполнит просьбу друга. Но, как только Герасим ушел, земляк пришел к бочкаревым и донес им, что Герасим когда-то завел в тайгу и погубил офицерский отряд. Пьяные бочкаревы изнасиловали и убили жену Герасима и разможили о стенку голову его годовалому сынишке. А земляк присвоил себе в награду иму-

щество Герасима, в том числе и мешок с золотом.

Партизаны Каландарашвили выгнали из Охотска бочкаревых. С ними пришел и Герасим. Он был потрясен гибелью жены и сына и предательством друга. Он отбил от отряда и ушел в тайгу, где бродил в полном одиночестве, ни с кем не общаясь.

Герасим одичал, опустился. Он перестал даже интересоваться золотом. Много раз, охотясь за дичью в долинах ручьев, Герасим видел в осыпях золотые зерна, но, равнодушно отковыряв их из породы, бросал золото в воду и проходил дальше.

В двадцать шестом году по побе-режью пошел слух, что на Колыме найдено золото. Охотские старатели стихийно бросились на новые места. Ехали на собаках по побережью, пробирались на лодках и баркасах по морю, шли пешком с «сидорами» за плечами.

У Герасима пробудилась старая страсть. Он тоже пошел на север, по самым диким, таежным местам, волоча за собой в котомке инструмент и продовольствие. Из Ногаева Герасим в одиночку сплавился на маленьком плоту по Бахопче. Плот разбило на порогах. Герасим выплыл, построил новый плот и добрался до реки Колымы.

Первым пришел он на Борискин прииск. Там работал в другом конце прииска только один человек — татарин Сафи Гайфулин, старый друг Бориски, открывшего этот первый на Колыме прииск. Герасим поселился недалеко от татарина и остался надолго здесь. Только месяцев через пять сюда добрались другие старатели — хабаровцы, корейцы, охотские, рассыпавшиеся по этому и ближайшим золотоносным ключам.



Василий ушел из хабаровской артели. Он поселился с калаховой дочкой, якуткой Марьей, на собственной делянке, недалеко от делянки Волка. У них родился ребенок — хорошенькая, пухленькая девочка с золотистыми волосами и смешными черными, слегка раскосыми глазенками.

Золото на делянке Василия попало хорошее, и он работал, не покладая рук. Марья хозяйничала, ходила за дровами, помогала промывке на американке и нянчила ребенка. У якутки оказались золотые руки, и Василий крепко привязался к ней и к дочке, единственному ребенку на прииске, которого все любили и баловали.

Волк, идя к себе на участок, частенько делал крюк и проходил мимо избенки Василия. Марья сидела на завалинке и кормила белой полной грудью ребенка. Волк украдкой смотрел на девочку и вздыхал. Однажды он не выдержал и подошел к ним. Девочка смотрела на него черными неосмысленными еще глазенками и улыбнулась, сложив губки бантиком, когда он щелкнул перед ней пальцами и сказал ей: «Угу — тпрусь!».

Волк долго смотрел на ребенка, потом тихо пошел к себе, сгорбившись еще более, тяжело ступая.

Когда Василий узнал, что Волк подходил к ребенку, он крепко выругал Марью и запретил ей подпускать близко «чортова бирюка». Теперь, при виде Волка, Марья быстро вскакивала и, испуганно прижимая к себе девочку, убежала в избу. Волк заметил это и перестал ходить близко от васильевой избенки, обходя ее стороной.

Однажды вечером, проходя к себе на делянку, он услышал доносившиеся от избы Василия отчаянные женские крики, зовущие на помощь, и плач ребенка.

Волк бросился вперед.

У дверей избенки возился крупный медведь. Привлеченный запахом пищи, медведь ломился в дверь, которая готова была сорваться с легких петель.

У Герасима не было с собой ни ружья, ни даже ножа. Бежать за оружием было поздно. Медведь сорвал дверь. Под дверью, тщетно пытаясь удержать ее на себе, истошно вопила Марья, прижимая к себе девочку. Герасим схватил валявшийся у изгороди кол и, не задумываясь, бросился на зверя.

Медведь пошел на него.

Герасим попробовал отступить, чтобы

увести медведя подальше от женщины и ребенка. Но медведь быстро догнал врага и, поднявшись на дыбы, кинулся на него.

Герасим ударил медведя изо всей силы колом и перешиб ему лапу. Разъяренный зверь вырвал у Герасима кол, переломил его пополам, обхватил врага здоровой лапой за плечи и разинул над ним клыкастую пасть. Герасим, с мужеством отчаяния, сунул в пасть медведю руку, протолкнув ее глубоко в глотку. Медведь не мог стиснуть челюстей и задыхался. Он рвал Герасиму руку клыками, давил плечи здоровой лапой, пытаясь свалить его на землю. Несмотря на страшную боль от острых клыков, Герасим продолжал просовывать руку все глубже в глотку зверю.

В момент, когда Герасим терял последние силы, с горы сбежал ходивший на охоту Василий. На расстоянии одного шага Василий выстрелил в ухо медведю «жаканом».

В тот же вечер Герасима отвезли на медицинский пункт в Среднекан.



В праздник все старатели, числом около сорока человек, собрались на берегу Борискина ключа. Золотая колымская осень расстелила по земле яркий ковер из ягеля и сланника.

На лужайке возле ручья стояла бочка, покрытая куском красного кумача. У бочки сидели Подпругин, Чернов и Волк. Вокруг бочки прямо на траве расположились старатели.

— Герасим Моргунов, — говорил Чернов собранию, — есть настоящий сын рабочего класса, храбрый партизан и боец. Он не побоялся рискнуть своей жизнью для спасения нашей Валюши — несмысленного ребеночка. Что это есть? Это есть героизм! Я, товарищи, не очень говорун и скажу прямо: молодец Герасим Моргунов. И еще скажу: работаем мы плохо, плана не выполняем, золото ищем не там, где надо. А почему? Нехватает нам знаний. Нужен вам, ребята, хороший инструктор-смотритель. Смотрителем будет у вас теперь Герасим Моргунов. Вот!

Волк смущенно смотрел исподлобья на старателей. Казалось, он сейчас вскочит из-за стола президиума и убежит в тайгу, за сопки. Подпружин, сидевший рядом с ним, из осторожности слегка придерживал своей большой ладонью руку Герасима.

Но старатели все, как один человек, повернулись к Герасиму и оглушительно начали хлопать, сложив дощечками большие, натруженные ладони. Громче всех хлопал и кричал Василий Сычев, к которому прижалась его жена Марья, державшая на руках светлоголовую, черноглазую дочку.

Шопот звезд

I

В палатке на берегу реки Аттуряха зимовали восемь человек. Четверо из них цынговали. Они лежали на широких нарах, тесно прижавшись друг к другу, и тоскливо смотрели на тусклое пламя копящей лучины. В глазах больных отражалось характерное для цынги безучастие к жизни, к окружающим, к самому себе.

От раскаленной железной печки отскакивали искры. Но в углах большой палатки намерзали толстые ледяные комья, а снаружи доносился вой свирепого аттуряхского ветра. Казалось, что там собрались тысячи воющих и лающих песцов с дальней северной тундры.

По снегу заскрипели шаги, отдернулся полог и вместе с клубами снега и морозного ветра в палатку вошел Стеклов с двумя рабочими, которые тотчас же сбросили с себя ватники и, отогреваясь у печки, принялись кипятить чай.

— Уф, — фыркнул Стеклов, отдирая от усов намерзшие сосульки, — пуржит, а мороз немислимый.

Он протянул на ладони начальнику партии Матвееву несколько крупных самородков золота.

— Откуда? — оживился сразу Матвеев, внимательно рассматривая крупные, хорошо окатанные темнокрасные кусочки. — Аттуряхские?

Стеклов неторопливо расчесывал мокрые усы.

— В том-то и дело, что нет, — довольно улыбнулся он, — на новом ключе подняли, по направлению к Хатын-наху. Все из одного шурфа.

— Богатейшее золото, — сказал Матвеев, подбрасывая на ладони самородки. — Петровац, чорт длинноусый, ты ж богатейшее направление открыл новое. Знаменитую россыпь. Ну, поздравляю.

— И вам бьем челом, — шутливо откланялся Стеклов, — поздравлять-то тебя надо. Не останься ты тут, когда геолог Федотов драпу задал, никто об этом районе и не думал бы.

Приятель оживленно говорил о будущности этого, никому еще в республике не известного, золотого района.

Рабочие, напившись чаю, расстелили полушубки поближе к печке, улеглись и быстро уснули. Больные кряхтели. Один из них, молодой белокурый парень, сплюнул на покрытую сланниковой хвоей землю и полез пальцем в рот. Он пошевелил белый, здоровый зуб и легко вынул его из десны, точно он держался в куске сливочного масла. Подержав зуб перед глазами, больной равнодушно бросил его на землю.

Стеклов переглянулся с Матвеевым и невесело пошутя:

— Эге, Федя, ежели ты на меня зуб имеешь, так держи его при себе. Зачем же швыряться?

Больной ничего не ответил и, кряхтя, повернулся к стенке.

Стеклов понизил голос:

— Что делать с ними? На Утинке их за неделю на ноги поставили бы. Там капусту и экстракт из Ногаева на тракторах прислали. А здесь пропасть могут.

— Знаю, — угрюмо ответил Матвеев. — Но как помочь? До Утинки больше ста километров, по наледям. Последняя лошадь пала. Эвенки уколочевали. Оленей нет. Утиная третий месяц не может подослать нам оленей и провизию. У них у самих нет оленей. Надо ждать, пока придет транспорт оттуда. Другого выхода нет.

Друзья замолчали, грустно поглядывая на стонущих больных.

Стеклов выпил несколько чашек чая, закусил банкой консервов и, подстелив

полушубок, улегся на полу, поближе к печке.

Матвеев достал записную книжку. В этой маленькой книжечке с педантической точностью был занесен каждый шаг геологической партии за много месяцев, отмечено количество и расположение вырытых по ключам шурфов, рельеф почвы, метеорологические наблюдения, указаны знаки золота, найденные в различных районах.

— «Днем, — записал Матвеев, — было сорок четыре градуса. К вечеру ветер норд, мороз усилился. Наблюдал слабое северное сияние. Почва долины ключа Хатыннаха — растительные торфа, ил с прослойками льда, щебенка, сланцы. Стеклов нашел новое направление. В одном шурфе найдено 120 — 130 граммов самородков».

Он закрыл книжку и нерешительно достал из ее карманчика фотографическую карточку, завернутую в бумажку. На карточке чудесно улыбалась женщина. Но Матвеев, как-то боком взглянув на нее, помрачнел еще больше, вздохнул, быстро завернул карточку в измятую бумажонку и сунул книжку в карман.

Матвеев не был ни геологом, ни вообще работником золотой промышленности. Он занимался научной географической работой в ЦИК Якутской республики. Молодой ученый считался лучшим знатоком Якутии, за труды по географии Якутии он получил звание корреспондента Академии наук, и к мнению его о крае прислушивались крупные ученые. Но однажды, неожиданно для всех своих друзей и знакомых, Матвеев исчез из Якутска.

После долгого бродяжничества по Колыме Матвеев, пережив много профессий, попал простым рабочим в небольшую разведывательную партию геолога Федотова, ходившего на разведки по реке Аттурях.

Глушь на Аттуряхе была даже для Колымы неслыханная. На сотни километров ни одного человеческого поселения. Эвенки и якуты не селились здесь. Мох часто выгорал летом, и олень нечем было кормить. Места безлес-

ные, зверь почти не водился, птица тоже. Кругом болота, топи. Гиблые места!

Но однажды, заблудившись в устье Аттуряха, геологическая партия случайно наткнулась на богатое месторождение золота. Только через три месяца удалось сообщить о находке в дирекцию Дальстроя. Оттуда Федотову предложили начать планомерные разведки этого района.

Геолог отказался. Он давно уже «психовал». Когда с перевала дул северный ветер, Федотов бледнел, начинал дрожать, зрачки у него расширялись, он с трудом удерживался от того, чтобы не начать «эмирячить», то-есть не повторять, как в гипнозе, чужих слов и движений. С двумя рабочими Федотов ушел на Среднекан, оттуда пробрался в Магадан и уехал с Колымы вовсе.

Руководство партией взял на себя Матвеев. Почти год бродил он по ключам Аттуряхской долины, получая время от времени помощь с Утиной, где находился горный район Дальстроя, также впрочем оторванный от центра снабжения — Магадана.

Из Магадана в помощь Матвееву приехал Стеклов, парттысячник из Москвы, рабочий-токарь по специальности, два года учившийся в Свердловском институте.

Вместе с этим спокойным, веселым парнем Матвеев разведывал новый, с интересными возможностями, район. Обоих разведчиков связывала хорошая дружба и любовь к делу. Несмотря на недостаток припасов и людей, цыingu, трудность связи и помощи, они и не думали о том, чтобы бросить разведку и уехать в более культурные и благоустроенные районы.

Матвеев подбросил в печь еще дров. Ветер отчаянно выл, сотрясая палатку. Спящие похрапывали. Больные стояли.

«Неужели до разлива не придет помощь? — со смятением подумал Матвеев, глядя на больных. — Пропасть можно!».

Стеклов заметался и заговорил во сне. Матвеев прислушался.

— Терраса... Глубокое залегание... Осыпь... — бормотал спящий.

Стеклов пользовался каждой свободной минутой, чтобы изучить геологию и даже во сне употреблял геологические термины.

Матвеев покрыл спящего свалившимся с него одеялом и вышел наружу — посмотреть спиртовой термометр. Спирт ушел далеко за последнюю нижнюю черточку с цифрой 50.

II

Молодой геолог, почти юноша, со странной фамилией Дрозд, протянул несколько крупных самородков начальнику горного управления:

— Вот видите, — говорил он, — это якут Каллах, принес с Аттуряха. Матвеев прислал. Видели вы когда-либо на Колыме такое крупное под'емное золото? Ведь тут 92 процента чистого золота. И все поднято в одном шурфе, по Аттуряху. Что вы скажете?

Начальник отбивался от настойчивого юноши.

— Видел. Видел уже. Но что из этого следует?

— Из этого следует, что я должен немедленно ехать в матвеевскую партию и лично заняться этим делом. Матвеев чудный парень, но он не геолог. Стеклов тоже чудный парень, но он тоже не геолог. Пора перестать заниматься кустарщиной. Я чувствую, что там наш будущий Клондайк. Оторвите мне голову и сделайте из нее барабан, если я не прав.

Начальник смотрел на молодого, веселого геолога и думал, что по существу Дрозд безусловно прав. Образцы, присланные Матвеевым, были необычны. Послать туда геолога давно следует. И Дрозд — самый подходящий кандидат. Он зарекомендовал себя отлично.

В прошлом году сюда приезжал директор молодого треста Дальстроя. С самого начала работ треста между специалистами шел спор: есть ли рудное золото на Колыме? И если есть, то где следует его искать?

Каждое совещание по этому поводу затягивалось на десятки часов. Шли глубоко ученые споры о клиналях, антиклиналях, морфологических и геоморфических структурах, периодах, атомной теории, теории образования золота и так далее. И в конце-концов споры кончались одним и тем же выводом, ясным и без дискуссии и понятным рядовому участнику разведывательной партии:

— Раз есть россыпное золото, значит, должно быть и рудное. Искать же его следует там, где оно должно находиться.

Но рудного золота все-таки не находили.

Однажды директору, приехавшему на Устье Утиной, показали найденный там огромный кусок кварца, весом пуда в полтора, сплошь усыянный золотыми блестками. Директор вызвал к себе работника геологического бюро Дрозда и сказал ему:

— Послушай, Иосиф. По-моему, дело обстоит так. Если тут могли найти такой громадный кусок кварца с золотом, то где-то должна быть и руда. Не из Америки же кусок этот привезли сюда и не с луны он свалился? Поручай тебе это дело в порядке партийной дисциплины. В черепок разбейся, а руду мне найди. Понятно?

— Есть, товарищ директор, — найти руду.

Дрозд разбил ближайшие сопки на участки, расставил на каждом участке рабочих и начал систематически копать по всем направлениям. Три месяца отряды Дрозда рыли горы, сделали на них ни много ни мало три тысячи закопушек и в конце-концов нашли богатые рудные залежи — первую руду на Колыме...

— Гм, — сказал начальник, — подумаем об этом.

Дрозд укоризненно посмотрел на него.

— Пока мы тут думать будем, — они там все зацынгуют. Мы ведь туда дважды посылали продукты и медикаменты, и оба раза олени застряли в наледях, и груз погиб. Ждать нельзя. Люди без продовольствия, без овощей, без

табаку. А здесь без меня как-нибудь обойдутся.

Начальник задумался и вдруг сказал:

— Что ж, поезжай.

Дрозд взерошил волнистые черные волосы, вскочил со стула и неожиданно, мальчишески прошелся перед начальником чечеткой.

— Экий ты еще мальчишка! — сказал начальник, с удовольствием глядя на геолога.

— А что ж, — несколько сконфуженно ответил Дрозд, — ведь меня только недавно из комсомола в партию передали. Перед самым отъездом на Колыму.

Он уже вполне серьезно развил свои соображения о будущности нового района и должи́л начальнику, что именно необходимо повезти туда.

— Вот только врача не могу им послать, — озабоченно сказал Дрозд. — У нас один, он перегружен. А врач там необходим.

— Со мной, между прочим, — сказал начальник, — приехала женщина-врач из Ногаева. Недавно с материка. Хочет в тайге поработать. Ее бы, пожалуй, месяца на два туда можно бросить. Пошли-ка за ней.

Посыльный быстро привел приехавшую — молодую, красивую женщину. У ней были пышные каштановые волосы и горячие глаза. Дрозд взглянул на нее и отметил, что маленькие уши похожи на перламутровые раковинки, которые он любил когда-то собирать в Крыму.

Когда начальник знакомил их, женщина улыбнулась, и Дрозду показалось, что рот ее сверкнул кусочками свежеотколотого, белоснежного кварца.

Он смутился и отвел в сторону глаза.

— Вот, товарищ Святогорова, — сказал начальник, — хотите поехать на реку Аттурых, в самую что ни на есть дремучую тайгу, куда и ворон не часто залетает? Там человека почти не было. Поезжайте, если не страшно. Надо помочь больным геологической партии.

— Я привыкла к Северу, — ответила молодая женщина, — да и приехала я сюда, чтобы работать в тайге.

— Вот хорошо, товарищ, — обрадовался Дрозд, — значит, завтра и выедем. Захватите белье и пару шерстяных чулок. В наледь попасть можем!

Начальник встал. Дрозд проводил его к выходу. Несколько смущенно, понизив голос, он сказал ему:

— Борис Васильич, у меня в Москве старушка мать живет. Так у меня просьба. Отправьте из Магадана письмо и, — он несколько замялся, — если что-нибудь со мной случится, всякое ведь в тайге бывает, — так уж вы как-нибудь ее предупредите. Сердце у нее, знаете, слабое. Один я у нее.

Начальник крепко пожал руку Дрозду и, обнимая его за плечи, сказал на прощанье:

— Ты, Иосиф, между прочим, будь поосторожней. Без горячки. С тайгой шутить нельзя.

III

По реке Таскану на Аттуях шли двое нарты. Это было все, что удалось достать на Устье Утиной. На передней нарте ехал с грузом старик Каллах. На задней — Дрозд со Святогорогой и часть груза, не вмести́вшаяся на первые нарты.

Нарты двигались вторые сутки. Вчера ночевали у большого костра, в маленькой дорожной палатке. Рано утром Каллах пригнал с гольцов копытивших ягель оленей и впряг их в нарты. Ягель на сопках выгорел, олени плохо отдохнули, были голодны, и якуту стоило больших трудов гнать их вперед.

Усталые олени шли за Каллахом, вытягивая далеко вперед гибкие шеи и осторожно щупая тонкими ногами дорожку. Снег был, как гагачий пух, и широкие копытца оленей тонули в нем. Каллаху то-и-дело приходилось помогать упряжке выбираться из глубокого снега.

Нарты двигались вперед в холодном сумраке рассвета, при слабом свете бледных и неподвижных утренних звезд. Святогорова, одетая в оленью дошку,

зябка куталась в шарф. От дыхания на шарфе быстро нарастала ледяная корочка, морозившая щеки и губы. Дрозд время от времени помогал спутнице укутываться в шарф. Ему доставляло удовольствие дотронуться, как будто невзначай, до ее нежного подбородка. Он даже снял для этого с рук варежки, несмотря на свирепый мороз.

Ресницы молодой женщины покрылись пушистой оторочкой инея, и из этой белой рамки на Дрозда смотрели блестящие, черные глаза. Взгляд этот рождал в нем воспоминания о доме, о родном городе — Москве, о музыке в Колонном зале, улыбках девушек на стадионе Динамо, обо всем том, что казалось сейчас почти призрачным...

— Боже, как холодно! — сказала Святогорова, свернувшись калачиком на нартах. — Сколько градусов может быть сейчас?

Дрозд высунул лицо из шарфа и выдохнул воздух.

— Шестьдесят, не меньше.

— Почему вы думаете? — спросила Святогорова.

— А вы послушайте, — ответил Дрозд. — Скажите что-либо вслух и прислушайтесь.

Действительно, при разговоре и дыхании в воздухе слышался какой-то тонкий, хрусткий шопот. Казалось, что слова замерзают на-лету.

— Что это такое? — удивленно спросила молодая женщина.

— Эвенки называют этот хруст «шопотом звезд». Не правда ли, — красивое название? Хруст этот происходит оттого, что пар от дыхания в морозном воздухе мгновенно обращается в снеговые кристаллики. Процесс образования кристалликов вызывает звуковые волны. Вот вы их и слышите. Но это бывает только при морозе не меньше шестидесяти градусов.

— Шопот звезд... — задумчиво повторила Святогорова. — Красиво! Но какие здесь холодные звезды!

— Не забудьте, — отозвался Дрозд, — что мы находимся сейчас вблизи самого холодного места на земном шаре — у мирового полюса холода — Оймякона. Температура здесь доходит до 76 гра-

дусов ниже нуля. Впрочем, — беспокойно добавил он, закутывая Святогорову в шарф, — не рекомендую вам особенно много разговаривать. Можно застудить легкие.

Из-за гольцов показалось тусклое, не греющее солнце. Темнофиолетовые сопки покрылись нежным розовым светом. Звезды начали бледнеть и скрываться в синем, прозрачном летнем небе. Кроны печальных лиственниц, с причудливо изогнутыми стволами, ажурно чернели на розовато-белых склонах невысоких сопки.

Олени обогнули излучину реки, и перед путниками открылся зеркальный ледяной каток. Ветер начисто смел с реки снеговую рубашку, и ровный, отшлифованный, прозрачный насквозь лед тянулся далеко к горизонту извилистой алмазной лентой.

Олени, осторожно переступая ногами, шли по этому катку. Словно исполняя какой-то странный танец, они скользили, падали на передние ноги, поднимались и снова падали. То-и-дело у какого-нибудь оленя разезжались в стороны ноги, — казалось, олень вот-вот разорвется надвое.

Каллах, неодобрительно покачивая головой, слез с нарта и взял упряжку за повод. То же сделал и Дрозд. Они шли впереди, осторожно упираясь в лед палками и ведя за собой на ремне олень.

— Однако олень худо будет, — сказал Каллах, — такой дорога собака только бежит. Олень ходит совсем плохо. Ломает ноги, тогда стреляй надо олень. Пойти надо совсем маленько.

Короткий день шел к концу. Вдалеке над льдом появилось облако тумана.

— Однако вода большой будет, — озабоченно сказал Каллах, — олень дерзи сильно!

— Наледь сейчас будет! — предупредил Дрозд Святогорову.

Наледь тянулась с середины реки, где пузырем вздулся лопнувший лед, из-под которого била вверх выжатая вода, скатывавшаяся ручьями по обе стороны ледяной горки, незамерзшей в центре реки.

Каллах обошел воду, Дрозд же не смог удержать оленей, и нарты с разбегу ухнули в наледь, погрузив в воду сидящую на нартах Святогорова.

Проскочив опасное место и выехав на снег, сейчас же устроили привал. Необходимо было обсушить женщину, которая дрожала от холода. Дрозд стащил со Святогоровой торбаза и меховые штаны, растер ей похолодевшие ноги, быстро сменил шерстяные чулки и дал выпить женщине глоток спирта.

Солнце закатилось за сопку. Видна была только маленькая полоска, золотившая вершину горы.

Надо было торопиться.

По расчетам Каллаха, до Аттуряха оставалось по реке всего километров двадцать. Ледяной каток закончился. Но олени выбились из сил и с трудом волочили нарты с людьми и грузом. Груз подмок и отяжелел. Ясно было, что до захода солнца таким шагом олени не дойдут до Аттуряха.

— Ночевать будем? — спросил Каллаха Дрозд.

Каллах отрицательно покачал головой:

— Нельзя ночевать. Ягель нет здесь. Олень уйдет далеко, далеко. Утром олень два солнца не найдешь. Холодно. Кис¹ большой.

— Так что же делать? — озабоченно спросил Дрозд.

— Надо скоро, — спокойно продолжал Каллах. — Олень ходи скоро не может. Два человека олень везти может, три нет. Один человек пойти должна. Ночью ходить нельзя. Вода большой будет.

Он подумал и добавил:

— Прувиант бросать надо!

— Нельзя бросать груз! — закричал Дрозд. — Третий раз везем и довести не можем. Там люди больные. Они погибнут без продовольствия и медикаментов. Я никогда не соглашусь на это!

Каллах сидел спокойно на нартах, разжигая трубку. Он высказал свои соображения и считал излишним обсуждать дальнейшее.

Дрозд вытащил из полевой сумки самодельную карту района и начал рассматривать ее.

— Вот что, — сказал он, — ты, Каллах, один знаешь дорогу и сумеешь обойти наледи. Вези быстро кис, к темноте вы успеете добраться. А я пойду напрямик через эту сопку. Тут течет речка, впадающая в Аттурях. По ней и дойду.

— Это можно, — спокойно сказал Каллах, но добавил: — Только там тарым¹ большой будет. Вода много. Пойдет тебе худо.

Святогорова вскочила с нарт и запротестовала:

— Я не позволю вам рисковать собой из-за меня. Я никогда не соглашусь, чтобы вы ушли один. Пойдем все вместе!

— Нельзя, — сказал Дрозд. — Втроем ехать нельзя. Пешком, по следу не удастся пройти по наледям.

— Нет, нет, — волновалась женщина. — Вы не уйдете один! Я не хочу!

— Я начальник и приказываю вам сделать так, — ответил тихо, но решительно Дрозд. — Дело идет о жизни многих людей. Вы обязаны повиноваться.

Он быстро сложил в рюкзак немного провизии, положил спички, топор, приладил мешок на спину и протянул руку побледневшей женщине:

— Ничего страшного, — сказал он, не выпуская ее руки из своей, — мне приходилось проделывать гораздо более опасные путешествия. Я буду на Аттуряхе раньше вас. До свидания!

— Гони во-всю! — крикнул он Каллаху. — Часа два еще светло будет.

Каллах прикрикнул на оленей, и нарты ушли вперед.

Дрозд остался один. Проверив направление, он двинулся вверх. Долго он взбирался на невысокий гонец, склоны которого были покрыты глубоким снегом. Добравшись до его вершины, Дрозд сверху увидел, что солнце стоит еще довольно высоко, и с удовлетворением подумал, что Каллах и Святогорова, мо-

¹ Кис — девушка по-якутски.

¹ Тарым — наледь, по-якутски.

жет быть, доберутся еще до глубокой темноты.

Он быстро спускался с гольца вниз, к руслу реки. Русло шло зигзагами по направлению от Таскана к реке Аттурях. По прямой здесь было не больше десяти километров до партии Матвеева. И Дрозд решительно пошел по торосистому льду реки.

Мороз еще усилился. Но в русле, сдавленном скалистыми берегами, было безветренно, и Дрозд скоро стало жарко от быстрого движения. Он прошел несколько километров, все ближе подвигаясь к цели.

Надвигался сумрак. Закат еще золотил сопки, но в небе виднелись уже бледные, маленькие звездочки.

«Ничего, — подумал Дрозд, — в крайнем случае, дойду по руслу и в темноте. Река выведет!».

Он дошел до места, где слева в реку впадал небольшой ручей. Еще издали Дрозд увидел над равниной густое белое облако пара.

«Наледь» — с досадой подумал Дрозд.

И действительно, вскоре перед ним появилась громадная наледь. Она целиком заполняла оба русла, упиралась справа в высокую гору и растекалась влево, по руслу ручья, далеко вдаль.

Самое худшее заключалось в том, что весь этот участок был совершенно лишен леса. Дрозд знал, что эта полоса, до самого Аттуряха, безлесна. Остатки сланника были, очевидно, выжжены летним пожаром. Костра, значит, развести нельзя.

Оставаться ждать рассвета и искать обхода — это почти наверняка замерзнуть без огня. Итти в сумрак через наледь напрямик — тоже грозило опасностью промочить ноги. Дрозд сидел у наледи и не знал, на что решиться.

Но время уходило, дальше ждать было невозможно. Он решил пойти через наледь. Черпая чашкой воду из наледи, Дрозд начал тоненькой струйкой лить воду на торбаза, чтобы покрыть их ледяным слоем. Вода тотчас же обмерзала на торбазах ледяной корочкой, на которую Дрозд наращивал еще слой. Таким образом, он покрыл

льдом торбаза до колен, сделав их непроницаемыми для воды. Затем он смело ступил в воду и пошел вперед.

Ледяные торбоза мешали ноге сгибаться, и Дрозд шел, точно скованный, прислушиваясь к шуршанию выпирающей из-под льда воды и осторожно щупая лед палкой.

Наледь казалась бесконечной. Как ни осторожно двигался Дрозд, он все же время от времени попадал в ямы, и вода окатывала его торбоза, ватные брюки и куртку, проникала через одежду, растекаясь ледяными струйками по телу.

Но вот, наконец, наледь кончилась. Измученный, едва передвигая ноги, Дрозд снова выбрался на гладкую ледяную поверхность.

Высокие берега реки сравнялись, она проходила по широкой, отлогой пойме. Дрозд знал, что неподалеку, в этой пойме расположен лагерь Матвеева. Но впереди, на пути к лагерю виднелись еще высокие снежные заносы, через которые можно пробраться только с большим трудом.

Геолог начал сбивать с торбоз и штанов намерзший лед. Промерзшие штаны лопнули в нескольких местах, и ледяные струйки холода шарили по телу Дрозда, заставляя его дрожать от озноба. Но он упрямо двигался вперед, застревая иногда по пояс в снегу и с трудом выбираясь из него.

Надо было во что бы то ни стало преодолеть этот снежный подъем, за которым невдалеке был лагерь. И нужно было одолеть его, пользуясь последними лучами заката, слабыми отблесками света. Дрозд знал, что в темноте он собьется с пути и погибнет.

Стиснув зубы, едва волоча пудовые ледяные торбоза, Дрозд уже не шел, а полз на подъем. Он окончательно выбился из сил. Втыкая в снег руки в варежках, он с трудом подтягивался на руках и передвигал все тело на небольшое расстояние вперед и вверх.

Так он дополз до вершины. Здесь Дрозд почувствовал, что последние силы оставляют его. Он не мог больше тянуться на руках, не мог даже поднять руки, чтобы стряхнуть иней, залепивший глаза.

Его охватило безразличие. Умиротворяющий сон окутывал все тело Дрозда, точно погружая его в теплую ванну. Сознание не работало. Дрозд лежал на вершине снежного холма и засыпал.

Резкий ветер, рванувшийся с гор, обдал Дрозда смертельным холодом. И тут к нему на мгновение вернулось сознание. Собрав остатки сил, Дрозд сбросил с себя губительную дремоту. Он понял, что замерзает и последним усилием воли заставил себя двигаться. Извиваясь, полз он по верхушке холма, к склону его. На склоне он лег на бок и скатился вниз, как неодушевленный предмет, подскакивая на твердом, как камень, убитом ветрами снегу и царапая себе лицо и руки об него.

Докатившись до берега реки, Дрозд не смог подняться, несмотря на все усилия. Тогда он достал негнущимися, холодными пальцами кобуру револьвера. С трудом вытащив наган, он сделал, один за другим, четыре выстрела, с равными промежутками между ними.

IV

В палатке, на берегу реки Аттурияха, было жарко и душно. Печь пылала. Больные попржему лежали неподвижно на нарах и так же безучастно смотрели на все окружающее.

Матвеев говорил Стеклову и двум здоровым рабочим:

— Как хотите, товарищи, а завтра придется поперечную канаву долбить перед шурфами. А то наледь шурфы затопит.

— Насчет канав это правильно, — задумчиво отвечал один из рабочих, почесывая голову, — без канавы не обойтись. А вот ты скажи, Андрей Павлович, что мы завтра шамать будем? Последнюю муку сегодня извели. На утро по одной лепешке осталось. Мудреное дело, чтобы в такой мороз, да через наши окаянные наледы к нам кто-нибудь с Утиной добрался.

— Н-да, — подхватил другой рабочий, — наледи — что надо. Не хотел бы я в них купаться. И морозец знаменитый.

— Покурить бы, — прохрипел с нар

Федя, — не знай что б отдал за махру!

В это время до слуха людей в палатке донесся глухой звук выстрела.

— Выстрел! — приподнялся с полушубка Стеклов. — С поймы!?

— Не, — лениво протянул один из рабочих, — это лед от мороза лопается.

Но Стеклов уже надевал полушубок и тревожно прислушивался. А когда, один за другим, раздались еще три выстрела, все здоровые люди посыпались из палатки наружу.

Через полчаса в палатку внесли обмерзшего Дрозда.

Прерывающимся, но радостным голосом он сказал Матвееву:

— Андрей Павлович, встречай транспорт. Идет по руслу, с Каллахом. Как бы в темноте не заблудились. Костры разложите.

Стеклов с рабочими снова выбежали наружу, а Матвеев раздел Дрозда, разрезая ножом обледенелые торбоза. Он растер обмерзшие ноги Дрозда снегом и дал ему горячего чая.

Вскоре снаружи послышалось фыркание и храп усталых оленей, возбужденные голоса людей. В палатку вошли заиндевелые, покрытые льдом люди и среди них женщина, сейчас же начавшая снимать с себя шарф, малахай и дошку.

Матвеев с любопытством взглянул на женщину и вдруг побледнел.

— Андрей! — бросилась к нему женщина.

Но Матвеев отстранился от нее.

— Он тоже с вами? — холодно спросил он женщину, кивнув в сторону Дрозда.

Святогорова схватила ладонями голову Матвеева и, смотря на него счастливыми глазами, горячо зашептала:

— Глупый... злой... Когда ты исчез... Все время искала тебя... Узнала, что на Колыме, — и подписала договор с Дальстроём... Приехала сюда... за тобой... — расслышал сразу помрачневший, потерявший свое хорошее настроение Дрозд.

Матвеев глубоко вздохнул и крепко прижал к себе молодую женщину. Они

стояли среди палатки, тесно прижавшись друг к другу и не замечая больных и здоровых людей, которые, уважая их чувство, старались не смотреть в их сторону.

Наконец, Святогорова отошла от Матвеева и оглянула палатку, больных на нарах, Дрозда, сидящего в одних кальсонах на краю нар и смотрящего в землю.

Она подошла к нему и осмотрела ноги.

— Ого! — сказала Святогорова, профессионально ощупав пальцы ног. — Здорово вас хватало! Такие пальцы у нас, в Якутске, рубили на месте, топором. У меня, впрочем, есть скальпели, и я смогу отрезать их по всем правилам искусства.

Она еще раз внимательно осмотрела пальцы.

— Большой палец может еще отойти. Будем его лечить. А мизинец, дорогой друг, наверное, придется отрезать.

Дрозд взъерошил волнистые черные волосы, пожал плечами и, не глядя на Святогорову, глухо сказал:

— Ну, если мизинец, так ничего, режьте. Все равно, у меня на нем большая мозоль!

Черная река

Белая ночь, прозрачная и тревожная, незаметно сменила такой же белый день, и слабый отблеск ненужной луны задрожал в быстрой волне Ярходона.

В серебро реки и ягеля, покрывавшего сопки, был вправлен овальный рубин тундры.

Иван-чай покачивал кудрявыми розовыми головками, большие цветы, похожие на хризантемы, багровели на мховом ковре, красные грозди крупной смородины оттягивали книзу тонкие ветви кустарников,

Ожившая от мертвящего холода бесконечной зимы тундра жадно поглощала солнечные лучи и отражала их излишек розовым и пурпурным отсветом плодов и цветов.

Дикий белый олень, забежавший к реке полакомиться грибами, с жадностью лизал длинным розовым языком

солончак. Тонкие ноги его вздрагивали от наслаждения. Насытившись сладкой солью, он ринулся в приземистый сланник, только недавно расправивший согнутые плечи от придавливавшего их всю зиму снега, и начал ожесточенно обдирать с рогов пушистую кожистую шкурку.

Олень готовился к гону, к борьбе за самку и оттачивал молодые, но уже раскидистые, густо переплетенные рога.

В молчании белой ночи, как далекая музыка, слышалась флейта реки. Внезапно, резким ударом бича хлопнул выстрел, отдавшийся эхом на сопках.

Олень метнулся в сторону, захрапел и рухнул на передние ноги. Охотник ранил оленя в живот — смертельная рана.

Молодой человек в широкополой старательской шляпе, плечистый и мужественный, быстро поднялся из-за пригорка и подошел к раненому оленю, судорожно тянущему вперед шею.

Он с сожалением наблюдал за агонией своей жертвы до тех пор, пока большие, страдающие, темнокоричневые глаза оленя не покрылись мутной беловатой пленкой.

Дав животному остыть, охотник ловко и быстро освежевал его, вырезал язык и печень и начал резать мясо на длинные узкие полосы для вяления.

Расправив плечи и вытирая руки о жесткий мох, охотник с удовольствием посмотрел на грудку мяса и подумал:

«Удача! Ребята будут рады. На неделю мяса запасли!».

Разведывательная партия, начальником которой был молодой геолог, работала на реке Ярходоне весну и лето. Запасы партии иссякали, и свежее мясо было редкостью.

Он потащил добычу в палатку у реки — обычную разведывательную палатку со снаряжением разведчиков: рюкзаками, геологическими молотками и лопатами, ружьями и небольшим запасом оставшегося продовольствия.

Достав из мешка, на котором было написано «И. Пономарев», чай и сахар, молодой человек поужинал вкусной свежей зажаренной дичиной, напился чаю и улегся на постель из шуршащего и пружинящего оленьего мха.

Но уснуть ему не удалось, и он долго лежал с открытыми глазами, ворочаясь с бока на бок. Жемчужные лучи белой ночи проникали отовсюду, сквозь неплотный полог, сквозь дыры и тонкую материю палатки.

Ночь была похожа на белые ночи Ленинграда, где молодой геолог учился в вузе. Она будила воспоминания о далеком городе, о друзьях и знакомых, волновала и тревожила.

Геолог встал с постели, вышел из палатки и, подбросив в костер несколько кустов сланника, уселся у огня. Он вытащил записную книжку и начал сочинять стихи:

В ледяной оправе
Черные камни гор.
Злитя пурга.

Завывай, вьюга, пой,
Взлетая в бешеном вое.
Скотт не вернулся живой,
Не вернулись и те двое.
Мой гимн — человеческой воле!

Стихи были неуклюжие, тяжелые. Геолог долго читал их, правил, потом смял листок и бросил в огонь, глядя с сожалением, как обугливается бумага, на которой оставались следы карандаша.

Ночь незаметно переходила в день. Луна в розовеющем, перламутровом небе напоминала круглое белое облачко. Небольшие уцелевшие пятнышки снега в расщелинах гор покрылись розовой акварелью восхода.

Геолог пошел в палатку, снарядил дорожный мешок, положил в него муку, сахар, оленину, захватил молоток и лопату и написал товарищам записку:

«Ухожу на разведку, в северный распадок. Вернусь дня через три. Убил оленя, вялится у скалы. Филимонову итти в южный участок. Результаты разведок запишите в дневник и оставьте в палатке. Через неделю всем быть в сборе здесь».

Он долго шел вдоль по реке, к северу. Солнце высоко поднялось над горизонтом и залило все вокруг ярким светом. Река была широкая, но мелкая и быстрая. Когда Пономарев переходил ее вброд, ему казалось, что он, стоя, несется вниз по реке, а река стоит неподвижно, на-

полняя все вокруг звоном воды и грохотом гальки.

Дойдя до ручья, текущего по северному распадку, геолог свернул на него и пошел вверх. Он неумоимо продирался сквозь заросли кустарников по берегам ручья, карабкался на преграждавшие дорогу скалы или шел прямо по ручью, вода которого доходила только до половины его высоких болотных сапог.

Время от времени геолог останавливался, сворачивал в сторону и обследовал берега ручья. Места походили на золотоносные. В русле виднелись часто сланцы и порфиры, кое-где по берегам ручья валялись куски желтых разрыхленных кварцев.

Геолог исследовал осыпи реки, осматривал встречные скопления скал и разбивал молотком кварцы, внимательно всматриваясь в изломы. Но камни были пусты, и только изредка в них блестели золотистые кубики пирита или серебряные ромбики мышьяка.

В лотке, в котором геолог промывал землю с берегов реки, также не было золота. Ни единого «значка».

Досада и разочарование все больше охватывали молодого геолога. Его отряду не везло. Южное управление Дальстроя отправило партию на самый отдаленный участок своего района, в среднее течение Колымы, на приток Коркодона — Ярходон. Всю весну и лето разведчики Пономарева бродили по Ярходону, обследовали сотни квадратных километров, разведали десятки ручьев и ключей и не нашли ничего. Золото упорно пряталось от них. А между тем оно должно было быть здесь. Характер местности, сопутствующие золоту породы, прежние сведения — все говорило об этом. Однако лето идет к концу, скоро грянет сразу суровая колымская зима, продукты на исходе, а результатов никаких.

Измученный геолог присел на берег ручья, снял сапоги, размотал портянки и стал мыть стертые ноги в холодной воде.

Отдохнув, он обулся, взвалил рюкзак на спину и упрямо двинулся вверх по ручью, внимательно и настойчиво обследуя берега.

Золота попрежнему не было и следов. И к вечеру второго дня Пономарев на-

чал подумывать о том, чтобы вернуться в лагерь. Может быть, кто-либо из разведчиков оказался счастливей и хоть к концу работ наткнулся на металл.

Но, выйдя в небольшую долинку у излучины ручья, он с удивлением заметил вдалеке дымок от костра. Это было странно. Весь этот громадный район, на протяжении многих сотен километров, был необитаем. Встретить здесь человека почти такая же редкость, как живого мамонта, кости которого, клыки и зубы, впрочем, попадались довольно часто на песчаных отмелях Ярходона.

Проверив винчестер, геолог пошел прямо на дымок.

Вскоре он вышел к дорожке и с еще большим удивлением увидел перед собой довольно большой якутский «балаган» — просторную юрту, выложенную из жердей, глины и древесной коры.

Пономарев пошел прямо в юрту.

На стенах юрты висели черканы и капканы на лисицу и горностая, «таты» — изукрашенные бисером меховые женские одежды, на полу лежали оленьи шкуры, в маленьком глиняном очажке горел огонь.

На оленьей шкуре у очажка сидел на корточках высокий, худой старик-якут, такой древний, что кожа на его длинном, слегка скуластом лице казалась выделанной из сморщенных сухих оленьих кишек, а редкая, но длинная борода приняла оттенок старой, жухлой мамонтовой кости.

Возле него стояла молодая высокая и стройная девушка, мало похожая на якутку, видимо, смешанного происхождения.

Старик бесстрастно посмотрел на вошедшего, сохраняя полную неподвижность. Девушка, наоборот, очень оживилась и с удивлением взглянула на молодого геолога черными, блестящими, как полированный эбонит, глазами.

— Здравствуйте, — сказал геолог.

— Дорово, — быстро ответила девушка, блеснув мелкими белыми зубами.

Геолог сбросил рюкзак и присел у очажка.

— Кепсе, тогор! ¹ — сказала девушка, любопытно поглядывая на гостя.

— Испидисси!? — закивала она головой, когда Пономарев рассказал, что он работает с экспедицией в долине Ярходона.

Геолог достал из рюкзака чай, сахар и табак. Пономарев протянул старику пачку табака. По пергаментному лицу старика скользнула тень улыбки, отчего вокруг глаз собрались бесчисленные мелкие морщинки.

Он набил трубку и закурил ее. Девушка также закурила и поставила кипятить воду для чая. Ломаным русским языком она охотно болтала с геологом:

— Мы живем здесь много-много зим. Я такой маленькой была, когда дедушка пришел сюда. У меня нет никого—один дедушка. Дедушка раньше жил на Смолоне. Он такой старый, что нельзя считать. Дедушка—большой старик. Он знает много песен и хорошо играет на камузе. К нам приходят издалека якуты и эвенки слушать, как поет дедушка. Они приносят подарки...

Чай пили долго, девушка раскраснелась и сбросила с себя камлайку. Присматриваясь к ней, Пономарев заметил у нее на шее олений ремешок, на котором были нанизаны в ряд просверленные шарики из желтого металла. Они были неправильной округлой формы и напоминали золото.

Геолог попросил девушку снять ожерелье и показать ему.

Она опасливо покосилась на старика, но развязала ремешок и подала его геологу.

Пономарев тотчас же убедился, что шарики были небольшими, величиной с горошину, хорошо скатанными золотыми самородочками. Он взволновался.

Откуда девушка могла их достать?

Пономарев наклонился к девушке и, повязывая ей ожерелье на шею, спросил:

— Как тебя зовут?

— Марька, — застенчиво ответила девушка. — А тебя?

— Иван, — улыбнулся геолог, с удовольствием смотря на раскрасневшуюся девушку. Снова наклонившись к ней, он зашептал: — Марька, милая моя, скажи, пожалуйста, где ты достала эти камешки?

¹ Кепсе. тогор — рассказывай, друг.

Девушка взглянула на насупившегося старика и нерешительно ответила:

— Он. Он знает.

Но старик неопределенно покачивал дрожащей головой и делал вид, что он не понимает вопросов геолога.

Раздосадованный, Пономарев замолчал, налил себе еще чашку чая.

Старик закурил опять, начал улыбаться и сказал вдруг девушке что-то по-якутски.

Марька достала из берестяной коробки камуз — маленькую раздвоенную железную пластинку, похожую на камертон.

Старик взял камуз, облизал его сухими губами, зажал беззубыми деснами.

Мелодичный дрожащий звук, похожий на жужжание пчелы, перешел в красивую мелодию с бесчисленными вариациями, которые старик, видимо, тут же сочинял. Девушка с восхищением смотрела на старика. Вся ее высокая, стройная, не похожая на якутскую, фигура тянулась к музыке. Румяные пухлые губы полураскрыты, глаза блестели.

Закончив игру, старик хлебнул глоток горячего чая, закрыл глаза и, покачиваясь на шкуре, неожиданно довольно чистым и правильным русским языком начал рассказывать нараспев:

— Слушай; тогор русский, я расскажу тебе, что говорили наши старики.

Это было давно, когда «соха»¹ были великим и могучим племенем и владения их простирались от моря, в котором рождается солнце, до далекого Вилюя.

На реке Кулу, в самом большом улусе жил богатый и могучий старый Киняй². Самый богатый человек на земле был Киняй. Никто не мог сосчитать оленей в стаде Киняя, и в капканы его шел дорогой черный соболь, голубой песец и седая лисица.

Киняй был злой человек. Никого не жалел Киняй и никого не боялся. В злобе своей он был неукротим и все боялись его. Потому что, — так говорили старики, — отцом Киняя был злой дух — сатана Вилюйский, а матью — злая красавица Албын³.

Киняй жил в большой и богатой юрте один. Старуха его давно умерла. Умерла и молодая жена. Люди говорили, что злые духи не дают покоя женам Киняя и уводят их к себе. Киняй умел вызывать духов, и даже самые большие шаманы боялись его силы.

В этом же улусе жила девушка, кис Кирдык¹. Кирдык была, как солнце весной, и сеяла вокруг себя добро. Не было, чтобы Кирдык кому-либо сказала или сделала худо. Все любили кис Кирдык, и, кому она улыбалась, на сердце у того делалось тепло и в глазах светало. Вот какая девушка была Кирдык!

Старику Киняю полюбилась Кирдык. И он начал ходить всюду за ней и разговаривать с ней. Но Кирдык не могла говорить с Киняем, злым и лживым. Она сказала ему:

— Не разговаривай со мной. Твоя речь, как злой ветер — полуденный, черный вихрь. Твои слова оскверняют меня. Твоим языком говорит злой дух.

И вот однажды, в праздник «иохарь», когда старики пили чай и курили табак, а молодые пели песни и плясали, Киняй сказал Кирдык громко, перед всеми:

— Кирдык, твое лицо, как солнце, светит предо мной и не дает мне покоя. Хочешь ли, девушка, быть моей джахтар?²

Кирдык же ответила ему громко:

— Ты лживый и трусливый старик. Ты — как шелудивая собака!

Кис Кирдык все любили — и слава ее была велика. Но старики были все-таки обижены:

— Как допустить, чтобы девушка худо говорила богатому старику при молодежи?

А Киняй так любил Кирдык, что смирил свою гордость и сказал опять:

— Ты самая красивая девушка, и слава твоя ходит по всей земле «соха». Моя слава тоже большая. Я сильнее всех. Мы должны быть вместе.

Он говорил так перед стариками племени. Но Кирдык плюнула на него перед всеми и ушла.

¹ «Соха» — так называют себя якуты.

² Киняй — злой.

³ Албын — ложь.

¹ Кирдык — правда; кис — девушка.

² Джахтар — хозяйка.

И Киняй загорелся великой злобой на нее и на племя, которое не могло заставить Кирдык быть его женой.

Он стал молиться духам и отцу своему — злому духу Вилюйскому. И корм выгорел, и олени начали падать, и племя стало беднеть. Самые могучие шаманы не могли помочь племени.

А старик Киняй говорил старшим своего рода:

— Духи гневаются на кис Кирдык. Она должна быть моей. Вы, умнейшие из умных, хитрейшие из хитрых, идущие по следу лисы, знающие жизнь, должны найти ход к ее сердцу.

Тогда старики пошли к Кирдык и сказали ей:

— Ты должна быть женой Киняя. Иначе пропадет наше племя, вымрет род, станет пустой земля.

Кис Кирдык заплакала и сказала старикам:

— Хорошо. Собирайте завтра род на муниях¹ и принесите луки и стрелы, помазанные кровью священного оленя. Пусть сами духи укажут выход моему племени.

И на другое утро собрались в поле все — старики и молодые. Киняю и кис Кирдык завязали глаза и поставили их вместе, спиной друг к другу. Каждый из них взял в руки луки и колчан, наполненный стрелами, освященными кровью оленя. И кис Кирдык сказала:

— Вот я и Киняй пойдем в разные стороны. И когда придем на свое место, каждый из нас выстрелит священной стрелой, а все племя пусть ищет, куда упадут стрелы. И духи укажут путь моему племени.

И Киняй пошел в лес, а кис Кирдык пошла к Хата-Юрах — Черной реке.

Когда же в воздухе прожужжали стрелы, все побежали за стрелой Киняя, которая полетела к Хата-Юрах.

И когда люди прибежали к Черной реке, то увидели, что стрела злого Киняя попала в сердце девушки Кирдык. И кис Кирдык лежала на больших золотых камнях, и вокруг нее была кровь. Умирая, кис Кирдык сказала всем:

— Идите за моей стрелой. И там вы увидите тот путь, по которому надо идти людям моего племени.

И кис Кирдык глубоко вздохнула и исчезла из глаз людей навсегда.

Племя же пошло искать стрелу, пущенную кис Кирдык, и нашло ее в лесу, а возле нее большую юрту с глиняным очагом и лошадей, и коров возле юрты.

Тогда племя «соха» поняло, что кис Кирдык указала им путь, и люди перестали кочевать по тундре и начали жить вокруг своих юрт и хозяйства.

Память же о кис Кирдык стала жить среди «соха», а блестящие камни с Черной реки, где она была ранена в сердце, старики бросили в воду и решили крепко, на долгие времена:

— Якут не должен искать и брать золота. Потому что в золоте погибла правда, а правда дала нам жизнь...

Старик кончил свой рассказ-песню, устало взглянул на геолога и, набив трубку новой порцией табака, погрузился в молчание.

Геолог тоже молчал. Расспрашивать старика о золоте он больше не хотел, понимая, что старик ничего не скажет ему.

— Хорошую сказку рассказал ты, огонер¹, — начал он говорить после долгого молчания, — но вот, если хочешь, я расскажу тебе не сказку, а быль:

— Это было совсем недавно. Колыма, страна Кулу, была страной голода, отчаяния и смерти. Могучие племена «соха», орочей и юкагиров жили в бедности и умирали от голода и болезней. Олени их падали, и дети их умирали от черной смерти. Никто не хотел им помочь, не было к их наслегам и улусам дорог, и никто не приезжал в далекую и холодную страну. Те же, кто приезжал сюда, были детьми злого Киняя и только грабили людей Кулу. Черный полуденный ветер бродил по тайге и тундре, и под вой этого ветра вымирали племена страны Кулу.

Но вот далеко-далеко отсюда, там, где стоит самое большое стойбище на свете — Москва, хорошие люди, люди

¹ Мунях — собрание.

¹ Огонер — старик.

племени большевиков нашли пропавшую девушку Кирдык и пошли вместе с ней по всей великой стране.

Они уничтожили всех богатых и злых Киняев, и девушка Кирдык снова стала любимой и славной везде, среди людей. А потом пришло время, и большевики вернули девушку Кирдык и сюда, в страну Кулу.

И теперь, огонер, открой глаза и посмотри на свою землю. Новые люди провели дороги туда, где почти не бывал человек; они привезли машины, которые бегают, как железные олени, по этим дорогам и везут сюда хлеб и сахар, и табак, и мясо.

Девушки и юноши «соха» живут в хороших каменных домах и учатся всем наукам, они сами уже умеют лечить людей своего племени и учат других девушек и юношей, как надо жить. Старики тоже живут в новых домах, в тайге, и на полях возле их домов растет хлеб и картофель, которые так любят «соха» и орочи, но никогда не могли купить раньше. В улусы и наслеги их приезжают доктора и лечат больных, стариков и дают им масло и сахар, и чай, и сладкий сок от бледной немочи и цынги.

Дети орочей и «соха» перестали умирать, и женщины их начали рожать живых и здоровых младенцев. Племена Кулу скоро станут снова сильными и могучими, и пустая земля будет богатой и обильной.

Вот эти новые люди, огонер, разыскивают в холодной земле Кулу золото, которое лежит в ней, золото, которое никому не нужно. Но золото это нужно им, старик, не для того, чтобы убивать правду — Кирдык, а чтобы украсить ее новыми красивыми одеждами и цветами, чтобы все племя Кирдык скорее начало жить богато и счастливо, чтобы построить для «соха» каменные дома, хорошие дороги, и славиле всегда девушку Кирдык...

Старик внимательно слушал молодого геолога, но попрежнему не отвечал ему. Он еще крепче сжал сухие губы, закрыл глаза и, покачиваясь на корточках, что-то невнятно и монотонно напевал про себя.

Марька же, придвинувшись совсем близко к геологу, жадно смотрела на него.

— Тогор испидисси, — сказала она, наклонившись к нему, — скажи, все девушки могут учиться у вас? Я тоже?

— Ну, конечно, Марька, — ласково ответил геолог. — Ты тоже.

Он переночевал в юрте, а рано утром снова начал производить разведки вверх по реке, особенно тщательно обследуя местность вокруг юрты.

Целый день безуспешно бродил геолог по тайге и сопкам и к вечеру вернулся в юрту, измученный.

Мрачный и расстроенный, он сидел на камне у реки.

Итти дальше, вверх по реке, не имело смысла. Если бы в верховьях было золото, сюда обязательно должны были дойти следы его, хотя бы в виде ничтожных знаков в лотке.

Надо возвращаться к стоянке. И от туда, вероятно, не солоно хлебавши, — в Оротукан, в управление.

Геолог живо представил себе неприятное возвращение.

Начальник управления встретит его насмешливой улыбкой и скажет:

— Ну, здравствуйте. Прогулялись, молодой человек? Поздравляю. Садитесь теперь в лабораторию и занимайтесь делом.

Весной этого года он сидел в кабинете начальника и с большим увлечением доказывал ему необходимость срочной организации разведывательной партии сюда, на Ярходон. Он показывал начальнику анализ шлихов, присланных отсюда, и произведенный им лично:

— Вот видите, Абрам Миронович, — говорил он ему, — это образцы шлихов с долины Ярходона. Очень интересный район. Я в этих образцах обнаружил халцедон, биотит, слюду, амфиболы, эпидаты, монациты, пирит, анатаз, ксенотим...

Начальник поглаживал стриженую голову красноватыми, заметно дрожащими от нервозности руками и возражал:

— Дорогой мой, ну, что мне за толк от этого вашего ксенотипа? Ведь мне золото нужно, а не ксенотип. Северный район нас кругом обскакивает. Они зо

лото лопатами гребут. А вы мне какой-то ксенотип подсовываете!

Геолог возмущался:

— Во-первых, не ксенотип, а ксенотим. А во-вторых, вы недооцениваете этих признаков. Вы, как человек науки...

— Ну, какой же я человек науки, — комически разводил руками начальник, — голубчик, я же банковский работник, а вы мне про анатаз и ксенотим... Впрочем, — уже серьезно добавил начальник, — помимо этой теории, что вы предполагаете практически? Есть ли золото в этом районе?

— Вне всякого сомнения, — твердо обещал Пономарев, — отпустите меня с партией, и я привезу вам новый золотой район.

Начальник засел за проработку материалов и дня через два отпустил Пономарева с хорошо снабженной партией на Ярходон.

И вот теперь придется вернуться с пустыми руками...

Геолог сидел на скале, опустив голову. Внезапно он, точно почувствовав чей-то взгляд, быстро обернулся. Недалеке от него, на большом камне стояла Марька. Девушка пристально смотрела на него.

Геолог встал и подошел к ней:

— Прощай, Марька, — сказал он, — на вот табак, передай его дедушке в подарок.

Он медленно пошел вниз по реке.

Когда геолог отошел на сотню шагов, девушка, смотревшая ему вслед, вдруг крикнула:

— Испидисси! Иван!

Пономарев оглянулся. Девушка звала его к себе. Он быстро вернулся. Девушка поманила его за собой и быстро, легким упругим шагом пошла вверх на высокую сопку — перевал.

Удивленный геолог шел за ней.

Перевал служил водоразделом. С него виднелся второй ручей, текущий параллельно первому по широкой долинке — распадку между горами.

Спустившись к ручью, Марька показала геологу на свое ожерелье и сказала, указывая на ручей:

— Хата-Юрах! Черная река.

Потом, точно испугавшись своей смелости, побежала легко и быстро, как оленья важенка, обратно вверх на сопку.

Ручей шел по каменистому ложу из сланцев и порфира и казался от камней дна и берегов почти черным. Опытный глаз геолога сразу оценил возможную золотоносность пород, по которым текла Черная река.

Выбрав место, Пономарев, ни минуты не медля, начал обследовать берега ручья. И почти тотчас же, с первых проб в лотке, убедился, что ручей золотоносен.

К вечеру он нашел в осыпях не только богатое золото, но и целые скопления самородков.

Радость охватила геолога. Удача! Впервые за столько месяцев упорной работы впустило. Золото!

Усталость точно смыло с геолога. Он с новой энергией взялся за поиски. Разбив лагерь у ручья, он шел от него разведкой в разные стороны и в течение двух дней обогнал значительный район. Сомневаться не приходилось. Чем дальше шел геолог, тем яснее делалось ему, что он открыл богатую промышленную золотую россыпь. Из-за нее одной стоило начинать добычу в этом далеком и трудно доступном районе.

Сняв карту и наметив расположение вырытых им шурфов, торжествующий геолог решил отправиться за партией, чтобы вместе с ней провести планомерные разведки всего бассейна Черной реки.

«Хорошая девушка Марька, — думал геолог, взбираясь на перевал. — И красивая!».

Ему захотелось снова увидеть ее, и он пошел разыскивать юрту, от которой ушел далеко вверх.

Девушку он встретил на берегу реки, возле того места, где она окликнула его. При виде геолога девушка радостно бросилась ему навстречу, но сконфузилась и остановилась.

— Здравствуй Марька! — весело закричал геолог, — спасибо тебе. Молодец ты девушка. Актivistка!

— Актистка? Какое это будет, Иван? — с недоумением спросила Марька.

Пономарев долго мялся, пожимал плечами, пытаясь объяснить девушке непонятное слово.

— Ничего, Марька, — сказал он. — Потом узнаешь. Обучишься, и поймешь. Прощай пока, жди меня. Скоро все придем сюда. Весело будет!

Он протянул девушке руку.

Марька стояла на камне, освещенная ярким солнцем, глаза у нее светились, как черные жемчужины, маленькие упругие груди оттопыривали в стороны тонкую замшевую кофточку, румяные губы были полуоткрыты.

Дочь этой дикой и загадочной тайги, она смущала и влекла к себе молодого геолога той же цветущей и торжествующей девственностью, которой была полна природа — чистый звенящий ручей, бархатные горы, молодая зелень лиственниц.

Геолог привлек девушку к себе и поцеловал ее в губы.

Потом еще раз взглянул на нее, махнул ей рукой и быстро пошел вниз по реке.

Марька долго стояла на пригорке, освещенная солнцем, и смотрела, не отрываясь, вслед геологу, пока тот не скрылся из виду:

Находка

Это была обыкновенная дорожная сторожевая будка на колымской трассе, срубленная здесь же, в тайге, и покрытая крышей из земли и сланника.

Местность, где стояла будка, называлось «Донышком». Шоферы звали ее «Чортовым донышком».

Представьте себе климат, состоящий из одного ветра. Горячего ветра, несущего тучи пыли, кедровых шишек, обрывков сланника, — летом. Поток косящего дождя, хлещущего по лицу, точно резиновой лапшой, — осенью. Снежного урагана, пурги — белого месива из колючего снега и бешеного воя — зимой.

Донышко — длинное ущелье, зажатое скалами и открытое двум, самым свирепым ветрам, с моря и севера, в сущности, было естественной аэродинамической трубой, и редкий водитель, проскакивая на машине сквозь него, не

крыл последними словами это неудобное место.

Все это, впрочем, мало беспокоило Гордеича, единственного обитателя будки, ответственного за сохранение порядка на дорожном участке.

Он был немножко философом — этот могучий старик с широкой, впалой грудной клеткой и длинными руками с узловатыми подагрическими пальцами.

— Скучно тебе, поди, Гордеич, одному на Чортовом донышке? — сочувственно говорил старику воспитатель, изредка заезжавший из Магадана к сторожу и остававшийся у него ночевать.

— Мне скучно быть не может, — неторопливо отвечал Гордеич, сидя на большом камне перед сторожкой и сворачивая самокрутку. — У меня душа спокойна, и мысли всегда бродят. Я человек любопытный. Вон бурундук к тальнику прижался. Почему у него шерстка полосатая? Для того, чтоб его в тальнике разглядеть нельзя было. Бурундук — зверенок смелый, он никого не боится, кроме ястреба. Значит, ястреба видит.

Над сторожкой, действительно, показался полярный кобчик.

— Ага, вот он, — с удовлетворением сказал старик, — видишь, во всем, значит, свой смысл есть. Надо только до него дойти. Заблудится вот, к примеру, человек в пурге — непременно его закружит, и вернется он на то место, откуда вышел. Сколько ни бродит, а все кругами. Почему? Не знаешь? А я уследил. Человек в пурге идет не по прямой, а все в сторону его подает. Хоть и захочет идти прямо — не сможет, обязательно его подает в сторону. Идешь ты, думаешь, прямо, а тебя вбок сворачивает, да к тому ж всегда в левую сторону. Ну, если левша, тогда в правую. И это от тебя независимо. Как ни держи в тумане или пурге, а в сторону подашься и пойдешь кружить. Поэтому и говорят: леший водит. Понятно, насчет лешего — это глупости, а ведет тебя от тебя же самого, изнутри толкает. Да!

Еще, скажем, летом тут за хребтом, в пади, всегда тайга горит. Почему бы

ей гореть? Гроз на Колыме не бывает. Люди там почти-что не ходят. Искре взяться неоткуда. А тайга постоянно горит.

Долго я насчет этого думал. Никак причины найти не мог. А однажды все-таки заметил. Видел я, как ветром надломленный сухой ствол треплет. Трет, значит, дерево махрами друг об дружку и трет. Без отдыха, день и ночь трет, покуда дым и огонь не появятся от этого. Вроде как ось от сухого колеса загорается.

Вот видишь — тайга, она живая. А ты говоришь — скучно!

Воспитатель с уважением смотрел на старика.

Старик был умный и какой-то необычный.

И лицо-то у него было странное, точно из двух половинок склеенное, от двух разных людей. Щека на одной стороне была толще, и половина подбородка опускалась ниже другой. А мохнатые брови все время двигались над маленькими зоркими глазами, словно живые гусеницы.

Гордеич жил на Колыме давно. Родом он был из Каинска, в Сибири.

А занимался он в Каинске странной профессией — был учителем по воровскому делу, главным образом карманному. Тридцать лет без малого обучал Гордеич всех карманников от Челябинска до Читы этой тонкой психологической науке.

По всей дороге его ученики работали.

Сам же он жил безвыездно в Каинске, разводил огороды, держал в клетках щеглов и канареек.

К старику приводили молодых парней, сирот, детей разорившихся в дым мещан или вдов и просили его оказать уважение — обучить ребят «ремеслу».

Старик пускал в дело не всякого.

Посмотрит Гордеич внимательно на парнишку, конфузливо мнущего в руках картуз, и скажет:

— С этого папаненка толку не выйдет. У него глаз рыбий.

Но, если клиент нравился старику, он брался за обучение.

Первая стадия обучения заключалась в битье. Бил старик ученика дважды в

день. Бил жестоко, хотя и без следов, и притом совершенно беззлобно, по-деловому.

— Морду в плечи прячь, когда бьют. Шею чтобы не свернули, — обучал он парнишку, корчащегося от ударов его каменных кулаков. — А тело пружинь, мускулы надувай, да увертывайся половчее, чтобы под ложечку не угодили. Не скули! Привыкай! Вора всегда бьют. Бьют не за то, что ворует, а за то, что попадается. Не попадешься — и бить не будут. А воровать надо. Все воруют. Честной жизнью разве что щегол один живет.

Приучив новичка к побоям, старик показывал технику «дела» и рассказывал ему, как надо следить за намеченной жертвой:

— Извозчиков, матросов, ломовиков не трогай. Бьют смертным боем.

Месяца за четыре старик выпускал «специалиста» и в течение года получал у него половину добычи. После года «ширмач» уходил на волю, хотя из уважения долго еще поддерживал связь со своим учителем.

Старик жил десятки лет в своем родном городе. Профессия его была всем прекрасно известна, но это ничуть не отражалось на нем, и он пользовался общим почетом и уважением, поддерживая дружеские отношения со всеми и, в первую очередь, конечно, с полицией, которой отчислял процент.

После революции старик переменял местожительство, но при чистке городов от рецидивистов и уголовного элемента его выслали на Север.

Сейчас Гордеич, впрочем, давно уже был вольным человеком. Хорошей, ударной работой и безукоризненным поведением он заслужил уважение и остался жить на Колыме по вольному найму, все время работая на строительстве Колымского шоссе, которое он начал проводить одним из первых.

— Слышь, Гордеич, — сказал воспитатель, зайдя к нему в последний раз, — начальник дистанции к тебе сюда парнишку одного посылает. Придется тебе его самому уму-разуму учить. Сам знаешь, когда к тебе в будку из воспитательной части доберутся! А парень,

прямо скажу, жук. Калека. Из штрафных все время не вылазит.

— Поглядим. — сказал старик, — какой человек. Ежели в нем дурной сук вглубь не пошел, расщепить можно.

Однажды какого-то парня привезли на Донышко и, сгрузив его с автомобиля у дороги, отправили с путевкой к старику, в будку.

Он шел по опушке, маленький, плотный, какой-то развязной, вихляющей походкой, посвистывая сквозь зубы и время от времени беспричинно матерясь замысловатой руганью. Он нес за плечами узелок, подвешенный к палке.

Дойдя до сторожки, парень ударом ноги распахнул дверь и ввалился в избенку.

Гордеич сидел на табуретке и чинил сапоги. Толстая подошва, потрескивая, вилась, как береста, в его могучих, узловатых пальцах.

— Ты, что ль, тут хозяин, старый хрыч? — нахально крикнул парень, глядясь сквозь полумрак избушки в старика.

Старик поднял мохнатые брови и поглядел на вошедшего. В спокойных глазах его вдруг блеснуло гневное пламя. Он вскочил с табуретки и, сжимая полосатые кулаки, грозный, весь ошестившийся, распаленный, двинулся к гостю.

Парень с ужасом посмотрел на старика и вдруг бросился ему в ноги.

— Иван Гордеич! — прерывающимся, тонким голосом закричал парень, — прости, бога ради! Не убивай! Не я на тебя показывал!

Гордеич, впрочем, уже успокоился и сел снова на место.

— Тишка, — спокойно сказал он, — дурак! Вставай. Свиделись, значит. Ну, живи там в углу. Поставь чайник на плиту. Чай пить будем.

Тишка был последним учеником Гордейча, в Бийске. Он же его и «завалил».

— За что попал на Колыму? — спросил Гордеич Тишку за чаем.

— Узбеков разматывал, Иван Гордеич, — подобострастно и охотно признался Тишка, все еще с опаской поглядывая на сурового старика.

— Это еще что за новости — узбеков разматывать? — насупился Гордеич.

— А я, видите, Иван Гордеич, после того, как вас, значит... забрали, — в Маргелан махнул. В Сибири меня приметили здорово. Ну, и вышло там форменное недоразумение. Приезжаем, значит, мы с Васей Грифелем в Маргелан — и прямо хоть с голоду подыхай.

— Почему? — спросил старик. — Что же, карманов, что ли, на вас там нехватило?

— Именно. Это самое. Карманов-то у них, у узбсков, значит, и нет. Деньги они в поясах держат. Как же их у него выудишь, ежели он кошелек в двадцать метров материи замотал? Походили мы с Грифелем с неделю без почина, куда подашься? Голод не тетка, ну, и придумали, значит, начали их разматывать. Подстережешь это, когда побогаче узбек на ослике вечером в переулке едет, подойдешь к нему и тюкнешь по чалме, в темя. Он, конечно, с ослика култык вниз. Ну тут, значит, хватаешь его за конец пояса и бежишь, разматываешь. Перевернется узбек раз двадцать, разматывается, кошелек в карман — и концы в воду.

— Тишка! — с негодованием закричал старик, вскочив во весь рост. — Как же ты, подлюга, из честного ширмача в мокрушники мог пойти? А!?

— Боже избави! — испуганно воскликнул Тишка. — И как вы, Иван Гордеич, такое подумали? Я ж их только глушил. У меня для этого в варежке пятаки зашиты были. Полежит узбек минут пять и вскочит жив, здоров, крик поднимет на весь переулок, уноси только ноги.

Старик внимательно смотрел на своего ученика, точно видел его впервые.

Отужинали молча.

— Ложись, — сказал Гордеич, — утром сходишь в тайгу, дров нарубишь.



Много дней подряд Тишка все еще опасался старика и недоверчиво относился к его внушительному спокойствию. Он беспрекословно и точно вы-

полнял все, что поручал ему старик, заготавливал дрова, расчищал трассу, подсыпал щебенку и гальку в выбоины, сделанные машинами, ставил дорожные знаки.

Но постепенно он начал мрачнеть, надолго уходил в тайгу за сопки, бродил по распадкам и орал там матерные ругательства, с удовольствием прислушиваясь к строгому и точному эхо, повторявшему их. А однажды, когда с моря, со стороны Магадана, подул особенно длительный и крепкий ветер и Донышко завывало надолго, как ревушая фабричная труба, Тишка пришел с трассы бледный, угрюмый, бросил шапку об землю, сел, не раздеваясь, на лавку и решительно сказал, глядя в упор на старика:

— Работать больше не буду. Работа дураков любит!

— Ничего, — спокойно ответил старик.

— Сообщишь кому? Или бить станешь?

Старик смолчал.

С неделю Тишка не выходил из сторожки.

Горденч сам ходил в тайгу за дровами, осматривал дорогу, ставил тонкие вешки и нарезал на них шахматную клетку, чтобы было заметней в сумрак и пургу.

Тишка делал вид, точно все это его не касается.

Однажды старик, крихтя, повязал полушубок, захватил лопату и надолго отправился на трассу — класть снежную стенку для защиты дороги от наносов.

Он стоял большой и темный, слегка согнувшись, и час за часом, без передышки клал большие снежные глыбы при входе в ущелье.

Тишка несколько раз выходил на дорогу, смотрел, как работает старик, посвистывал и уходил обратно в сторожку.

Вечером как-то он поднялся из своего угла, с подстилки, подошел к Горденчу и первый заговорил с ним:

— Ты бы хоть мне в морду дал одна, что ли!

— Зачем?

— Скучно. На волю хочется. Убегу!

— Куда побежишь? От людей уйти можно. От себя никуда не уйдешь.

Тишка отвернулся и снова улегся в угол.

Утром, когда старик начал одеваться, Тишка тоже встал, оделся, взял лопату и буркнул старику:

— Сиди. Устал ведь. Я сам пойду ложить.

Несколько дней Тишка и старик дружно работали вместе, выложили большую, почти с километр длиной, стену, защищавшую дорогу от бешеного ветра и метелей с тундры.

По вечерам беседовали. Тишка начал читать литературу, присланную культурно-воспитательной частью. Особенно нравился ему «Робинзон Крузо», которого он читал вслух Горденчу.

Постепенно Тишка совсем перестал бояться старика и начал даже подшучивать над ним.

— Ты, Иван Горденч, — говорил он ему, — в колымские угодники попасть хочешь, что ли? В архиереи метишь?

Как-то он принес украденные им с проезжавшей машины две бутылки водки, выпил их и целый день подряд бушевал, сквернословил и орал на старика:

— Старый чорт! Ерник! Грехи замаливаешь, постная твоя харя!

Старик отмалчивался, но, когда Тишка полез к нему драться, он молча сгреб его в охапку своими огромными обезьяньими руками и выкинул из сторожки головой вниз, в сугроб.

Протрезвившись, Тишка снова начал работать, выполняя все распоряжения старика.

И все же ему было не по себе. Суровое влияние старика ложилось на Тишку холодным гнетом и окутывало его, точно железной паутиной.

Однажды он, трезвый уже, вдруг начал истерически кричать на Горденча:

— Вор я! Ты с меня вора сделал! И нечего меня агитировать! Вор я, воров и останусь!

— А разве ж я тебя агитирую? — тихо сказал старик. — Ты сам себя грызешь. Душа у тебя неспокойна. А воров тебе оставаться нельзя. Профессия наша кончилась. Жизнь полный по-

ворот сделала. Раньше вся жизнь на воровстве росла. Кто у кого больше украл — тот и удал, тому и почет, и слава. А сейчас иное. Жизнь прочная, честная. Ты — молодой, все пути тебе открыты. Не обсевком в поле полагают, а человеком. Дают тебе путевку на широкий тракт — иди по нему.

Тишка, бледный, взволнованный, смотрел на старика и напряженно думал о чем-то.



Так шли недели и месяцы на далекой заброшенной, занесенной снегами сторожке, в тайге, среди ветров и пурги. В феврале подул страшный норд, и Донышко надолго заволокло белой ревущей мутью. Движение на трассе почти прекратилось. Машины не могли пробиться к пунктам, кружили в белом месиве пурги и садились в кюветы, откуда их вытаскивали на проволочных канатах приезжавшие с базы аварийки.

Расчищая после одной из таких аварий дорогу, Тишка нашел в сугробе небольшой, но очень тяжелый ящичек.

Он принес его в сторожку, нетерпеливо вскрыл и ахнул:

— Золото!

Аккуратно сколоченный в пазах, толстый ящичек был доверху насыпан тяжелыми крупными зернами драгоценного металла, весело поблескивающего при свете керосиновой лампы.

— Золото! — прерывающимся от волнения голосом повторил Тишка, глядя блуждающими глазами на старика. — Иван Гордеич, с пуд будет, не меньше!

Старик зачерпнул горсть металла, прикинул его на ладони, попробовал зачем-то на зуб и, лукаво усмехаясь, посмотрел на Тишку:

— Ну, что ж с ним теперь делать будем? — спросил он.

— Как что? — заволновался Тишка, пересыпая из ладони в ладонь золотистые зерна. — Зароем в тайге. Увезем на материк. Ты вольный, через год и моему сроку конец. С Олы на Камчатку кинемся. Оттуда свободно. Да и так помогут провезти. Золото ведь! По полпуда на брата, капитал!

— Мне не нужно, — сказал старик.

— Донесешь? — подозрительно спросил Тишка.

— Нет. Забирай все себе и делай как знаешь.

Старик равнодушно отбёрнулся от золота.

Тишка схватил ящик, убежал с ним в распадок и зарыл его там под корнями одинокой лиственницы, забросав все следы снегом.

Всю ночь он не спал и целый день прислушивался, не едут ли с трассы на розыски.

Каждый день Тишка бегал в тайгу смотреть, не нашел ли кто драгоценного клада, нет ли следов к нему.

Несколько раз он заговаривал со стариком насчет золота, но Гордеич по-прежнему не проявлял никакого интереса и только с любопытством присматривался к Тишке.



Метели кончились. Потеплело. С севера потянуло весенним ветерком. Прилетели сороки. Горностаи начал сереть. Старик достал сбитые сапоги и взялся приделывать к ним новые подметки.

Тишка сильно похудел, стал беспоконным, мрачным. Он то бегал в тайгу смотреть, не выследили ли золото, то подолгу сидел в своем углу и о чем-то размышлял.

Говорил со стариком каждый вечер о разном. Золота же касались редко.

Старик не начинал разговора о нем, а Тишка как-то стеснялся тоже. Очень уж старик странно посматривал на него, когда он пробовал заводить беседу о золоте. Казалось Тишке, что Гордеич издевается над ним и знает что-то такое, что неизвестно ему, Тишке.

Все чаще и чаще Тишка уходил на трассу и часами оставался там. Новая, плохо понятная еще ему, но крепкая жизнь грохотала на трассе.

Как вихрь, мчались на прински пяти-тонки-ярославки, доверху груженные кладью, и сквозь стеклянные ящики их кабинок видны были молодые парни с обветренными, уверенными лицами в

крепкими руками, приросшими к черным баранкам рулей.

Шарахаясь в сторону от рывкающего прямо в ухо сигнала клаксона, Тишка иногда грозил кулаком шоферу и кричал ему вслед:

— Легче ты, Ванька! Душу выну!

Но сам с тайной завистью и восхищением смотрел, как легко и сильно огромная, фыркающая машина брала под'ем и, сорвавшись с него, птицей неслась по узкой, плотно убитой ленточке дороги.

Однажды он наткнулся на лежащего, раскорежившегося на снегу, под машиной, измазанного маслом водителя.

— А ну, подсоби снять колесо! — крикнул водитель.

И Тишка узнал в чумазой, но веселой физиономии, высунувшейся из-под кузова, своего старого знакомого, с которым они, постоянные отказчики, вместе сидели в прошлом году в штрафной.

— Эге, — сказал Тишка, поддерживая ось, — ты что ж это, из филонов в специалисты выполз, стало быть?

— Шестой месяц езжу, — с гордостью ответил парень, — в комбинате учился, полные водительские права имею и карточку ударную. А ты как? Неужто все лопатой втыкаешь?

— Ну-ну, ползи дальше, специалист бензинный! — с досадой с'язвил Тишка. — Да смотри, шею не сверни!

Он долго смотрел вслед лихо рванувшейся вперед машине и мрачно побрел в тайгу, к своей лиственнице. Но мысли о будущем богатстве давно уже перестали тешить его, и, осмотрев по привычке, нет ли следов к дереву, он скоро вернулся в сторожку и молча, даже не поев, улегся в своем углу.

— Ты чего, Тихон? — спросил Гордеич. — Болен, что ли?

Но Тишка ничего не ответил ему, притворившись спящим.

Утром он сказал старику:

— Пойду на десятый километр. Знаки переменить надо. Ты меня к обеду не жди.

Взяв лопату, он пошел в распадок, выкопал ящичек, долго смотрел на него, потом взвалил на плечи и решительно пошел по трассе, за пятнадцать километров, на автобазу.

Явившись в оперативный пункт отделения НКВД, Тишка молча поставил ящик на стол к уполномоченному и важно сказал:

— Получайте, гражданин начальник. Растяпы какие-то ваши потеряли. Золото тут!

Уполномоченный с удивлением взглянул на Тишку, вскрыл ящик, осмотрел металл и составил протокол о находке.

— Молодец, — сказал он Тишке, — спасибо. Доложу о вашем поступке управлению.

А дня через три в сторожку на Донышко пришел воспитатель.

Он принес лагерную газету «Верный путь». В ней было напечатано о замечательном поступке дорожного рабочего Тихона Макеева, принесшего потерянный на трассе, во время аварии, ящик с золотом.

«Правда, — добавляла газета, — в найденном Макеевым ящике было не золото, а малоценный сернистый колчедан-пирит, по виду очень похожий на золото, но дело не в этом. Суть в том, что бывший штрафник, рецидивист, вор, охотившийся раньше за золотом в чужих карманах, нашел золото в самом себе, перековался, стал честным советским гражданином».

— Поздравляю, Тихон, — сказал воспитатель, — представим тебя на досрочное. Тем более, Гордеич о тебе хорошую характеристику дал.

— Неужто хорошую? — удивился Тихон. — Я ж ящичек-то спрятал?! Разве ж ты знал, что отнесу?

Гордеич чудно приподнял одну мохнатую бровь, ласково потрепал Тихона по плечу своей огромной рукой и улыбнулся:

— Я все знал, — сказал он, — потому что я человек любопытный, да к тому же и посматривал за тобой.

Наука и техника

МУЗЕЙ-ЛАБОРАТОРИЯ акад. ПАВЛОВА

Проф. Ю. П. Фролов

«Лабораторию и кабинет И. П. Павлова в ВИЭМ, находящиеся на улице акад. Павлова, 12, в Ленинграде, сохранить как музей».

(Из постановления Совнаркома Союза ССР, опубликованного 28/II—36 г.).

Эта тихая улица в конце бывшего Каменноостровского проспекта называлась раньше Лопухинской. Здесь, неподалеку от Ботанического сада, основанного еще Петром I и носившего название «Аптекарского двора и огорода», помещается Институт экспериментальной медицины с физиологической лабораторией, носящей имя академика Ивана Петровича Павлова.

Когда идешь по этой длинной, лишь недавно асфальтированной улице, вдоль решетки бывшего сада Алферовых, ныне превращенного в прекрасный парк отдыха трудящихся имени Дзержинского, невольно перед глазами встают тени минувшего тридцатилетия. Вот здесь поворачивал из-за угла маленький форд, а позже большой черный лимузин, в котором в последние годы возвращался домой Иван Петрович ровно в 5 час. вечера. Вот здесь он шел, прихрамывая, в своей шапке-ушанке и в холодном, спартанском пальто, сопровождаемый учениками; вот здесь находился раньше забор, к которому прислонился Павлов, когда сломал себе ногу. Это случилось в тот момент, когда он перепрыгивал через глубокую канаву. Впрочем это не помешало ему ездить двумя годами позже по этой же улице на старинном велосипеде, возвращаясь со своего огорода с корзиной овощей на багажнике.

Вы проходите мимо ряда новых построек и ищите взглядом некогда стояв-

шую здесь старую водокачку, а рядом с ней знакомые красные ворота. Но вместо них вы видите слева памятник лабораторной собаке, поставленный перед зданием физиологической лаборатории Павлова по его инициативе.

Институт экспериментальной медицины возник здесь в 1890 году, вначале как небольшая станция для производства прививок против бешенства людей, укушенных животными. Незадолго до этого во Францию, к Луи Пастеру, было отправлено из Петербурга для лечения несколько больных в сопровождении врача. Пастер не только вылечил их, впрыснув под кожу чудодейственную сыворотку, но и дал ее немного про запас, а главное, сообщил способ ее изготовления путем проведения яда бешенства через организм кролика.

Институт на Аптекарском острове оказался первым научным учреждением, не ставившим себе никаких педагогических целей; он занимался теорией медицины.

Вокруг лечения бешенства сывороткой постепенно возник ряд новых научных начинаний. Изготовление сыворотки потребовало учреждения бактериологической и химической лабораторий; впоследствии возник специальный отдел по борьбе с сапом, выросла довольно солидная научная библиотека.

Почему же имя Ивана Петровича Павлова так тесно связано с развитием института на Аптекарском острове?

Павлов проявил при создании в Институте физиологической лаборатории необычайный организаторский талант: оставаясь сам в тени, он сделался настоящей душой всего учреждения. Хотя он не был его директором, он использовал представившуюся возможность совместной работы с химиками Ненцким и Зибер-Шумовой — этими пионерами современной биохимии, — чтобы двинуть вперед и глубоко обосновать физиологию и химию пищеварения — область, которой он тогда отдавал все свои силы.

Он использовал для этой своей цели и всю ту массу животных (собак), которые доставлялись на Лопухинскую улицу как «подозрительные по бешенству». Из этих собак многие, оказавшись здоровыми, служили Павлову объектами для экспериментальных операций.

На крыше здания старой лаборатории Павлова видна небольшая стеклянная надстройка. Она служит верхним источником света над первой операционной, устроенной Павловым для операций на собаках. Операции эти производились по всем правилам человеческой хирургии, делавшей 56 лет тому назад свои первые правильные шаги к безгнилостному лечению ран.

Еще наши отцы, будучи студентами-медиками, видывали нередко следующую картину: профессор-хирург входил в операционную в форменном сюртуке; черный клеенчатый передник защищал его грудь от прикосновений к больному, чтобы врач не мог испачкаться в крови оперируемого больного. Хирурга обычно сопровождал служитель с инструментами на подносе. Для перевязки артерии в ране употреблялась одна из ниток, висевших на пуговице сюртука оператора. Эту нитку оператор получал из рук служителя, который предварительно проводил ее через свой рот, слюнил ее, как это делают сапожники с дратвою.

Немудрено, что гангрена — «антонов огонь» — были постоянными спутниками такой хирургической практики.

Павлов применил к операциям на желудке и кишечнике собаки новые методы хирургии, основанные на строжайшем обеззараживании всего операцион-

ного поля, рук хирурга и всех предметов, относящихся к операции. Свет в изобилии допущен был в его операционную. Собак в ней не только хлороформировали, чтобы не причинять им боли, но даже предварительно брили и купали в ванне, помещенной в «подготовительной» комнате. Результат получился блестящий: почти сто процентов собак стали выживать там, где раньше оставались существовать лишь единицы.



Огибая старое здание института, мы подходим к низенькому подъезду, под соединительным переходом, ведущим в «башню молчания».

Много написано об этих зданиях, хранящих в себе воспоминания о Павлове. Колыбель физиологической науки на Лопухинской улице грандиозна в силу богатого внутреннего ее содержания. Но внешне она имеет очень скромный, будничный вид.

Через низенькие сени и прихожую посетитель попадает прямо в «большой» зал с каменным полом, где на простых изгрызанных станках стояли в течение 50 лет и сейчас стоят, сменяясь, подопытные собаки. Украшением этой, вообще довольно мрачной, комнаты служит лишь большое окно, выходящее прямо в сад. У этого окна весною любил сидеть Павлов, проводя свои беседы, не носившие еще тогда характера более поздних «пленарных» собраний сотрудников, совпадавших с 3-м днем семидневки — «средю».

Сюда же, в общий зал выходят двери четырех маленьких комнаток, в которых зародилось учение об условных рефлексах. Эти комнаты положили начало будущим звуконепроницаемым камерам, сделались их прообразом.

Здесь же во время продовольственного кризиса 1919 года были нами открыты, на почве голодания собак, патологические формы проявления условных рефлексов. Павлов, вообще вспыхивавший от природы, наблюдая полученные нами парадоксальные и необъяснимые с прежней точки зрения факты, устроил

автору этих строк внушительный разнос. Но, когда наступившая смерть собаки подтвердила факт ее прогрессивного голодания, извратившего деятельность мозга, Павлов охотно извинился и просил взять для опыта еще двух собак. Эти опыты были затем продолжены И. С. Розенталем, который получил еще более убедительные выводы.

Как известно, Павлов встретил продовольственный кризис, вызванный интервенцией, без всякой растерянности. Угроза голода вызвала в нем возрождение старого стимула — тяги к земле, к ее обработке своими руками. «Ничто не может сравниться с работой на земле, — говорил он нам весной 1919 года, — даже умственные занятия не могут затмить мышечную радость труда. Очевидно, это зависит от того, что мой бед сам пахал рязанскую землю».

За оградой института, там, где теперь высятся огромные корпуса завода «Электросила», в годы войны был обширный пустырь, занятый старыми огородами, сохранившимися едва ли не с петровских времен. Павлов потребовал себе здесь участок и с ранней весны работал на нем, обильно поливая его своим потом.

Его пример увлек и нас, тем более, что для этого были причины чисто хозяйственного характера. Кроме того, вело нас на огород и желание побыть с Павловым наедине в такой необычной и располагающей к близости обстановке. Павлов, вскапывая гряды, сажая редиску и лук, находил время поговорить о каждом явлении. Однажды в перерыве, сняв свою соломенную шляпу, он поглядел в небо, на паривший в синеве биплан, и проговорил: «Гордись, человек, своей победой, но не зазнавайся. Надо еще победить смерть во всех ее видах, сделать человека счастливым распорядителем жизни». Эта реплика, брошенная случайно на огороде, вызывает сравнение с высказываниями Толстого. Какая, однако, огромная разница в содержании, в направлении мысли этих больших людей, в основной жизненной их установке. Один из них, философ, любя землю, стремился к смерти, как к миру, и презирал нашу науку.

Другой, так же любя землю, неотступно думал над проблемами сохранения жизни: свою физиологию он целиком посвящал будущей медицине, которая должна в конце-концов победить старость и смерть.

Оба были гениальны, оба любили жизнь по-своему. Но Толстой кончил в старости разрывом с современной культурой, наукой и искусством. Павлов же, пройдя извилистый путь сомнений, вошел, врос своей мыслью и своим трудом в новую для него среду социалистического строительства, сделался вождем новой, советской науки, страстным защитником отечества трудящихся: «Что ни делаю, постоянно думаю, что служу этим, сколько позволяют мне силы, прежде всего, моему отечеству. На моей родине идет сейчас грандиозная социальная стройка. Уничтожена дикая пропасть между богатыми и бедными... судьбы родины глубоко волнуют меня...»¹.



Во втором этаже здания лаборатории, где находится кабинет Павлова, теперь постепенно собираются экспонаты для музея его имени.

Узенький коридор, которым разделялось раньше старое здание павловской лаборатории, ведет в другую его половину, где помещаются предоперационная и клиника для оперированных собак.

В предоперационной комнате долгие годы находилась большая медная ванна, превращенная в часть «агрегата» для очистки получаемого от «фистульных» собак натурального желудочного сока.

Ряд деревянных станков, в которые ежедневно ставились собаки, оперированные по способу Павлова для «многого» кормления, находились в другом этаже здания. Получая пищу, которая тут же вываливалась через проделанное в шейном отделе пищевода отверстие (фистулу), собаки «работали» по 4—6 часов ежедневно. При этом в цилиндры, подвешенные к отверстиям в стенке же-

¹ См. «Известия ЦИК СССР и ВЦИК» от 27/II 1937 г.

лудка, собирался ценнейший желудочный сок — по 1 — 2 литра от каждой собаки в день, а всего несколько десятков литров в день. Это и был знаменитый «цех выработки желудочного сока» — этой своеобразной, живой лабораторной «фабрики».

Но сок этот, богатый ценнейшими ферментами, прежде чем быть пущенным в продажу в аптеках у нас и за границей, должен был пройти через «цех очистки», освободиться от всех посторонних примесей и получить вид чистого дистиллята. Очистка достигалась фильтрованием сока через уголь и пропусканием через него воздуха посредством большого, непрерывно действовавшего насоса. Этот насос был устроен в упомянутой медной ванне неутомимым изобретателем и хранителем всей сосредоточенной в лаборатории техники — доктором Е. А. Ганике.

Соседний длинный коридор соединяет ряд маленьких «палат», где содержатся оперированные животные.

С жизнью этой клиники у сотрудников связано множество воспоминаний. Сюда работники, проводящие опыты, являлись днем и ночью, чтобы помочь собаке перенести последствия операции. Случалось иногда и так, что собака «помогала» диссертанту справиться с трудной научной задачей. Один из таких случаев послужил темой для барельефов упомянутого «памятника лабораторной собаке».

Как известно, сок из фистулы поджелудочной железы млекопитающих обладает не только способностью переваривать белки, углеводы и жиры пищи, но и собственные белки организма, его кожу и мышцы. Поэтому, когда наложение фистулы на проток этой железы было Павловым освоено, возникла следующая трудность: поджелудочный сок, вытекая во «внеслужбное» время, главным образом ночью, из отверстия искусственного канала и обладая большой химической силой, «переваривал», т.-е. раз'едал, кожу живота, и вокруг хорошо наложенной фистулы образовывалась язва. Лишенный своих связей с кожной поверхностью проток при этом

исчезал снова во внутренностях животного.

Как было поступить? Решение долго никому не приходило в голову.

Однажды, войдя в послеоперационную палату, врач заметил, что оперированная собака, оставленная здесь на ночь, отгрызла целый угол штукатурки и улеглась на известке, как на постели. Собака была наказана за такое бесчинство и привязана к другому углу палаты. На следующий день и этот угол оказался развороченным, и собаку вновь застали лежащей на куче известки. То же повторилось и в третий раз. Одновременно заметили, что отверстие фистулы стало прекрасно приживляться к коже. Тогда, наконец, люди догадались, что все эти явления происходят не случайно: собака, прижимаясь к известковой подстилке кожей живота, где находится отверстие фистулы, обеспечивала этим впитывание едкого сока непосредственно в известку и таким образом нейтрализовала его действие.

Итак, собака еще до открытия условных рефлексов сама установила полезный ей условный рефлекс.

Этим она, разумеется, принесла большую пользу и науке о пищеварении. С тех пор каждой оперированной в лаборатории «поджелудочной собаке» устраивают в палате известковую «койку».



Крутая, узкая лестница, изгибаясь винтом, ведет нас из сеней нижнего этажа на верхнюю площадку.

Перед нами дверь комнаты с простой синей дощечкой: «Иван Петрович Павлов». Здесь находится его кабинет, и здесь же начало музея его имени.

Небольшой письменный стол со множеством пакетов и писем из последней, не вскрытой уже почты. Адрес лаборатории Павлова: «Аптекарский остров, Лопухинская, 12» — был широко известен во всех странах мира.

Обитый красным сукном диван стоит рядом с чайным столиком, за которым Павлов обычно принимал сотрудников и гостей. Комната еще и сейчас кажется наполненной его присутствием. Ни-

что не изменилось в ней с момента его ухода отсюда, вплоть до недочитанной книжки научного журнала, до щепотки соли, оставшейся в солонке.

Эта маленькая комната была свидетельницей посещения Павлова многими учеными. Посетивший лабораторию в 1912 году Шерингтон говорил Павлову: «Ваше учение никогда не будет пользоваться успехом в странах, говорящих на английском языке...».

Прошло четырнадцать лет, и книга Павлова, впервые переведенная именно на этот язык, получила огромное распространение в Англии и Северной Америке. Сам же Шерингтон, порвав начисто со взглядами своей молодости, заявил в 1934 г., к несказанной радости всей поповщины, что, по его мнению, «наш ум не имеет отношения к мозгу...».

В 1934 году в лабораторию Павлова приехал другой исследователь физиологии, ранее стоявший на позициях материалистического, объективного изучения деятельности мозга, — Лешли, представитель крайнего крыла американских «б и ж е в и о р и с т о в».

Удаляя по частям кору головного мозга белых мышей, Лешли наблюдал их поведение в так называемом лабиринте, ведшем животное через ряд коридоров и поворотов к еде.

Подытоживая свои результаты, он гришел к выводу, что никакого точного распределения функций в мозгу животного нет и что все части мозга взаимно вполне заменяемы. Сколько граммов мозга вычерпать из черепа — столько примерно психики убавится у мыши. «Мозг, — утверждал Лешли, — пропитан психикой, как губка пропитана водой».

Это, разумеется, противоречило всем результатам продуманной и обоснованной концепции, вытекавшей из работ Павлова. И он воспользовался приездом Лешли, чтобы дать ему «наглядный урок» физиологии.

Павлов, когда хотел, умел быть любезным хозяином. Он показывал свое детище, свою лабораторию во всех деталях, вызывая восторг иностранных ученых. Так же встретил он и Лешли, пожалев лишь о том, что тот не при-

ехал раньше, т.е. пока его статья «В воде и мозге» не была еще напечатана.

Павлов, пользуясь личной встречей, спросил гостя, был ли чем-либо окрашен его прибор-лабиринт при проведении опыта с белыми мышами? Получив ответ, что лабиринт был окрашен масляной краской, Павлов улыбнулся. Дело в том, что мыши отлично ориентируются не только по виду предметов, но и по запаху, а обонятельный мозг расположен у млекопитающих наиболее глубоко и удаляется из черепа в последнюю очередь.

Убедившись, что мыши могли до конца руководиться при выборе дорог единственно своим обонянием и, следовательно, могли обойтись без других частей мозга, Павлов утвердился в мысли, что Лешли сделался жертвой самой грубой оплошности.

Тем не менее, он вежливо, через переводчика, пригласил Лешли к себе вечером в дом: «Сначала я накормлю его хорошим обедом, — добавил он, обращаясь к нам по-русски, — а потом испорчу ему аппетит!!».



В длинном и светлом коридоре верхнего этажа расположились заботливо собранные И. С. Розенталем и П. С. Купаловым документы, освещающие жизненный путь «первого физиолога мира». Здесь находятся бумаги Павлова, начиная от первого, робкого заявления о приеме его, бывшего семинариста, в Петербургский университет и кончая сотней дипломов и почтительных подношений со стороны университетов и академий всего мира, избравших его своим почетным и действительным членом.

В том отделении коридора, где Иван Петрович подолгу сживал у дверей improvisированных камер и где устраивал в 1919 году сеансы гипноза, не вполне удавшиеся, но приведшие впоследствии к его замечательной теории внушения, расставлены сейчас витрины с его автографами самого разнообразного характера. Здесь находится и одобренный им проект памятника лабораторной собаке,

и тетради протоколов лабораторных опытов, с надписями на переплетах.

«Милый, работай, не подведи» — таково написанное его рукой обращение к собаке в заголовке одной тетради в начале серии особенно ответственных опытов.

Этот зародыш музея Павлова на Аптекарском острове ставит перед нашей научной общественностью серьезный и ответственный вопрос: как вообще следует организовать «экскурсии» в историческую лабораторию Павлова, как разрабатывать оставленное им научное наследство, как сделать его произведения доступными широчайшим массам трудящихся? Разумеется, наиболее правильным путеводителем по такому музею является его завещание советской научной молодежи, написанное по просьбе журнала «Техника молодежи» к X съезду комсомола: «Приучайте себя к сдержанности, к терпению, — говорил Иван Петрович, — изучайте, сопоставляйте, законы, накапливайте факты... Настойчиво ищите законы, ими управляющие... Никогда не думайте, что вы уже все знаете...». Этим принципам Павлов оставался верен всю жизнь.

Но, говоря о музее, мы ни в коем случае не должны забывать, что речь идет не о «гербарии физиологических документов», а о музее-лаборатории, как она и называется в постановлении об увековечивании его памяти.

Павлов, как известно, предпочитал живое отображение фактов. Лучшим памятником ему является поэтому продолжение начатого им дела в трудах его учеников, в творчестве научных работников нашего Союза.

С этой точки зрения современные работы, ведущиеся в его лаборатории, представляют интересный материал для будущего историка его школы.

В каких направлениях идет сейчас разработка крупнейшего павловского наследства? Работа его учеников, направленная к изучению основных законов высшей нервной деятельности, не прекращается и после смерти учителя. Приложение принципов учения Павлова к строительству здравоохранения в на-

шей стране требует дальнейшей углубленной разработки ряда выдвинутых им проблем.

Это тем более актуально, что в последнее время на Западе участились попытки подвергнуть ревизии основное положение материалистической диалектики — связь мозга с мышлением — и этим открыть широкие ворота для идеализма и поповщины.

Учение Павлова об условных рефлексах, предложенное им разделение коры головного мозга на первичную сигнальную систему, где локализован непосредственный чувственный опыт, и вторичную сигнальную систему — в лобных долях, где у человека происходит обобщение первичных сигналов, где имеет место высший синтез и анализ внешней среды, — это его учение представляет надежную опору материализма.

К числу важнейших проблем, разрабатываемых учениками Павлова, относится выдвинутое им учение о торможении и о темпераментах (типах) высшей нервной деятельности. Эта глава учения Павлова непосредственно граничит с другой, не менее важной главой о так называемых срывах всей нервной деятельности, происходящих в результате острого или хронического перенапряжения деятельности мозга. Итогом здесь является расстройство деятельности мозга, неврозы различного рода, а отчасти и психозы, в том числе и фобии, т.-е. состояния беспричинного страха.

Этими вопросами, имеющими особое значение для медицины, занимается сейчас в музее-лаборатории имени Павлова его многолетний сотрудник — М. К. Петрова.

Как возникла эта новая, но не последняя страница в учении Павлова об условных рефлексах и как было вызвано это заболевание мозга собаки?

Собак, работающих в камерах второго этажа, обычно водили вверх по узкой лестнице на опыт. Опыт, как известно, состоял в том, что животных, поставленных в станок, слегка ограничивавший их движения, кормили мясо-сахарным порошком и наблюдали при этом выделение слюны из фистулы околушной

железы, снабженной автоматическим измерителем количества капель. Когда этот безусловный рефлекс определялся достаточно точно, собаке предварительно давали какой-либо сигнал, например, вспышку света, электрический звонок, или производили особым приборчиком почесывание определенного участка кожи и при этом сопровождали данное раздражение дачей еды, т.е. безусловным рефлексом. Через ряд сочетаний при действии каждого из упомянутых сигналов начинала выделяться из фистулы слюна. Следовательно, между внешним раздражителем и реакцией животного устанавливалась какая-то материальная связь, образовывался так называемый условный слюнный рефлекс. При удалении или повреждении коры полушарий головного мозга эта связь не могла быть образована. Следовательно, кора полушарий головного мозга, с которой связывали психическую жизнь животного, оказалась не чем иным, как органом образования и торможения условных рефлексов. Заметим, что разработка учения о торможении составляет главную заслугу И. П. Павлова. Клетки коры головного мозга, обладающие исключительной реактивностью, чрезвычайно быстро расходуют запасы заключенного в них вещества. В таком случае в них тотчас же наступает другой процесс, противоположный возбуждению, а именно торможение. Это торможение, иногда проявляющееся в форме сна и гипноза, является охранительным, или сберегающим, торможением.

Однажды Павлов заметил, что собака, которая раньше свободно, без малейшей задержки брала еду, положенную у края лестничного пролета, теперь этого не может делать, стремительно сторонясь, удаляясь от края на значительное расстояние. Смысл дела Павлову был ясен: «Если нормальное животное, приблизившись к краю, не идет дальше, значит, оно себя задерживает, при этом ровно настолько, насколько нужно, чтобы не упасть. Теперь это задерживание утрировано, собака чрезмерно реагирует на глубину и держится далеко от края сверх надобности и в

ущерб своим интересам. Субъективно это — явно состояние боязни, страха. Перед нами фобия глубины.

Эта фобия могла быть вызвана и могла быть устранена, т.е. оказалась во власти экспериментатора».

Уже давно удалось доказать, путем многочисленных экспериментов на собаках, что для основных типов высшей нервной деятельности — меланхолика, сангвника, холерика и флегматика (различие этих темпераментов обнаружил и в основном описал еще знаменитый врач древности Гиппократ) — существуют свои способы вызова «срыва». Павлов связал изучение типов с глубокими физиологическими свойствами нервной системы. В одном случае — у так называемых сильных и возбудимых в нервном отношении типов — необходимо бывает для срыва вызвать чрезмерный запрос на торможение условных рефлексов, а в другом случае — у слабых тормозных темпераментов — достаточно даже бывает предъявить требования к возбудительному процессу, который у них развит относительно очень слабо. Благодаря перенапряжению высшей нервной деятельности, какое можно получить при применении ряда трудных и неприятных для собаки процедур, удается иногда добиться двух противоположных невротических состояний: у собаки возбудимого типа иногда при этом исчезают все тормоза, и она с резкой одышкой мечется по станку, а у собаки тормозного типа исчезают все условные рефлексы, и она впадает в состояние депрессии.

Замечательно в опытах М. К. Петровой то, что ей удалось получить, еще при жизни И. П. Павлова, и подтвердить, развить после его кончины (опыты над некоторыми ее собаками продолжаются 8—10 лет) связь неврозов с расстройствами нормального состояния наружной поверхности тела, в частности с упорными и неподдающимися никакому лечению обширными экземами (воспалениями кожи), а также и с болезнями некоторых внутренних органов.

Наука отпраздновала, таким образом, новую победу. Кожные экземы, иногда

встречающиеся и у людей, вероятно, будут лечить, — конечно, после соответствующих проверочных опытов на человеке, — воздействием на нервную систему, на мозг, который управляет процессами, происходящими как в здоровой, так и в больной ткани.

В докладе, посвященном первой годовщине смерти Ивана Петровича, К. М. Быков показал, что из любого раздражения каждого внутреннего органа тела животного можно образовать условный рефлекс, т.е. искусственно связать работу этого органа с работой коры головного мозга.

Для этого он брал маленькие электроды (величиной с две булавочных головки) и, укрепив их внутри одной из полостей тела (например, внутри мочевого пузыря), при помощи этого миниатюрного прибора слегка раздражал слизистую оболочку данного органа, каждый раз подкрепляя раздражение дачей собаче мясо-сухарного порошка.

Спустя несколько дней собака начала выделять слюну и готовиться к еде каждый раз, как только она ощущала раздражение, происходившее, как сказано, в самой глубине ее тела.

Образование этого своеобразного рефлекса служит пока еще очень скромным, но весьма убедительным доказательством в пользу того, что контроль и управление всеми без исключения внутренними органами тела сосредотачивается в головном мозгу, в коре этого мозга, в особенности у человека. Следовательно, жизнь наших внутренних органов может быть в известных пределах предметом нашего сознательно и планомерного воздействия. Все зависит от умения подойти к этим вновь образуемым в течение жизни связям органов с корой мозга и от тренировки их.

Благодаря работам Быкова наука не только проникает во внутренний механизм необычайных и до сих пор «таинственных» явлений внушения в гипнозе, но наука получает еще нечто гораздо более ценное: доказательство того, что правильно поставленная и систематически научно осуществляемая тренировка органов, основанная на теснейшей связи

мозга с сигналами, исходящими из работающих систем, может буквально перекраивать сложившиеся в организме соотношения.

Далее заслуживают упоминания ведущие ныне в Павловской лаборатории опыты молодого физиолога К. С. Абуладзе. Его работа непосредственно затрагивает важнейшую проблему работы органов чувств и ведется по намеченному и разработанному Павловым плану.

Удаляя одновременно или по очереди органы зрения, слуха и обоняния у своих собак, Абуладзе получал весьма своеобразное существо, которое жило и ориентировалось во внешнем мире исключительно лишь по своим кожным и отчасти по вкусовым ощущениям. Важно при этом отметить, что оставшиеся у собаки условные рефлексы с кожи были вполне нормальными, отличались лишь очень малой величиной, а главное, допускали лишь однократное в течение дня испытание, после чего слюночный рефлекс исчезал, и опыт приходилось прекращать. В то же время нормальная собака, обладающая полным набором органов чувств, способна давать 10 — 20 сочетаний рефлексов в день.

Эти данные показывают, что работа органов чувств не только оповещает нас о том, что делается вокруг, но и дает необычайно мощную зарядку деятельности самих нервных центров, сообщает им определенный тонус.

Значение этого факта вряд ли можно переоценить, когда мы имеем дело с обучением слепых и глухонемых людей, и в особенности детей.

Располагая даже и неполным ассортиментом внешних чувств, можно, зная физиологическую природу деятельности мозга, ее основные законы, добиться повышения умственной активности этих индивидуумов.



В заключение скажем несколько слов о продолжении начатых Павловым работ по борьбе с проявлениями одной тяжелой и до сих пор не поддававшейся

ся лечению психической болезни людей, которая раньше называлась «юношеским слабоумием». Эта болезнь выражается в глубоком расстройстве всех высших мозговых функций и наступает примерно в возрасте полового созревания, притом не без связи с расстройством всего химизма организма — так называемых желез внутренней секреции. Признаки этой болезни весьма разнообразны и не поддаются полному изучению, но болезнь протекает весьма мучительно для больного и для его окружающих. С субъективной стороны она характеризуется тяжелым чувством полного раздвоения личности пациента, а с внешней стороны узнается по наступлению того особенного состояния торможения, которое, постепенно развиваясь, в несколько лет делает человека, ранее подвижного и отзывчивого, лишенным всяких эмоций. Такой человек или стоит, замерев в одной позе, или лежит целыми днями неподвижно и даже пищу принимает с трудом...

То же самое состояние встречается и у больных со старческим слабоумием. Павлов отлично изучил законы торможения в своих опытах над животными. Он впервые показал, что нужно резко отличать неподвижность и торможение, происходящие вследствие и з н о ш е н н о с т и мозга, от другого вида торможения, которое, как у описанных выше больных, появляется как с п а с и т е л ь н о е с р е д с т в о, охраняющее ослабевший мозг от грозящего ему истощения. В первом случае с наступлением торможения следует бороться, а во втором случае ему необходимо п о м о г а т ь — таков был вывод, сделанный Павловым вопреки мнению многих специалистов.

Павлов хорошо представлял себе, в чем должна состоять эта помощь. Он использовал для целей лечения так называемый длительный наркоз больных,

ранее использованный швейцарским ученым Клоэтта. Наркотический сон больных в специально устроенной клинике продолжается в течение 7 и даже 10 суток.

Первый опыт, проведенный Павловым уже в последний месяц его жизни, дал отличные результаты: большая часть больных, леченных длительным сном, в течение которого неполноценные, неустойчивые клетки мозга получали полный отдых, почувствовала резкое улучшение.

Ученик Павлова А. Г. Иванов-Смоленский продолжил и расширил эти опыты. Число больных, леченных сном, к настоящему времени достигло 70. Течение болезни многих из них прослежено на протяжении более года. Болезненные приступы у лиц, к которым была применена эта сонная терапия (в незапущенных случаях болезни), более не возвращались, и бывшие пациенты клиники имени Павлова, вернувшись в свои вузы, конторы и заводы, с благодарностью вспоминают Павлова-клинициста.

Благодарная теория условных рефлексов Павлова, получив свою основу в его лаборатории на Аптекарском острове, уже давно распространилась вширь. Она получила свое развитие и в Колтушах (Павлово) под Ленинградом, и в Сухуми, и в Москве, и в Харькове, и в Варшаве, и в Париже, и в Сев. Америке — везде, где работают ученики и почитатели исследовательского гения Павлова.

Из заложенного им в почву науки зерна растут и ответвляются теперь все новые и новые области исследования.

Растет и молодое поколение советских физиологов. Появляются уже ученики учеников Павлова — эти достойные внуки великого деда.

Литература и искусство

1. В. БОЙЧЕВСКИЙ — А. Новиков-Прибой. 2. С. ВОСТОКОВА — Антифашистская германская литература. 3. С. ЕВГЕНЬЕВ — Народный эпос. 4. Л. ВАРШАВСКИЙ — Искусство и война

А. НОВИКОВ-ПРИБОИ

В. Бойчевский

Свою литературную деятельность А. С. Новиков-Прибой начал с попыток изобразить цусимскую катастрофу. Один из участников цусимского сражения, баталер корабля «Орел», в 1907 г. он выпустил две небольшие книжки о Цусиме: «Безумцы и бесплодные жертвы» и «За чужие грехи», подписанные псевдонимом «Матрос А. Затертый». Они были конфискованы. В 1914 году писатель приготовил к печати книгу «Морские рассказы». Началась империалистическая война, которая должна была продолжить и углубить тему Цусимы. Рассказы Новикова в их совокупности были направлены против буржуазно-помещичьего строя. Цензура не допустила выхода в свет этой книги. Крестьянин Тамбовской губернии, матрос Балтийского флота, бывший впоследствии политическим эмигрантом в Англии, Новиков-Прибой вернулся по-настоящему к литературной деятельности только после Октябрьской революции: с 1922 года он начал систематически углубленно работать в области литературного творчества. Путь от «Морских рассказов» к «Цусиме» свидетельствовал об его непрерывном творческом росте. За это время он уточнил свою литературную технику, выковал большое мастерство.

Начиная с «Морских рассказов», А. С. Новиков-Прибой в изображении жизни моряков ярко проявил те свои

черты, которые отмежевали его от других писателей о море — его предшественников в русской и иностранной литературе. Он выступил в своих произведениях изобразителем матросского коллектива. Матросская масса всегда им изображалась, как сплоченный коллектив. Сборник «Морские рассказы» содержит ряд небольших новелл и очерков, которые, еще не давая изображения активного протеста коллектива моряков, показывают ужас социального гнета. Таковы хотя бы рассказы «Словесность», «Одобренная крамола», «Шалый», «Бойня».

Мы видим матросов, ум которых стремятся притупить зубрежкой титулов и чинов как представителей царского дома, так и всего командного состава («Словесность»). Но этой «словесности» противостояло упорное стремление матросов к литературе, обличающей буржуазно-помещичий строй («Одобренная крамола»). Писатель изобразил часть матросской массы, еще не осознавшую своих интересов: она расстреливала в 1905 году товарищей, принимавших участие в революционной борьбе («Бойня»). Образ матроса, носившего кличку «Шалый» в рассказе одноименного названия, подчеркивает анархические настроения значительной части матросов в ту эпоху, когда они еще не выросли до понимания путей революционной борьбы с угнетающим их

строем. Ненависть Шалого обрушивается на боцмана — врага, которого он физически ощущает, сталкиваясь с ним ежечасно.

Общая для всего сборника «Морские рассказы» тема — это постепенный рост классового самосознания матросского коллектива. Ценою горьких уроков, полученных на военных кораблях, матросы приходят к пониманию эксплуататорских основ социального строя. От «шалой» ненависти к отдельным угнетателям они идут к усвоению пролетарской идеологии.

В повести «Подводники» изображен коллектив матросов в эпоху империалистической войны. Моряки выдвигают из своей среды таких сознательных людей, как Зобов. Между ним и матросом Власовым происходит столкновение на почве их различного подхода к войне. Власов, как и другие матросы, настроен против войны, но он иногда пытается примириться с социальным строем и найти в империалистической войне стороны, якобы ее оправдывающие.

Значение «Подводников» — в изображении нарастания революционного протеста передовой части матросской массы в условиях империалистической войны. В «Подводниках» писатель интересен не только тем, что показывает жизнь и работу подводников, но двойным смыслом всей повести — вплоть до ее названия. Власов, Зобов и другие ее действующие лица, которые проходят через «огонь и воду, медные трубы и чортовы зубы», пока пребывают в подводных глубинах: их ненависть к угнетателям еще не всплывает на поверхность жизни, не выбивается из ее недр в потоках организованной борьбы.

В романе «Соленая купель» изображаются матросы коммерческого корабля, плывущего под флагом нейтрального государства Аргентины. Здесь Новиков-Прибой дает еще более сильное, полновесное изображение коллектива. В нем показано воздействие матросов на человека, пришедшего в их среду с мировоззрением, враждебным пролетарской идеологии. Католический священник Лутатини попадает вместе с

группой матросов, к которым он пришел проповедывать евангелие, на коммерческий корабль. Столкнувшись в первый раз в своей жизни с бытом трудящейся массы, очутившись в положении рядового труженика моря, Лутатини перерождается. Его путь к слиянию с трудящейся массой не показан с должной психологической последовательностью. Писатель не изображает стремления своего героя к активному воздействию на массу. Но то, что все его попытки наталкиваются на стену враждебного отношения к ним матросов, Новиков-Прибой показал очень сильно. Матросы, ставшие неожиданно товарищами Лутатини по каторжному труду, не оказались людьми без определенного мировоззрения, как думал про них служитель культа. Он встретился с ненавистью к социальному строю, который он стремился поддерживать своей проповедью. Эта революционная ненависть Зобовых и Карнеров была ими вынесена из опыта их тяжелой жизни и закалена в горниле империалистической бойни.

В поединке с Карнером, который ярко выражает настроение коллектива, Лутатини терпит одно поражение за другим. На его вопрос, почему Карнер питает такую яркую ненависть к служащим всех религий, матрос отвечает: «Все одинаковы. Все торгуют именем божьим и спекулируют святыней. Вас нужно презирать уже за одно то, что вы оправдываете несуразный порядок жизни: кому вожжи и бич в руки, а кому — хомут на шею».

Матросы с жадным вниманием воспринимают обличительные слова Карнера. И в ответ на них осыпают господствующие классы проклятиями и угрозами:

«— Подожди! Обломаем им рога!

— В России уже свергли этих дьяволов с теплых мест».

Основной смысл романа в том, что трудящаяся масса уже настолько сильна и зрела в своем революционном протесте, что она может взять на буксир и повлечь за собой представителей других классов. Лутатини переходом на сто-

рону трудящихся подтверждает их силу, убедительность их властного призыва к борьбе за переустройство жизни.

Капитан Виноградов в «Ухабах» после октябрьского переворота убеждается, подобно Лутатини, в творческой силе масс. Он записывает в свой дневник следующие мысли: «Я только после революции убедился, что мы, правящий класс, не знали свой народ ни с хорошей, ни с плохой стороны. Нам важно было только, чтоб они повиновались нам, и сколько в случае войны мы могли бросить на фронт боевых единиц. Вот почему впоследствии, когда наступило время расплаты за наши грехи, многим из нас показалось, что началось страшное светопреставление».

Новиков-Прибой в «Ухабах» изображает перерождение Виноградова без той психологической убедительности, которая могла бы показать неизбежность его перехода на сторону пролетарской революции. Но если образ основного героя не вполне удался автору, то и в этом романе он очень удачно изображает матросский коллектив. Лучшая сцена в «Ухабах» — это суд над капитаном Виноградовым, когда он готов видеть в матросах разъяренную толпу, жаждущую кровопролития: «Я смотрел на своих бывших подчиненных и удивлялся, потому что впервые видел их такими. Здесь человек терял свою самостоятельность и сам не знал, на что он будет способен через пять минут».

Один из выступавших на этом суде ораторов — матрос Разуваев — своей демагогической речью возбудил против Виноградова ненависть массы. Капитану уже казалось, что для него нет спасения.

Восприятие Виноградовым толпы как многоголового чудовища заставляет нас вспомнить одно из лучших произведений Новикова-Прибоия — «Две души». Русские солдаты, находясь в японском плену, устраивают самосуд над одним из своих товарищей, обвиняемым в покушении на кражу. Толпа, жаждущая расправы над своей жертвой, необычайно сильно изображена художником: «Стоит глухая стена из человеческих тел, мрачно неподвижных, точно вры-

тых в землю, а на них торчат круглые, как арбузы, головы, обнаженные и в фуражках, бритые и лохматые, с одной лишь беспощадно враждебной мыслью о виновнике».

Эта толпа, насытившись истязанием своей жертвы, оплакивает ее после смерти. Отвратителен переход от жестокости к слезам, зверски-беспощадное отношение к человеку при его жизни и вознесение его на пьедестал после смерти.

С толпой, «многоголовым чудовищем», столкнулся Новиков-Прибой, когда его в японском плену вместе с товарищами — революционно настроенными представителями матросской массы — хотели убить солдаты, натравленные на них черносотенцами-офицерами. Слепая, темная толпа не могла совершить задуманного преступления, ибо Новикову удалось спастись бегством от смерти. Тогда погибли материалы, которые матросский коллектив под руководством будущего автора «Дусимы» накоплял для создания истории дусимского разгрома. Длительную, упорную работу революционно настроенного коллектива разрушила дикая толпа.

Виноградов в «Ухабах» думает, что он станет жертвой толпы, которую показал Новиков-Прибой в рассказе «Две души». Но он ошибался: Разуваев был разоблачен матросской массой, которая заметила на его груди татуировку, изображавшую двуглавого орла. И герой «Ухабов» слышит слова председателя суда: «Вы теперь знаете, товарищи, кто стоял за то, чтобы погубить напрасно человека? Разве для этого вы хотели революции? Мы никогда не позволим проливать невинную кровь. А тем, кто не может жить без крови, мы посоветуем поступить на скотобойню».

Эта сцена суда матросского коллектива над капитаном Виноградовым, в сопоставлении с самосудом из рассказа «Две души», ярко свидетельствует о том, как силен Новиков-Прибой в изображении психологии коллектива.

Основное в повести «Женщина в море» — это опять-таки изображение воздействия матросского коллектива на героиню Таню. Автор рисует взаимоотношения между личностью и коллективом.

Таня облагораживающе действует на матросов. Ее присутствие на коммерческом судне заставляет матросов смягчать грубость их нравов. Девушка становится общей любимицей коллектива, с нею все считаются. Но еще сильнее Таня чувствует волю коллектива, который ее очень ценит и относится к ней с большим вниманием. Вопрос о том, кого она выберет в качестве любимого человека, занимает весь коллектив. Все матросы отрицательно оценивают Бородкина, считая его слишком ничтожным для Тани. Насмешки над ним, разоблачающие его недостатки, содействуют угасанию чувств Тани к Бородкину. Когда же она проявляет симпатию к радисту, ценимому коллективом, то встречает поддержку со стороны всех.

Отличительной особенностью Новикова-Прибоя как морского писателя является — пусть это утверждение некоторых покажется парадоксальным — его «сухопутность». По тематике творчества, он действительно не любит сходить на сушу, предпочитая изображать своих героев в плавании по морским и океанским просторам. Но мы под его «сухопутностью» подразумеваем не вопросы тематики, а метод ее разработки. По методу разработки морских тем он во всем своем творчестве дает почувствовать сушу, — конечно, не в географическом, а в социальном смысле этого слова. Его герои — моряки — не уходят в океанские просторы, как в экзотику, уводящую их от опостылевшей обыденщины. Они не беглецы-индивидуалисты, наподобие героев Джека Лондона, которые скрываются из ненавистного им буржуазного общества, чтобы окунуться в вольную стихию моря, освобождающего их, как они думают, от социальных цепей. Автор «Соленой купели» далек от этих наивных иллюзий индивидуалиста. «Соленой купелью» для героев Новикова-Прибоя является не море, как таковое, а матросский коллектив. Последний же отражает в себе интересы всего борющегося за свое освобождение пролетариата. Экипаж коммерческого корабля, плывущего под флагом нейтральной Аргентинской республики, не может оставаться нейтраль-

ным во время разворачивающейся борьбы пролетариата с господствующими классами.

Новиков-Прибой является исключительным мастером занимательного сюжета и социально острой темы. Проявляя большую изобретательность в завязывании фабульных узлов, он обычно не увлекается надуманной сюжетной сложностью, пестротой изображаемых событий, их ослепительным разнообразием только с той целью, чтобы усилить занимательность повествования. Эпитет «приключенческий» в применении к произведениям Новикова-Прибоя является совершенно не соответствующим его творчеству. А между тем некоторые из критиков именно так определяли характер его произведений. Эта нелепая квалификация его творчества распространялась даже на такой глубокий по проблемам, в нем поставленным, роман, как «Соленая купель». В нем тема перерождения Лутатини послужила целям антирелигиозной пропаганды. Автор отталкивался не от образа «дурного попа». Священник, который хотел перевоспитать матросов в духе христианской проповеди, осознает ложь социального строя, основанного на насилии и эксплуатации. Тема перерождения Лутатини связана в романе с критикой основ капитализма, обнаружившего в эпоху империалистической войны всю свою чудовищную жестокость.

Приковывая читателя к своим произведениям увлекательной сменой событий, писатель почти никогда не создает сюжетные узоры ради них самих. «Ералашный рейс», пожалуй, — единственное его произведение, в котором сюжетная занимательность не связана с какой-либо социально значительной идеей.

В большинстве же своих произведений, стягивая сюжетные нити в тугий узел событий, Новиков-Прибой содействует таким образом социальной заостренности своего творчества.

Исключительность положений, отличающая творчество писателя, не дает основания подводить его произведения под категорию приключенческого жанра. Исключительность ситуации, привле-

кающая внимание Новикова-Прибоя, не только не нарушает глубоко реалистического характера его творчества, но на ее основе писатель умеет строить образы, проникнутые покоряющей жизненной правдой, глубиной социального обобщения. Образ Колдобина в повести «Порченный» отличается сгущенностью красок, которая, однако, не превращает его в ходульного злодея, ибо его аморальность социально обоснована. Колдобин, «воспитатель» солдатской массы на царской службе, всем своим поведением, отталкивающей жестокостью раскрывает собой облик отвратительного царского служаки. Самое название повести имеет большой социальный смысл.

В «Подводниках» исключительность ситуации обусловлена характером работы экипажа подводной лодки. Читая эту повесть, вы все время живете мыслью, выплывут ли подводники на поверхность моря, увидят ли они землю и солнце, или их поглотит алчная и коварная морская стихия. Эта ситуация соединяется с обобщениями большой социальной значимости. Экипаж подводной лодки проникается, как мы уже отмечали, сознанием бессмысленности империалистической войны.

В основе «Соленой купели» тоже лежит исключительное положение: служащий культа становится рядовым матросом, испытывает на себе все тяготы каторжного труда. Но эта ситуация помогает писателю провести в романе антирелигиозную тенденцию и дать острую критику капиталистического строя.

Особенная ситуация «Женщины в море» привела писателя к ряду юмористических сцен, вызывающих у читателя здоровый смех. Как всегда, у Новикова-Прибоя забавные положения не являются самоцелью, а по существу служат серьезным задачам. Сюжет, который мог бы привести поверхностного писателя только к ряду внешне-экономических положений, стал основой для разработки темы взаимоотношений личности и коллектива в весьма своеобразных условиях жизни.

В реализме, жизненной правде, в уме-

нии сочетать напряженно-драматическую ситуацию с высокохудожественной простотой, изображать бурные коллизии без трескучих эффектов заключается сила творчества Новикова-Прибоя.

Новиков-Прибой в своем реализме, охватывающем исключительные жизненные положения, которые выдвигала эпоха великих революционных потрясений и сдвигов, шел от горьковского сочетания широты реалистических зарисовок жизни с социалистической романтикой пролетарской революции.

Эта романтика, основанная на действительной мечте пролетариата, стремящегося к преобразованию жизни, не ведет художников к внешне красивым, но бессодержательным образам. Жизненная правда в творчестве Новикова-Прибоя связана с изображением социальных катастроф, гибелью прежнего уклада жизни и ростом нового. Жизнь, которую он изображает, непрерывно изменяется, и вместе с ней резко перестраивается сознание его героев.

II

Создавая «Цусиму», Новиков-Прибой не пошел по пути тех исторических романов, в которых писатель свободно комбинирует исторические события с элементами выдумки. Конечно, ценность исторического романа определяется тем, насколько этот вымысел типичен для эпохи, о которой идет речь. Новиков-Прибой дал точное воспроизведение всех событий, не вводя в художественную ткань романа вымышленных лиц, давая образы подлинных представителей командного состава царского флота и матросской массы. Но глубоко ошибся бы тот, кто «Цусиму» подвел бы под категорию мемуарной литературы, не увидев бы в ней больших художественных обобщений. Строгий отбор черт, наиболее ярко характеризующих определенные явления, поднятие портретов людей, участников всех этих трагических событий, на высоту образов типового значения, раскрытие социальных взаимоотношений во всей их сложно-

сти, — вот что делает «Цусиму» высокохудожественным произведением.

Изображая себя, баталера Новикова с корабля «Орел», в качестве одного из действующих лиц этой трагедии и в то же время рассказывая о событиях от своего лица, Новиков-Прибой делает эту основную фигуру рассказчика типичной для передовой части матросской массы: «Специальные курсы баталеров, техника кораблей, плавание по морям, устройство портов, воскресная школа, дружба с развитыми и сознательными товарищами, знакомство со студентами, чтение нелегальной литературы, — все это было для меня чрезвычайно ново, все это обогащало разум и заставляло смотреть на жизнь по-иному».

Будущий историк Цусимы — баталер Новиков полон активной любознательности: «С жадностью я хватал все, что происходило на эскадре и что вычитывал из книг, и все свои впечатления записывал в дневник». Изображение событий от первого лица легко может привести к субъективизму. Но образ баталера Новикова обрисован писателем вполне объективно, он передает не взгляды, характеризующие его в настоящее время, а настроения его и революционных представителей матросской массы в ту эпоху. Вот почему субъективной узости мы не находим в освещении событий: они даются во всей их широте, с раскрытием их социально-исторических корней.

Особенно удалась автору фигура «бешеного адмирала» Рожественского. Вот как Рожественский изображен на параде перед отправлением эскадры, когда Николай II напутствовал моряков и желал им «благополучного возвращения на родину»: «Здесь же находился и Зиновий Петрович Рожественский, облаченный в полную светскую форму, тот, который поведет наши корабли на смертный бой. Массивные плечи его горели серебром контр-адмиральских эполет с вензелями и черными орлами. Широкая грудь сверкала медалями и звездами. Своей могучей фигурой он подавлял не только царя, но и всех чинов свиты. В чертах его сурового лица, обрамленного короткой темносе-

рой бородой, в твердом взгляде черных, пронизывающих глаз запечатлелось выражение несокрушимой воли. Он сосредоточенно смотрел на царя, прямой, молилитный, как изваяние, и такой самоуверенный, что, казалось, никакие преграды не остановят его замыслов».

За этим мнимым величием империи, олицетворенным фигурой Рожественского, скрывается бессилие, узость политического кругозора, неумение разобраться в исторической обстановке. Индивидуальные особенности Рожественского — его бешеный нрав, способность всецело отдаваться яростному гневу — не заслоняют от писателя родовых черт адмирала как социального типа. Говоря об интересе, который Рожественский вызывал в баталере Новикове, он объясняет это следующим образом: «Я уделял ему много внимания еще и потому, что в российском императорском флоте он представлял собою размноженный тип. Разница между Рожественским и другими адмиралами заключалась лишь в том, что у него ярче, чем у многих подобных сатрапов, проявлялись черты его самодурства — черты, порожденные деспотическим строем государства». Командующий второй эскадры является типичным представителем царской России, в которой еще сильны были, несмотря на развитие капиталистических отношений, феодально-крепостнические традиции. В статье «Разгром», в которой В. И. Ленин анализировал причины гибели этой эскадры, он писал: «Великая Армада — такая же громадная, такая же громоздкая, нелепая, бессильная, чудовищная, как вся Российская империя, — двинулась в путь...».

Эта «великая армада» обнаруживает варварство, страшную отсталость царской России, на которую другие государства смотрели с опасливой тревогой, смешанной с презрением.

Новиков-Прибой показывает отношение правительств главнейших европейских стран к «великой армаде»; англичан, которые, заключив союз с японцами, не сочувствуют продвижению эскадры, немцев, не мешающих ей в похо-

де на Японию, и французов, которые дорожат союзом с Николаем и в то же время вынуждены смотреть на русских после гульского инцидента как на «обанкротившихся родственников».

Адмирал Рожественский, привыкший не считаться с командным составом, напоминает нам ограниченного помещика-крепостника, который, выехав впервые за пределы своего отечества, в заграничное путешествие, демонстрирует перед всем миром свое невежество, азиатскую дикость. Он не интересуется силами противника, перед самым боем не мешаает японским судам по телеграфу сноситься друг с другом, ибо он считает, что все равно ничтожный враг будет побежден. И в то же время он раболепствует перед царем, стремится угодить ему. Сражение с японцами он приурочивает к 14 мая — ко дню коронации Николая II. Царь, который 15 мая 1905 года записал в своем дневнике: «Был очень хороший пикник», получил подарок ко дню своего коронации в виде разгрома второй эскадры. К ходынской катастрофе, ознаменовавшей день коронации Николая II в 1894 году, присоединилась цусимская трагедия. Рожественский охранял во флоте традиции рабского угодничества, скалозубовский культ мундира и орденов. В этом отношении очень характерен эпизод, о котором писатель рассказывает в книге «Бегство». Речь идет о командирах — Баранове и Коломейцеве. Первый, оказавшийся во время цусимского сражения шурником, не выполнившим своего боевого долга, пользовался симпатией адмирала. Этой любви к Баранову адмирал не изменил и после того, как трусость командира миноносца «Бедовый» была проявлена им во время сражения. Автор и здесь продолжает линию разоблачения Рожественского: адмирал хотел спасти свою опозоренную жизнь, вместе со всем генеральным штабом он решил отдаться в плен японцам, и для этой цели Баранов очень подходил. А Коломейцев, который всегда был предметом ненависти адмирала, не выносившего его за самостоятель-

ность и высокоразвитое в нем чувство человеческого достоинства, не мог вызывать его симпатий, ибо он был слишком честным человеком для той позорной роли, которую командир второй эскадры предназначал своему любимцу Баранову.

Новиков-Прибой показывает, как наиболее реакционные представители командного состава хранили традиции парусного флота, не допуская внедрения в него новой морской техники: «Из прежних навыков они черпали свои организационные принципы, способы управления эскадрой, кораблями и людьми. В новый флот с машинами тройного расширения, электротехникой, гидравликой и всеми бесчисленными специальными механизмами они целиком перенесли социальную обстановку крепостнического времени».

Во флоте находились люди, подобные инженеру Васильеву, который умел использовать свое влияние на матросскую массу в интересах революционной пропаганды. Этот высокообразованный человек, усвоивший идеи Маркса, являлся великолепным агитатором, умевшим использовать в целях агитации все, что окружало матросов, все, что они встречали во время продвижения эскадры. Интересна сцена из главы «Мадагаскар», когда матросы получили разрешение побывать в городе Хельвиле. Перед ними открывается тропическая природа во всей ее красоте и могуществе. Писатель изображает то воздействие на сознание человека новой, непривычной для него природы, о котором очень глубоко сказал Гете после посещения им Ботанического сада в Падуе: «Радостно и поучительно бродить среди чуждого нам растительного мира. У привычных растений, как и у других давным-давно нам знакомых предметов, мы в конце-концов ничего не думаем, — а что такое созерцание без мышления?».

Моряки изумленно созерцают тропический лес, который лианы делают непроходимым:

«Создавалось впечатление, что вся эта экзотическая мощь растительности в погоне за светом смешалась и пере-

плелась между собою, душила друг друга». Инженер Васильев, как умный, опытный агитатор, умеющий вести своих слушателей от непосредственных впечатлений к мыслям обобщающего значения, проводит яркие аналогии между явлениями растительной природы и жизни человеческого общества:

«— Посмотрите! Эта лиана своими убийственными объятиями задушила лесного исполина, чтобы самой расцвести под солнцем. Как всякое ничтожество, она из мрака ползком вылезла на свет и поднялась на недостижимую высоту. Замечательный образ паразита».

Мысль Васильева настолько убедительна, что она быстро находит отклик в одном из слушателей — гальванере Голубеве. Он выражает свои размышления в реплике:

«— И среди людей так бывает».

Жизнь колоний, эксплуатация их метрополией, стремящейся подчинить туземцев не только при помощи оружия, но и посредством религии, — обо всем этом ярко рассказывает матросам Васильев: «Колонии образуются так: сначала захватывают ту или иную местность войска, а вслед за ними прибывают туда купцы и попы.словно близкие родственники, попы и купцы всегда уживаются вместе. А все эти три категории, взятые вместе, представляют собою кишку, которая протянулась от метрополии к далекой колонии и высасывает из последней богатства. В результате у туземцев страшная бедность, а у европейцев — каменные дома».

Под влиянием беседы с Васильевым моряки при созерцании изумительной природы Мадагаскара не только переходят к мышлению о виденном. У них появляются мысли другого порядка: человек не просто хочет узнать мир и объяснить явления, но и стремится к его переустройству. Не даром их идейный руководитель Васильев изучал «Капитал» Маркса. Баталер Новиков видит в нем человека, который у него вызывает стремление учиться, следовать ему в борьбе за усвоение революционных идей. «Меня не прельщали ни офицерские чины, ни ордена, ни богатства. Я хорошо знал,

что все это достается людям, не обязательно даровитым и честным. Но мне до болезненной страстности хотелось быть таким же умным, просвещенным человеком, каким представлялся в моих глазах Васильев, хотелось так же, как он, находясь даже на военном корабле, читать Маркса и гениальные произведения других мыслителей, так же, как он, свободно разбираться во всей путанице житейской чертовщины».

Глава «Мадагаскар» значительна еще и потому, что она изображает падение дисциплины среди матросов. Известие о «кровавом воскресении» потрясло вторую эскадру: «Страшная весть о кровавом воскресении, долетевшая до нас в такую даль, в Носсибэ, пронизывала все мое существо. Мне мерещилась все та же дворцовая площадь, где произошла царская расправа с рабочими. И не я один, а тысяча голов на эскадре задумались над этим событием».

Еще более повергает в отчаяние эскадру весть о гибели первой порт-артурской эскадры: «В этот вечер не было ни веселья, ни смеха. Офицеры попрежнему отдавали распоряжения. команда выполняла их, но в каждом движении людей, в их лицах, в голосах чувствовалась обреченность, словно все внезапно узнали, что на корабле появилась чума».

Практическая учебная стрельба показала полнейшую непригодность к бою артиллерии второй эскадры. «Стрельба из больших орудий 25 января была бесполезным выбрасыванием боевых запасов. Во всех четырех случаях мы спускали с «Орла» один и тот же щит. По нем палили со всей эскадры, пуская в ход крупную, среднюю и мелкую артиллерию. Не оставались в бездействии и пулеметы. Стреляли и с большого расстояния и с малого, приближаясь иногда до цели на шесть кабельтовых. Однако щит оставался невредим, и, когда в последний раз выпустили его на палубу, на нем не оказалось даже ни одной царапины».

Вывод, который матросская масса делает из этой демонстрации непригодности царского флота к бою, хорошо формулирует боцман Воеводин в словах:

«Эскадра для нас — это гроб со свечкой».

На офицерский состав и матросов громадное впечатление производят статьи капитана 2-го ранга Кладо, напечатанные в «Новом времени». Он с неопровержимыми цифрами в руках доказывал, что японский флот сильнее русского в два раза. Матросы, ознакомившись с выводами Кладо, приходят к заключению, что гибель эскадры неизбежна. Это ярко выражает коچهгар Бакалов, сравнивающий 2-ю эскадру с «братьями Лупигорьевыми». Он рассказывает, как они полезли драться со своими врагами Лохмотниковыми в их дом: «Кончилось для Лупигорьевых очень плохо — разнесли их вдребезги. Еще хуже будет с нашей эскадрой. Главные наши силы слабее японских, и все-таки мы лезем в чужой дом сражаться. Вместо жен и детей им будут помогать разные вспомогательные суда и миноносцы. Можем ли мы уцелеть? Об этом Кладо ничего не пишет».

Васильев в беседе с баталером Новиковым открывает ему глаза на идейную ограниченность критики русского флота, которую дал в своих статьях Кладо. «Мы все-таки подождем другого критика, еще более смелого, такого, который поднимется над Кладо и над национальным самолюбием. Уж если взялись критиковать, то надо это делать по-настоящему и добираться до самых корней нашего социального строя».

Известие о мукденском поражении русской армии, потерявшей 30.000 убитыми, 90.000 ранеными и 40.000 сдавшимся в плен, окончательно убивает в эскадре всякую надежду на возможность спасения ее от полной гибели. Заключение главы «Мадагаскар» проникнуто глубоким смыслом: «Я посмотрел на изнуренные лица команды и офицеров. Как мы изменились во время похода! Смертная тоска отражалась в каждой паре глаз. Впереди под знойным небом лежал океан, величественный и сверкающий, наш роскошный путь к братскому кладбищу».

Выполняя определенную роль в цусимской трагедии, каждый корабль изображен автором как действующее

лицо. Когда баталер Новиков увидел броненосец «Орел», он поразил его своими размерами: «В сравнении с прежним старым моим крейсером этот казался великаном, мрачным красавцем. Весь он был черный, закован в броню крупновской стали, с массой надстроек». А вот этот гигант после столкновения эскадры с японским флотом: «Броненосец «Орел» теперь превратился в истерзанное чудовище. Все верхние надстройки на нем были разрушены, средний переходный мостик сорван и скручен в кольцо».

Броненосец «Александр III», который стал во главе боевой колонны после выхода из строя флагманского корабля «Суворов», принял на себя огонь двенадцати японских кораблей. Он «повалился набок, словно подрубленный дуб», потом перевернулся набок, потом дном, и к его громадному днищу полезли люди, которые надеялись спастись. А через некоторое время «там, где был «Александр III», катились крупные волны, качая на своих хребтах всплывшие обломки дерева, — немые признаки страшной драмы. И никто и никогда больше не расскажет, какие муки пережили люди на этом броненосце. Из девятисот человек его экипажа не осталось в живых ни одного человека».

Мы взяли изображение этих двух кораблей для того, чтобы показать, насколько живо каждое из звеньев боевой цепи запечатлевается в нашем сознании. Но самое сильное в изображении писателем боя — это глубокое раскрытие им причин, которые обрекли русский флот на гибель.

Моральное ничтожество большинства комадного состава характеризуют погоня за орденами, за великолепием парадов, пристрастие к военной бутафории. Блеском орденов, театральностью парадного фасада зданий армии правящие классы стремились подчинить себе социальные низы, ослепить их этим великолепием, сделать их рабами. Цусима показала всю эту фальшь, ничтожество тех, кто наводил панику на матросов своими окриками и ругательствами. «Что позолочено — сотрется, свиная кожа остается» — говорил в одной из

сказок Андерсен. Цусимская катастрофа стерла эту позолоту с коммандной верхушки эскадры, показала ее «свиную кожу» — отвратительный лик самодуров-крепостников, которые трепетали перед врагом.

В. И. Ленин писал в статье «Разгром» о том, что самодержавие «по авантюристски бросило народ в нелепую и позорную войну».

«Война вскрыла все язвы, обнаружила всю его гнилость, показала полную раз'единенность его с народом, разбила единственные опоры цезарьянского господства. Война оказалась грозным судом. Народ уже произнес свой приговор над этим правительством разбойников. Революция приведет этот приговор в исполнение».

Значение «Цусимы» Новикова-Прибоя в том, что это произведение, правдиво раскрывая причины разгрома царского флота, выходит далеко за пределы цусимской катастрофы.

«История старой России, — говорит товарищ Сталин, — состояла, между прочим, в том, что ее непрерывно били за отсталость. Били монгольские ханы. Били турецкие беки. Били шведские феодалы. Били польско-литовские паны. Били англо-французские капиталисты. Били японские бароны. Били все — за отсталость». (И. Сталин. «О задачах хозяйственников», «Вопросы ленинизма», изд. 10-е, стр. 445).

Изображая поражение русского флота как одно из проявлений страшной отсталости старой России, Новиков-Прибой привлекает наше внимание к вопросам обороны, овладения военной техникой. В свете событий сегодняшнего дня, когда международная реакция и в первую очередь японо-германский фашизм стремятся создать единый фронт против страны строящегося социализма, «Цусима» Новикова-Прибоя приобретает актуальное, боевое значение.

III

В арсенале художественно-изобразительных средств писателя критика неоднократно подчеркивала яркость языка его героев. В «Цусиме» немало та-

ких проявлений выразительности речи представителей матросской среды.

Так, например, штрафные матросы, далекие от уныния, выражают свою удаль в прибаутках, вроде следующей: «Снаряд — дурак: он не разбирает, штрафной ты или нет. Всех одинаково будет укладывать без всякой панихиды». Старший писарь Солнышков дает Новикову меткие характеристики его непосредственных начальников. Он так говорит о лейтенанте Бурнашеве: «Служит на корабле больше для фасона, как в горнице мебель, на которую не садятся». Устинов, служивший на флагманском судне «Суворов», так говорит о Рожественском: «Одно скажу о нем: раньше разбойников вешали на крестах, а теперь наоборот, — разбойникам вешают на грудь кресты». Матросы после диких выходов адмирала говорили о нем:

«— Была ли у него мать или нет?»

— Мать-то у него была, но только когда она его рожала, то, вероятно, три года дрожала!».

После усмирения бунта на броненосце «Орел», когда Рожественский излил на команду свой яростный гнев, писатель следующим образом передает состояние моральной опустошенности, которое переживал каждый матрос после этого «визита» адмирала: «Мы разошлись молча, с таким чувством, словно у каждого из нас выдавили сердце».

Говоря о художественно-изобразительных средствах Новикова-Прибоя, нельзя не отметить приемов, которыми он пользуется в изображении природы. Многообразных явлений в жизни моря.

Писатель грешил описаниями моря, которые не давали подлинно-живых образов. Таким является изображение бури в «Подводниках»: «Я в центре безумной оргии. Это справляется моя свадьба. В ней принимают участие чистые и нечистые духи, демоны и ангелы, Вокруг меня все в движении, воды расступаются, скатываются, гримасничают, показывают небу пенные языки. Над головою, в недоступных высях развозились пьяные оравы, рвут железо, сбрасывают с гор тысячепудовые бочки» и т. д.

Сила морского пейзажа Новикова-Прибоя, если не считать таких его неудач, как хотя бы приведенное выше описание бури, — в том, что он природу не отделяет от действий людей. Они ощущают ее силу, ведут с нею борьбу, укрощают ее стихии. В «Цусиме» мы воспринимаем бурю не через внешнее статическое описание, но через состояние людей, которые участвуют в движении корабля, подбрасываемого ее могущественной силой: «Несмотря ни на что, он шел вперед десятиузловым ходом. Вместе с ним и мы испытывали четырехмерное движение. В это время, чем бы человек ни занимался: думал ли он о жизни или смерти, зубрил учение христово или Маркса, мечтал о счастье или отчаивался, работал или спал, творил молитву или ругался, — буря не переставала мотать его в разные стороны и шесть раз в минуту поднимать, как на лифте, вверх на 40 футов». Образ броненосца в миллион пудов весом, который с легкостью детской люльки под-

нимается шесть раз в минуту на высоту четырехэтажного дома, наглядно и ощутительно дает представление о силе шторма. Эту же силу дает возможность почувствовать описание броненосца, который скрывался между волнами, потом, «словно выпираемый сверхъестественной силой, снова взбирался на кипящий гребень водяного массива».

В изображении людей в исключительные моменты жизни, когда кругом грохочет бой и смерть глядит им в глаза, Новиков-Прибой верен мудрой, художественной простоте. Не усложняя искусственно переживаний людей, он показывает, как иногда в человеке проявляются неожиданно черты, которых в обычной жизни он не обнаруживал.

Художественная сила Новикова-Прибоя в «Цусиме» в том, что, проводя через все произведение определенную тенденцию, подчиняя все образы ведущей идее, он показывает жизнь в ее многообразнейших проявлениях.

АНТИФАШИСТСКАЯ ГЕРМАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

С. Востокова

Мир тревожен... То на одном, то на другом участке земного шара вспыхивает и разгорается злое пламя войны.

Испания, Китай — наиболее мощные очаги мирового пожара, отбрасывающие на все части света кровавое зарево. Это зарево ярко освещает поджигателей войны, среди которых наиболее «колоритным» и наиболее звериным является германский фашизм.

Фашизм — это война. Фашизм — это беспощадное наступление на широкие массы трудящихся. Фашизм — это гибель культуры, возрождение варварства и мракобесия средних веков.

Четыре года властвования фашистских диктаторов в Германии дали возможность хорошо рассмотреть подлинный «лик» фашизма — озверелую морду гибнущего и отчаянно сопротивляющегося капитализма.

Если на заре рабочего движения пролетариат, по выражению Маркса, был «классом в себе», если в нашей стране пролетариат сделался «классом для себя», то буржуазия, выдвинувшая фашизм в качестве своего «спасителя», воистину является «классом вне себя». Ибо, как правильно заметил товарищ Сталин: «... победу фашизма в Германии нужно рассматривать не только как признак слабости рабочего класса и результат измен социал-демократии рабочему классу, расчистившей дорогу фашизму. Ее надо рассматривать так же, как признак слабости буржуазии, как признак того, что буржуазия уже не в силах властвовать старыми методами парламентаризма и буржуазной демократии, ввиду чего она вынуждена при-

бегнуть во внутренней политике к террористическим методам управления, — как признак того, что она не в силах больше найти выход из нынешнего положения на базе мирной внешней политики, ввиду чего она вынуждена прибегнуть к политике войны»¹.

Приход фашизма к власти в Германии, варварский режим, установленный им в «Третьей империи», ускорили процесс полевения интеллектуальных сил Запада, переход их на позиции пролетариата. Борьба за культуру в условиях фашизации буржуазных стран является борьбой против фашизма, за идеалы всего прогрессивного человечества. Это прекрасно понимают лучшие мастера культуры Запада, сознательно вступая на путь борьбы с фашизмом. Показателями этой радикализации интеллектуальных слоев Запада и, в частности, писателей является II Международный конгресс писателей, происходивший в Валенсии — Мадриде — Барселоне — Париже в июле 1937 года.

Участники конгресса дали торжественную клятву «бороться всеми имеющимися в их распоряжении средствами против фашизма... против всех поджигателей войны!»².

Участники конгресса заявили, что «... в нынешней войне, ведущейся фашизмом против культуры, демократии, мира и вообще против счастья и благополучия человечества, немислим и невозможен никакой нейтралитет...»³.

¹ Сталин, «Вопросы ленинизма», стр. 545. изд. 10-е.

² См. Резолюции конгресса, «Известия», 20/VII—37 г.

³ Там же.

Участники конгресса поклялись бороться против угнетения и тирании не только в своих произведениях, но и с оружием в руках. Что клятва эта — не слова, доказывает героическая борьба на стороне республиканской Испании писателей-антифашистов — Людвига Ренна, Густава Реглера и многих других.

Антифашистский фронт ширится и крепнет.

Каждый шаг фашизма, каждое новое наступление на трудящихся вызывает новую волну возмущения широких масс, вливает новых борцов в антифашистские ряды. Наиболее острые формы принимает борьба революционных и радикально настроенных писателей с германским фашизмом, являющимся самой реакционной разновидностью фашизма. Немудрено, что против этой самой оголтелой, самой реакционной разновидности фашизма сплотились все лучшие силы писательского мира. Немудрено, что именно германская антифашистская литература стала наиболее сильным, сплоченным и действенным отрядом мировой антифашистской литературы.

Фронт германской антифашистской литературы чрезвычайно широк. Он объединяет писателей самых различных литературных направлений и философских концепций: от утонченнейшего, склонного к мистике, мастера буржуазной культуры Томаса Манна до пролетарских писателей-революционеров, впервые взявших в руки перо для разоблачения гнусностей фашистского режима (Я. Петерсен, К. Тиллингер и др.).

Что объединяет этих писателей?

Что общего в их творчестве? Что дает возможность считать их бойцами одного отряда, одного лагеря мировой литературы? Всех их объединяет ненависть к фашизму, борьба против него. Этой ненавистью пронизаны все книги писателей-антифашистов. Эта ненависть зажигает читателей, воспитывает борцов против фашизма.

Светлой чертой творчества антифашистов является их гуманизм, их бережное и чуткое отношение к человеку, их борьба за нового человека-борца, их призыв

к высокой человечности, к торжеству разума и справедливости. Но этот гуманизм — не слюнявый гуманизм непротивленцев толстовского или пацифистского толка. Гуманизм писателей-антифашистов — это гуманизм пролетарский, гуманизм, признающий и требующий борьбы, борьбы с поджигателями войны, врагами мира, борьбы с расовыми изуверами, с оголтелой бандой преступников и убийц, борьбы с средневековым мракобесием — во имя торжества пролетарского дела, во имя торжества Разума, во имя лучшего будущего всего человечества.

Разве не гуманизмом проникнуты лучшие произведения Л. Фейхтвангера «Успех» и «Семья Оппенгейм»?

Разве не пером гуманиста написана книга об освободительной борьбе немецких крестьян (Г. Реглер—«Посев»)? Разве не гуманизм является основой трилогии Т. Манна «Иосиф и его братья»? Разве не гуманизм придает такую силу и убедительность лучшим страницам В. Бределя?

Другой характернейшей и определяющей чертой антифашистской литературы является ее реализм. Германия уже отвыкла от реализма. Конец XIX и, в особенности, начало XX веков проходят в Германии под знаком ухода от реализма, ухода в мистику, в религию. Импрессионизм, символизм, неоромантизм, неоклассицизм, экспрессионизм, сложно переплетаясь, быстро сменяют друг друга на литературной арене Германии, уводя литературу все дальше от реализма в чистый миф. Антиреалистические тенденции чрезвычайно сильны в творчестве Деблина, Фаллады, Ведекинда, Томаса и Генриха Маннов. Этот антиреализм — порождение эпохи империализма, показатель загнивания и гибели буржуазной культуры.

Пышным цветом расцвело антиреалистическое направление в современной фашистской Германии. И никакие крики о «героическом реализме» продажных критиков Геббельса не могут скрыть того факта, что литература фашистской Германии антиреалистична, антиисторична, что, по сути дела, она является чистейшим мифом, служащим грязным

целям фашистских мракобесов. В обществе, основанном на лжи и насилии, в государстве, держащемся террором и безудержной демагогией, циничнейшим обманом масс, нет и не может быть настоящей литературы, правдиво отражающей действительность, подлинное состояние страны. Фашистская так называемая «литература», по существу, стоит вне литературы, вне искусства.

Суров и бесстрашен реализм писателей-антифашистов. Правдивость — их сильнейшее оружие. Рисуя подлинную действительность, они разоблачают всю мерзость фашистского режима.

Глубоко реалистично в своей основе творчество Л. Фейхтвангера. Убежденными реалистами выступают в своих произведениях Г. Реглер, Л. Ренн, В. Бредель, О.-М. Граф и др. Несомненен поворот к реализму в творчестве Генриха Манна.

Антифашистские писатели смотрят на свое творчество как на орудие борьбы с фашизмом, как на свой революционный долг, выполнение которого — дело их чести, их литературной и общественной честности, дело всей их жизни.

Ян Петерсен в книге «Моя улица» пишет: «Я не находил себе места в те дни, когда не писал. Меня мучило что-то, заставляло продолжать. Я обязан все написать. Мы должны переправить за границу эту рукопись! Она должна расшевелить человеческую совесть»¹.

Характеристика немецкой антифашистской литературы была бы неполной, если не отметить ее оптимизма, ее горячей веры в конечное торжество пролетариата, торжество разума и справедливости.

«Твое дело не умрет, Иосс Фриц, и, что бы ни случилось, следы Башмака навсегда останутся на всех дорогах нашей страны, по которым он прошел. Эти дороги уже больше не будут пустынными, Иосс Фриц. Предчувствуешь ли ты это сейчас, когда идешь навстречу пробуждающемуся дню?» — так заканчивает Г. Реглер свою книгу «Посев»².

(Иосс Фриц — народный герой, вождь восставшего немецкого крестьянства XV—XVI вв.)

Оптимизмом проникнуты книги В. Бределя, Гинрихса, Лангхоффа, Петерсена. Показывая грязь и мерзость фашистской Германии, они умеют видеть за ней другую Германию: «Мы любим Германию и ненавидим Гитлера. Оставаясь верными нашим идеям и не переставая бороться, мы, германские писатели-эмигранты, продолжаем служить той Германии, в которую мы верим», — заявил Эрнст Толлер на собрании немцев — антифашистских эмигрантов в Нью-Йорке¹.

Генрих Манн пишет: «Народ, насчитывающий в своем славном прошлом столько поэтов и мыслителей, вскоре стряхнет с себя то вынужденное обнищание, в котором он пребывает»².



Художественной вершиной германской антифашистской литературы является «Успех» Л. Фейхтвангера. «Успех» сделал Фейхтвангера популярнейшим писателем в Советском Союзе. «Успех» привлек к нему внимание и горячие симпатии миллионов антифашистов всех стран мира и вызвал взрыв звериной ненависти и злобы со стороны разоблаченных фашистских «фюреров» всех рангов.

«Успех» стал значительным антифашистским документом, необычайно действительным, имеющим большую познавательную и агитационную ценность. «Успех» был первым крупнейшим кристаллом антифашистской литературы, вокруг которого началось собирание ее молодых сил.

В «Успехе» Фейхтвангер дает яркую картину предфашистской Германии (точнее, ее части, родины германского фашизма — Баварии), зарождение фашистского движения. Судьба невинно осужденного баварским судом Мартина Крюгера, составляющая сюжетную основу книги, дает возможность Фейхт-

¹ Ян Петерсен, «Моя улица», Жургазоб'единение, 1936 г.

² Г. Реглер, «Посев», Жургазоб'единение, 1937 г.

¹ Высказывания Э. Толлера и Г. Манна. См. Хронику «Интерн. литературы», № 1, 1937 г.

² Там же.

вангеру сосредоточить в едином фокусе все противоречия, все социальные потрясения, переживаемые Баварией того времени. Судьба Мартина Крюгера зависит от глубоких подсудных политических и социальных сдвигов, происшедших в стране, от соотношения классовых сил. Но сам Мартин Крюгер далеко не является главным героем романа. «Главных» героев много: это и настойчивая и неутомимая в своей благородной борьбе за справедливость Иоганна Крайн; это и писатель Жак Тюверлен, принявший такое горячее участие в деле Крюгера; и Каспар Прекль — инженер-коммунист, друг Мартина Крюгера; и «пятый евангелист» — капиталистический магнат Рейндль; и, наконец, гротескные фигуры будущих властителей Германии — фашистских вождей: тупица Руперт Кутцнер — прообраз Гитлера и др. Сложные взаимоотношения концентрируют всех этих героев вокруг сюжетной оси и дают возможность в наиболее конкретной форме вскрыть их подлинную политическую и социальную сущность.

Подлинный герой романа — это совокупность всех конкретных героев; это Бавария начала текущего века с ее захламом, смердящим бытом, метко охарактеризованным Фейхтвангером в лозунге: «Строить, пиво варить, свинячить».

Фейхтвангер дает уничтожающую характеристику звериному, утробному бытию «этих славных баварцев», явившемуся благодарной, унавоженной почвой для пышного расцвета таких ядовитых растений, как Руперт Кутцнер и его банда.

«Писателю Жаку Тюверлену нравится этот поверхностно цивилизованный, лесной, первобытный человек, зубами и когтями цепляющийся за приобретенное им, недоверчиво и глухо рычащий, когда к нему подступает н о в о е.

«Как он прославляет свои недостатки, называя их расовыми особенностями! С какой убежденностью он свою атавистическую неповоротливость называет патриархальностью, свою грубость — мужественностью, свою тупую ярость

против всего нового — преданностью традициям. Просто замечательно, как он, основываясь на своей дикарской любви к потасовкам, именуется баварским львом»¹.

Мастерски вылеплены Фейхтвангером фигуры фашистских молодчиков, во главе с их «божественным фюрером» — Рупертом Кутцнером. Фигура тупейшего Кутцнера, то истерически завывающего в пивной Гофбройхауз, то ползающего на коленях перед баварским премьером после неудачи путча, то с театрально величавой миной шествующего по улицам Мюнхена впереди своих банд, надолго остается в памяти читателя. Его примитивная до анекдотичности идеология, его демагогические приемы прекрасно вскрыты Фейхтвангером.

Весь роман пронизывает светлая вера в конечное торжество разума над глупостью, справедливости над неправым. Вера эта, правда, основана на ложной идее — на утверждении действительности единичных выступлений («победа» Иоганны Крайн). Но это не лишает ее своеобразной прелести и обаяния. Здесь обнаженно выступает основной пробел в политической концепции Фейхтвангера — недооценка масс, переоценка роли отдельных личностей, а также роли и значения интеллигенции.

«Успех» написан Фейхтвангером до захвата власти Гитлером. Тем поразительнее верность, острота характеристик и политическое предвидение автора. Тема фашизма у Фейхтвангера — не случайность. Наиболее реалистическое воплощение получает она в «Семье Оппенгейм», в книге, показывающей Германию «на другой день» после победы Гитлера.

Трагическая гибель патриархального буржуазного еврейского семейства Оппенгейм дает наглядное представление о судьбе «счастливых» подданных «Третьей империи». Физическим уничтожением семьи Оппенгейм не исчерпывается в романе тема фашизма. Она расширяется показом крушения гуманистических иллюзий лучших представителей семьи

¹ См. Фейхтвангер, «Успех», Гослитиздат. 1935 г., стр. 266.

(Густав Оппенгейм и молодой Бертольд Оппенгейм). В «Семье Оппенгейм» Фейхтвангер освобождается от ряда своих интеллигентских предрассудков и иллюзий, свойственных его «Успеху». Рушится вера в неограниченные возможности отдельной личности, в особую мессианскую роль интеллигенции. Густав Оппенгейм, идеалист и мечтатель, оторванный от реальной жизни ученый, пройдя длинный мучительный путь поисков, сомнений и колебаний, примыкает под конец к рабочей подпольной организации и борется под ее руководством.

Фейхтвангер преследует фашизм по пятам. В его исторических романах («Еврей Зюсс», «Иудейская война», «Братья») вы находите знакомые черты фашизма. И Германия XVIII века, и феодальная Европа, и императорский Рим интересуют его не сами по себе, а лишь в той степени, в какой они дают возможность воплотить современность, обнажить ее основу, разоблачить ее неприглядную сущность.

Фейхтвангер — писатель-гуманист. Фашизм он критикует именно с точки зрения гуманиста. Он ненавидит его за варварство, за политический авантюризм, за подавление личности, свободы, интеллектуальности, за вопиющую бессмысленность его режима. «Разум есть первенец создания, и все, что противно разуму, — безобразно», — утверждает Фейхтвангер устами своих любимых героев.

Блестящее мастерство художника, высокое социальное напряжение его произведений, гнев и ненависть к фашизму, пафос гуманиста — борца за разум, за расцвет интеллекта, за свободу и счастье человечества выдвинули Фейхтвангера в первые ряды антифашистской литературы, поставили его во главе идеологической борьбы с фашизмом.



Кто в нашей стране не читал прекрасной, мужественной книги В. Бределя «Испытание»? Миллионы читателей впервые в этом романе столкнулись лицом к лицу с фашизмом и смогли хоро-

шо рассмотреть его звериный образ. Миллионы читателей учились по этой книге ненависти к фашизму. Мужественный образ коммуниста Торстена надолго остается в памяти как образец подлинного героизма, мужества и бесстрашия. Замечательная сцена, когда Торстен вспоминает разговорную азбуку перестукивания, должна быть отнесена к лучшим образцам мировой пролетарской литературы.

Чувства товарищества, дружбы, радости совместной борьбы пронизывают эти прекрасные страницы.

«Торстен стоит у стены, отделяющей его от Крейбеля. Там лежит юноша, в продолжение долгих дней тщетно старавшийся завязать с ним разговор. Торстен не понимал его. Ведь это так просто, а он сообразил только сегодня, после стольких дней, — сколько их уже прошло!

Торстен не сентиментальный человек, но сейчас слезы стоят у него в глазах. Он торжественно садится у стены и сильно ударяет в нее кулаком. Из соседней камеры раздается в ответ два коротких стука, и Торстен начинает выстукивать: V-e-r-s-t-a-n-d-e-n! (Понял!).

Торстен ждет от соседа дикого взрыва радости. Ничего подобного. За стеной совершенная тишина. Торстен затаил дыхание. Слышен тихий стук:

— E-n-d-l-i-c-h! (Наконец!).

Торстен пылает от счастья и стыда. От стыда, что он заставил товарища так долго ждать. От счастья, что разобщенность и гнетущий мрак побеждены. От радости, которую вызвало это первое слово человека к человеку, товарища к товарищу. А рядом в темной камере на полу сидит Крейбель и гладит холодную каменную стену».

Линию Бределя на правдивый показ фашистской действительности, на беспощадное разоблачение фашизма продолжают писатели: К. Гинрихс, К. Биллингер, Я. Петерсен, В. Лангхофф и др. Многие из них впервые взяли в руки перо, чтобы разоблачить подлые и грязные дела, творимые в «Третьей империи». Их произведения зачастую несовершенны. Но этот недостаток с лихвой искупается той колоссальной взрывча-

той революционной силой, которая заложена в их книгах. Они захватывают читателя суровой правдой, революционным пафосом. Они глубоко возмущают. Будят в читателях лучшие чувства: великую любовь и великую ненависть. Эта группа революционных писателей-антифашистов создала свой особый литературный жанр, основная черта которого — органическое слияние художественного изложения с публицистикой. Это — книги-документы, книги-пропагандисты, книги-борцы.



Основными проблемами антифашистской литературы являются: разоблачение фашизма, показ образа врага и художественное воплощение образа борца-революционера, образа типического и художественно полнокровного. Эти проблемы разрешены немецкой антифашистской литературой далеко не с одинаковым успехом. Образы врага блестяще, с беспощадной иронией и величайшей художественной убедительностью показаны Фейхтвангером в «Успехе» (Руперт Кутцнер, Эрих Борнгаак и др.). Необычайно острый и яркий гротескный портрет руководителя германского министерства пропаганды Геббельса дан Бальдером Ольденом в его памфлете «История одного наци». (В книге Геббельс фигурирует под именем доктора Шнирвиндта.) Образ Шнирвиндта — несомненная удача Бальдера Ольдена. Глубоко индивидуальный, Шнирвиндт в то же время чрезвычайно типичен. Он вмещает в себя все характерные черты фашистских лидеров: ненависть к массам, болезненное честолюбие, выродившееся в жажду власти. Все эти черты, приправленные демагогией, оголтелым авантюризмом, шарлатанством, делают из доктора Шнирвиндта чрезвычайно типичную фигуру фашистского мракобеса.

Труднее назвать такую же бесспорную удачу в показе образа пролетарского борца-антифашиста. Многие антифашистские писатели не преодолели еще некоторого схематизма в показе положительных героев. Полнокровного, яркого,

художественно полноценного образа пролетарского борца еще не создано. Эта задача стоит вплотную перед антифашистскими писателями. Ближе других к ее разрешению, на наш взгляд, находится В. Бредель. Созданный им образ коммуниста Торстена свидетельствует о том, что Бредель сумеет показать пролетарского борца во весь рост, во всем его величии и суровой простоте.



Что может противопоставить германский фашизм молодой, полной сил антифашистской литературе?

Лучшие писатели Германии принуждены были эмигрировать. Оставшиеся должны были или перейти к открытому прославлению фашистского режима, что равносильно их творческой смерти, смерти как художников-реалистов, или уйти в чистую мистику, отказавшись полностью от изображения действительной жизни, реальных типических характеров, разрешения животрепещущих социальных проблем, что, по существу, также является творческой гибелью.

Г. Фаллада, известный у нас своими романами «Что же дальше?» и «Кто однажды отведал тюремной похлебки», стоит на перепутьи между этими двумя неизбежными путями.

Книжную продукцию фашистской Германии поставляют на рынок в неограниченном количестве многочисленные «унифицированные» беллетристы бульварного типа. Война, половые проблемы, расистский бред — вот, по существу, к чему сводится содержание этого книжного хлама. Катастрофическое оскудение фашистской художественной литературы вынужден был признать даже признанный «классик» фашистской Германии Ганс Гримм, заявивший при подведении итогов одного из литературных конкурсов, что ни одна из представленных рукописей не может претендовать на получение премии вследствие полнейшей художественной беспомощности.

Почва фашистской Германии неблагоприятна для подлинного творчества.

Воздух ее отравлен гнилыми расовыми теориями, средневековым мракобе-

сием и звериным шовинизмом. Здоровые легкие этого воздуха не выдерживают.

Прекрасной характеристикой современного состояния Германии является поэма Гейне «Германия». Едва ли мог думать бессмертный поэт, что написанные им стихи целое столетие спустя будут еще злободневны и современны и попрежнему будут вызывать взрыв звериной злобы фашистов против их автора.

Здесь днем и ночью на кострах
Дымились люди, и книги,
«Кюрве Элейсон», — звенели кругом
Колокола и вериги.

И злоба и глупость буянили здесь
На площадях, как звери;
Их выводок даже сейчас узнаешь
По озлоблению в вери¹.

¹ «Германия», гл. IV.

Его же словами можно дать общую «сводную» характеристику «литературе» фашистской Германии. Это подлинно — «смесь мертвого и негодяя». Эта смрадная «смесь» имеет весьма ограниченный и все более суживающийся круг читателей.

Тем шире, тем многочисленней ряды читателей антифашистской литературы, тем сильнее ее органическая связь с массами трудящихся всех стран мира. Читатели вырастают в борцов. Литература становится их острейшим оружием.

Идеологическое оскудение, «духовная» смерть фашизма — показатель приближающейся его физической гибели. В ускорении, в приближении этой неизбежной гибели антифашистской литературе принадлежит почетная роль.

НАРОДНЫЙ ЭПОС

С. Евгеньев

В Советском Союзе развернулась грандиозная по размаху работа по сбору и изучению устного народного творчества. Об этом говорят выпускаемые сейчас пятьдесят сборников народного художественного творчества. Многие крупные литературные памятники, высокие культурные ценности народов нашей страны впервые становятся известными широчайшим массам трудящихся. Издательство «Академия» к 20-летней годовщине Октября выпускает сборники: «Казахский эпос», «Осетинские сказки», «Фольклор Самарского края», «Фольклор колхозной деревни Московской области», «Русские былины» «Поэзия Армении»; Гослитиздат выпускает сборники: «Грузинские народные сказки», «Песни народов Дагестана», «Чувашские сказки», «Северный фольклор», «Арсен» — эпос о народном грузинском герое и др.

Издательство «Советский писатель» уже выпустило книги «Волжский фольклор» и «Долганский фольклор».

Волжский фольклор представлен в книге сказками, преданиями, легендами, песнями и частушками. В сборнике читатель найдет как дореволюционный, так и послеоктябрьский фольклор Поволжья.

Целый ряд малоизвестных и неизвестных образцов народной поэзии опубликован впервые, как например песни, легенды и предания о Степане Разине, Пугачеве, во многом пополняющие известный нам фольклорный материал о них.

Несомненный интерес представляет полный вариант песни «Как за барями

жиле было привольное», отражающей тягости крепостной жизни. Песня проникнута острым сарказмом и ненавистью крестьянских масс против бар и чиновников, царя, попа и кулака.

Девятнадцать сказок, помещенных в сборнике, в яркой форме отображают различные жизненные моменты, настроения и чувства народа. В них много фантазии, иронии, юмора и любви. Сказки покоряют своей самобытностью, глубиной и образностью языка.

В народном творчестве нашли отражение события, связанные с Великой социалистической революцией. Сказки изображают борьбу за власть советов, героизм и мужество пролетариата и крестьянства. Волжские народные частушки говорят о Ленине и Сталине, о партии, о радостной жизни освобожденного народа, об ударной работе в колхозах, про Красную армию, про комсомольскую молодежь.

Много в частушках задора, смеха, много в них черт, характеризующих нашу новую, социалистическую мораль. Поет частушка про радостные колхозные дни, про зажиточную культурную жизнь.

К числу недостатков следует отнести отсутствие в сборнике фольклора других народов края. Участникам фольклорной экспедиции пришлось, собирая и записывая материалы, сталкиваться с устным творчеством этих народов. Тем удивительнее, что в сборнике творчество это не нашло отражения.

В сборнике помещена статья одного из составителей его — В. М. Сидельникова: «Устное творчество Куйбышевско-

го края». Предисловие к сборнику написано проф. Ю. М. Соколовым. Фольклорные тексты сопровождаются комментариями, историческими и документальными справками.



Далеко в заполярных тундрах на северо-востоке Таймырского национального округа (Красноярский край) живут долгане — один из малочисленных северных народов, возрожденных Великим Октябрем к жизни.

Сборник «Долганский фольклор» дает советскому читателю полное представление о кочевой жизни, истории и быте «малого народа Севера». В сборнике представлены образцы различных фольклорных жанров — сказки, рассказы, олонго (прозаический эпос о героях с введенными в текст песнями), песни, предания и загадки. Все фольклорные тексты, помещенные в сборнике, записаны в 1930—1931 гг. и очень интересны как в художественном, так и в историко-бытовом отношении. Сказки и предания увлекают своим фантастическим содержанием, красочной символикой, разнообразием сюжетов. Действия их часто разворачиваются в различных неведомых странах, герои — необычные люди, воплощаемые в образе животного-тотема, в котором концентрируются черты человеческих характеров. В произведениях долганского фольклора сохраняются следы былых многочисленных передвижений.

Многие сказки и рассказы долган о животных — новый, ценный вклад в мировой эпос. Они не уступают по своей художественности выдающимся произведениям западноевропейского фольклора. Лиса, волк, медведь, птицы — излюбленные герои произведений устного народного творчества. Тонко разработан характер лисы — умной, хитрой и злой плутовки, которую даже огонь не берет. Она и от него уберется (рассказ «Похождения лисы»).
 В песнях долган большое место уделено любви: в сборнике дано десять песен, каждая из них интересна. В пес-

нях можно уловить черты подлинного лиризма любви, преданности и верности. В песнях много интересных сравнений, они богаты метафорами, образами:

Оставил Вася колечко мне,
 «Чтоб видела», говоря,
 Дал мне сын Пуссы перстенок,
 «Чтоб помнила», говоря.

А у меня даже в той стороне,
 Куда, едва долетев,
 Роняет перья китайский гусь,
 Парень получше есть.

Даже в краю, куда с трудом,
 Вся отошав, обливня,
 Долетает с птенцами гусыня моя,
 У меня лучезарный есть.

Фольклор показывает прошлое бесправие долган, хищническую колониальную политику царских опричников, разгул купцов и шаманов, заставляющих бедняков выполнять их прихоти, облагающих их непосильными податями. Вместе с тем в былинах, сказках и преданиях воспеваются подвиги народных богатырей, побеждающих злые силы, достигающих своих целей.

Интересно отметить, что долганский народ богат талантливыми, искусными рассказчиками, былинниками и певцами. Талантливые сказители ведут свою родословную к древним временам. Так, в своей вступительной статье А. Попов пишет: «... Петр Аксенов со станка Авам говорил мне, что он считает себя как бы учеником сказителя Мёкютя. Разумеется, никакой специальной выучки не существует, известный сказитель не набирает учеников. Последние сами, присутствуя при рассказывании былин, запоминают содержание и впоследствии передают его, не подражая рабски, а внося нечто живое от себя...».

Сказители пользуются большой популярностью и авторитетом. Даже в фольклоре долгане говорят о высоком значении сказителей. Передают следующее сказание. Раз оспа пришла, хотела людей есть. Сказитель своей былинной так зачаровал ее, что направил в подземный мир и спас людей от болезни (стр. 15—16).

Общим недостатком книги является отсутствие в ней современного фольклора, созданного советской социалистической действительностью, новой жизнью долганского народа. Этот недостаток значительно снижает значение изданного сборника.

Переводы сделаны хорошо: они близки к подлиннику с его высокой поэтической простотой, колоритным разговорным языком и образностью. Соблюдаются характерные синтаксические осо-

бенности долганского языка. Прекрасно переданы обильные и богатые эпитеты и сравнения устного народного творчества.

Сборник снабжен указателем источников каждого фольклорного материала, указателем слов и оборотов речи и примечаниями, разъясняющими многие национальные термины. Все это позволяет лучше понять и оценить каждое произведение долганского фольклора. Издана книга богато и тщательно.

ИСКУССТВО И ВОЙНА

Л. Варшавский

В палатце Питти во Флоренции находится картина знаменитого фламандского живописца Рубенса «Последствия войны».

Гениальный живописец первой половины XVII века, всегда наполнявший свои произведения радостью жизни, в этой картине показал величайшую драму народа, переживающего тяжчайшие страдания от нападения захватчиков, которые своими грабительскими набегами губят все прекрасное, живое. Это был первый протестующий крик в искусстве против колонизаторской войны феодалов. Это был ответ тем мастерам живописи, которые, служа князьям, богатеющей буржуазии и их приспешникам — попам, в своих картинах прославляют грабителей.

Интересно вспомнить и те пояснения, которые сам художник оставил к этой картине: «На земле лежит женщина со сломанной лютней, являющаяся несомненной гармонией с военным раздором, а также мать с ребенком на руках, указывающая на то, что плодородие, рождение и родительская любовь угрожаемы войной, которая все разрушает и уничтожает. Далее, должно быть видно брошенного на спину зодчего с его инструментами, дабы показать, как все, что служит в мирные времена к пользе и украшению городов, гибнет...».

В другой аллегорической картине Рубенс изображает «Войну и мир» в виде закованного в латы Марса, который угрожает прекрасной обнаженной женщине, кормящей младенца. Женщину защищает покровительница наук и искусств Минерва.

Незадолго до своей смерти великий живописец написал «Ужасы войны». Эта картина явилась как бы апофеозом всех его батальных произведений, как «Битва амазонок», «Завоевание Туниса Карлом V», «Битва Генриха IV при Иври». Все они написаны как будто не красками, а кровью.

Рубенс был не только живописцем, но и незаурядным государственным деятелем. В тяжайшие для своей родины годы он нередко бросает кисть для того, чтобы вести борьбу за мир. Его, художника-дипломата, эрцгерцогиня Нидерландов Изабелла посылает в Мадрид и Лондон, чтобы устранить трения между Англией и Испанией. В 1630 году в Лондоне художник подписывает мирный договор, который прекращает кровопролитие, длившееся с 1618 года.

Рубенсу пришлось проезжать через страны, в которых еще зияли раны, нанесенные Тридцатилетней войной, и он ужаснулся, когда увидел, как погибала старая культура, как на месте сотен укрепленных городов, селений, окруженных полями, над которыми работало не менее тридцати поколений, простиралась пустыня, среди которых лишь одинокие развалины напоминали о существовавших здесь когда-то человеческих жилищах. Разрушенные плотины и запруды обратили целые долины в топи, некогда судоходные реки заносились песком. Нужда и болезни — эти спутники войны — унесли почти треть населения.

Вот что представляла собою Европа в первой половине XVII века. В живописке, который мыслит образами, она вы-

зывает аллегория женщины «в черном платье с разорванной вуалью и ограбленными драгоценностями», «которая уже долгие годы страдает от разгрома, позора и нищеты». Эти замечательные мыс-

питализм и сопутствующие ему войны иссушили ее мышцы, привели ее к преждевременному маразму, обратили в нищую, но она все еще продолжает свой смертельный танец на ядре.



О. Домье. — Европа.

ли послужили пояснением к его картине. Как далек этот образ красивой, молодой, взывающей о помощи женщины от той безобразной, одетой в рванье старухи Европы, балансирующей на готовом разорваться ядре, изображенной на литографии Домье! Свыше двухсот лет отделяют эту литографию Домье от картины Рубенса.

Состарилась и обнищала Европа. Ка-

Как далеки эти произведения от тех блистательных картин, изображающих войну, которые были созданы живописцами венецианской школы XVI века — Паоло Веронезе, Пальма Веккио, Тициана, Тинторетто, Франческо Бассано, восхвалявших баталии. Картины, которыми они украсили залы Дворца дождей и палаццо Дукале в Венеции, — подлинный триумф войны. Свои палитры, на-

сыщенные яркими красками, пышную живопись они отдали славе и роскоши Венеции.

Прославляя войну, они изображали ее как феерическое театрализованное зрелище, способное воодушевить зрителя на новые набеги и нападения в угоду тиранам-узурпаторам.

Венецианские живописцы сделали все, чтобы отвлечь внимание зрителя от прозы войны, увести его воображение от реальной жизни и преклониться перед «красотами» боя.

Рубенс, который был ближе как государственный деятель к политической жизни Европы, видел самую кухню войны и в своих «баталиях» оказался просто трезвым наблюдателем. Он не следовал и тем принципам, которые были оставлены Леонардо да Винчи в его «Трактате о живописи», как писать картины на военные темы.

«Изобрази прежде всего дым артиллерии, который смешивается в воздухе с пылью, поднятой движением конницы...» — пишет Леонардо да Винчи в своем трактате. «Если ты представишь кого-нибудь упавшим, дай понять, что он поскользнулся на пыли, превратившейся в кровавую лужу, а там, где земля не столь мокра, покажи следы людей и лошадей... Изобрази мертвые тела, одни — покрытые пылью наполовину, другие сплошь... На картине не должно быть ни одного ровного места без кровавых следов... Побежденные должны быть бледными, с поднятыми и сдвинутыми бровями, с многочисленными страдальческими морщинками на лбу... Зубы их разжаты, как бы показывая крик и вопль, одна рука, обращенная ладонью к врагу, заслоняет от него испуганные глаза, другая же, опираясь о землю, поддерживает раненое тело...».

Вот как мыслил Леонардо да Винчи изображение войны. По своей проникновенности и творческой фантазии в передаче прекрасного и страшного одновременно он не имел себе равных.

Вспомните его «Медузу», ее мертвенное, желтое лицо с застывшим взором полуоткрытых глаз. Это ужасное и вместе с тем красивое лицо, обрамленное

страшными извивающимися змеями, заменяющими волосы на голове Медузы, действительно способно убить все живое. Сопоставьте это лицо с тем, которое он изобразил в своей картине «Битва при Ангиари», и вы увидите, как много общего здесь в передаче ужаса. Сколько страданий и ужаса в лице опрокинутого воина, который попал под копыта лошадей сражающихся всадников! Сколько неистовства и звериного инстинкта в иступленных гримасах всадников! И даже лошади в этой стычке кусают одна другую.

Леонардо да Винчи в этой картине изобразил только один эпизод войны, в исключительной композиции рисунка и красоте внешних форм. Но чем больше вы вглядываетесь в этот картон, тем сильнее вы ощущаете отвратительный лик войны. «Битва при Ангиари» явилась откровением для живописцев и не только эпохи Возрождения. Ее копировал и Рубенс.

В знаменитой фреске Рафаэля «Победа Константина», в той левой части ее, где изображена битва, есть места, в определенной степени напоминающие эпизод из «Битвы при Ангиари», но в целом картина, написанная Джулио Романо по рисункам и замыслам Рафаэля и по велению высокопоставленных заказчиков, изображает торжество войны, момент победы христианства, совпавший с моментом победы Константина над Констанцием. И немудрено, что уже в «Битве при Остии» Джулио Романо самой битве почти-что не уделяет внимания. Центральное место картины занимает заказчик — папа Лев X, окруженный кардиналами, к которому приводят и склоняют побежденных сарацинов.

Столь изумивший современников картон Микель-Анджело «Битва при Каскине» по существу показывает не битву, а только приготовление к ней, да и сам художник уделяет здесь огромное внимание красоте человеческих форм.

А ведь казалось бы, что гений Микель-Анджело, создавший изумительных связанных пленников—аллегории стран, покоренных римскими папами, надгробный памятник Медичи, где с особенной

остротой выражена скорбь по утраченной его родиной свободе, сумел бы дать такие же острые аллегории войны.

И Тициан, писавший по заказу свою «Битву при Кадоре», старался главным образом подчеркнуть эффектные сцены войны. Он, выполняя волю заказчиков, которые в первую очередь желали увеко-

и вручающему ему пальму. Возле короля—его любимая собака. На мраморном полу сидит полунагой турок со связанными на спине руками, подле него лежат чалма, колчан, щит с полумесяцем и звездой, барабан и турецкое знамя. Вдали видны море и пылающий турецкий флот.



В. Верещагин. — С оружием в руках — расстрелять!

вечить себя в картине гениального колориста, все же главное внимание уделял живописным эффектам, цветущей и полножизненной красоте.

Его аллегорическая картина, изображающая победу при Лепанто, в этом отношении необычайно характерна. По случаю победы союзных—венедианского, испанского и папского—флотов над турками при Лепанто в 1571 г. Филипп II лично диктует Тициану сюжет. В центре картины Филипп II, стоя у престола, поднимает вверх нагого младенца, своего маленького сына, который протягивает ручку к ангелу, спускающемуся с неба

Фигура Филиппа написана небрежно. Болезненное, некрасивое лицо. Ангел, слетающий с неба вниз головой, карикатурен. Но замечательно написан пленный турок. В этой картине, где в центре внимания должен быть победитель Филипп II, преимущество все же на стороне турка. Так вошла эта картина и в историю искусства, картина, в которой побежденный победил победителей.

Правда, в эпоху Возрождения это единственный случай, когда живописец, выполняя заказ своего повелителя, прислушивается больше к звукам своих красок, чем к словам высокого заказчика.

Но подавляющее количество батальных картин этой эпохи — наиболее ярко выраженная форма классово обусловленного искусства, главная задача которого — обработка в определенном направлении сознания масс.

Нападающая сторона всегда считала себя правой: те, кто замыслил войну, в форме ли набегов на соседние страны или пиратских экспедиций, убеждали массы, что они защищают их благополучие, их веру. Борьба с врагом — это борьба за веру, святыни, которые масса должна защитить, — так убеждали в картинах живописцы эпохи Возрождения, выполнявшие заказ королей, североитальянских купцов, этих пиратов, для которых война — средство накопления капитала. Грабительские войны колонизационного типа и войны за гегемонию на морских путях, захват земель, изобиловавших богатствами, проходят через XVI и все последующие века.

На рубеже двух великих эпох — Возрождения и Барокко — появляется замечательный гравер-офортнист Жак Калло. Современнику Рубенса — уроженцу Нанси, Калло суждено было в своих гравюрах остро запечатлеть то, что аллегорически намечал Рубенс, — показать бедствия, которые приносит война. Эпоха Калло — это эпоха войн. Вся Европа пылала огнем. Гравюры Калло, и не только те серии «Бедствий войны», которые он разделил на «большие» и «малые», но и цикл офортов «Бродяги» и «Каприччио», те, где изображены развалины, будут вечным позорным пятном на страницах истории Европы.

«Он создал новую технику гравюры и новую манеру рассказчика-рапсода». — пишет о Калло его биограф Г. Нассе. В своих гравированных рапсодах этот Гомер в графике запечатлел в веках и поведал всему миру об ужасных бедствиях, какие испытала его родина от шквала войны. История маленькой Лотарингии записала на свои страницы и творчество своего замечательного художника, об'явившего войну войне, и патриота, лучшего сына своей родины, — Жака Калло.

Это он ответил Людовику XIII, захватившему Нанси и пожелавшему, что-

бы Калло увековечил это новое завоевание в гравюре, что он скорее позволит обезглавить себя, чем поступит бесчестно против отечества.

Калло изобразил в своих больших и малых «Бедствиях войны» все то, что сам наблюдал. Войну Калло показал, какой она в действительности есть. Свои патриотические чувства он укладывал в рамки объективизма, показывая звериные инстинкты и французских, и лотарингских солдат. Вооруженные разбой и грабежи на больших дорогах, в деревнях, усмирение крестьян, восставших против интервентов, пожары, опустошение домов, пытки, умирающие в госпиталях — все это представлено в гравюрах Калло с потрясающим драматизмом.

Вот разграбление деревни. Пылают дома. На улицах валяются трупы крестьян, оплакиваемые родными. Солдаты уносят в тюках награбленное добро. Вот груженные этим добром телеги. На улицах устроена настоящая охота за людьми, которых тут же убивают. Угоняют скот. «Так поступают с бедными жителями полей те, кого поддерживает своими злыми поступками Марс: они делают их пленниками, сжигают их деревни и даже над животными творят худое, и ни страх законов, ни обязанности, ни слезы и крики не трогают их». Такова подпись под одной из гравюр.

Вот разгром фермы, где солдаты рыщут по домам, роются в сундуках в поисках добычи, насилуют женщин или сжигают людей живьем на огне, как показано это в центре одной из гравюр. Вот с цепями, косами, дубинами крестьяне расправляются со своими поработителями — интервентами. Подлинный трактат в графической форме против интервенции дан в гравюре Калло «Вербовка солдат», ей сопутствует и текст: «Металл Плутона, служащий и миру, и войне, отвлекает, невзирая на опасности, от родных мест в чужие края».

Иногда Калло вводит и сатирические нотки в ужасные сцены войны. Взгляните на «Дерево мародеров», сплошь увешанное телами. Среди повешенных двое хромых. Вот на земле оставленные ими костыли. Двое приговоренных к казни доигрывают партию в кости. Их

торопят: настал срок их повешения. Но они еще не закончили игры, а без этого быть повешенными они не согласны. Вот

дерево, то ли палача или кандидата в повешенные.

Результаты войны?.. Вот они,—пусть



Ф. Э л л и с. — Долой империалистическую войну!

поп с крестом, взобравшийся на лестницу следом за повешенным и палачом, куда-то в воздух устремляет свой крест, неизвестно кого благословляя — то ли

это будет и для победителей, которые спаслись от суда народа, — та же нищета и болезни; безрукие, безногие на костылях, они пошли просить подая-

ния и испускать последний вздох на навзрытых кучах — их последних убежищах. Как близки эти картины войны, изображенные в гениальных творениях Калло, к тем эпизодам, которые спустя 179 лет разыгрались на той земле, куда вступила армия Наполеона, нашедшая в России свой конец, свою могилу,—урок для интервентов всех мастей и всех веков.

Шесть листов «Малых бедствий войны» и восемнадцать «Больших бедствий войны» — это реальная, правдивая эпопея, которая должна послужить образцом, и не только в отношении непревзойденной гравюрной техники, для всех мастеров мира, которые своим пером, резцом, кистью борются за мир и, разоблачая войну, вскрывают грабительские тенденции агрессора.

По-разному славили войну и полководцев живописцы XVIII и XIX веков. Одни пользовались методами «классики», изображая театрализованные эффекты сражений, другие были попросту протоколистами, рассказчиками. Художник, сопровождая армию, уже является участником войны, ее бытописателем. Так, Гро сопровождает Наполеона, видит отдельные эпизоды сражений, войну в стычках, сражениях, набегах. Но стремление к возвеличиванию Наполеона, его побед связывает свободные творческие порывы Гро, который показывает полководца позирующим на полях сражений. В его картинах «Бонапарт у пирамид», «Посещение Наполеоном зачумленных в Яффе» и «Поле битвы при Эйлау» чувствуется указка тех, кому посвящал свои произведения живописец. Самый сюжет художник строит на контрасте образов победителя и побежденных. Перед художником встала задача: построить сюжет таким образом, чтобы оправдать в глазах зрителя бойню, мало того — показать победителя великодушным, стремящимся к подчинению себе народов во имя гуманности. Эта насквозь живая тенденция, положенная в основу популяризации войны, оправдания войны в глазах масс, пронизывает всю батальную живопись Гро.

Прочтите ту официальную программу, которую составил сам Наполеон для

конкурса батальных картин, возвеличивающих его как полководца, и вы поймете, кто руководил темой, сюжетом и самой идеей эффектных полотен, назначение которых — воодушевить зрителей, заставить их славить завоевательную политику императора. «Наутро после битвы при Эйлау император посещает поле сражения и исполнен ужаса и сострадания при виде этого зрелища, — трактует так эту тему программа. — Его величество велит оказать помощь раненым русским. Тронутый человечностью победителя, молодой литовец с энтузиазмом выражает ему свою благодарность. Вдали видны французские войска, расположившиеся биваком на поле сражения, в ожидании императорского смотра...». Так изобразил Гро этот эпизод в своей картине. Так фальшиво и лицемерно Гро трактует войну и в картине «Бонапарт у пирамид».

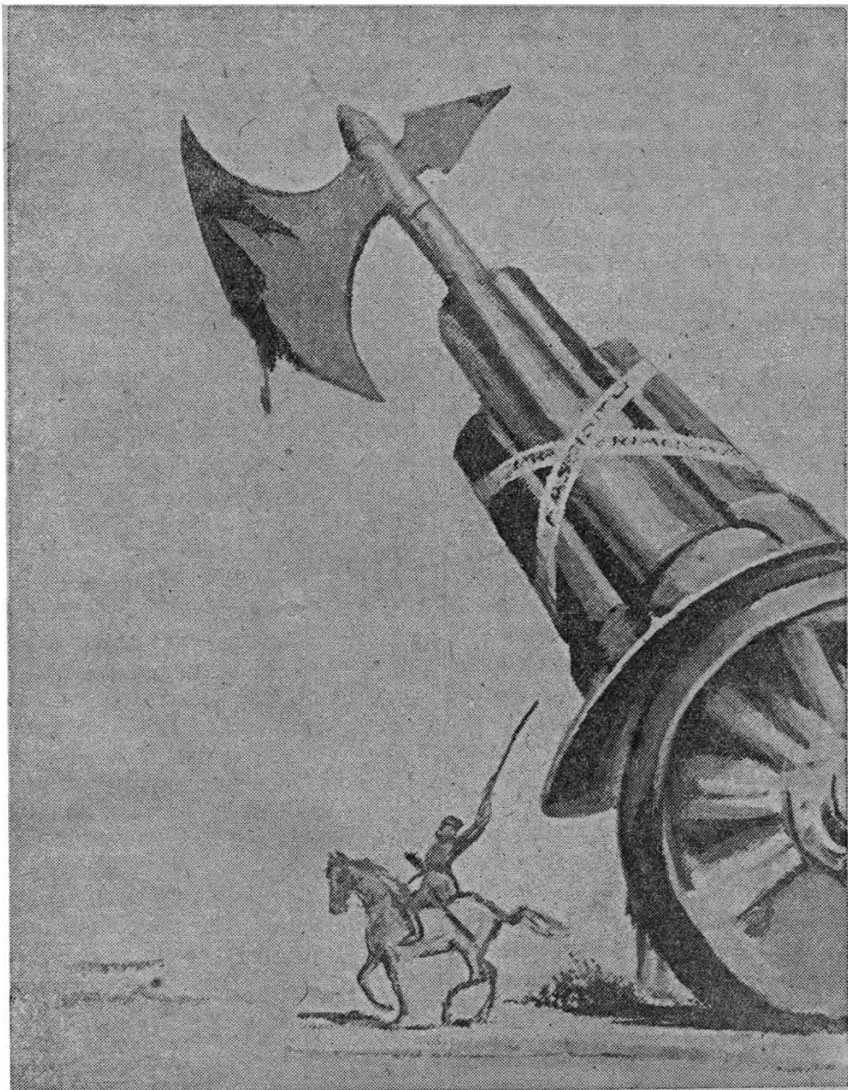
Романтический Жерико, прославляя наполеоновские походы, создает декоративно-пышные изображения эпизодов боя.

Ходульно-натуралистические батальные картины писал Орас Верне. Придворный художник герцога Орлеанского, он стал любимым военным художником эпохи Луи-Филиппа, которая не могла особенно питать его творчество. Все его внимание было направлено к былым легендам о громкой славе побед и незначительным военным эпизодам в Алжире.

По его картинам можно было хорошо изучить движение войск, амуницию, типаж. Перед его неизмеримо большими по размерам холстами обыватель, не напрягая свои мысли и нервы, мог часами простаивать, разинув рот, восхищаясь способностью и терпением художника так детально выписывать каждый сантиметр холста. Его «Взятие Смалы», лагеря Абдель-Кадера в Алжире, достигает 21 метра в длину и 5 метров в высоту. Не поэтому ли Николай I заказал ему большую картину «Штурм Воли в 1831 году»? Типичная протокольная запись, показывающая взятие укрепления на подступах к Варшаве, где на переднем плане картины изображен весь рост поп, благословляющий солдат.

«Я ненавижу этого человека, — писал Бодлер о художнике в 1846 году. — Без всякого понимания трагизма войны Верне смотрит на битвы, как на представление в цирке. В картинах его

ее на несколько верст. Этот невероятный стенографический талант был причиной его популярности». Но на обывателя периода июльской монархии, носившей на себе отпечаток мещанства, мелочной



Я. Берк. — На пути в Абиссинию.

есть движение, но оно лишено страсти; великое представлено без величия. Он мог бы, если бы это требовалось, написать картину в целый бульвар. Правда, его картина «Смала» несколько короче, но ему бы ничего не мешало вытянуть

лавочки, на того самого буржуа, которому посвятил сотни своих карикатур Домье, подобные «баталии» оказывали свое действие. «Буржуа приходил в благодушное настроение, рассматривая его картины, — писал Бодлер о Верне, —

и уходил с намерением купить лошадку своему маленькому сыну».

Превратности судьбы Наполеона изображал в своих картинах Раффе. Художник увлечен походами полководца, но он не может не показать того, как после триумфа победителя наступает постепенное падение славы Наполеона. Не скрывает и своего пафоса художник тогда, когда пишет «великую» армию в лохмотьях, без сапог, униженную и побежденную. Он ищет в своем наполеоновском цикле картин сочувствия у зрителя, стремления к реваншу. Это не протест против войны, хотя художник и показывает здесь последствия ее, а призыв к оружию.

Раффе — бытописатель войны. Реалист по преимуществу, он в своих повествовательных картинах пишет прозу войны. Есть у Раффе одна небольшая картина, которая дает ему право назвать себя противником войны, — это «На другой день», картина, которая вызывает в зрителе боль и щемящую тоску. У покосившегося, надломленного дерева — беспорядочная группа трупов людей и лошадей, среди тряпья, сломанных телег и остатков забора. Вдали поле, усеянное трупами. Два санитары на носилках уносят трупы к фургону. Вот раненый, скорчившийся от боли, который провел сутки среди мертвецов. Это «другой день» после битвы, «будни» войны, следующий день после «блестящих» сражений Гро и Жерико, когда баталлисты во французской живописи 40-х годов XIX века заговорили на ином языке. Как перекликается эта картина Раффе с его литографией «Они роптали...», показывающей отступающего Наполеона, которого напутствует ропот его войска!

Такое же отношение к войне и Наполеону у Шарле, товарища Раффе по мастерской Гро, у которого они учились только технике батальной живописи, но не тенденциям помпезного батализма. Прозванный «Беранже в живописи», он действительно в сентиментальном духе воспевал в своих картинах и рисунках наполеоновскую гвардию, серый сюртук и треугольную шляпу. Его «Этюд возвращения из России» — это тоже «дру-

гой день войны» и «другой день батальной живописи», картина, о которой Альфред де-Мюссе писал, что «это не эпизод, а целая поэма, рисующая отчаяние среди пустыни», участь интервента, вторгшегося в пределы чужой страны для ее ограбления. И уже полным кошмаром веет от картины Фабе дю Фора, рисующей «Переход через Березину», где художником переданы самые крики отчаяния голодной, истомленной походом, болезнями, иступленной, оборванной армии, клочков той «великой» армии, которая так парадно выглядит на полотнах Гро и Жерико.

Как выглядят эти остатки армии в своем трагическом и смешном маскараде в зимнюю стужу на площади Вильно в рисунках с натуры Ф. Даниэля! В подобной трактовке изображает и французский художник Константин Гюис возвращение «победителей» из Крыма, после неудачного похода Наполеона III.

История отплатила «победителю» Бонапарту за его грабительские набеги в Россию и Испанию в странах, в которые он направил свои наиболее разрушительные силы, но где пришлось ему встретить отчаянное сопротивление народа.

Это было нечто большее, чем то, что было описано 175 лет тому назад в гравюрах Калло. Жестокостям наполеоновской армии, подавлявшей борьбу испанского народа за свою национальную независимость, не было границ. Чудовищное зверство стало бытовым явлением: вырезывались целые города, сжигались села, на людей охотились, как на диких зверей, устраивались поголовные грабежи и придумывались самые изощренные формы пыток и казни.

Среди криков ужаса, плача, стонаний поднялся протестующий голос против войны, против бойни, учиненной над безоружным населением. Это был голос патриота, гениального художника Испании — Франсиско Гойя, который старое испанское искусство, искусство религии и догматов, превратил в искусство обличения. Вулканическая натура Гойя отзывалась на всякие отрицательные явления жизни. В своих гравюрах он боролся против церковного и политического

гнета, фанатизма, суеверия, невежества, лжи. Ему уже было за шестьдесят лет, когда он вернулся в свою родную Сарагосу в 1808 году, в тот год кошмара, который тяжелой тучей навис над его родиной: Осажденный отличной многотысячной армией маршала Ланна, город не сдавался. Крестьяне окрестных деревень защищали подступы к городу. В самом городе на защиту встали мужчины, женщины, дети. Каждый дом предместий обратился в неприступную крепость. Героический невооруженный на-

мощно руки, многие закрывают ладонями лицо, чтобы не видеть ужаса смерти. В истории мировой живописи вряд ли можно найти более жуткую картину, столь насыщенную драматическим содержанием и жгучим протестом против войны и интервентов.

Кошмарно изувеченные тела, трупы, висящие на деревьях, развалины, нищету показал Гойя. Он все это сам видел и даже наблюдал казни своих сограждан. Гойя стремился запечатлеть все это в своих офортах, чтобы оставить чело-



Ф. Мазерель. — Церковь.



Ф. Мазерель. — Война.

род защищал каждую пядь земли. Французы приближались, взрывая каждый дом. Ланну удалось завладеть Сарагосой, в которой он учинил грабежи и резню. Как один человек, поднялась вся страна, ведя партизанскую войну. Особенно зверски был подавлен майский мятеж народа против французов в Мадриде.

Полный гнева и негодования, Гойя пишет страшную картину ночного расстрела французскими войсками безоружного населения. У фонаря, освещающего всю сцену, снизу, выстроилась шеренга солдат, стреляющих в группу обезумевших от ужаса людей. Вот один уже лежит в луже крови, другой безумными глазами смотрит смерти в лицо, поднимая беспо-

вечеству его образ в войне, когда теряется всякое элементарное чувство и человек становится зверем. Он создает свой бессмертный альбом «Los Desastros de la guerra» — «Бедствия войны», в которых со всей остротой, реализмом показывает ужасы войны.

Перелистайте альбомы гравюр Гойя, и вы увидите, к чему приводят каннибальские инстинкты колонизаторов. Вот среди разрушенных домов кошмарные, изувеченные тела, убитые, которых сваливают в общую яму, одинокий плачущий ребенок, у которого уведат мать, расстрелы, грабежи, насилия. И даже в лаконичных подписях под гравюрами вы как бы слышите протест против военных ужасов, охвативших Испанию: «Кто мо-

жет на это смотреть?», «Нет жестокости, которая не была бы совершенна», «Разве для этого они родились?», «У мертвых нет покоя», «Голод и болезни, верные товарищи войны, пристают к подошвам», «Ложу смерти подобна вся земля окрест», «Но что можно сделать против штыков?», «За что?».

Под иными гравюрами подпись: «Это правдиво», «Все это я видел», «Так было».

Кажется, что каждому зрителю, преднося свои образы и впечатления, сцены тяжелых годин своей родины, Гойя задает мучительный вопрос: «За чем все это?..». Он обращается к будущей истории народов, которая предстанет перед ним сфинксом и не дает ему ответа. Он в отчаянии. Его тошнит от запаха крови и трупного смрада. В одном из своих листов он и изображает человека, которого рвет при виде сваленных в кучу трупов.

В истрадавшемся сердце Гойя бьются два чувства: одно, полное пессимизма, другое — надежды. Ему на все это отвечает только мертвец. Вот он вышел из могилы, этот полуистлевший труп, изображенный на одном из его листов, и пишет на крышке гроба слово «Nada» — «Ничто». Но здесь же начинает доминировать и другое чувство художника — надежда на лучшее будущее, торжество народа, правды, света. С какой ненавистью изображает он огромного, противного, обшипанного орла, преследуемого толпой крестьян. И ясно, что после этого народ воспрянет. Вот он, исполн, сидит на окраине далекой равнины и пылливо всматривается в уже занявшую зарю. Свобода придет, она уже пришла в виде прекрасной женщины, озаренной светом восходящего солнца, среди цветов и деревьев, покрытых плодами. Как ласково она положила руку на плечо изможденного крестьянина с мотыкою в руке.

Офорты Гойя, изумительные по своей технике и глубокой идейной насыщенности, — это не только протест против войны и острое орудие мира, но и политическое завещание своим потомкам, которые сейчас испытывают то же что и современники величайшего гения.

В страну свободного испанского народа снова вторглись хищники, которые творят такие же зверства, какие уже во времена Гойя испытала залитая кровью страна. История снова перелистывает кошмарные листы альбома Гойя, но снова придет к тому листу, который увенчивает борьбу испанского народа за свою национальную независимость, к листу, где народ-исполн встретит свободу во всем ее величии и красоте.

Новую трактовку в изображение войны внес и романтический Делакруа. В его знаменитом «Хиосском избитии» показаны окаменевшие от отчаяния пленные греки, ждущие расправы. С какой силой он изображает здесь неподвижность и безмолвие трагедии, наполнившей сердца людей, борющихся за национальное освобождение! На Хиосе турецкий паша велел умертвить более двадцати тысяч мирных жителей. Грекам удалось взорвать на воздух турецкий адмиральский корабль, на котором находился жестокий паша. С ожесточением боролись греки за свою свободу. Передовая часть человечества следила за исходом борьбы, лучшие люди, протестуя против угнетения греков, шли на защиту их, выражая тем и протест против внутреннего политического застоя в своих странах. Это был протест против войн и той политической реакции, которая создана была в Европе австрийским дипломатом Меттернихом и Николаем I. Делакруа, подобно Байрону, Пушкину, Рылееву, свои мысли и чувства отдавал тем, кто боролся в далекой Греции с невыносимым игом интервентов.

В Салоне 1824 года его «Хиосская резня» — резня живописи, по мнению Гро, — представила сцену из греческой войны за независимость, поразительным образом передавая убийства, грабеж, насилия и все ужасы остервенелой армии, ворвавшейся в пределы чужой страны.

Ненавистью к буржуазии и войне наполнены литографированные листы гениального Домье, художника, служившего трем революциям. Домье в продолжение почти полувека своими карикатурами бичевал реакцию. Саркастический смех карикатуриста сменяется

демоническим ужасом там, где он видит драму народных масс, придавленных пятой империализма.

Жутью веет от его рисунка: «Империрия — это мир», где представлен кладбищенский пейзаж — огромное поле кре-

ную тунику, старая, безобразная женщина пляшет, балансируя на ядре, которое вот-вот готово взорваться. Такой он изображает Европу, такой же осталась она и ко времени империалистической войны, такова и сейчас, когда фа-



Бор. Ефимов. — Полет современных валькирий.

стов и надгробий. Осада Парижа милитаристической Германией находит в рисунках уже престарелого Домье свой трагический отклик. Домье призывает к войне против войны. В своих многочисленных рисунках он показывает героическую войну народа, отстаивающего свою свободу, напоминая в то же время, что Европа — это пороховой погреб, пока в нем царствует капитализм.

Мир он изображает в виде женщины, проглатывающей шпагу. Одета в рва-

шистские варвары разжигают все новые и новые войны.

Даже Мейссонье, посвятивший свое творчество восхвалению войн, в своих официальных полотнах вынужден был трактовать иначе войну, испытав осаду Парижа немцами в 1870/71 году. Возвышаясь над грудами тел, среди порохового дыма стоит фигура, олицетворяющая Париж, со сломанной шпагой, у ног ее — умирающий художник Анри Реньо — герой защиты Парижа. Ране-

ные и окровавленные защитники Парижа в изнеможении стреляют вдаль—туда, откуда стремится на столицу Франции богиня голода с прусским орлом.

Беклин, Кубин и Штук рисуют войну аллегорически—в виде страшного чудовища, идущего по целому морю тел, где милитаризм преображает мир в одну из картин Дантова ада.

В изобразительном искусстве все чаще появляются произведения, показывающие отвратительный лик войны. Официальным баталистам, прославляющим битвы, противопоставляются картины, показывающие изнанку войны. Страдания масс, которые больше всего терпят от войны, начинают постепенно входить в содержание картины. Зритель, глядя на эти картины, начинает понимать, что война, по существу, является войной между крупнейшими рабовладельцами за сохранение и укрепление рабства. «Война наполняет карманы капиталистов, к которым течет море золота из казны великих держав. Война вызывает слепое озлобление против неприятеля, и буржуазия всеми силами направляет в эту сторону недовольство народа, отвлекая его внимание от главного врага: правительства и командующих классов своей страны. Но война, неся бесконечные бедствия и ужасы трудящимся массам, просвещает и закаляет лучших представителей рабочего класса»¹. «В одном отношении русское правительство не отстало от своих европейских собратьев: так же, как и они, оно сумело осуществить обман «своего» народа в грандиозном масштабе. Громкий, чудовищный аппарат лжи и хитросплетений был пущен в ход и в России, чтобы заразить массы шовинизмом, чтобы вызвать представление, будто царское правительство ведет «справедливую» войну, бескорыстно защищает «братьев-славян» и т. д.»².

Сравните «народ на войне» в картинах официальных русских баталистов—Зауэрвейда, Виллевальде, Коцебу, Дмитриева-Оренбургского и др., писавших

пышные оперные постановки или сухие протоколы вместо показа настоящей войны, с военными картинами В. Верещагина, и вы увидите сдвиг в самой композиции батальных сцен. Генералов, военачальников Верещагин убирает на задний план картины, выдвигая вперед массу, показывая ее горе и страдания. Такой «обратной перспективой» в батальной картине он вскрыл изнанку войны, показав, что воюет и страдает, по существу, масса, гонимая на войны кучкой господствующего класса, затевающего битвы ради своих прибылей.

Вот она, эта серая масса, после атаки, на перевязочном пункте. Вглядитесь в лица раненых, сколько горя в глазах солдат, которые, стиснув зубы, еле сдерживают боль свежих ран. Серое пушечное мясо раскинулось на большом поле у временных санитарных палаток. Вот «Перевязочный пункт» в хлеву, «Забывтый», которого едят вороны, «Людоед»—леопард, пожирающий труп солдата, оставленного в далекой среднеазиатской степи, страшные сцены у крепостной стены («Г-с-с! Пусть войдут», «Вошли!»), груды развороченных тел на фоне гор, где у подножия выстроились солдаты, приветствующие Скобелева, скачущего со своим штабом на конях, замерзающий солдат, стоящий на часах («На Шипке все спокойно!»), безбрежное поле, усеянное кусками тел, поле, где только двое живых—это полковой поп и солдат-псаломщик, служащие панихиду по убитым («Панихида»). Немудрено, что тем, кто имел прибыли от войны, не по нутру были картины Верещагина. «Трудно,—пишет Верещагин,—рассказать все, что досталось и доходило до меня в этом море сплетен, именем Петербургом». Верещагина обвинили в клевете на армию и в результате довели художника до «казни» своих картин. «Забывтый», «Окружили—преследуют», «Вошли» были им сняты с выставки и сожжены. Германский полководец Мольтке, побывав на выставке картин, устроенной Верещагиным в Берлине в 1882 году, запретил германским офицерам вход на эту выставку. В Вене военные власти требуют удаления многих картин с выставки Верещагина,

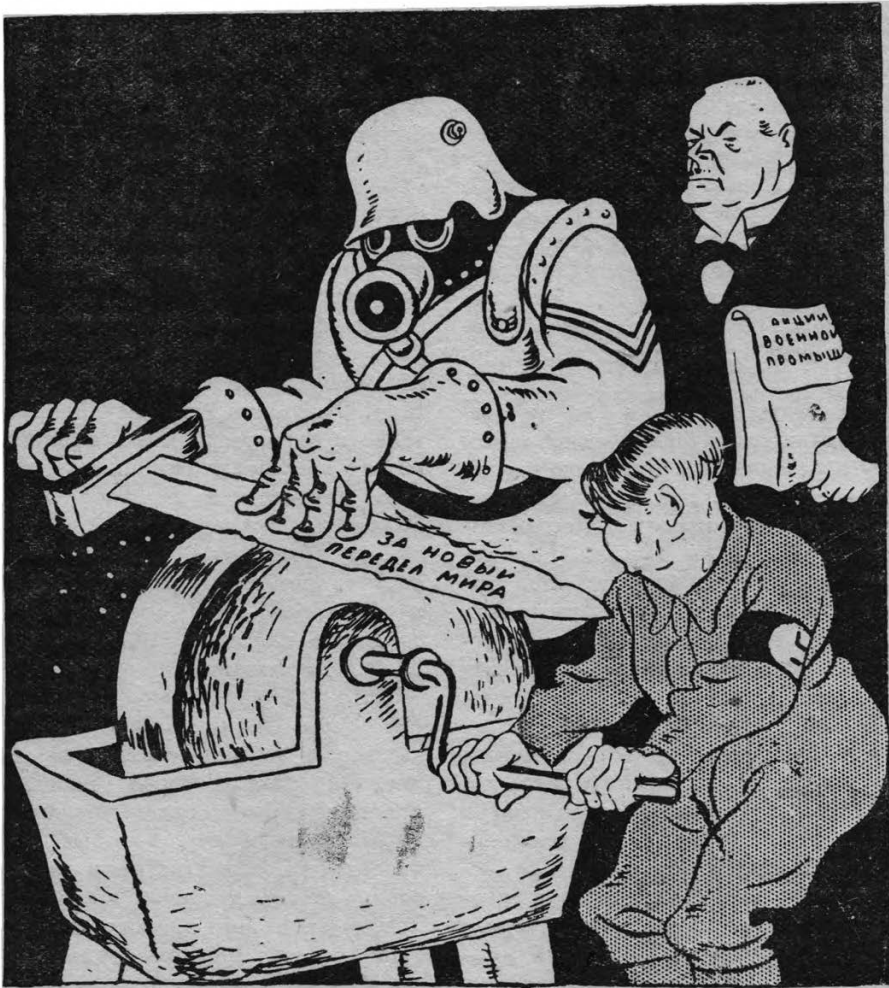
¹ Ленин, Соч., т. XVIII, «Воззвание о войне», стр. 183—184, 3-е изд.

² Ленин, Соч., т. XVIII, «Социализм и война», стр. 207, 3-е изд.

так как это действует разлагающе на армию.

Крамской, рекомендуя П. Третьякову приобрести всю коллекцию туркестанских картин Верещагина, называл это значительным событием. «Эта идея, про-

шагин изображал все, что видел. Он положительно ходил по пятам войны, вникая решительно во все детали сражения, изучая каждый уголок того места, где происходили военные действия, собирая большое количество эпизодов и зарисо-



Бор. Ефимов.—Лихорадочная деятельность.

низывающая невидимо (не осязательно для ума и чувства) всю выставку, эта неослабная энергия, этот высокий уровень исполнения, этот, наконец, прием невероятно новый и художественный в исполнении вторых и последних планов в картине заставляют биться мое сердце гордостью, кто Верещагин — русский, вполне русский!» — пишет Крамской Третьякову (15 марта 1874 г.). Вере-

вок. Верещагин всегда стремился на поля битвы, как он писал, «смотреть, чувствовать, изучать людей».

Основоположник «идейного реализма» в батальной живописи, обличая войну, он был родственен по духу передвижникам.

Верещагин сам признавал, что его главной целью было ратовать за мир, против чудовищности войны, этого от-

вратительного нароста на цивилизации. Его «Апофеоз войны» — огромная пирамида черепов, — который художником «посвящается всем великим завоевателям прошедшим, настоящим и будущим», — апофеоз всех антимилитаристических картин художника.

Но Верещагин, как и все буржуазные пацифисты, не знал, что корень зла, самое зарождение войны, коренится в капитализме. Ленин писал: «Не напрасно падут миллионы жертв на войне и из-за войны. Миллионы, которые голодают, миллионы, которые жертвуют своею жизнью в окопах, они не только страдают, но и собирают силы, размышляют об истинных причинах войны, закаляют свою волю и приходят к все более и более ясному революционному пониманию»¹.

«Кому неизвестно, что в России все-ликие капитала сливалось с деспотизмом царизма, агрессивностью русского национализма — с палачеством царизма в отношении нерусских народов, эксплуатация целых районов — Турции, Персии, Китая — с захватом этих районов царизмом, с войной за захват? Ленин был прав, говоря, что царизм есть «военно-феодалный империализм», — говорит товарищ Сталин в своих «Основах ленинизма»¹.

В эпоху империалистической войны выросло искусство Франса Мазерееля, направившего свой резец гравера против империализма. Исключительно плодовитый мастер выбрасывает из своей мастерской в свет своеобразные графические романы. Это книги-гравюры, представляющие собою то ряд публицистических статей, интерпретированных в гравюре на дереве, то серию гравюр, связанных одной темой. Так появляются его знаменитые «Политические рисунки», «Город», «25 образов страданий человека», «Мертвое восстание». Но пацифизм Мазерееля находит выход в отчаянии. Его «Мертвое восстание» и «Политические рисунки», не-

обыкновенно сильные, убедительные, дают зрителю мучительно перечувствовать войну.

Мечущиеся в проволочных заграждениях, умирающие солдаты, изуродованные тела героев войны, ксендз, благословляющий пушку, куски человеческого мяса, маскообразные, искаженные гримасой лица заполняют демонические картины Мазерееля.

Мазереель только «констатирует» ужасы войны, капиталистическое господство в его стране. В своих гравюрах он показывает величайшую драму человечества, не давая перспектив революционной борьбы.

В этом отношении значительнее и острее фотомонтаж Хартфильда, которого Эгон Эрвин Киш называет «одним из величайших художников современности». Хартфильд необычайно изобретателен и остроумен. Революционным оружием борьбы художника против буржуазии является ее же фото. Хартфильд обладает исключительным искусством самую обыденную фотографию, благодаря талантливому монтажу, превращать в исключительное средство агитации, создавать классово направленный плакат или иллюстрацию.

«Его избирательные плакаты, — говорит Эгон Эрвин Киш, — просвещали тысячи и тысячи людей. В ленинские дни, а также перед первомайскими праздниками он создал титульные страницы «Роте фане», которые займут не последнее место в истории графики. Он создал также листовки против империалистической войны, которые не только были отпечатаны компартией в миллионах экземпляров, но которые сохранились в колоссальном количестве экземпляров, так как, имея подобные листовки в руках, не всякий решится их с легкостью уничтожить».

Великие Калло, Гойя и Домье через века передали свои, полные гнева и ненависти, кисть и перо современным антифашистским художникам. И прав был американский художник-коммунист Берк, когда на собрании московских графиков он заявил, что его учителем, в творениях которого он нашел много ценного для создания антимилитаристи-

¹ Ленин, Соч., т. XIX, «Речь на интернациональном митинге в Берне 8 февраля 1916 г.», стр. 20, 3-е изд.

² Сталин, «Вопросы ленинизма», стр. 8, 9-е изд.

ческого рисунка, был и есть великий Домье.

По своей форме графика Берка приближается к манере Домье. Берк является продолжателем французского рисовальщика, политически заостряя тематику. Своим карандашом Берк вскрывает и разоблачает сущность капиталистического мира, всю ложность его системы. Поджигатель войны («Пуанкаре»), изображенный им в виде отвратительного ворона на фоне кладбищ и запустений, — блестящий памфлет против войны. Результаты империалистической войны?.. Вот они. Это не пацифистская верещагинская картина, где на усеянном трупами поле всего два живых человека — поп и псаломщик: у Берка представлены тоже двое живых — капиталист с толстым задом и такой же отвратительный жандарм среди безбрежного поля надмогильных крестов.

В ряде острых рисунков Берк вскрывает мечты интервентов, которым снится нападение на Советский Союз.

С каким негодованием и ненавистью художник направляет свое орудие против фашизма, приносящего войну и горе человечеству. Огромный окровавленный топор повис над Абиссинией; смерть, одетая в военные доспехи, пожинает свои плоды. Она вскоду, где только ступает нога фашиста.

Калло, Гойя, Домье оставили то ценное художественное наследие, которое приумножили значительнейшие мастера современности, подлинны бойцы в искусстве против фашизма и войны. Вместе с нашими рисовальщиками — Дени, Моором, Ефимовым, Черемныхом, Кукрыниксами и другими художниками нашей страны, работают такие талантливые мастера, как Берк, Эллис, Гроппер, Геллерт в Соединенных штатах Америки; Лоу, Холленд, Габриэль — в Англии; Мазереель, Каброль — во Франции; Амелин — в Швеции; Хартфильд, Кейль, эмигрировавшие из Германии, и замечательные испанские антифашистские художники, искусство которых зародилось и достигло значительных успехов в ожесточенной борьбе народа, сражающегося за свою свободу.

Рисунки Эллиса достаточно известны у нас. Художник умеет обобщить отдельные политические эпизоды и давать им конкретную характеристику. Карикатуры Эллиса — это набат, возмущающий о тревоге, мобилизующий массы. Его рисунки реальны, выразительны, остры и лаконичны.

Вот с огромными вилами бежит, направляясь к городу, китайский крестьянин («Гражданская война в Китае»), вот с винтовкой в правой руке рабочий стремительно идет в бой («В бой вступили рабочие Андалузии»), здесь вооруженная группа рабочих борется с наступающим на нее фашизмом, там смерть с окровавленным кинжалом в руке приветствует по-фашистски войну, там рабочий выхватывает у Марса меч с надписью «Империалистическая война». Вот, далее, распятая на свастике женщина фашистской Германии, отвратительный череп, на котором значится имя гнусного предателя Троцкого, две скрещенные кости — символ его предательства и на заднем плане могильный камень с надписью: «Здесь лежит величайший предатель и преступник, какого когда-либо носила земля» («Отвратительнейший Иуда из всех, каких знала история»).

Если Эллис и Берк унаследовали форму Домье, приближая свой рисунок к журналу, то Гроппер свою графику увязывает с газетной полосой, графически заостря композицию и рисунок с фактурой печатного поля листа. Его «графические передовые» в газете метки и остры («Голодный поход», «Колесница империалистической войны», «Освободим узников капитала», «Разоблачение клоаки» — рисунок, в котором художник вскрывает связь троцкизма с фашизмом).

Имена антифашистских испанских художников Хименеса, Марти Баса, Артеча, Рафаэля Тома, Пора, Пуйоля, Лео стали достаточно известными у нас за последнее время. Когда вы глядите на их плакаты, в которых удивительно сочетаются живописная культура старого испанского искусства с графической меткостью и остротой Гойя, вам кажется, что вы слышите рев орудий,

гул канонады и видите перед собой загорелых бойцов, в которых столько ненависти к своему классовому врагу. Их плакаты призывают, угрожают, направляют.

«Здесь находится Мадрид. Но он никогда не будет фашистским!» — говорит боец, указывая на город. На фоне плаката размещены достопримечательности Мадрида. Все это ясно показывает, что республиканская армия взяла под свою защиту дорогую ей культуру народа.

Монументальный боец разит маленького фашистского генерала. Сколько силы, решительности и воли в бойце, олицетворяющем собой испанский народ! Призывно звучат слова на плакате Пуйоля: «Андалузцы! За хлеб, землю и свободу! Вступайте в Андалузский добровольный батальон 5-го полка!». Огромная красная рука в плакате Пору сильно сжимает карлика-генерала. «Фашизма не хотим!» — огненными буквами на черном фоне горит яркий лозунг. В плакате Хименеса гибкая и сильная фигура бойца далеко вперед забрасывает бомбу, над ним огромными буквами: «Не пройдет!». Предел текстового и цветового лаконизма в плакате Лео

«Убийцы», где огромный черный снаряд, разрываясь, падает на большой красный крест.

Острые, выразительные испанские плакаты направляют мысли к одной цели — борьбе народа с врагом, освобождению человечества от варваров-фашистов — этих разрушителей культуры.

И никогда художник, работавший в таких условиях ожесточенной борьбы, не заботился так много о колорите, рисунке, безупречности в исполнении, как это мы видим в испанских плакатах. Для этого, помимо большой художественной культуры, необходимо иметь верный глаз и сильно бьющееся сердце.

Ряды антифашистских художников растут. В борьбе с войной и фашизмом выковывается боевое творчество мастеров, обративших свою кисть и карандаш в орудие борьбы, стреляющее далеко и метко. И в будущей истории человечества, освобожденного от фашизма и войн, антифашистскому искусству будет посвящена одна из значительнейших глав, заголовком которой могут послужить замечательные названия, данные Гойя своим гравюрам: «Так было», «Да не будет так!».

Библиография

1. С. ГОЛУБОВ. „Иван Ползунов“ — С. В — н. 2. Константин ИВАНОВ. „Нарспи“ — Е. Си-
ли. 3 Мих СЛОНИМСКИЙ. „Прощание“ — Е. Г. 4. И. УТКИН. Стихи — Е. Гариевская
5. Сергей ВАСИЛЬЕВ. Вторая книга стихов — Г. Т. 6. И. МЯТЛЕВ. Стихотворения — С. Л — н.

С. Голубов. — «Иван Ползунов». Жургаз, серия «Жизнь замечательных людей», вып. VI, 1937 г. Стр. 264. Цена 2 руб.

Каждый новый выпуск серии «Жизнь замечательных людей», организованной по инициативе М. Горького, встречается советским читателем с большим интересом. Эти скромные небольшие томики коричневого цвета явились в советской литературе совершенно новым жанром. Это не чистая научно-популярная литература, ибо в каждом томике имеются все элементы художественной литературы. Это и не чистая художественная литература, ибо каждый томик — законченный научно-популярный очерк не только о жизни и деятельности замечательного человека, но и о его творениях.

Среди выпусков серии особый характер носит работа С. Голубова об Иване Ползунове. Эта книга, касающаяся жизни и деятельности выдающегося русского изобретателя, почти 200 лет тому назад сконструировавшего и построившего первую паровую машину, на двадцать лет раньше знаменитого Уатта, заставляет остановиться на ней несколько подробнее.

Об Уатте у нас знают все, а имя Ползунова настолько забыто, что является новостью даже для наших специалистов, не говоря уже о широких читательских кругах.

Иван Ползунов, солдатский сын, родился в 1730 году на Урале. Детство его протекало в кругу заводских мастеровых, искусных художников, делавших из железа и меди замысловатые вещицы, интересовавшие любознательного мальчишка. Екатеринбургская горная школа, учеником которой по царскому указу 1736 года «введено быть вечно при фабриках», дала Ползунову крайне ограниченный запас первых знаний. Зачисление Ползунова в 1742 году в разряд «механических учеников», «до обеда работавших на заводе, после обеда ходивших в школу», дало ему некоторые практические сведения. Если добавить ко всему этому необычайную жажду знаний, выделявшую Ползунова среди всех остальных «механических учеников», станет понятным произ-

водство 17-летнего Ползунова в унтер-офицерское звание с переводом на работу в «кабинет» Колывано-Воскресенских заводов на Алтае, с обязательством, чтобы и там он «пробринному и плавильному делам... обучался достаточно».

Обучение шло параллельно с глубоким изучением научно-технической литературы, имевшейся в барнаульской библиотеке. Книга Шлаттера, в которой было дано подробное описание «водостливной, огнем действующей машины», явилась толчком к практическому применению творческого, изобретательского духа Ползунова. Начинается период конструирования паровой машины, и в 1763 году Ползунов представляет начальнику горного кабинета, генералу Порошину, подробное описание своей машины, с теоретическими рассуждениями и выкладками. Проект ползуновской машины, которая постоянно и непрерывно развивает свою силу, вполне соответствовал машине постоянного (двойного) действия, изобретенной впоследствии знаменитым Уаттом.

Длиннейший и сложнейший процесс прохождения ползуновского предложения по российским канцеляриям екатерининского века красочно описан С. Голубовым. Прошел почти год мытарств до получения императорского указа с повелением строить машину и с одновременным производством Ползунова в «механикусы с чином и жалованьем инженерного капитан-поручика».

Дни и ночи проводит Ползунов за изготовлением проекта. Несколько лет, в необычайно тяжелых условиях при недостатке материалов, при наличии всяческого торможения работы канцелярскими чиновниками, строит Ползунов свою машину. Застарелый туберкулез нашел благоприятную почву в чахлам теле изобретателя и быстро вел его к жизненному концу. Харкая кровью, неделями не выходя из Ползунов из холодного сарая, выполняя самую черную работу. Это окончательно подорвало силы изобретателя, но машина была уже близка к окончанию. В конце 1765 года состоялась испытание машины.

Проба прошла прекрасно. Все расчеты Ползунова оправдались. Паровая машина была создана. Но Ползунов не успокоился и продолжал дальнейшее усовершенствование машины, пока через несколько месяцев туберкулез не победил его. 16 мая 1766 года Ползунов умер.

Работа над машиной продолжалась и после его смерти. Машину испробовали на опытных плавках, и опять все расчеты Ползунова оправдались. Был, конечно, ряд недостатков, которые легко можно было ликвидировать. Но это не было в интересах канцелярских горных чиновников, и судьбу машины Ползунова ждала участь многих русских изобретений: она была заброшена. А в 1784 году Уатт, вместе с патентом на свою паровую машину, завоевал мировую славу как изобретатель паровой машины. Имя же Ползунова было надолго забыто.

С. Голубов применил своеобразный метод работы над своей книгой. Документов и материалов об Иване Ползунове почти не сохранилось. Это чрезмерно усложняло работу автора. Нужно было не фактами раскрывать историческую обстановку, как это обычно делается, а из исторической обстановки того периода выводить факты, касающиеся Ползунова.

С этой задачей автор справился блестяще. И книга его переросла тему. Она превратилась в прекрасный очерк истории зарождения металлургической промышленности в екатерининскую эпоху XVIII века. Это сделано, однако, не в ущерб теме. Собственно, Ползунову отведена примерно четверть книги, но Ползунов, как живой, встает со страниц книги. Его жизнь, его мысли, его тяжелый путь русского изобретателя встают перед читателем на фоне прекрасно поданной исторической обстановки. Читая книгу, знакомишься не только с историей Ползунова, но и с историческим процессом развития русской горной промышленности.

С. В—н.

Константин Иванов, «Нарспи», поэма. вольный перевод с чувашского Андрея Петокки. Изд-во «Художественная литература», 1937 г. Стр. 141. Цена 4 руб.

Советский читатель с неослабевающим интересом прочтет впервые изданную на русском языке волнующую поэму «Нарспи» выдающегося древолюционного чувашского писателя Константина Иванова, умершего в 1915 году. Поэма «Нарспи» пользуется исключительной популярностью среди трудящихся Чувашской республики. К. Иванов положил в основу поэмы мотивы устного народного творчества, посвященные горестной судьбе бесправной женщины. Иванов яркой стихотворной речью рассказывает о трагической участи влюбленных героев Нарспи и Сетнэр. Лирические образы поэмы увлекают искренностью и простотой своих чувств, смелостью в борьбе за счастье

и свободу. Красавица Нарспи и Сетнэр любят друг друга. Но отец Нарспи, богатый Михедэр, отыскал для нее богатого жениха — старика Тохтахамы — и готовит свадьбу.

Встретившись утром у ручья, Нарспи и Сетнэр делятся своими мыслями:

У ручья, что в даль несется,
Что звенит скорговоркой,
Рано черпает девица
В ведра воду ключевую.
Из ручья, что в даль несется,
Что звенит скороговоркой,
Парень поит ургамаха
Ключевой водой студенной.
И пока коня он поит,
Парень девушке прекрасной
Говорит с тяжелым вздохом —
Так, что с птичьим щебетаньем
Все слова его сливались:

— Нет, не знать мне, видно, счастья,
Обездолен я судьбою,
Не сидеть с тобою рядом
На широкой лавке жизни.

Иванов прекрасно изображает сцену тужи (свадьбы). Невеста Нарспи выходит в последний раз в ночной хоровод и затем тайком бежит вместе с любимым Сетнэром. Узнав о победе дочери, разгневанный отец высылает погоню:

... Под широкой сенью дуба
Спит Сетнэр, и, обнимая
Нежно голову Сетнэра,
Спит Нарспи, и сны ей снятся,
Сны, один страшной другого:
Будто псом ее отец стал,
Воет, лязгает зубами,
Ищет дочь и так рычит он:
— Где ты скрылась, злая дочка?
Все равно найду, добуду!
Не уйти тебе, не скрыться...
Близок, близок пес, и вот уж
Лес гудит, трещит валежник...
Пробуждается девица,
Смотрит — скачут на конях к ним
Три врага по тропке узкой...

Нарспи возвращена в родной дом. Сетнэр жестоко избит. Проданная за деньги в жены старику, Нарспи вынуждена переносить побои и унижения; жизнь стала мучением. У нее зарождается мысль убить ненавистного мужа. Отравив его, Нарспи бежит в родную деревню. Отец и мать прокляли свою дочь. Суровая действительность выступает против сильных, красивых и молодых героев.

... Внезапно темной ночью к старику Михедэру пробрались злодеи, обокрали и убили его и жену, а затем зарубили топором прибежавшего на крик Сетнэра. Нарспи не выдержала отчаяния и покончила с собой.

К. Иванов — тонкий наблюдатель природы, умелый мастер пейзажа:

Яд Сильбу велик, как город,
И гремит да чеко слава

О Сильби, чувашском яле,
Окруженном тучной пашней,
Осеннем темным лесом,
Озаренном ярким солнцем.
Рядом с ялом, рядом с лесом
Речка быстрая струится.
Солнце ткёт на ней узоры,
С ветерком порой играя.
В тихой заводи зеркальной
Вместе с небом синееким,
Видимо, собой любуясь,
Пристально глядится ива.

Переводчику А. Петокки удалось сохранить аромат чувашской поэзии, передать даже вольными стихами ее обаятельную мелодичность.

Сюжетная канва поэмы «Нарспи» построена предельно лаконично, в тексте поэмы Иванова нет повторений и растянутости.

Между тем все это имеет место в вольном переводе А. Петокки. Переводчик любит повторяться: варьировать несколько раз подряд одну и ту же мысль, одну и ту же строфу. Поэтическая ткань ослабляется, наносится ущерб и композиционной структуре поэмы.

К достоинствам книги следует отнести изящное и художественное оформление: с большой тщательностью оформлена каждая страница поэмы. Вместе с тем вызывает удивление редакторская невнимательность к массовому читателю: в книге отсутствуют комментаторские материалы. Гослитиздат не счит нужным ознакомить читателей с биографией крупнейшего чувашского поэта, со значением «Нарспи» в чувашской художественной литературе. Отсутствие такого рода материалов и сведений несколько снижает ценность выпущенной книги.

Е. Силин.

Мих. Слонимский. «Прощание». «Советский писатель». Москва. 1937 г. Цена 3 р. 25 к. (с пер.).

В дни мировой войны и Октябрьской революции, которые описывает в своей повести Слонимский, страна жила большой и тревожной жизнью. Судьбы людей менялись быстро, обстановка требовала от них четких решений. Жизнь проверялась смертью. Чтобы запечатлеть эти годы, насыщенные событиями, нужно глубокое творческое проникновение в психологию людей, нужны яркие краски бытописателя. В повести «Прощание» нет ни того, ни другого.

Вяло и безжизненно проходит по страницам книги большинство ее героев. В одном месте автор рассказывает, как Николай, молодой солдат, выходец из рабочей среды, не мог в груде фотографических карточек разыскать свою: «Все лица казались ему похожими одно на другое». Так же трудно читателю выделит из общей массы невыразительных лиц одно, отличающееся хотя бы некоторой оригинальностью. Сухо обрисованы Николай и Марушко.

Жорж привлекает к себе внимание не потому, что он красивей других, но потому, что

линия его поведения неожиданно и неоправданно ломается в самую ответственную минуту. Сын революционера-интеллигента, он ненавидел старый уклад «привычной ненавистью, знакомой, как зубная боль. Он не мог участвовать в этой жизни. Пробовал, но ничего хорошего не получалось». «Воздух, которым он дышал с детства, в известной мере предопределил круг его товарищей». Будучи призван в армию, он ведет себя последовательно, становится популярным среди солдат и вызывает подозрение у начальства как «неблагонадежный». Однажды, спасая немецкого солдата, он отстает от своих и решает добровольно отдаться в плен. На некоторое время мы теряем его из виду. В России происходит Октябрьский переворот. Волна потрясений захлестывает Европу, и весной 1919 года вспыхивает революция в Баварии, где обосновался Жорж. Он женился на немке, зарабатывает на жизнь игрой в шахматы и музыкой, он ищет покоя, отсиживаясь дома во время боев. Как это могло случиться? В результате какого влияния переродился Жорж? И, когда прошлое опять берет верх и он погибает, нас это не трогает. Поскольку непонятна его долгая и не свойственная ему апатия, неинтересным становится и выход из нее, ее преодоление.

Из лиц, относящихся сочувственно к революции, лучше всех запоминается Клавдия Леонидовна, мать Жоржа, врач по специальности. Она всегда «полна самых реальных и нужных забот». Быть может, она была бы еще лучше, если бы автор не подчеркивал так педантично эту черту ее характера.

В стане врагов — самые разнообразные люди. Тут и Кэльгрэн, который в политической борьбе ничего не смыслил, любит только завод, где он работает и где работали его отец и дед, но объективно он вредит рабочим и становится хозяйским шпионом. Тут и офицер Орлов. Он глуп и жесток. Когда под обстрелом немцев скачет русский ездовой, он держит пари со своим приятелем, говоря, что солдат живым не доедет. Но ездовой добрался до леса, хотя и был ранен. Орлов распекает его за то, что он не может подняться и отдать ему честь по форме. «Но никакая самая скверная брань не могла успокоить его. Он ненавидел этого солдата, и ему хотелось убить его тут же на месте». Ни одно доброе чувство не волнует его, в его сердце нет и проблеска человечности. Автор рисует его утомительно однообразными красками, по тому рецепту, который в старину существовал для отрицательных героев.

Удачнее обрисован юрист Нежинцев. «Он обладал прекрасным свойством все самое худшее превращать в быт и удобство. В душе беспросветный эгоист, он слыл добрым человеком, потому что без конца юлил и умел втираться в доверие к людям. Он не заявлял себя открытым противником Советов и даже старался запастись документами, которые бы помогли ему в случае, если революция победит прочно и надолго. Но в дружеском кругу он распускается и советует капитану Орлову оставаться в столице, потому что «боевое

офицерство необходимо сейчас именно здесь, в Петрограде. Кто возьмет на штыки комиссаров? Кто разрядит в их головы пистолеты?». Это враг хитрый и осторожный, готовый надеть любую маску. Этот характер, пожалуй, наиболее удался автору.

Не все достаточно четко определили свое политическое лицо. «Не хочу я политики», — говорит врач Громоздилов. Но он самоотверженно работал в лазарете, где были раненные революционеры, и заслужил похвалу главного врача, что его испугало: «Получалось так, что он продался большевикам». Много размышлять заставляет его Вилли Крауц, немецкий солдат, некогда вынесенный Жоржем из огня. По выздоровлении этот немец был снова отправлен на фронт и перебежал к нам как сторонник братания. Громоздилов никак не может понять его поступка.

Двадцать лет отделяют нас от этого времени. В области истории осталось прошлое, с которым прощается в своей повести Слонимский. Но тема октябрьской победы все еще ждет своего писателя.

Е. Г.

И. Уткин — Стихи. «Советский писатель». Москва. 1937 г. Цена 4 руб. 75 к. (с пер.).

Сборник включает три цикла стихов: «Комсомольская песня», «Воздушная почта», «Ветер», поэму о Мотэле и главу из поэмы «Детство». Самые ранние произведения помечены 1924-м, последнее — 1936 годом.

Со времени издания своей первой книги Уткин знал и годы известности, и годы творческого затишья. Путь, пройденный им, довольно полно отражен в сборнике 1937 года.

Что же волновало поэта, на что он откликался, какие чувства и мысли будит он в читателе?

Любовь и гражданская война — вот основные мотивы его стихов, которые сам он часто называет песнями. Но сказать «гражданская война» — это значит сказать слишком много и вместе с тем ничего определенного: такие большие просторы открывает она для полета творческой мысли. Ненависть к врагу, героическая смерть, горе матери, слезы любимой девушки, преданность друга, песня в минуты короткой передышки, наконец, чувство братской солидарности с революционными бойцами зарубежных стран, идеи интернационализма и др. — вот отдельные стороны гражданской войны, которые затрагивает Уткин.

Как представляет он себе свою роль, роль советского поэта в нашей общественной жизни? В звучном стихотворении «Гитара» он образно выражает свою мысль:

... Ни сзнал И ни хлеба!
И флаги все до дон!
Под изумрудным небом
Томится эскадрон.

Но вот один из бойцов начинает играть на гитаре:

... И в грустном эскадроне,
Как от зеленых рек,
Повыпрямились кони,
И вырос человек!

Искусство вселяет в людей бодрость, оно помогает победить. В другом своем стихотворении он называет Советский Союз родиной песен, потому что только здесь им суждена «большая жизнь». Отсюда тон стихов Уткина, бодрый, хотя однообразный и часто не заражающий читателя.

Формальный уровень многих его стихов ниже, чем можно было бы ожидать от поэта с большим поэтическим стажем. Возьмем для примера «Азорскую песню», написанную всего два года назад. Главный эффект кроется в названии. Внимание привлечено тем, что автор берет такую редко приходящую в голову географическую единицу. Но этот эффект уже использован в «Гренаде» Светлова. Не совсем понятно, за что же хочет бороться автор — за великие идеи или за личную славу. Он говорит:

Много я бы мог перетерпеть:
Тропики, контузию, осколок,
Только б о себе заставить петь
Молодых азорских комсомолок.

Рифмы в этой песне примитивные (сумасшедший — вошедший, ткут — бегут, терпели — пели и т. д.), образы наивные (по океану вброд идут яркие буденновские кони), сочетания слов непродуманные (по-комсомольски пели, выходит «кипели») и т. д.

Я сознательно взяла одно из плохих стихотворений, но это далеко не самое худшее. Вот несколько строк из «Гавайской гитары»:

Я слышал туземный Юг:
Головой
Стуча о стену,
Там на русскую
Поют,
Дорогая моя, тему.

Вот когда,
Лаская слух,
Песня
Гневом дышит в порах
и т. д.

Тщетно будем стараться понять, почему туземцы во время пения стучат головой о стену — в знак ли отчаянья или просто отбивая такт, или: как это песня может дышать гневом в порах? и т. д. Разбивка на такие короткие строки не обусловлена ни содержанием, ни интонацией, ни размером — самым обычным хореем. (Уткин предпочитает этот размер всем другим.)

Поэт часто небрежно относится к русскому языку.

Несколько примеров: «Красавец по лицу и по уму» (?), «мне девичий голос гремел» (?), «в комсомольском томком (?) вкусе», и т. д.

Это тем более обидно, что Уткин создает и удачные песни, как «Батя», «О пастушке», «Сибирская», «Песня о ресторане Крит». Первая песня в свое время была отмечена в печати как большое достижение автора. В последней говорится о том, как шпион выдал комиссара и потом был за это убит. Там есть хорошие запоминающиеся строки:

Застучит калитка...
Через пять минут
На смерть в на пытку
Парня проведут.

Проведут за город
По дороге той,
По которой скоро
Мы придем домой.

За погибшего комиссара отомстил его товарищ. Уткин считает, что самая крепкая дружба — это та, которая основана на одинаковом миропонимании:

Никогда нам так не породниться,
Как под единым знаменем идей.
(«Сунгарийский друг».)

И, когда в поэме «Детство» друг из бескорыстного бойца революционной армии превращается в грабителя, герой его убивает.

Если в «Песне о ресторане Крит» мстителем был друг, то в стихотворении «Рассказ солдата», написанном в хорошем повествовательном тоне, эту роль выполняет мать погибшего партизана.

Самые слабые стихи Уткина — любовные стихи, собранные в цикле «Воздушная почта».

подавляющее большинство их — это литературные пустячки, шутки на любовную тему. Существование поэтических миниатюр вполне закономерно, но этот жанр стихов требует особенно блестящей формы и остроумия, то-есть того, чем пока не владеет Уткин. А главное, если поэт наряду с этим не дает произведений, написанных серьезно о глубоком чувстве, если он дальше этих развлекающих стишков не идет, то сам собой напрашивается вопрос: «Для кого же он пишет?». Наш советский читатель не может удовлетвориться таким скольжением по теме, он сам думает и чувствует глубже, полнее и красочней.

В цикле «Воздушная почта» искренние и волнующие строки буквально тонут в стихах, либо слабых и никчемных, либо слишком холодных и рассудочных. Как может автор помещать в одной книге «Двадцатый» или «Песню» (На Карпатах) и такую безвкусицу:

Ну, погладь по голове,
Намекни еще о счастье.
Это в горах Москве
Наблюдается все чаще.

Или:

Потолчем водицу в ступе.
Надоест, глядишь, тоloch —

Потеснимся и уступим
Молодым скамью и ночь.

И усядется другая
На скамью твою, глядишь...

Но пока-что, дорогая,
Ты, по-моему, сидишь?

И, насколько мне известно,
Я — не кто-нибудь другой —

Занимаю рядом место
С этой самой дорогой.

Из сравнительно удачных стихотворений этого цикла надо отметить «Лыжни». Это стихотворение значительно выиграло бы, если бы автор совсем выкинул третью и четвертую строфы. Неплохи также «Стихи о дружбе» и уже упомянутая выше «Песня» (На Карпатах).

И в других циклах очень много скучных вещей: «Соль», «Мы с тобой» или слишком логичная «Баллада о мече и хлебе», или «Расстрел», в котором говорится, как везут на казнь осужденного. Даны его физические ощущения, но не чувствуется, что должен умереть революционер, а не кто-нибудь другой.

Какой вывод можно сделать, прочтя внимательно и сочувственно этот сборник стихов? Поэта надо судить не по его провалам, а по тому, как высоко он может подняться в лучших своих произведениях. Несомненно, в стихах Уткина пробивается иногда живая певучая струя. Он должен более критически переиздавать свои книги, выбростить из них накопившийся литературный хлам, серьезней и глубже взглянуть на жизнь, и тогда его поэтический голос зазвучит сильнее и проникновенней.

Е. Гарневская.

Сергей Васильев. — Вторая книга стихов. Гослитиздат. 1936 г. Стр. 76. Цена 2 р.

Васильев пишет на темы разнообразные: эпизод из гражданской войны, зарисовки из жизни советской школьной молодежи, песня о горькой, полной тяжелых испытаний, жизни крестьянки до революции, сценка из колхозного быта, поэма о беспризорнике, размышления на лирические темы, наконец, дискуссионное стихотворение о методе изображения героя — таково краткое содержание второй книги С. Васильева. В творчестве Васильева действительность отображается не столько через образное воспроизведение переживаний самого поэта, т.-е. лирически, сколько через изображение явлений, фактов, лиц, предметов и т. д. Поэтому, между прочим, многие стихи Васильева имеют повествовательную форму. Это их особенность и определенное достоинство.

«Голубь моего детства» — типичный образец такого стихотворения. Когда в нем после вступления читаем строки:

Встань, далекий образ детства,
На немислимом ветру, —

то кажется, что дальше последуют лирические воспоминания, но автор начинает рассказ о раненом партизане-разведчике:

... Было за полдень. В ограду
На саврасом жеребце
В'ехал всадник с мутным взглядом
На обветренном лице
и т. д.

У Васильева есть стихи просто описательного характера. Они обычно бессюжетны. Но отличаются тем, что в них факты и явления меньше воспеваются, чем описываются с той или иной степенью подробности. Но описательность здесь не пассивно-созерцательная, не безыдейная и равнодушная. Описывая действительность, поэт по существу тоже воспекает ее. Однако здесь может быть два приема. Можно главным образом воспевать явление, давая, конечно, вместе с тем и изображение его, можно, наоборот, главным образом изображать, но так, чтобы изображение это было воспевающим само по себе. Васильев тяготеет ко второму приему.

К описательным стихам относятся: «Мечта», «Свадьба» и ряд других.

В книге Васильева наиболее привлекают внимание «Застольная песня», «Рассказ о разрушенной поэме» и «Свадьба».

«Рассказ о разрушенной поэме» построен из условных ситуаций.

Поэт рассказывает о том, как умирает герой в середине его поэмы. Причем виновником несчастья автор считает самого себя. Он придумал смерть:

Это выдумал я, чтоб оставить его без друзей
И чтоб парень, по замыслу, где-то погиб от вина.

Почему? Потому что герой хотя и «не был врагом, или подлецом», но благодаря беспризорному детству скатился к бездельной, нечестной, паразитической жизни:

Он, не выдавший детства, судьбу принимал нараспах,
И не считаны были беспутья потерянных лет.
И бездомная жизнь зарубила на тонких губах
Невеселой улыбки почти сокрушительный след.

Автор пытался «обновить» героя, найти в нем положительные черты, но ничего не вышло, и герой как беспомощный человек должен был умереть. Когда он уже был близок к смерти, автор понял свою ошибку. Он обул и одел героя и проводил его в мир. Должно, по замыслу, пройти несколько лет. Страна обязательно переделает этого человека, поэт к тому времени повысит свое мастерство, и

тогда уже можно будет показать обновленного героя так, чтобы читатель поверил в его положительность. Васильев в данном случае прав. Но правдивость не достигается одним только желанием верно изображать. Она измеряется тем, насколько данный образ соответствует действительности. Сергей Васильев хотел из явно отрицательного типа сделать положительный, руководствуясь только своим желанием, а не стремлением к реальности. И естественно, что «поэма» не удалась.

Стихотворение «Свадьба» свидетельствует, что Сергей Васильев может с успехом писать на темы из колхозной жизни. «Свадьба» в сравнении со стихами крестьянских поэтов, которые, кстати, пишут что-то очень мало, звучит до некоторой степени по-новому. Реалистично, красочно, простым языком автор пишет о нынешнем дне зажиточной жизни колхозной деревни, о славных молодых герое и героине колхоза, справляющих свою свадьбу. Вот несколько скромных, непритязательных строк:

Мы погубили поверье, что будто невеста без места,
Что жених без ума и что это ему поделом.
Нет, невеста у нас, это даже признают подруги,
И статна, и знатна, и как вешняя верба бела.
Нет, у нашей невесты молодые, рабочие руки,
И большие за нашей невестой дела.
Кто глядел ее птичьей хозяйство? Какая Разноперая публика! Весом каким налнта!
Ходят гуси, от жиру к земле припадая,
и т. д.

Но хорошие строки в книге нередко перемежаются с неотделанными, неудачными. Часто употребляется прием многократного повторения слова — признак недостаточного богатства языка автора и неумения владеть словом. Едва ли, например, можно так выражаться:

Я беру в расход комод
или:
Как благодатно, как свежо в бору,
О, сколько губ¹ открыто предо мною!
или, например:
Я, конечно, понял сразу
То, что он недосказал.
Я, конечно, без наказания
Понял, что он наказал.
Я, конечно, понял сразу:
Надо выбросить сигнал!

Разве не ясно, что такое повторение слов не украшает, а портит стих?

Плохо, фальшиво от начала до конца стихотворение «Песенка о встрече». Песенка

¹ Подчеркнуто всюду мной. — Г. Т.

эта бессодержательно, написана на мотив обы- вательских куплетов.

Редактор книги г. Уткин мог бы отнестись к своей обязанности несколько построже. Ведь он тоже отвечает за качество редактируемых им стихов.

Г. Т.

И. Мятлев. — Стихотворения. «Советский писатель». 1937 г. «Библиотека поэта», малая серия, № 30. Стр. 172. Цена 2 руб. 25 коп.

Маленькая, изящная изданная книжечка стихотворений И. Мятлева наводит на вполне естественный и законный вопрос: зачем изданы эти стихотворения у нас и на какого читателя рассчитывало издательство, выпускающая их? Мы не смогли найти ответа на этот вопрос. Полагаем, что и издательство не сможет дать членораздельный ответ на этот вопрос.

Иван Петрович Мятлев, родившийся в 1796 году в одной из богатейших русских семей, владевший обширными вотчинами, имевший в собственности целый квартал в Москве, был известен в среде постоянных участников аристократических салонов как каламбурист, рифмоплет. Его богатство и остроумие открывали ему двери всех салонов. Его общительность и пристрастие к стихотворству снижали ему дружбу виднейших литераторов того времени. Он дружил с Пушкиным, Лермонтовым, Жуковским, Крыловым.

В его эпиграммах, пародиях, стихотворных анекдотах, сочиняемых исключительно для развлечения друзей и знакомых, в его камерной поэзии — если можно назвать поэзией его кунштюки — мы не найдем ничего, чем оправдывалось бы переиздание его вирш в настоящее время. Его стихотворения, для которых он черпал «вдохновение» в водевилях, рашенике, ритме модных танцев, его пародии на притчи и басни, его комические монологи, куплеты, сценки — все его развлекательное стихотворство, давшее ему название шута, не выходило за пределы узкого круга интересов аристократической верхушки, варилось в этом рафинированном соку.

Абсолютно беззаботна была жизнь Мятлева. Такой же беззаботностью веет и от его стихотворений. Напрасно стали бы мы искать в его стихотворениях глубокие социальные темы, реалистические описания, значительные события. Ничего этого нет в стихах Мятлева. Его поэзия похожа на порхающую бабочку, не знающую забот. Он скользил по поверхности жизни, словно легкий челнок по безбрежному морскому простору. Он не видел или, вернее, не хотел видеть теневых сторон жизни.

Сам Мятлев не считал себя литератором, не искал славы поэта. Он достаточно хорошо знал цену своему творчеству и первый сборник своих стихотворений издал в 1834 году с надписью «Уговорили выпустить».

Выход салонной, развлекательной поэзии Мятлева на широкую арену, конечно, не мог не вызвать самых отрицательных отзывов.

Большинство «толстых» журналов того времени резко обрушилось на его стихотворения. Белинский писал: «Г. Мятлев вышел на литературное поприще книжкою преплохих стихотворений, под названием «Уговорили выпустить». Этой книжки никто не заметил, кроме друзей сочинителя».

Стихи Мятлева усердно печатал Плетнев в своем «Современнике» 1841, 1842, 1843 годов. Это был период безвременья для «Современника», когда ушел Пушкин и не пришел еще в «Современник» Некрасов. Это был период, когда Плетнев с величайшей охотой предоставлял страницы «Современника» для печатания произведений дилетантов-аристократов, независимо от ценности этих произведений.

Крупнейшим произведением Мятлева является рифмованный рассказ «Сенсации и замечания госпожи Курдюковой». Это громадное сочинение, в общей сложности в 13.000 стихов, — рассказ от имени тамбовской помещицы Ажулины Курдюковой о путевых впечатлениях от проезда по Германии, Швейцарии и Италии, рассказ, насыщенный самыми разнообразными и беспорядочными суждениями о культуре, политике, искусстве, истории.

Этот рассказ в стихах, написанный смесью французского с нижегородским, читался публикою запоем. Он вызвал даже одобрение Лермонтова, который написал в альбоме Мятлеву:

На наших дам морозных
С досадой я смотрю,
Угрюмых и серьезных
Фигур их не терплю.

Вот дама Курдюкова!
Ее рассказ так мил,
Я от слова до слова
Его бы затвердил.

Мой ум скакал за нею,
И часто был готов
Я броситься на шею
К madame де-Курдюков.

Но и в «Сенсациях и замечаниях госпожи Курдюковой» Мятлев не поднялся за пределы общего своего развлекательного творчества. И эти «Сенсации» носят тот же общий колорит безмятежности. И, пожалуй, обо всей поэзии Мятлева можно судить по стихам его, адресованным Лермонтову в ответ на приведенные выше стихи поэта:

Мосье Лермонтов, вы — пеночка,
Птичка певчая, времан!
Ту во вер сон си шарман,
Что они, по-мне, как пелочка,
Нон де крам, ма де Креман.
Так полны они эрфиксом,
Де дусер и де бон гу,
Что с душевным только книксом
Вспоминать о них могу.

Что же привлекло издательство «Советский писатель» в стихотворениях Мятлева? В них совершенно отсутствует содержательность, они блещут полнейшим отсутствием какого-либо стиля, они не дают даже описания обстановки и быта того времени, они ничего не вносят нового в историю русской литературы.

И, пожалуй, самое интересное и полезное из всех шести печатных листов книжки — содержательная вступительная статья В. Го-

лицыной, полезная для нашего литературного молодняка. Но для одной этой статьи не следовало издавать шесть авторских листов стихотворений десяти тысячным тиражом. Было бы целесообразнее со всех точек зрения довести статью В. Голицыной до читателя путем опубликования ее в одном из толстых журналов. Были бы сохранены и средства, и время, и, главное, бумага.

С. Л—н.

А. И. Безыменский.
Ф. В. Гладков.
Редколлегия: Л. М. Леонов.
А. Г. Малышкин.
В. П. Ставский.

Издатель: «Известия ЦИК СССР и ВЦИК»

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ИЗВЕСТИЯ ЦИК СССР И ВЦИК“
Москва, 6, площадь Пушкина, дом 6

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1938 г.

на ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический

Ж У Р Н А Л

**НОВЫЙ
МИР**

(14-й ГОД ИЗДАНИЯ)

Подписная цена на 1938 год:

Б Е З П Е Р Е П Л Е Т А :					В П Е Р Е П Л Е Т Е :				
12 мес.	9 мес.	6 мес.	3 мес.	1 мес.	12 мес.	9 мес.	6 мес.	3 мес.	1 мес.
36 р. —	27 р. —	18 р. —	9 р. —	3 р. —	60 р. —	45 р. —	30 р. —	15 р. —	5 р. —

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Главной конторой Издательства «Известия ЦИК СССР и ВЦИК» — Москва, площадь Пушкина, отделениями Издательства «Известий» в г. Ленинграде — Проспект 25 Октября, д. 19 и в г. Киеве — ул. Ленина, 30, а также: «Союзпечатью», всеми почтовыми конторами, письмоносцами, книжными магазинами, отделениями Когиза, сборщиками подписки на предприятиях и в учреждениях и уполномоченными издательств политотдельских газет на транспорте.

